

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Избранное

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Избранное

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

ПРОЗА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1991

84 Р 1
П 38

Составление,
вступительная статья
и комментарии
Л. С. Пустильник

П $\frac{4702010106 - 2432}{080(02) - 91}$ 2432 — 91

ISBN 5—253—00342—8

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПЛЕЩЕЕВ

«...Плещеев принадлежит к самым искренним и наиболее симпатичным русским поэтам..!»

М. Е. Салтыков-Щедрин

Стихи Алексея Плещеева зазвучали, когда ему было 18 лет. В 1846 году вышла его первая книжка. Читатели и критики встретили ее горячо, и в лучших журналах появились о ней сочувственные статьи.

Годы эти были трудными для русской поэзии: казнен Рылеев, погиб Грибоедов, в солдатской казарме Полежаев, умер Кольцов, скончался Денис Давыдов, едва смолк пистолетный выстрел, оборвавший жизнь Пушкина, как не стало Лермонтова. Музе Некрасова еще предстояло завоевать читательские сердца Поэзия в 40-е годы «если не умерла, то уснула»,— писал Белинский. Действительно, нередко номера журналов выходили без стихов

Успех книжки Плещеева был обусловлен свободолюбивым характером стихов молодого автора. В них звучал призыв к гражданскому подвигу во имя борьбы против несправедливости, неравенства. Плещеев как бы воплотил в своих стихах реявшие в воздухе идеи эпохи:

Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Стихи эти приобрели широкую известность. Участие Плещеева в революционном движении еще больше делало их привлекательными в глазах читателей. Их пели на мотив «Марсельезы», литографировали, печатали в социал-демократических листовках.

Алексей Николаевич Плещеев родился 4 декабря (22 ноября) 1825 года в Костроме, в старинной дворянской семье. Боярский род Плещеевых, насчитывавший 600-летнюю давность, занесен в «бархатную» книгу как один из самых знатных. Отец поэта — Николай Сергеевич был небогат, служил чиновником особых поручений при губернаторе. После рождения сына он перевелся на службу в Нижний Новгород на должность губернского лесничего казенной палаты; здесь и провел детские годы будущий поэт. Когда ему исполнилось семь лет, отца не стало. Мать — Елена Александровна, урожденная Горскина, дочь костромского помещика, потомка именитых воевод Куликовской битвы, сподвижников Дмитрия Донского, среди родственников которой было немало военных, чуть ли не с рождения Алексея выбрала для него военную карьеру. До 13 лет мальчик учился дома, проявив склонность к музыке, литературе. Определение его в единственную в России школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге сопряжено было со многими трудностями Пришлось расстаться с Нижним, переехать в столицу. В 1837 году мать подала заявление с просьбой о зачислении Алексея учащимся школы. Надев юнкерскую форму, будущий поэт сразу же ощутил тягостную атмосферу, царившую там: муштра, фрунт, железная дисциплина; не пришлись ему по вкусу тактика, стратегия, фортификация да и вся отупляющая атмосфера того учебного заведения, которое должно было готовить «усердных защитников Царя и Отечества». Не случайно Михаил Юрьевич

Лермонтов возненавидел эту школу, что прекрасно воплотил в «Юнкерской молитве». Прошел год, но будущий поэт так и не мог привыкнуть к ней и умолил мать забрать его оттуда. Она вняла его просьбам, «недоросля Плещеева отчислили по болезни». Теперь Алексей начал усиленно готовиться к поступлению в столичный университет на историко-филологическое отделение Восточного факультета и стал студентом его в 1843 году. Много времени отдает юноша своим увлечениям — театру, музыке, литературе. Уже в 1843 году он напечатал в «Современнике» П. А. Плетнева — друга Пушкина, перевод стихотворения немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Песня странника». Одобрил Плетнев и цикл стихов начинающего поэта «Ночные думы», куда вошли стихотворения «Безотчетная грусть», «Дачи», «Дездемоне»; они также появились на страницах его журнала. Плетнев писал о молодом авторе своему коллеге академику Я К. Гроту, что у Плещеева «виден талант». Затем Плещеев публикует свои стихи в «Литературной газете», «Репертуаре и Пантеоне», «Иллюстрации». Но это не давало средств к существованию, а плата за обучение была высокой, и Плещеев вынужден обратиться за поддержкой к Плетневу, который вносит за него требуемую сумму. Пробыв студентом два года, он вынужден оставить университет летом 1845 года, и не только из-за трудного материального положения, а и потому, что приходится заниматься многими предметами «без всякой любви». Плещеев мечтает посвятить себя на свободе «наукам живым, требующим умственной деятельности, а не механической», т. е. истории и политической экономии, «близким к жизни и, следовательно, к интересам времени». Очевидно, этому содействовали лекции профессора В. С. Порошина, заведовавшего кафедрой политической экономии и статистики — «удивительно глубокие». Власти нашли, что они пронизаны «вредным направлением, даваемым учащимся через занятие ума и воображения, подробным разбором теорий о социализме и коммунизме, и притом не в духе благонамеренном». Характерно, что здесь учились в эту пору А. Ханыков, Н. Спешнев — будущие товарищи поэта по кружку Петрашевского.

Еще студентом Плещеев сближается и с братьями Майковыми, в их доме бывают Достоевский, Гончаров Особенно сильное воздействие оказал на Плещеева Валериан Майков, о котором его современники говорили, что он в «университете уже искал истину для жизни, искал идеала». Вокруг него организовался кружок, куда вошли Плещеев, его друг Владимир Милютин, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. В. Стасов; их объединял интерес к политической экономии. Валериан Майков, по признанию Салтыкова-Щедрина, оказал сильное влияние не только на Плещеева, но и на других «ранних петрашевцев».

Важная роль в становлении взглядов Плещеева принадлежит и братьям Бекетовым — старший из них Алексей — товарищ Ф. Достоевского по Главному инженерному училищу. Андрей Николаевич — будущий дед А Блока — «отец русской ботаники». На вечерах у них «слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости». (Д В. Григорович).

Еще в 1844 году Плещеев познакомился с Михаилом Васильевичем Петрашевским, став одним из первых посетителей еженедельных собраний у него — «пятниц», он ввел туда и Федора Достоевского.

Кружок Петрашевского — важное историческое явление в России 40-х годов. Педагоги, студенты, чиновники, литераторы — они намеревались создать свою типографию, журнал, объединиться во имя подготовки восстания в стране. Не кто иной, как Плещеев, добыл в Москве для петрашевцев запрещенные сочинения, что стало героиче-

ским и вместе с тем трагическим фактом его биографии. У Петрашевского обсуждаются политические события, положение народа, планы отмены крепостного права. Собрания происходили у товарищей поэта, у самого Плещеева, где читались статьи Герцена и Белинского.

Еще до сближения с петрашевцами стихи Плещеева были полны тревожных мыслей о «бесплодной борьбе», мечтами о дне, когда «ни горя, ни страданий не будет на земле», теперь же участие в их кружке, чтение запрещенной литературы, а также разительные контрасты богатства и бедности столицы помогли поэту пристально вглядеться в окружающую действительность, увидеть ее противоречия.

Стихотворения Плещеева 1844—1845 годов — «Дума», «Странник» дают возможность понять духовные искания поэта и его товарищей, изнемогавших под «отвратительной тяжестью эпохи» (Герцен). Они обусловили появление в стихах Плещеева образа поэта-пророка, поэта-борца, порицающего несправедливость, неравенство, бессердечие окружающих, которые заставляют его страдать. Поэт прозрел, понял, откуда его грусть Она родилась как следствие «вопля ближних, страждущих и обездоленных»:

Я слышал ближних вопль, я видел их мученья,
Я предрассудка власть повсюду находил;
И страшно стало мне! И мрачный дух сомненья,
Ужасный дух, меня впервые посетил! («Странник»).

Плещеев испытал в эту пору сильное влияние идей Белинского, который беспощадно преследовал «все низкое, противное достоинству человека — в жизни, и все ложное, напыщенное, риторическое — в искусстве».

Размышляя о задачах поэта, Плещеев убежден, что ему должно стать под силу художественное выражение мыслей и чувств, важных человечеству или обществу. Характерно в этом плане и стихотворение «Сон», названное «Отрывком из неоконченной поэмы», проникнутое мыслью о неравенстве людей и необходимости изменения действительности. Плещеев вносит новое в традиционное толкование темы поэта и поэзии. Несмотря на «муки сомненья» и утомление борьбой, его поэт-пророк обретает силы вновь идти на подвиг:

Мой падший дух восстал.. И утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь... («Сон»).

Он осуждает равнодушие к противоречиям жизни, «слепое повиновение судьбе», мечтает облегчить мучения ближних:

День придет,
И близок он, когда ни горя, ни страданий
Не будет на земле!.. («Странник»).

Образ странника приобрел у Плещеева черты пропагандиста революционных идей, социальную действенность Поэт видит, как

узники вдали от родины томятся,
Там в рубище бедняк с протянутой рукой...
Не для него красы улыбка молодая,
Его трудов другим всегда назначен плод.
Под тяжким бременем нужды изнемогая,
Прекрасным этот мир бедняк не назовет!.. («К чему
мечтать о том, что *после* будет с нами»).

Существующий строй враждебен «маленькому человеку», поэта гнетет, терзает бессилие, невозможность облегчить его муки:

Вхожу ли я порой в палаты золотые,
Где в наслажденьях жизнь проводит сибарит,
Гляжу ль я на дворцы, на храмы вековые,—
Все мне о вековых страданьях говорит.
Сижу ли окружен шумящею толпою
На пиршестве большом,— мне слышен звук цепей.
(«На зов друзей»).

Все равны, все рождены не для мук, а для счастья, для свободы, но ее нужно завоевать,— вот отчего Плещеев выступил против гнета и несправедливости, за служение общественному благу, за гражданский характер искусства — в стихотворении «Поэту». Оно было художественным выражением дум, чувств товарищей, передовых людей России. Тема стихотворения — поэт должен быть «возвышенным мятежником во имя правды и человечности» — свидетельствует, что Плещеев полон ответственности за свой «сан», понимает, что перед ним трудная, но очень благородная и важная миссия — он должен быть утешителем «гонимых», учителем общества, а его поэзия — средством в борьбе за изменение существующего порядка вещей. Упрекая того, в ком «цепей тяжелых звуки не пробуждали ничего», Плещеев обращается к единомышленникам, внимающим передовым идеям, к тем, кто готов принести себя в жертву, бороться за «братство на земле», за то, чтобы «люди соединились в одну семью», и тогда —

Навеки в мире водворится
Священной истины закон.
И гордых власть пред ним смирится,
И смолкнет ненависть племен... («Поэту»).

Но для этого надо вселить уверенность в необходимости идти по этому пути «братьев», которые поведут на битву рать, подымут «спящие народы», что и воплотил поэт в стихотворении «Вперед! Без страха и сомненья». В нем проявилась с наибольшей силой революционная настроенность петрашевцев и самого автора. Это призыв к доблестному подвигу, в нем — вера в победу, бодрость и светлые надежды.

Стихи Плещеева полны энтузиазма, дышат протестом против несправедливости, в них зазвучали новые, мажорные интонации. Они стали программными для его товарищей и соратников, их поэтическим манифестом:

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед...

Петрашевцы объединились «под знаменем науки», т. е. идей утопического социализма, которые охватывали все больше и больше передовых людей. Не случайно стихи Плещеева заучивались наизусть, стали своего рода «марсельезой 40-х годов», где за словом ощущалось определенное дело, готовность совершить подвиг:

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;

И верьте, голос благородный
Не даром в мире прозвучит!
Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил.

Со стихами «Вперед!» на устах встретили товарищи Плещеева смертный приговор. «Дерзкие и смелые стихи» читали позднее, на революционных сходках, в тюрьмах пели «возмутительную» песню. «Вперед!» будило мысль, чувства, волю людей не только в 40-е, но и в 60-е годы, в последующие десятилетия стало революционной «Песнью рабочих».

События 1848 года в Европе вызвали жестокую реакцию. В России начались годы «мрачного семилетия» (1848—1855), когда особенно свирепствовала николаевская цензура. Плещеев в течение нескольких лет после выхода в 1846 году первого сборника не смог напечатать ни одного стихотворения. А меж тем именно в 1846—1849 годы он создал немало стихов, посвященных теме гражданского служения поэта. Сознавая высокое назначение поэзии, то, что его ждет нелегкий путь, а, возможно, и гибель, Плещеев звал в них к «доблестному подвигу», веря в «желанный час освобожденья».

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.
  Когда ж пробьет желанный час,
  И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.
  Любовью к истине святой
  В тебе, я знаю, сердце бьется,
  И верно, отзыв в нем найдется
  На неподкупный голос мой

Стихотворение было, по определению поэта, «очень нецензурным». Плещеев не мог опубликовать его, и оно распространялось в списках без имени автора как рылеевское. Его даже, вплоть до 1954 года, включали в сборники Рылеева как «Послание Бестужеву». Считали его также добролюбовским, т. к в 60-е годы поэт продиктовал его кому-то, назвав добролюбовским. Стихи вручил Плещеев товарищу В. А Милютину — личности незаурядной, выдающемуся экономисту, чьи работы высоко ценили Белинский, Чернышевский. Плещеев обращался к единомышленнику, стремясь увидеть его в рядах «святого воинства свободы» Стихотворение пронизано предчувствием революционных событий, которые должны потрясти самодержавную Россию, пробудить ее «спящие народы». Автор не предназначал его для печати, многое в нем выражено резче, определеннее, нежели в опубликованных стихах. Оно отличается взволнованностью, одухотворенностью, лиризмом и вместе с тем предельно лаконично. Чуть ли не сразу после создания оно стало политической песней, любимой среди студенчества, знали ее в революционных кругах, причем распространялись разные варианты — «по чувствам» было заменено «по духу». Стихи очень любили в семье В. И. Ленина: «Мы невольно чувствовали, что эту песню отец поет не так, как другие, что в нее он вкладывает всю душу, что для него она что-то вроде «святая святых», и очень любили, когда он пел ее» (А. И. Ульянова-Елизарова).

Многие из плещеевских стихотворений конца 40-х годов оказались утраченными. Совсем недавно мы узнали еще о двух стихотворениях поэта той поры: «Н. Мордвинову» — посвящено Николаю Андреевичу Мордвинову — также товарищу по кружку Петрашевского, ставшему крупным общественным деятелем, корреспондентом Герцена Это вместе с ним Плещеев перевел запрещенную книгу «Слово верующего» французского публициста Ламенне, познакомив с ней студентов Московского университета. Поэт звал друга в ряды защитников свободы:

Ты не таков! В тебе есть к истине стремленье,
Ты стать в ряды ее защитников готов.
Ты веришь, что придет минута искупленья,
Что смертный не рожден для скорби и оков!

Вместе с другими бумагами попало оно при аресте к жандармам, пролежало в фондах III отделения более 100 лет. Стихи «Н. Мордвинову» привлекли внимание шефа жандармов Дубельта, который заинтересовался ими в 1855 году, когда против Мордвинова возбудили следствие в связи с его революционной деятельностью.

Плещеев пристально следил за событиями в Европе 1848 года — и откликнулся на них стихотворением «Новый год». Оно проникнуто уверенностью в том, что «близок час последней битвы», надеждой на возможность подобного и на родине. Несмотря на различные заголовки — «Кантата с итальянского», «Пуританская песня», с помощью которых Плещеев хотел провести его через цензуру, оно было запрещено в 1848 году, не удалось поэту напечатать его и в 1860-м в некрасовском «Современнике», даже как переводное.

Плещеев своеобразно трактует тему любви. Подобно поэтам-декабристам, он жертвует личными чувствами ради гражданского долга — «Элегия», «Прости», «Ответ». Эти стихотворения также были популярными среди передовых людей 40-х годов. Обращаясь к любимой, поэт испытывает жалость при мысли, что ее жизнь сложится по старым законам отвратительных ему людских отношений, и уверен, что его любимая не побоится осуждения толпы и пойдет за ним против врагов, апологетов зла. Лицемерные, ограниченные, жестокие, они готовят любимой не чашу наслаждений, а «фиал отравленный» («Любовь певца»). Женщина угнетена, страждет, и поэт протестует против участи, которая ожидает ее, против устаревших традиций брака по принуждению («Бал», «Случайно мы сошлися с вами», «Когда я в зале многолюдном»).

Плещеев много переводит, особенно из Гейне. Не случайно он выбрал — «Возьми барабан и не бойся», где нашел близкую ему тему: истинный поэт — «барабанщик» в борьбе за свободу, за счастье народа.

Сильнее стучи и тревогой
Ты спящих от сна пробуди.
Вот смысл глубочайший искусства,
А сам маршируй впереди!..

Собранные воедино, оригинальные стихи и переводы Плещеева составили сборник, изданный в 1846 году. Он принес их автору громкий успех, признание. Современная критика назвала его «значительным явлением» в литературе.

Передовые современники увидели в стихах Плещеева «не плаксивые жалобы на судьбу, не стоны разочарования, не тоску по утраченному личному счастью», а «вопли души, раздираемой сомнением...

глухую и упорную битву с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице. Он хотел бы выломать железные решетки, отворить двери и окна, чтобы «дать стогреться и вздохнуть вольною грудью страдающим братьям» (Валериан Майков). Талантливый критик назвал Плещеева «первым поэтом», ибо в ярких лучах «солнца русской поэзии» он сумел обрести «лица необщее выраженье». Это была оценка целого поколения. Молодой Чернышевский разделил отзыв Валериана Майкова о Плещееве «как о первом нашем поэте». «Помните ли Вы время, когда Плещеев был нашим первым поэтом?»,— писал в 1870 году критик Н. Страхов Ф. Достоевскому.

Возвышенная лексика характерна для всех ранних стихотворений Плещеева — «правда строгая», «братство», «глумящаяся толпа», «голос истины», «правда вечная». Поэт наделен чертами пророка, «возвышенного протестанта права и человечности», готового отдать жизнь за осуществление священной миссии («Поэту»).

Плещеев подчиняет поэтику стиха своим идейным установкам. Придерживаясь традиционной трактовки поэта как пророка, он использует соответствующую лексику, образы и особую структуру стиха. Богиня благословляет поэта на великую миссию — проповедовать «утесненным свободу и любовь», отсюда торжественная лексика: чело, «уста разверзлися», «рабы постыдной суеты», «рабы греха» («Сон»). И рядом современные выражения — «пред тобой лежит еще далекий путь», «могучее слово», «возвестишь ты мщенья грозный час».

Особенно часто Плещеев использует эпитет «святой», «священный»: святая истина, святое искупление, священные слова. Определение «святой» связывается у Плещеева с высокой ролью поэта, он зовет своих товарищей преодолеть чувство страха в борьбе с вековым гнетом. Выражения, взятые из Ветхого и Нового заветов, широко использовались Пушкиным и Лермонтовым: они и в словаре русской гражданской поэзии.

Публицистичность органически входит в ткань гражданских стихотворений Плещеева, характерны и призывно-повелительные обращения — «будь гонимых утешитель», «иди же веры полн», «смелей».

Язык гражданской поэзии и любовной лирики во многом близки.

В стихах, прозе, статьях Плещеева — отблески того пламени, которым горело «великое сердце» Белинского. Этот животворный пламень, «буря» Белинского захватили молодого поэта.

Плещеев получил признание и как прозаик. Его первые рассказы и повести примыкают к «натуральной школе». «Дружеские советы» (1849) — наиболее значительное из его прозаических произведений, созданное в ответ на повесть «Белые ночи», адресованную поэту. Оно проникнуто любовью к беднякам, «униженным», к романтикам, разночинцам-мечтателям, страдающим от пошлой действительности. Плещеева объединяет с «натуральной школой» интерес к низшим слоям общества, внимание к жизни простых людей: к их быту, нравам. Он изображает столкновение «маленького человека» с безнравственностью и пошлостью сильных мира сего. Судьба этого героя волновала Щедрина, Гончарова, Тургенева, Достоевского. Критика заметила прозу Плещеева, ее «легкость и непринужденность рассказа, простоту вымысла...»

Признание получили также фельетоны Плещеева — «Петербургская хроника» в газете «Русский инвалид» и критические статьи 1846—1847 годов в «Санкт-петербургских ведомостях». Плещеев защищает здесь «гоголевское направление» в литературе, социальную значимость искусства, выступает противником «искусства для искус-

ства», приветствует авторов, которые стараются стать «трибунами бедных и угнетенных», сочувствуют «недугам своей эпохи». Он знакомит читателей с романом Герцена «Кто виноват?», «Обыкновенной историей» Гончарова. Многие строки его статей посвящены Гоголю и писателям натуральной школы. Опровергая измышления реакционных критиков, обвинявших Гоголя в клевете на Россию, поэт-критик видел в «Ревизоре» и «Мертвых душах» «величайшие создания».

Плещеев посылает из Москвы в Петербург своим товарищам «запретные» произведения. Среди них «Письмо Белинского к Гоголю». Одно лишь распространение «Письма», наполненного «показаниями против Верховной власти и православной церкви», которое Ленин назовет «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати», влекло за собой строжайшую кару. Это и стало главной уликой против Плещеева в процессе петрашевцев. Письмо читали вслух на заседании, страстный тон сделал его своеобразной прокламацией.

При всем отличии от тактики военного заговора декабристов социально-утопическая программа кружка Петрашевского развивала дальше их идеи.

Утопический социализм, в отличие от научного социализма, «не умел... найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества» (Ленин). И все же в России 40-х годов он был связан с революционно-демократической идеологией, содействовал «исканиям» передовыми людьми революционной теории, в результате которых Россия поистине выстрадала марксизм. От кружка петрашевцев, подчеркивал Ленин, берет начало история социалистической интеллигенции России.

До недавнего времени бытовала неправильная оценка движения петрашевцев и, в частности, воззрений Плещеева. Вновь найденные архивные документы, введение в оборот его критических статей (большей частью анонимных или напечатанных под криптонимами), писем свидетельствуют, что он был активным участником движения 40-х годов, что в утопическом социализме для него важен «беспощадный разбор современного общества на Западе», хотя он не может абсолютно согласиться ни с одним из учений социалистов-утопистов (письма к Н. А. Добролюбову, Е. И. Барановскому). Петрашевцы поставили своей задачей длительную пропаганду в массах, расширение числа участников движения. Настроение радикальной интеллигенции отражало быстро назревавшее недовольство «исстрадавшихся масс» (В. И. Ленин), увеличившее в конце 40-х годов число крестьянских волнений в различных губерниях. Политика прочно входит в повестку дня «пятниц» Петрашевского, «суббот» Дурова, собраний у Плещеева, где обсуждались вопросы об освобождении крестьян с землей.

С благословения царя решено было в 1849 году прежде всего убрать «смутьянов». Страшная расправа николаевского режима с ними совпала с поражением революции на Западе. В ночь с 21 на 22 апреля по Петербургу прокатилась волна арестов. Деятельность Плещеева, судьба его поэзии была уже предопределена. Его привезли из Москвы, заточили в Петропавловскую крепость, в куртины между бастионами Трубецкого и Екатерины под номером первым, отведенные для опасных государственных преступников. В «русской Бастилии» томились за четверть века до них Рылеев, Пестель, Трубецкой, Волконский. Здесь поэт, наглухо отрезанный от живого мира, мучимый допросами, но не сломленный, провел восемь месяцев.

Ранним морозным утром 20 декабря 1849 года к обер-комендантскому дому крепости подъехало несколько карет с конными жандар-

мами. Петрашевцев, приговоренных к смертной казни, повезли на Семеновский плац. Плещеев и Достоевский по-братски обнялись. Через 30 лет на том же Семеновском плацу казнят руководителей «Народной воли»: Софью Перовскую, Андрея Желябова, Николая Кибальчича и других участников покушения на Александра II. Только за минуту до предстоящей гибели Плещеев узнал о замене казни солдатчиной в Уральских линейных батальонах.

6 января 1850 года его доставили в Уральск в первый Оренбургский линейный батальон. Началась полная невзгод и лишений жизнь солдата николаевских времен, которая, по признанию поэта, «была прямо ужасной». Без малого семь лет влачил поэт тяжелую лямку, а из ссылки вырвался лишь через десять лет. Чуть ли не единственной радостью той поры была встреча Плещеева с таким же солдатом другого батальона — Тарасом Шевченко. Несмотря на преследования, меж ними начиналась переписка, которая скрасила неприглядную, мучительную жизнь обоих. Шевченко называл Плещеева своим «братом», «другом незабвенным», каждое слово которого ему «глубоко по сердцу». Сблизился Плещеев и с ссыльными польскими революционерами — Зигмундом Сераковским, Брониславом Залесским, Яном Станевичем, поэтом Желиговским, и в «годы нравственных страданий» это облегчало муки. Чтобы избавиться от солдатчины, Плещеев пошел в 1853 году в тяжелый и опасный поход в степь на штурм кокандской крепости Ак-Мечеть — оплота владычества ханов и беков, преследовавших мирных казахов и киргизов; цель похода была благородна — защита утесненных. Но, несмотря на храбрость, проявленную в бою, Плещеева произвели лишь в унтер-офицеры. Пройдет еще три года, прежде чем он в 1856 году будет облагодетельствован чином прапорщика и ему удастся избавиться от ненавистной военной службы, а затем с трудом перейти в гражданскую «с переименованием в коллежские регистраторы». Ссыльному поэту, служившему в оренбургской пограничной комиссии, а потом в канцелярии оренбургского гражданского губернатора, было нелегко в среде чиновничества, которое относилось подозрительно к новичку «из политических». Все это Плещеев опишет потом в повести «Пашинцев», одобренной Добролюбовым.

В конце мая 1858 года Плещееву удалось вырваться из Оренбурга в отпуск. Оказавшись в столице, поэт возобновляет знакомство с Некрасовым, который приглашает его участвовать в «Современнике». И Плещеев, «все симпатии» которого принадлежат этому журналу, публикует на его страницах стихи, переводы, критические статьи, готовит для него повесть, запрещенную цензурой, пьесу.

Лишь в 1859 году Плещееву удалось добиться возможности проживать в Москве, причем целый год между III Отделением и военным генерал-губернатором Москвы решался этот вопрос. Когда Плещееву объявили о долгожданном разрешении, то строго предупредили вести себя «как можно осторожнее», дабы не подвергнуться ответственности, и, конечно же, за ним учредили секретный «строжайший надзор», «без срока». Тем не менее, оказавшись «на воле», Плещеев сближается с Чернышевским и особенно с Добролюбовым. Их переписка 1859—1860 годов освещает множество событий, хотя даже в ту пору о многом приходилось не договаривать. Она свидетельствует о том, что воззрения поэта, правда, еще далекие от социально-политической программы революционеров-демократов, очень близки их взглядам на крепостное право, паразитизм помещичьего барства, славянофильство. Суждения Плещеева о современных ему общественно-политических событиях вводят нас в раскаленную атмосферу идейных боев эпохи

«революционной ситуации». А меж тем Плещеева часто изображают лишь как приверженца идеалистических воззрений 40-х годов, отрешенного от современной ему действительности. Столь же ошибочны и попытки превратить Плещеева в «искусного конспиратора». Жил и писал он в трудных условиях, вокруг него была создана атмосфера подозрительности и слежки. И все же конец 50-х — начало 60-х годов Плещеев считал лучшими. Он много пишет — стихи и прозу, пьесы и статьи, находится в центре литературной жизни и «по мере сил своих и способностей» стремится служить «литературному, и, следовательно, общественному делу» (письмо Н. Г. Чернышевскому) В его доме бывают Лев Толстой, Островский, Тургенев, Писемский, Чайковский, его посещают Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Салтыков-Щедрин

Когда в конце 50-х годов Плещеев возобновил литературную деятельность, в русском обществе произошли большие изменения. Поражение в Крымской кампании, смерть Николая I повлекли перемены в общественно-политической и литературной жизни, все это позволило издать в 1858 году книгу тогда еще ссыльного поэта. Эпиграф к ней: «Я не в силах был петь» (из Гейне) хорошо раскрывает пережитое им. Несмотря на испытания, разочарования, на то, что «морозы» безжалостно побили его «чистые помыслы, жаркие упования», взор его «с надеждой смотрит вдаль» («Раздумье»). Это были стихи о судьбе передовых людей, посвятивших себя борьбе за народное счастье, пострадавших за свои убеждения, но оставшихся верными им («Посвящение», «Когда мне встретится истерзанный борьбою») Он продолжает тему ранних стихов о поэте-борце («Не говорите, что напрасно»). Трудности, страдания, разочарования не могут изменить верности избранному пути, единомышленникам. То был «знакомый голос», и его «старые песни на новый лад» радушно приняли читатели. Лирический герой Плещеева выходит из этой борьбы как бы возмужавшим. Решимость не оставлять дело, которому посвящены юные годы, звучала во многих стихах («Для новых битв я жажду силы», «Ты хочешь песен — не пою»), хотя в них и встречаются абстрактно-романтические мотивы.

Добролюбов встретил сочувственно стихи этих лет, и в статье, посвященной сборнику Плещеева 1858 года, отметил: «Его надежды относились не к розе и луне, они касались жизни общества и имели право на его внимание. Поэтому и грусть поэта о неисполнении его надежд не лишена общественного значения». Сравнивая его поэзию с творчеством Пушкина, Лермонтова и Кольцова, Добролюбов видел в стихах своего современника «вопль энергической, действительно сильной натуры, подавляемой гнетом враждебных обстоятельств», которые «безобразно сламывают самые благородные и сильные личности». Критик обратил внимание при этом на аналогичные обстоятельства внутреннего развития у разных наших поэтов и подчеркивал — как ни тяжелы «обстоятельства», Плещеев верен своим убеждениям и правильно видит, с «какой именно стороны грозит человеку нравственная гибель». Но Добролюбов осудил «несостоятельные, сладостные мечтания» поэта о лучшем будущем в современной обстановке, надежды на реформу, хотя истинный характер ее поэт очень скоро распознал. В стихотворениях 60-х годов вновь он обращается к вопросу о назначении поэта и поэзии. Создав образ поэта-гражданина, он рисует его тернистый путь, требуя дела:

Пускай заманчив гладкий путь,
Но ты своей высокой цели,

Поэт, и в песнях и на деле
Неколебимо верен будь...
И будь бестрепетным бойцом,
Бойцом за право человека... («Поэту»).

60-е годы — это значительный период в творчестве Плещеева, и глубоко ошибочны суждения, что он поэт исключительно 40-х годов.

Дальнейшее развитие в поэзии Плещеева получают мотивы практического, общественного дела, гражданина-борца («Нет! лучше гибель без возврата!..», «На сердце злоба накипела...», «Мольба»).

Горячей любовью к «первенцам свободы» — декабристам проникнуто стихотворение «Декабрист», по цензурным соображениям оно было названо «Старик», (посвящено событию, волновавшему современников — возвращению из ссылки 19-ти декабристов). Созданное до некрасовской поэмы «Дедушка» (1870), оно созвучно с ним. Плещееву дорого, что, невзирая на все испытания, декабристы верили в наступление желанной свободы, что они звали «юность пылкую» не относиться равнодушно к тому,

Как человечества права
Надменно сильный попирает...

Мысли поэта обращены к страданиям городских обитателей — демократическим элементам города, к противоречиям, таившимся в нем («На улице»).

Не менее интересно решение Плещеевым темы «двух путей». Стихотворение «Две дороги» созвучно песне Гриши Добросклонова о «двух путях», она находит воплощение у Плещеева раньше, чем у Некрасова. Но у обоих — путь один, «тесная дорога», «пусть кремнистый» — дорога счастья в грядущем. «Кто же из нас... не прочувствовал в жизни своей всего, что выразил Плещеев в своих... стихотворениях. Перед кем не раскрывалось двух путей...?» — писал современник.

Неизменно волновали поэта судьбы молодого поколения. Плещеев как бы благословлял его на борьбу за свободу. Стихотворение «К юности» отличает несокрушимая вера в ее наступление; поэт уверен, что «свежие борцы», т. е. молодежь, завершат дело, начатое старшим поколением. Лирический герой Плещеева идейно связан с «бойцами». Поэт уверен — его усилия не пропадут, вольются в общее дело:

...Когда ж желанный день настанет,
Пусть ваша дружная семья
Отживших нас добром помянет,
Нас всех, чья молодость прошла
В борьбе с гнетущей силой зла!

«К юности» тематически близко пушкинскому «Посланию в Сибирь», и это символично, ведь современники Плещеева нередко проводили аналогию между декабристами и петрашевцами. Оба стихотворения обращены к «дружной семье» борцов за свободу:

Иного, радостного дня...
Рассвет я вижу в отдаленьи
И говорю с восторгом я:
«Бог помочь, братья и друзья!
Несите твердою рукой
Святое знамя жизни новой...»

В стихах Плещеева возникают и образы «задавленных невзгодами» крестьян («Нищие», «Родное»).

В тяжелую пору — после смерти Добролюбова, ареста, осуждения и ссылки в Сибирь М. Л. Михайлова, Плещеев создал стихи, которые содержат приветствие друзьям, унесенным «житейскою волною» «врагам неправды черной»:

Восстающим против зла,
Не склоняющим покорно
Перед пошлостью чела... («Новый год»).

В 60-е годы слово «пошлость» приобрело определенный политический смысл, в этом значении его употребляли Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин.

В конце 50-х — начале 60-х годов Плещеев создает произведения сатирического плана, обличающие лицемерие, «фразерство» дворянского либерала, неизменно готового к компромиссам с «сильными мира» («Счастливец», «Если хочешь ты, чтоб мирно», «На сердце злоба накипела»). Чтобы опубликовать в «Современнике» стихотворение Плещеева «Мой знакомый», Добролюбову пришлось выдержать «бой» с цензором.

Две книжки плещеевских стихов 1861 и 1863 годов читатели встретили тепло, они привлекли внимание некрасовского «Современника». Эти стихи напомнили Михаилу Михайлову произведения Плещеева 40-х годов, проникнутые любовью к людям, их страданиям, от них веет «добрым чувством», «здоровым пониманием обязанностей и целей». «Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает», «благородное направление творчества поэта всегда будет полезным для общественного воспитания и найдет путь к молодым сердцам».

О «благородном» характере музы Плещеева, ее глубоких симпатиях к судьбе «униженных и оскорбленных», подкупающей искренности стихов, «большей частью прекрасных», писали и авторы других статей. Представляя читателям книгу 1863 года, Салтыков-Щедрин, говоря о важном значении общественного идеала для искусства, находит, что именно этим идеалом и обусловлено чувство, определившее глубину содержания произведений Плещеева, «самого искреннего и наиболее симпатичного русского поэта», оно вынесено из «всей его жизни». Он противопоставил реалистическую поэзию Плещеева творчеству «большинства наших лириков», искателей так называемых «гражданских мотивов». Гуманитарный лирик Плещеев «ничуть не виноват в том, что не может... дать более ясное определение общественных недугов». Одним из больших достоинств поэзии Плещеева он считал простоту формы.

Находясь под «строжайшим» надзором Плещеев вынужден вести себя как можно осторожнее, тем не менее он фигурирует в жандармских донесениях как «заговорщик», человек «очень скрытный», но, распространяющий «идеи, несогласные с видами правительства». Его считают членом подпольной организации «Земля и воля». Этого было достаточно, чтобы в 1863 г., арестовав Н. Г. Чернышевского, сфабриковать подложное письмо, якобы адресованное им «Алексею Николаевичу», о совместных противозаконных действиях. У Плещеева было сделано два обыска на городской квартире и на даче. Специальным указом его вытребовали в Петербург для очной ставки и допроса Поэт держался мужественно и, подтверждая свои литературные от-

ношения с Чернышевским, отверг все провокационные наветы, которыми его пытались привлечь к процессу Чернышевского.

Потрясенный расправой над Чернышевским, Плещеев в дни суда над ним создал стихотворение «Честные люди дорогой тернистою» — о «бойце благородном», которое увидело свет лишь через сорок лет, в 1905 году.

Наступают тяжелые годы реакции, печататься негде, закрыт «Современник», процветают реакционные издания. Кроме того, на поэта обрушивается и тяжелое личное горе — в декабре 1864 года умерла его жена, осиротели трое маленьких детей. Плещееву разрешено было «жить в Москве», но не служить в ней. Поднадзорный поэт с трудом мог получить место младшего ревизора Контрольной палаты Московского почтамта. Он «бьется, как рыба об лед», едва сводя концы с концами. К счастью, став во главе «Отечественных записок», Некрасов пригласил Плещеева сотрудничать в качестве секретаря редакции. Но для этого надо было переехать в Петербург, а поэт все еще находился под надзором, пришлось хлопотать о снятии его и разрешении проживать в столице. Когда это удалось, Плещеев с 1872 года вплоть до закрытия журнала в 1884 году,— бессменный секретарь, а после смерти Некрасова — заведующий стихотворным отделом. Он участвует в работе редакции, публикует в журнале оригинальные стихи, переводы в стихах и прозе, историко-литературные и публицистические статьи.

Тема революционного подвига — одна из главных в гражданской поэзии, занимает и в 70-е годы важное место в творчестве Плещеева. Его герои — люди трудной судьбы, испытавшие немало разочарований, неудач:

Веруя в силу свободного слова,
Думали мы, что могучая рать
Ринуться в битву с неправдой готова,
Стоило только ему прозвучать...

И хоть горько сознавать им:

Бедны мы оба, в потертой одежде;
Много от нас отшатнулось друзей...

Но на смену выходят новые борцы — «юность кипучая» —

Лихом она стариков не помянет,
Скажет: они пролагали нам путь... («Старики»).

Арест и ссылка Чернышевского не могли не вызвать у Плещеева подавленности, разочарования, и в эту трудную пору он обращается к своим великим современникам, замечательным деятелям — Белинскому, Добролюбову — «труженикам с высокою душой» («Я тихо шел по улице безлюдной», «Ты жаждал правды, жаждал света»), в ком «до конца не гас огонь святой».

И в 80-е годы жесточайшей реакции Плещеев звал «не утратить силы духа средь житейских бурь и гроз» («Без надежд и ожиданий», «На закате», «Так тяжело, так горько мне и больно»).

В 70—80-е годы Плещеев продолжал выступать как литературный, театральный критик, публицист. В «Отечественных записках» это «Современные заметки», охватывавшие широкий круг вопросов общественной и литературной жизни, а также статьи, посвященные Стендалю, Золя, Прудону и др., получившие признание Некрасова, Гончарова.

Замечательные стихи создал Плещеев для детей. Поэт знал детский мир, он был подвластен ему. Классическими стали — «Старик», («У лесной опушки домик небольшой...»), «В бурю», «Ненастье». В вокальном цикле «16 песен для детей» Чайковского — 14 написаны на слова Плещеева. В его стихах для детей большой мир, большой не столько по охвату жизненных явлений. сколько наблюдений и открытий ребенка, необычайно подверженного впечатлениям окружающей его жизни. Стихи Плещеева стали хрестоматийными, вошли в нашу речь, стали пословицами, поговорками и часто заучиваются наизусть

Широкую известность приобрела пейзажная лирика Плещеева, его образ Родины, которая мила красой своей суровой тому, кто «сам рвался на волю и простор, чей дух носил гнетущие оковы» («Отчизна»). Природа — целительница, успокаивающая дух («Отдохну-ка сяду у лесной опушки», «Люблю я под вечер тропинкою лесной», «Природа — мать! К тебе иду...»). Во многих плещеевских произведениях, особенно в таких поэтических миниатюрах, как «Уж тает снег, бегут ручьи», «Песни жаворонков снова», «В старый сад выхожу я, росинки», «Над росистыми лугами», природа одухотворена, все в ней трепещет, переливается тончайшими оттенками красок; их отличает простота, разговорные интонации («Что ты поникла, зеленая ивушка?»).

Стихи Плещеева необычайно музыкальны. Прекрасный знаток музыки, обладавший исключительной восприимчивостью к мелодии, поэт нередко придавал стихам форму песни или романса. Они полны напевности («Дездемоне», «Бал», «Песня», «Напев», «Знакомые звуки, чудесные звуки», «Ноктюрн»). Содержание, образность поэтической речи, музыкальность стиха — эти отличительные качества лирики Плещеева привлекли внимание лучших композиторов: Аренского, Мусоргского, Гречанинова, Варламова, Кюи, Рахманинова, Глиэра, Ипполитова-Иванова. Им близко было психологическое состояние лирического героя, его переживания. Чаще других обращался к плещеевским стихам Петр Ильич Чайковский. И его «Молчание», «Нам звезды кроткие сияли» стали, подобно романсам «То было раннею весной», «Средь шумного бала», шедеврами музыкальной культуры.

Важное место в творчестве Плещеева занимают переводы. Знаток зарубежных литератур, свободно владевший несколькими западноевропейскими языками, Плещеев по праву считается одним из видных поэтов-переводчиков XIX века. Его перу принадлежит около двухсот переводов из выдающихся европейских поэтов Гейне, Гете, Байрона, Петефи, Гартмана, Гюго, Т. Мура, Соути, Теннисона и других. Но больше всего — из Гейне. это «лучшие на русском языке переводы прелестных песен» (М. Михайлов) Переводил Плещеев и сатирические стихи Гейне — антиклерикальные, бичующие несправедливость, лицемерие в человеческих отношениях («Благотворитель», «Сиротки», «Юдоль плача», «Добродетельный пес» и др.). Плещеев стремился донести до русского читателя ненависть поэта «к сильным мира», ибо, подобно немецкому поэту, он видел, откуда идет «зло», отравлявшее существование многих людей. Так же, как Гейне, он чувствует бессилие в борьбе против этого «зла» и вынужден ограничиться лишь «едкой насмешкой».

Безошибочный художественный вкус определил и выбор Плещеевым для перевода впервые на русский язык романа «Красное и черное» Стендаля, романов «Жак», «Евангелистка» А. Додэ, «Чрево Парижа» Э. Золя, рассказов Мопассана, Брет-Гарта.

Переводческая деятельность Плещеева, тесно связанная с оригинальным творчеством, была его продолжением. Не имея порой возможности сказать «свое слово», Плещеев пропагандирует передовые идеи в переводах, что в меньшей степени было связано с опасностью цензурных преследований.

В 1884 году на него обрушился новый удар — закрыты «Отечественные записки». Он оказывается без средств к существованию. Вместе с основной группой членов редакции и сотрудников Плещеев начал создавать новый журнал — «Северный вестник», где с 1885 по 1890 год заведовал стихотворным и беллетристическими отделами, принимая близко к сердцу интересы журнала вообще и особенно его литературно-художественного отдела. Привлекая к сотрудничеству в нем крупных поэтов, беллетристов, общественных деятелей, Плещеев с доброжелательным вниманием относился и к начинающим, был их крестным отцом. Многие писатели, впоследствии прославившиеся, или, во всяком случае, снискавшие себе известность, были выведены на широкую дорогу именно им — Иван Захарович Суриков, Семен Надсон, К. Станюкович, Всеволод Гаршин. Плещеев сыграл большую роль в их творческом становлении. Это он одобрил первую крупную повесть Чехова «Степь», явившуюся началом его перехода от маленьких рассказов к крупным социально-психологическим повестям. Плещеев, а не только Григорович, как полагали раньше, способствовал этому переходу «Чехонте» к периоду высшего расцвета творчества. Тонкий критик, Плещеев увидел в произведениях Чехова «родник содержания внутреннего», наблюдательность, знание жизни, «живые лица». В противовес либерально-народнической критике, и, в частности, Михайловскому, который считал Чехова автором «бессюжетных, бессодержательных рассказов», Плещеев увидел в нем «самый большой талант из всех современных молодых писателей», «самую большую художественную силу в русской литературе» того времени.

Благодаря Плещееву был напечатан первый рассказ Александра Серафимовича (тогда политического ссыльного) «На льдине», которым он дебютировал в литературе.

Отклики на 40-летний литературный юбилей поэта, на первое полное собрание его стихотворений (1887), говорили о большой популярности Плещеева

Только в 1890 году Плещеев избавился от многолетней борьбы за существование, получив большое наследство. Немногим известно, что он внес значительную сумму в Литературный фонд, учредив «капиталы» имени Белинского и Чернышевского для поощрения талантливых писателей (сделать это в конце 80-х годов пришлось тайно), помогал семье больного Глеба Успенского, издал ряд книг молодых авторов, поддерживал учащихся, студентов, политических ссыльных, крестьян в охваченных голодом губерниях. Но здоровье поэта было подорвано. В сентябре 1893 года Плещеев поехал в Ниццу лечиться, остановился в Париже, где скоропостижно скончался, в ночь на 26-е. Похороны Плещеева в Москве вылились в своего рода демонстрацию передового студенчества Не случайно в Департаменте полиции было заведено «Дело о похоронах поэта А. Н. Плещеева», где фигурируют писатели, общественные деятели, участвовавшие в них, а также опасные надписи на венках — «Вперед! Без страха и сомненья», «Бойцу за право человека»!

В русской литературе XIX века Плещеев известен как активный участник политического движения 40-х годов, как поэт гражданской темы, убежденный сторонник прогрессивного искусства. Его поэзия развивалась в русле передовых традиций русской литературы, идущих от вольнолюбивой поэзии Пушкина и Лермонтова к творчеству Некрасова В основе миропонимания Плещеева и Некрасова лежали общие идейные источники, сходные эстетические принципы.

Влияние поэзии Плещеева или отдельных мотивов его стихотворений проявилось в творчестве И. Сурикова, С. Надсона, К. Бальмонта, А. Блока, П. Лаврова, П. Якубовича, И. Омулевского. Произведения Плещеева содействовали формированию демократических взглядов писателей и общественных деятелей братских народов — И. Франко, П. Грабовского, К. Хетагурова.

Широкую известность получили произведения Плещеева в Болгарии, Чехословакии, Югославии, где «Вперед! Без страха и сомненья» стало гимном первых революционеров. Стихи Плещеева переведены на многие языки, любимы читателями разных поколений; пройдя «завистливую даль», живут они и сейчас.

Л. С. Пустильник

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ 40-х годов

* * *

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам
И за него снесем гоненье,
Простив безумным палачам!

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;
И верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил!

СОН

(Отрывок из неоконченной поэмы)

> La terre est triste et desséchée; mais elle reverdira. L'haleine du méchant ne passera pas éternellent sur elle comme un souffle qui brûle.
>
> *«Paroles d'un crovant»* [1]

. . . .

Истерзанный тоской, усталостью томим,
Я отдохнуть прилег под явором густым.

Двурогая луна, как серп жнеца кривой,
В лазурной вышине сияла надо мной.

Молчало всё кругом...Прозрачна и ясна,
Лишь о скалу порой дробилася волна.

В раздумье слушал я унылый моря гул,
Но скоро сон глаза усталые сомкнул.

И вдруг явилась мне, прекрасна и светла,
Богиня, что меня пророком избрала.

Чело зеленый мирт венчал листами ей,
И падал по плечам златистый шелк кудрей.

Огнем любви святой был взор ее согрет,
И разливал на всё он теплоту и свет.

Благоговенья полн, лежал недвижим я
И ждал священных слов, дыханье притая.

Но вот она ко мне склонилась и рукой
Коснулася слегка груди моей больной.

И наконец уста разверзлися ее,
И вот что услыхал тогда я от нее:

---

[1] Земля печальна и иссушена зноем; но она зазеленеет вновь. Дыханье зла не вечно будет веять над нею палящим дуновеньем *«Слова верующего» (фр.)*

«Страданьем и тоской твоя томится грудь,
А пред тобой лежит еще далекий путь.

Скажу ль я, что тебя в твоей отчизне ждет?
Подымет на тебя каменья твой народ

За то, что обвинишь могучим словом ты
Рабов греха, рабов постыдной суеты!

За то, что возвестишь ты мщенья грозный час
Тому, кто в тине зла и праздности погряз!

Чье сердце не смущал гонимых братьев стон,
Кому законом был отцов его закон!

Но не страшися их! И знай, что я с тобой,
И камни пролетят над гордой головой.

В цепях ли будешь ты, не унывай и верь,
Я отопру сама темницы мрачной дверь.

И снова ты пойдешь, избранный мой левит,
И в мире голос твой недаром прозвучит.

Зерно любви в сердца глубоко западет;
Придет пора, и даст оно роскошный плод.

И человеку той поры недолго ждать,
Недолго будет он томиться и страдать.

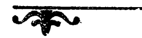
Воскреснет к жизни мир... Смотри, уж правды луч
Прозревшим пламенем сверкает из-за туч!

Иди же, веры полн... И на груди моей
Ты скоро отдохнешь от муки и скорбей!»

Сказала... И потом сокрылася она,
И пробудился я, взволнованный, от сна.

И Истине святой, исполнен новых сил,
Я дал обет служить, как прежде ей служил.

Мой падший дух восстал... И утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь...



ПОЭТУ

Le poéte doit être un protestant sublime
Du droit et de l'humanité.

A. Barbier [1]

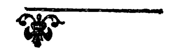
Кто не страдал святым страданьем,
Кто горьких слез не проливал,
Томимый тщетным ожиданьем
Увидеть вечный идеал;
Кто на покой и наслажденья
Души тревоги променял;
В пророков истины каменья
В угодность черни кто бросал;
Кто равнодушно видел муки,
Стон слышал брата своего
И в ком цепей тяжелых звуки
Не пробуждали ничего;
Кто сам, преданья раб послушный,
Готов оковы был носить
И вопли сердца малодушно
В забавах света заглушить,—
Тот не поймет твоих созданий,
Любовью дышащих святой,
И в жизнь иную упований
Не разделить ему с тобой!
И много их в толпе найдется,
Злых, фарисеев и глупцов,
Живущих мыслями отцов,
В ком речь твоя не отзовется;
Но ты иди прямой дорогой,
Привычной, смелою стопой;
Когда в душе сокровищ много,
Не расточай их пред толпой;
Но будь гонимых утешитель,
Врагам озлобленным прости
И верь, что встретишь, как
Спаситель,
Учеников ты на пути.
Но будет время... пронесутся
Дни бедствий, горя и тревог;

---

[1] Поэт должен быть возвышенным мятежником во имя права и человечности. *О. Барбье (фр.).*

Жрецы Ваала ужаснутся,
Когда восстанет правды бог!
Навеки в мире водворится
Священной истины закон,
И гордых власть пред ним смирится,
И смолкнет ненависть племен.
. . . .
. . . .

Да, верь: любви и примиренья
Пора желанная придет,
И мир, прозрев, твое ученье
Тогда великим назовет.



НА ЗОВ ДРУЗЕЙ

К чему ваш зов, друзья? Тревожною тоскою
Веселый, шумный пир к чему мне отравлять?
В восторженных стихах, за влагой золотою,
Давно уж Вакха я не в силах прославлять!

Не веселит меня разгульное похмелье,
И не кипит во мне отвагой прежней кровь;
Исчезло дней былых безумное веселье,
Иссякла дней былых безумная любовь!

А, кажется, давно ль, исполнен упованья,
В грядущее я взор доверчиво вперял,
И чужды были мне сомненья и страданья,
И, простодушный, я — о счастьи помышлял.

В ужасной наготе еще не представали
Мне бедствия тогда страны моей родной,
И муки братьев дух еще не волновали;
Но ныне он прозрел, и чужд ему покой!

Вхожу ли я порой в палаты золотые,
Где в наслажденьях жизнь проводит сибарит,
Гляжу ль я на дворцы, на храмы вековые,—
Всё мне о вековых страданьях говорит.

Сижу ли окружен шумящею толпою
На пиршестве большом,— мне слышен звук цепей;
И предстает вдали, как призрак, предо мною
Распятый на кресте божественный плебей!..

И стыдно, стыдно мне... От места ликованья,
Взволнован, я бегу под мой смиренный кров;
Но там гнетет меня ничтожества сознанье,
И душу всю тогда я выплакать готов!

Счастлив, кто прожил век без тягостных сомнений,
Кто взоры устремлял с надеждой к небесам;
Но я о счастье том не знаю сожалений
И за него моих страданий не отдам!

О, не зовите ж вы меня — я умоляю,—
Веселые друзья, на шумный праздник ваш:
Уж бога гроздий я давно не прославляю,
И не забыться мне под говор звонких чаш!..



СТРАННИК

> Oh! quand viendra-t-il donc se jour
> que je rêvais,
> Tardif réparateur de tant de jours
> mauvais?
> Jamais, dit la raison...
>
> *H. Moreau* [1]

Всё тихо... Тополи над спящими водами,
Как призраки, стоят, луной озарены;
Усеян свод небес дрожащими звездами,
В глубокий сон поля и лес погружены;

Воздушные струи полны ночной прохладой,
Повеял мне в лицо душистый ветерок...
Уж берег виден стал... и душит грудь отрадой,—
Быстрей же мчи меня, о легкий мой челнок.

---

[1] Ах, когда же он придет, этот день, о котором я мечтал, запоздалое возмездие за столько мрачных дней? Никогда, говорит рассудок... *Э. Моро (фр.).*

Я вижу, огонек мелькнул между кустами
И яркой полосой ложится на реке;
Скитальца ль ждешь к себе, с томленьем и слезами,
Ты, добрый друг, в своем уютном уголке?

С молитвою ль стоишь пред чистою Мадонной
И слышен шепот твой в полночной тишине;
Иль, может, рвешь листки ты розы благовонной,
Как Гретхен Фауста, гадая обо мне.

Услышав плеск волны, с улыбкой молодою
Ты другу выйдешь ли навстречу в темный грот,
Где, к моему плечу приникнув головою,
Ты говорила мне, бывало: «День придет,

И близок он, когда ни горя, ни страданий
Не будет на земле!» — Нет, он далек, дитя;
И если б знала ты, как много упований,
Прекрасных и святых, с тех пор утратил я!

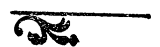
Ты помнишь ли, как мы с тобою расставались,
Как был я духом бодр, как полон юных сил!
Но вот разлуки дни, как грезы, миновались;
Отчизну и тебя я снова посетил!

И что ж? Утомлена бесплодною борьбою
Уже душа моя. Потух огонь в глазах;
И впала грудь моя, истерзана тоскою,
И не пылает кровь румянцем на щеках.

Я слышал ближних вопль, я видел их мученья,
Я предрассудка власть повсюду находил;
И страшно стало мне! И мрачный дух сомненья,
Ужасный дух, меня впервые посетил!

Бессилие мое гнетет меня всечасно;
Уж холод в сердце мне, я чувствую, проник;
И я спешу к тебе, спешу, мой друг прекрасный,
В объятиях твоих забыться хоть на миг!

Сгустилась ночи тьма над спящими водами,
Повеял мне в лицо душистый ветерок.
Усыпан свод небес дрожащими звездами,
Быстрей же к берегам неси меня, челнок!



ЕЕ МНЕ ЖАЛЬ

(Графу Д. А. Толстому)

Дай руку мне... Я понимаю
Твою зловещую печаль
И, полон тайных мук, внимаю
Твоим словам: «*Ее* мне жаль».

Как иногда в реке широкой
Грозой оторванный листок
Несется бледный, одинокой,
Куда влечет его поток,—

Так и она, веленью рока
Всегда покорная, пойдет
Без слез, без жалоб и упрека,
Куда ее он поведет.

В ее груди таится ныне
Любви так много... Боже мой,
Не дай растратить ей в пустыне
Огня, зажженного тобой!

Но этот взор, спокойный, ясный,
Да будет вечно им согрет,
И пусть на зов души прекрасной
Душа другая даст ответ.

Да, верь мне, друг, я понимаю
Твою зловещую печаль
И, полон грусти, повторяю
С тобою сам: «*Ее* мне жаль».



ЛЮБОВЬ ПЕВЦА

На грудь ко мне челом прекрасным,
Молю, склонись, друг верный мой!
Мы хоть на миг в лобзанье страстном
Найдем забвенье и покой!
А там дай руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем
И к небесам в борьбе с судьбою
Мольбы о счастье не пошлем...

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил,—
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Страдать за всех, страдать безмерно,
Лишь в муках счастье находить,
Жрецов Ваала лицемерных
Глаголом истины разить,
Провозглашать любви ученье
Повсюду — нищим, богачам —
Удел поэта... Я волнений
За блага мира не отдам.
А ты! В груди твоей мученья
Таятся также, знаю я,
И ждет не чаша наслажденья,—
Фиал отравленный тебя!
Для страсти знойной и глубокой
Ты рождена — и с давних пор
Толпы бессмысленной, жестокой
Тебе не страшен приговор.
И с давних пор, без сожаленья
О глупом счастье дней былых,
Страдаешь ты, одним прощеньем
Платя врагам за злобу их!
О, дай же руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем,
И к небесам в борьбе с судьбою
Мольбы о счастье не пошлем!..



БАЛ

(Отрывок)

Я помню бал. Горели ярко свечи,
И группы пестрые мелькали предо мной.
Я слушал то отрывистые речи,
То Ланнера мотив унылый и простой.
Но слушал их небрежно и зевая,
А взорами ее — одну ее искал.
Где ты, всегда нарядная, живая,
Как мотылек? Тебя давно я не видал,

Но все к тебе мои неслися думы,
Тобой и в этот миг они еще полны;
И жду тебя, усталый и угрюмый,
Я, как природа ждет дыхания весны!
И длился скучный бал до поздней ночи,
Я покидал его с досадою немой,
Но вдруг ее лазуревые очи,
Как будто две звезды, зажглися предо мной.
И увидал я вновь, отрады полный,
И плечи белые, как первый снег полей,
И смоляных волос густые волны,
И легкий стройный стан красавицы моей.
Но на щеках нет прежнего румянца...
Ты улыбаешься сквозь слезы? Ты грустна?
Устала ль ты, кружася в вихре танца,
Иль скорбь на дне души твоей затаена?
Ужель и ты обманута мечтами
И на страдания судьбой обречена?..
Вот руку мне дрожащими руками
Схватив, «Я замужем»,— произнесла она;
А грудь ее высоко волновалась,
И томный взор горел болезненным огнем;
И мука в этом взоре отражалась,
Как отражалось в дни былые счастье в нем.
И я поник в раздумье головою;
Сначала речь завесть о прошлом был готов,
Но, удручен тяжелою тоскою,
Остался, будто тень, и мрачен и без слов.

Я помню бал, горели ярко свечи...
За пестрою толпой следил я в стороне.
Но не искал мой взор отрадной встречи,—
Я никого не ждал, и скучно было мне.
Вдруг Ланнера послышались мне звуки —
Унылый вальс! Знаком он сердцу с давних дней,
И вспомнил я любви тревожной муки,
Я вспомнил блеск давно угаснувших очей!
Да! как листок весною пожелтелый,
На утре дней и ты увяла, ангел мой;
И видел я, как ты в одежде белой,
В венке из белых роз лежала под парчой...

. . . .

Я вспомнил всё... А музыка гремела,
И пестрая толпа кружилась предо мной!



* * *

1

«К чему мечтать о том, что *после* будет
с нами,
О том, чего уму постигнуть не дано...
Хоть часто тернии здесь смешаны с цветами,
Но все ж земную жизнь бесславить вам грешно.
Отрадного и в ней, поверьте, много, много...
Смотрите: гром затих, и ясен свод небес...
И тучи прочь бегут лазурною дорогой,
И шепчет им вослед привет прощальный лес.
Смотрите, как луга вокруг благоухают,
Упитана дождем зеленая трава,
И легкий ветерок с волной реки играет,
И рожь златистая колышется едва...
Прекрасен этот мир! Возможно наслажденье!
К чему ж о гробе нам всечасно говорить...
Здесь ласки жен и дев и страсти упоенья,
Здесь сердце может всё, что хочет, полюбить!»

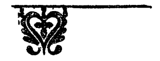
2

Да! Этот мир хорош; но право наслаждаться
Даровано ли всем могучею судьбой?..
Здесь узники вдали от родины томятся,
Там в рубище бедняк с протянутой рукой.
Тот солнечных лучей напрасно ищет взором,—
Не заглянут они в окно тюрьмы его...
Другой на небеса глядит с немым укором,—
От зноя отдохнуть нет крова у него!
Не для него красы улыбка молодая,
Его трудов другим всегда назначен плод.
Под тяжким бременем нужды изнемогая,
Прекрасным этот мир бедняк не назовет!..
Но пред лицом творца равны его созданья —
И *там* найдет бедняк за муки воздаянья!

3

Да, верю, верю я, что все пред ним равны...
Но люди не для мук — для счастья рождены!
И сами создали себе они мученья,

Забыв, что на кресте пророк им завещал
Свободы, равенства и братства идеал
И за него велел переносить гоненья.



* * *

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.

Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.

Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верно, отзыв в нем найдется
На неподкупный голос мой.



Н. МОРДВИНОВУ

Люблю тебя, мой друг, веселый и беспечный.
Люблю твой разговор, всегда чистосердечный,
Капризную хандру ты гонишь от меня.
Люблю твой взор живой, исполненный огня.
　　Люблю, что все в тебе так чуждо принужденья,
　　Как безотчетно ты порою увлечен.
　　Как искренно твое участье, сожаленье.
　　А этот звонкий смех, как откровенен он!
И не походишь ты на юношей-педантов,
На этих мудрецов, отживших в цвете лет,
В которых чувство спит под пылью фолиантов,
Которым все равно, хоть гибни целый свет!

Ты не таков! В тебе есть к истине стремленье,
Ты стать в ряды ее защитников готов,
Ты веришь, что придет минута искупленья,
Что смертный не рожден для скорби и оков!
Пока ты юн, ищи любви и наслажденья; —
Когда ж тебе порой взгрустнется в тишине
Иль посетит тебя тревожное сомненье,
Взволнует грудь твою, ты вспомни обо мне.
Ты вспомни, что душа моя всегда готова
Делить с тобой тоску и радость пополам,
И отзовуся я на дружеское слово,
И руку я тебе с участием подам!



СТАРИК ЗА ФОРТЕПЬЯНО

Что пройдет, то будет мило.

Пушкин

Воспоминание есть единственный рай, из которого нас нельзя выгнать; даже праотцы наши не были его лишены.

Жан-Поль.

Fille de la douleur, harmonie,
harmonie!
Langue que pour l'amour inventa
le génie!

Alfred de Musset («Lucie») [1]

Гармонической волною
Льются звуки в душу мне:
Говорят они с душою
О былом, о старине.

Помню: мы за фортепьяно
С ней сидели вечерком;
Помню ночку у фонтана,
Поцелуй в саду густом...

[1] Дочь страдания, гармония, гармония! Язык, который изобретен гением любви! *Альфред де Мюссе («Люси») (фр.).*

Помню грустное прощанье
В час разлуки роковой;
Помню клятвы, обещанья,
Взор, увлажненный слезой.

Всё теперь как не бывало:
Вот уж замужем она —
И любви не испытала
Так давно душа моя.

Я — старик; воспоминанья
Мне осталися одни:
В дни печали, в дни страданья
Утешенье мне они.

И под звуки фортепьяно
Как забудусь я порой,
Ночь, свиданье у фонтана —
Живо все передо мной.

Гармонической волною
Льются звуки в душу мне;
Говорят они с душою
О былом, о старине!



ЗВУКИ

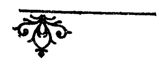
Не умолкай, не умолкай!
Отрадны сердцу эти звуки;
Хоть на единый миг пускай
В груди больной задремлют муки.

Волненья прошлых, давних дней
Мне песнь твоя напоминает;
И льются слезы из очей,
И сладко сердце замирает...

И мнится мне, что слышу я
Знакомый голос, сердцу милый;
Бывало, он влечет меня
К себе какой-то чудной силой;

И будто снова предо мной
Спокойный, тихий взор сияет
И душу сладостной тоской,
Тоской блаженства наполняет...

Так пой же! Легче дышит грудь,
И стихли в ней сомненья муки...
О, если б мог когда-нибудь
Я умереть под эти звуки!



* * *

1

Случайно мы сошлися с вами
И вот расстанемся опять.
Вы под чужими небесами
Красою будете пленять
То итальянцев смуглолицых,
То жизни полных парижан,
Холодной северной столицы
Забыв и скуку и туман!
Как не забыть, когда пред вами,
Блестя лазурными волнами,
Залив широкий зашумит
И кипарис вас осенит
Своими темными ветвями...
В сиянье лунном Колизей,
Свидетель Рима славных дней,
Предстанет гордый, величавый...
Польются Тассовы октавы,
Засвищет южный соловей...
Иль под окном вам серенаду
Влюбленный юноша споет,—
Всё незнакомую отраду,
Блаженство в душу вам прольет!
И заживете вы привольно
Вдали от русской стороны!
А я?.. Досадно мне и больно!
И жаль мне, жаль вас, как весны...
Да! как весна, вы согревали,
Живили сердце мне порой...

Сомненья прочь вы отгоняли,
Вы путеводною звездой
В пустыне жизни мне сияли...
И был я счастлив... Пустота
Меня, как прежде, не томила,
И прихотливая мечта
В грядущем что-то мне сулила...

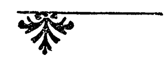
2

Но знают все, и с давних пор,
Что у судьбы обыкновенье —
Заветным нашим помышленьям
Идти всегда наперекор;
И вот уж близкий час разлуки
Вы мне пророчите, и вас
Молю я: дайте ваши руки
К губам прижать в последний раз!
Еще на миг до расставанья
У ваших ног забудусь я,
А там от муки и рыданья
Пусть разорвется грудь моя!

3

Но всё не верю я... Скажите,
Ужель расстаться должно нам?
А если должно — обманите:
Поверю вашим я словам.
И оживу я, обольщенный
Надеждой ложной... Так порой,
Путем далеким утомленный,
В степи широкой и пустой,
С ее зыбучими песками,
Находит пальму пилигрим,
И под тенистыми ветвями
Ложится он, и перед ним
Встают знакомые картины:
Он видит пестрые равнины,
Он видит горы и леса,
Луга, покрытые стадами,
И, отраженные водами,
Его родные небеса!
Он весел, счастлив, сердце бьется,
Струятся слезы по щекам;

Но гром в пустыне раздается...
Очнулся путник... и глазам
Предстала та же степь немая
И тот же ровный длинный путь,
И смотрит он кругом, вздыхая...
Тоска ему сжимает грудь;
А пальма стройная листами,
Над ним качаяся, шумит,
И он дрожащими устами
Ее за сон благодарит...



МОГИЛА

Листья шумели уныло
Ночью осенней порой;
Гроб опускали в могилу,
Гроб, озаренный луной.

Тихо, без плача, зарыли
И удалились все прочь,
Только луна на могилу
Грустно смотрела всю ночь.



НА ПАМЯТЬ

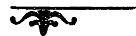
Когда назло моим желаньям
Нас воля рока разлучит,
Пускай мой стих воспоминанье
В вас о минувшем пробудит;

Напомнит вам о том, кто счастье
Лишь с вами в жизни находил,
Кто вам за дружбу и участье
Любовью искренней платил;

Кто никогда перед толпою
Вам льстивых слов не расточал,
Но, вдохновенный красотою,
Вам тайно стих свой посвящал...

Напомнит все — и, на досуге
Прочтя заветный ваш альбом,
Вы пожалеете о друге,
Вздохнете, может быть, о нем.

Так нам порой напоминает
Цветок засохший о весне,
Звук песни грустной исторгает
Из глаз слезу о старине.



СОСЕД

Скучно, грустно мне; в окошко
Небо серое глядит;
За стеной соседа песня
Вечно грустная звучит.

Кто сосед мой одинокий
И о чем тоскует он?
Иль судьбою прихотливой
Он с подругой разлучен?

Об отчизне ли далекой,
Об отваге ль прошлых дней
Вспоминает он, унылый,
В тесной комнатке своей?

Утомил его, быть может,
Жизни долгий, скучный путь
И, как я, скорей хотел бы
Странник бедный отдохнуть?

Кто б ты ни был, эти звуки
В душу мне отраду льют.
Пой, сосед!.. Но, видно, слезы
Кончить песню не дают.

Вот затих он; и, как прежде,
Все вокруг меня молчит,
И в окно мое печально
Небо серое глядит.



ПРОСТИ

Прости, прости, настало время!
Расстаться должно нам с тобой;
Белеет парус мой, и звезды
Зажглися в тверди голубой.

О, дай усталой головою
Еще на грудь твою прилечь,
В последний раз облить слезами
И шелк волос, и мрамор плеч!

А там расстанемся надолго...
Когда же мы сойдемся вновь,
Дитя! в сердцах, быть может, холод
Заменит прежнюю любовь!

Быть может, дерзко всё былое
Тогда мы вместе осмеем,
Хотя украдкой друг от друга
Слезу невольную прольем...

Прости же, друг! Полна печали
Душа моя... Но час настал,
И в путь нетерпеливым плеском
Зовет меня сребристый вал...



ОТВЕТ

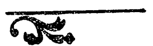
Мы близки друг другу... Я знаю,
Но чужды по духу... Любви
Давно я к тебе не питаю,
И холодны речи мои...

Не в силах я лгать пред тобою,
А правда страшна для тебя...
К чему же бесплодной борьбою
Всечасно терзать нам себя?

В кумирах мне бога не видеть,
Пред ними чела не склонить!
Мне все суждено ненавидеть,
Что рабски привыкла ты чтить!

«Кто истине, верный призванью,
Себя безвозвратно обрек,
И дом и семью без роптанья
Оставит»,— сказал нам пророк...
О, верь мне, напрасны упреки:

Расстаться нам должно с тобой...
Любви мы друг к другу далеки,
Друг друга мы чужды душой!..



НАПЕВ

О, отчего полна томленья
И странных грез душа моя,
Когда в тиши уединенья
Напев знакомый слышу я?

Не будят в сердце эти звуки
Печали, смолкнувшей давно,
Ни мук любви, ни слез разлуки
Им воскресить не суждено.

Но я люблю твой глас призывный,
Напев далекой стороны,
Как ропот моря заунывный
В часы вечерней тишины...



ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Ангел светлый, ангел милый!
Ты покинуть хочешь нас —
И летит к тебе унылый
Мой напев в последний раз.

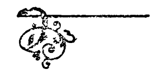
Хочет сердце разорваться;
Взор туманится слезой.
Я молю: налюбоваться
Дай в последний раз тобой!

О, явися мне, как прежде,
У заветного окна,
И отрадна, как надежда,
И прекрасна, как весна!

Позабыв и расставанье,
И тоску грядущих дней,
Погружусь я в созерцанье
Неземной красы твоей.

Налюбуюсь тишиною
Голубых твоих очей,
Золотых кудрей волною,
Бледным мрамором плечей.

Все напрасно. Ангел милый!
Знать, меня не слышишь ты.
Лишь качаются уныло
На окне твоем цветы...



* * *

<М. П. Я—й>

Люблю стремиться я мечтою
В ту благодатную страну,
Где мирт, поникнув головою,
Лобзает светлую волну;

Где кипарисы величаво
К лазури неба вознеслись,
Где сладкозвучные октавы
Из уст Торкватовых лились;

Где Дант, угрюмый и суровый,
Из ада тени вызывал;
К стопам Лауры свой лавровый
Венец Петрарка повергал;

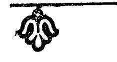
Где Рафаэль, благоговея,
Изображал Мадонны лик;
Из массы мрамора Психею
Кановы мощный перст воздвиг;

Где в час, когда луны сияньем
Залив широкий осребрен
И ароматное дыханье
Льют всюду роза и лимон,—

Скользит таинственно гондола
По влаге зыбкой и немой,
И замирает баркарола,
Как поцелуй, в тиши ночной!..

Где жили вы... Где расцветали
Роскошно-гордою красой!
О, расскажите ж, как мечтали
Вы в стороне волшебной той!

Я вас заслушаюсь... И в очи
Вам устремлю я тихий взгляд —
И небо южной, дивной ночи
Они поэту заменят!..



NOTTURNO[1]

Ночь тиха... Едва колышет
Ветер темные листы.
Грудь моя томленьем дышит,
И тоской полны мечты...

Звуки дивные несутся,
Слышу я, в тиши ночной:
То замрут, то вновь польются
Гармонической волной.

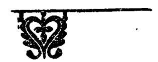
Вот вдали между кустами
Свет в окне ее мелькнул...
Как бы жаркими устами
Я к устам ее прильнул!

---

[1] Ноктюрн (*ит.*).

Ночь бы целую в забвенье
Все лобзал ее, лобзал...
И слезами упоенья
Грудь младую б обливал...

Но один я... Грустно, скучно!
Огонек в окне погас...
Глухо колокол докучный
Прогудел полночный час...



NOTTURNO

Я слышу, знакомые звуки
Несутся в ночной тишине —
Былые заснувшие муки
Они пробудили во мне.

Я слышу знакомые звуки,
Я жадно им прежде внимал
И молча на белые руки,
На светлые очи взирал.

Я слышу знакомые звуки,
И сердце стеснилось мое:
Я помню, в минуту разлуки,
Рыдая, я слушал ее.

Я слышу знакомые звуки
И вижу, опять предо мной
По клавишам белые руки
Скользят, серебримы луной...



* * *

Снова я, раздумья полный,
В книгу прошлого гляжу,
Но страниц, отрадных сердцу,
В ней не много нахожу!

Здесь напрасные стремленья —
Там напрасная любовь,
И сильнее год от году
Холодеет в сердце кровь.

А порой и мне казалось,
Счастье было найдено;
То же горе! Только счастьем
Притворялося оно!

С каждым днем дорога жизни
Все становится скучней...
И, послушный воле рока,
Вяло я бреду по ней!

Без надежды, без желанья,
Как волна катится вдаль...
Впереди не вижу цели,
И былого мне не жаль!



ПЕСНЯ

«Доброй ночи!» — ты сказала,
Подавая руку мне,
И желала много счастья,
Много радостей во сне.

«Пусть до самого рассвета
Снятся милые черты!» —
Улыбаяся лукаво,
Говорила другу ты!

И сбылись твои желанья,
И тебя увидел я!
Всё твои мне снились взоры,
Взоры, полные огня!

Снилось — в комнатке уютной
Мы сидим с тобой вдвоем;
На полу чертит узоры
Месяц палевым лучом.

Ты меня рукой лилейной
Привлекла на грудь свою,
Нежно в очи целовала
И шептала мне: «Люблю!»

И еще так много снилось...
Что за дивный, сладкий сон!
Пожелай, чтобы со мною
Наяву случился он!..



ПЕСНЯ

Выйдем на берег; там волны
Ноги нам будут лобзать;
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.

Там ветерок ароматный
Кудри твои разовьет;
Выйдем... Уныло качаясь,
Тополь к себе нас зовет.

В долгом и сладком забвенье,
Шуму внимая ветвей,
Мы отдохнем от печали,
Мы позабудем людей.

Много они нас терзали,
Мучили много, друг мой,
Те — своей глупой любовью,
Те — бесконечной враждой.

Всё мы забудем, как месяц
В темной лазури блеснет,
Всё — как природе и Богу,
Гимн соловей запоет!



ГИДАЛЬГО

Полночь. Улицы Мадрида
И безлюдны и темны.
Не звучат шаги о плиты,
И балконы не облиты
Светом палевым луны.

Ароматом ветер дышит,
Зелень темную ветвей
Он едва-едва колышет...
И никто нас не услышит,
О сестра души моей!

Завернись в свой плащ атласный
И в аллею выходи.
Муж заснул... Боязнь напрасна.
Отдохнешь ты безопасно
У гидальго на груди.

Иль как червь до утра гложет
Ревность сердце старика?..
Если сны его встревожат,
Шпага острая поможет,—
Не дрожит моя рука!

Поклялся твоей красою
Мстить я мужу твоему...
Не владеть ему тобою!
Знаю я: ты злой семьею
Продана была ему!

Выходи же на свиданье,
Донья чудная моя!
Ночь полна благоуханья,
И давно твои лобзанья
Жду под сенью миртов я!

* * *

Когда я в зале многолюдном,
Тревогой тайною томим,
Внимаю Штрауса звукам чудным,
То полным грусти, то живым;
Когда пестреет предо мною
Толпа при свете ярких свеч;
И вот, улыбкой молодою
И белизной прозрачных плеч
Блистая, ты ко мне подходишь,
В меня вперяя долгий взор,
И разговор со мной заводишь,
Летучий, бальный разговор...
О, отчего так грустно, больно
Мне станет вдруг?.. Тебе едва
Я отвечаю, и невольно
На грудь клонится голова.
И все мне кажется, судьбою
На муки ты обречена,
Что будет тяжкою борьбою
И эта грудь изнурена;
Что взор горит огнем страданья,
Слезу напрасно затая;
Что безотрадное рыданье
За смехом звонким слышу я!
И жаль мне, жаль тебя — и слезы
Готовы кануть из очей...
Но это всё больные грезы
Души расстроенной моей!
Прости мне, друг; не зная скуки,
Забыв пророческую речь,
Кружись, порхай под эти звуки
При ярком свете бальных свеч!



* * *

Когда увижу я нежданно погребенье
И мыслю, что собрат, земной покинув пир,
От жизненных трудов найдя успокоенье,
Сокрылся навсегда в неведомый нам мир,
Тогда опустятся невольно руки долу,

И дух мятежный мой смирится и молчит,
И скорбная душа к отца небес престолу,
Безмолвствуя, в мольбе, но с трепетом летит.
В тот миг душа свята, она чужда земного,
Она так далека всех жизненных сует,
И у подножия престола всеблагого
За милость и покров дает ему обет:
На жизненном пути нездешних наслаждений
Искать, и требовать, и помнить смертный час,
Для неба на земле, средь горя и мучений,
Прожить всегда в добре, для ближнего трудясь.
Но человека здесь мир суетный тревожит,
Тяжел обет души!.. Его он позабыл,
Без вздорных радостей он в мире жить не может
И все, живя, грешит, как прежде он грешил.
Как дети в жизни мы достойны сожаленья!
Нас надо не учить, а только забавлять.
Ребенок закричал, заплакал, в утешенье
Ему торопится подать игрушку мать.
Его утешили на время, хорошо ли?
Не лучше было бы ребенка наказать;
В нем нет еще ума — в нем есть желанье воли,
И им руководить должны отец и мать!..



ПЕВИЦЕ

(Виардо Гарсии)

> Fille de la douleur, harmonie, harmonie,-
> Langue que pour l'amour inventu le génie,
> Qui nous vint d'Italie et qui lui vint des cieux.
>
> *Alfred de Musset* [1]

Нет! Не забыть мне вас, пленительные звуки,
Как первых сладких слез любви мне не забыть!
Когда внимал я вам, в груди смирялись муки,
И снова был готов я верить и любить!

[1] Дочь страдания — гармония, гармония! Язык, который гение изобретен для любви, дар, который мы получили от Италии, а она от неба. *Альфред де Мюссе (фр.).*

Мне не забыть ее... То жрицей вдохновенной,
Широколиственным покрытая венком,
Она являлась мне... и пела гимн священный,
А взор ее горел божественным огнем...
То бледный образ в ней я видел Дездемоны,
Когда она, склонясь над арфой золотой,
Об иве пела песнь... и прерывали стоны
Унылый перелив старинной песни той.
Как глубоко она постигла, изучила
Того, кто знал людей и тайны их сердец;
И если бы восстал великий из могилы,
Он на чело ее надел бы свой венец.
Порой являлась мне Розина молодая
И страстная, как ночь страны ее родной...
И, голосу ее волшебному внимая,
В тот благодатный край стремился я душой,
Где все чарует слух, все восхищает взоры,
Где вечной синевой блистает неба свод,
Где свищут соловьи на ветвях сикоморы
И кипариса тень дрожит на глади вод!
И грудь моя, полна святого наслажденья,
Восторга чистого, вздымалась высоко,
И отлетали прочь тревожные сомненья,
И было на душе спокойно и легко.
Как друга, после дней томительной разлуки,
Готов я был весь мир в объятья заключить...
О, не забыть мне вас, пленительные звуки,
Как первых сладких слез любви мне не забыть!



ЭЛЕГИЯ

(На мотив одного французского поэта)

Да, я люблю тебя, прелестное созданье,
Как бледную звезду в вечерних облаках,
Как розы аромат, как ветерка дыханье,
Как грустной песни звук на дремлющих водах;

Как грезы я люблю, как сладкое забвенье
Под шепот тростника на береге морском,—
Без ревности, без слез, без жажды упоенья;
Любовь моя к тебе — мечтанье о былом...

Гляжу ль я на тебя, прошедшие волненья
Приходят мне на ум, забытая любовь
И всё, что так давно осмеяно сомненьем,
Что им заменено, что не вернется вновь.

Мне не дано в удел беспечно наслаждаться:
Передо мной лежит далекий, скорбный путь;
И я спешу, дитя, тобой налюбоваться,
Хотя на миг душой от скорби отдохнуть.



НОЧНЫЕ ДУМЫ

1. ДЕЗДЕМОНЕ

(Виардо Гарсии)

1

Когда твой голос серебристый,
О Дездемона, слушал я,
Восторгом пламенным и чистым
Была полна душа моя!

Я говорил: нет, эти звуки
С небесной льются вышины;
Пустой, бесплодной жизни муки
Нам усладить они даны!

Я в это чудное мгновенье
Людей и мир — все позабыл:
Я весь был слух и восхищенье,
Я жадно каждый звук ловил!

Молилась ты, или рыдала,
Иль тихо пела песнь любви —
Как сердце билось, замирало
При звуках тех в моей груди!

Шекспира светлое созданье
Ты так глубоко поняла
И Дездемоны все страданья
Так верно нам передала!

2

Меж тем как шум рукоплесканья
И кликов залу оглашал,
Лишь я один сидел в молчанье,
Ничем восторг не выражал.

Я не бросал тебе букеты,
Не бросил я тебе венок;
Но стих созрел в душе поэта —
Прими же: вот и мой цветок!

Прими его... Хоть не блистает
Красой он южного цветка,
Но солнце так же оживляет
Листки и роз... и василька!

2. БЕЗОТЧЕТНАЯ ГРУСТЬ

Fühlt das Herz ein Sehnen
Und ein süsses Weh.

Rückert[1]

Ночь весенняя прохладна,
Ароматна и ясна;
В небе чистом тихо светит
Серебристая луна,
И лучом она лобзает
Грудь холодную реки;
За рекою слышны песни
И мелькают огоньки.

Грустно мне! Тоска на сердце
Безотчетная лежит,
По щеке слеза бежит!
Вот луну сокрыли тучи —
Огоньков уж не видать...
Стихли песни... Скоро ль, сердце,
Перестанешь ты страдать!

---

[1] Сердце чувствует томленье и сладостную скорбь. *Рюккерт (нем.).*

3. ДАЧИ

Люблю я вас, дачки! Идешь себе ночью,
А окна, балконы отворены все;
И звук фортепьяно оттуда несется,
И льются напевы в ночной тишине.
А вот у окна вдруг явилась головка;
Вот черные очи, как звезды блестят,
На плечах лилейных шелковые кудри,
Атласные щечки румянцем горят!
И смотришь — а ночь так свежа и ясна,
И розами пахнет, и светит луна!



ЧЕЛНОК

(П<етру> В<ладимировичу> В<еревкин>у)

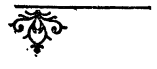
Leg'an mein Herz dein Köpfchen,
Und fürchte dich nicht zu sehr...[1]

H. Heine

Сядем в челнок мы, малютка,
Сядем и вдаль поплывем;
Видишь, высокие скалы...
Ночь мы всю там проведем...

Там, от народа подальше,
Можем свободно вздохнуть;
Тихо кудрявой головкой
Ты мне приникнешь на грудь...

Стану я ей любоваться,
Глазки твои целовать...
Так ли? А месяц и звезды
Будут над нами сиять!



[1] Положи твою головку на мое сердце и не слишком бойся. *Г. Гейне (нем.).*

ДУМА

Как дети иль рабы, преданию послушны,
Как часто в жизни мы бываем равнодушны
К тому, что сердце нам должно бы разрывать,
Что слезы из очей должно бы исторгать.
Мы плакать не хотим, мы не хотим терзаться
И предрассудкам казнь в сомнениях искать;
Не лучше ль слепо им во всем повиноваться,
А в бедствиях судьбу спокойно обвинять!
И, мимо жертв идя шумящею толпою,
Вздыхать и говорить: так велено судьбою!
Когда же совесть вдруг, проснувшись, скажет нам:
«Виновник бед своих — ты, жалкий смертный, сам...
Ты глух, как истукан, на глас мой оставался
И, призрака создав, ему повиновался!» —
Вопль сердца заглушить мы поспешим скорей,
Чтобы не отравить покоя наших дней!
Когда ж среди толпы является порою
Пророк с могучею, великою душою,
С глаголом истины священной на устах,—
Увы, отвержен он! Толпа в его словах
Учения любви и правды не находит...
Ей кажется стыдом речам его внимать,
И, вдохновенный, он когда начнет вещать,—
С насмешкой каждый прочь, махнув рукой, отходит.
. . . .



* * *

Страдал он в жизни много, много,
Но сожаленья не просил
У ближних, так же как у бога,
И гордо зло переносил.

А было время — и сомненья
Свои другим он поверял,
Но тщетно... бедный не слыхал
От брата слова утешенья!

Ему сказали: «Молод ты,
Остынет жар в крови с летами,
Исчезнут пылкие мечты...
Так точно было прежде с нами!»

Но простодушно верил он,
Что не напрасны те стремленья,
И прозревал он в отдаленье
Священной истины закон.

Ему твердили с укоризной,
Что не любил он край родной;
Он мир считал своей отчизной
И человечество — семьей!

И ту семью любил он страстно
И для ее грядущих благ
Истратить был готов всечасно
Избыток юных сил в трудах.

Но он любимым упованьям
Пределы всюду находил
В стране рабов слепых преданья,
И жажды дел не утолил!

И умер он в борьбе бесплодной,
Никто его не разгадал;
Никто порывов не узнал
Души любя́щей, благородной...

Считали все его пустым,
И только юность пожалели;
Когда ж холодный труп отпели,
Рыданья не было над ним.

Над свежей юноши могилой
Теперь березы лишь шумят
Да утром пасмурным звучат
Напевы иволги унылой...



НОВЫЙ ГОД

(Кантата с итальянского)

Голос

Слышны клики — поздравленья,
Хрусталя заздравный звон.
Ближе час освобожденья,
Ближе истины закон!

Хор

Год еще мы отстрадали,
Изнуренные борьбой,
Тщетно руки простирали
К небу с теплою мольбой.

Тщетны, тщетны все моленья!
Правды бог не восстает.
Тяжко нам! Зерно сомненья
Каждый день в груди растет.

Голос

О, к чему, к чему роптанье!
Искупленья близок час.
Дух лукавый отрицанья
Да отыдет прочь от вас!

Дни тревог и горя, братья,
Пролетят, как смутный сон.
Уж гремят врагам проклятья —
Слышу я — со всех сторон.

Близок час последней битвы!
Смело двинемся вперед,—
И услышит бог молитвы
И оковы разобьет.



СТИХОТВОРЕНИЯ 50-60-х годов

ПОСВЯЩЕНИЕ

Домчатся ль к вам знакомых песен звуки,
Друзья моих погибших юных лет?
И братский ваш услышу ль я привет?
Всё те же ль вы, что были до разлуки?

Быть может, мне иных не досчитаться!
А те — в чужой, далекой стороне,
Уже давно забыли обо мне...
И некому на песни отозваться!

Но я — средь бурь, в дни горя и печали —
Был верен вам, весны моей друзья,
И снова к вам несется песнь моя,
Когда, как сон, невзгоды миновали.



РАЗДУМЬЕ

Дни скорби и тревег, дни горького сомненья,
Тоски болезненной и безотрадных дум,
Когда ж минуете? Иль тщетно возрожденья
Так страстно сердце ждет, так сильно жаждет ум?

Не вижу я вокруг отрадного рассвета;
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор.
Исчезли без следа мои младые лета,
Как в зимних небесах сверкнувший метеор.

Как мало радостей они мне подарили,
Как скоро светлые рассеялись мечты!
Морозы ранние безжалостно побили
Беспечной юности любимые цветы.

И чистых помыслов, и жарких упований
На жизненном пути растратил много я;
Но средь неравных битв, средь тяжких испытаний
Что ж обрела взамен всех грез душа моя?

Увы! лишь жалкое в себе разуверенье
Да убеждение в бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себе пощады от судьбы.

И даже ты моим призывам изменила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привета братского живительная сила
Мне не врачует дух в тревогах бытия.

Но пусть ничем душа больная не согрета,
А с жизнью все-таки расстаться было б жаль,
И хоть не вижу я отрадного рассвета —
Еще невольно взор с надеждой смотрит вдаль.



С. Ф. ДУРОВУ

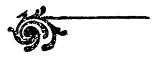
Уедешь ты на теплый юг!
И где лазурью блещет море —
Покинет тело злой недуг,
Покинет сердце злое горе.

Там отдохнет в семье друзей
Душа, изведавшая муки,
И песен, выстраданных ей,
К нам долетят святые звуки...

И все, что рок во дни невзгод
Давил железною рукою,
Вдруг встрепенется, оживет,
Как цвет под влагой дождевою.

Господь тебя благослови
За годы долгие несчастья
И тихой радостью любви,
И дружбы ласковым участьем.

И если радостные дни
Придут, послушные желанью,
Меня, собрата по изгнанью,
Ты добрым словом помяни!



* * *

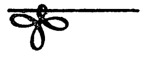
Тобой лишь ясны дни мои,
Ты их любовью озарила,
И духа дремлющая сила
На зов откликнулась любви!

О, если б я от дней тревог
Переходя к надежде новой,
Страницу мрачного былого
Из книги жизни вырвать мог!

О, если б мог я заглушить
Укор, что часто шепчет совесть!
Но нет! бесплодной жизни повесть
Слезами горькими не смыть.

Молю того, кто весь любовь,
Он примет скорбное моленье
И, ниспослав мне искупленье,
К добру меня направит вновь —

Чтобы душа моя была
Твоей души достойна ясной,
Чтоб сердца преданности страстной
Ты постыдиться не могла!



* * *

Ты мне мила, пора заката!
Какой-то кроткой тишиной
В тот миг душа моя объята;

Как исцелившийся больной,
Что к жизни ждать не мог возврата,
Любви, спокоен и счастлив,
Я к сердцу чувствую прилив.

Земные битвы, скорбь земную,
Все бремя будничных забот
Я забываю; в грудь больную
Отраду вечер ясный льет;
И я молю, чтоб жизнь такую,
Как этот час, господь послал
Тому, кто в битве духом пал.



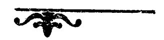
* * *

Еще один великий голос смолк,
Правдивый голос обличенья!
Но где же слезы сожаленья?
Лишь дети лжи, поднявши буйный толк,
Глумятся над великой тенью.

Давно ль он словом пламенным карал
Тебя, изнеженное племя!
Давно ль любви и правды семя
В сердца людей так щедро он бросал?
Иль позабыто это время?

Недолго волновала нас
Тех слов пророческая сила;
Дымятся снова злу кадила;
И все, о чем вещал пророка глас,
Корысть и пошлость поглотила!

Но день придет — и стихнет клевета,
И вместо криков озлобленья,
В тот день великий возрожденья,
Услышит дух поборника Христа
Толпы людской благословенья!



ПРИ ПОСЫЛКЕ РАФАЭЛЕВОЙ МАДОННЫ

Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания;
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования!

М. Лермонтов

В часы тяжелых дум, в часы разуверенья,
Когда находим жизнь мы скучной и пустой
И дух слабеет наш под бременем сомненья,
Нам нужен образец терпения святой.

А если те часы печали неизбежны
И суждено вам их в грядущем испытать,
Быть может, этот лик, спокойный, безмятежный,
Вам возвратит тогда и мир и благодать!

Вы обретете вновь всю силу упованья,
И теплую мольбу произнесут уста,
Когда предстанет вам Рафа́эля созданье,
Мадонна чистая, обнявшая Христа!

Не гасла вера в ней и сердце не роптало,
Но к небу мысль всегда была устремлена;
О, будьте же и вы — что б вас ни ожидало
Исполнены любви и веры, как она!

Да не смущает вас душевная тревога;
Да не утратите средь жизненного зла,
Как не утратила святая матерь бога,
Вы сердца чистоты и ясности чела.



ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

(Л. З. Д<андевиль> — при посылке моих стихов)

Опять весна! Опять далекий путь!
В душе моей тревожное сомненье;
Невольный страх мою сжимает грудь:
Засветится ль заря освобожденья?

Велит ли бог от горя отдохнуть,
Иль роковой, губительный свинец
Положит всем стремлениям конец?
Грядущее ответа не дает...
И я иду, покорный воле рока,
Куда меня звезда моя ведет...
В пустынный край, под небеса Востока!
И лишь молю, чтоб памятен я был
Немногим тем, кого я здесь любил...
О, верьте мне, вы первая из них!

Я забывал при вас тоску изгнанья.
Вам и теперь мой безыскусный стих,
Как сердца дань, я шлю на расставанье.
Пусть иногда в раздумья тихий час
Он обо мне заставит вспомнить вас.

И может быть, вы дружеский привет
Пошлете мне, исполнены участья,
Чтоб, лаской той утешен и согрет,
Мой дух не мог утратить веры в счастье...
Так на чужбине пленнику порой
Отрадна песнь страны его родной!



ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ГАЗЕТ

Мне тяжело читать кровавые страницы,
Что нам о племенных раздорах говорят,
Как тяжело смотреть на сумрачные лица
Семьи, где издавна господствует разлад.

Отчизну я люблю глубоко и желаю
Всей полнотой души цвести и крепнуть ей,
Но к племенам чужим вражды я не питаю,
Ей места нет в душе незлобивой моей.

Рассказ о подвигах на поле грозной битвы
Восторгом пламенным мне не волнует кровь;
И к небесам я шлю горячие молитвы,
Чтоб низошла в сердца озлобленных любовь.

Чтоб миновали дни тревог, ожесточенья,
Чтоб, позабыв вражду и ненависть свою,
Покорные Христа высокому ученью,
Все племена слились в единую семью!



МОЛИТВА

О боже мой, восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый:
Я жажду веры и любви,
Для новых битв я жажду силы.

Запуган мраком ночи я,
И в нем я ощупью блуждаю;
Ищу в светильник свой огня,
Но где обресть его, не знаю.

В изнеможенья скорбный час
Простри спасительные руки,
Да упадет завеса с глаз,
Да прочь идут сомненья муки.

Внезапным светом озарен,
От лжи мой ум да отрешится
И вместе с сердцем да стремится
Постигнуть истины закон.

Услышь, о боже, голос мой!
Да возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь — и без возврата!



С.......У

Перед тобой лежит широкий новый путь.
Прими же мой привет, не громкий, но сердечный
Да будет, как была, твоя согрета грудь
Любовью к ближнему, любовью к правде вечно

Да не утратишь ты в борьбе со злом упорной
Всего, чём нынче так душа твоя полна,
И веры и любви светильник животворный
Да не зальет в тебе житейская волна.

Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;
Иди, храня в душе свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою
И ободряя тех в борьбе, кто духом пал.

И если в старости, в раздумья час печальный,
Ты скажешь: в мире я оставил добрый след,
И встретить я могу спокойно миг прощальный,—
Ты будешь счастлив, друг: иного счастья нет!



В СТЕПИ

Так скоро, может быть, покинуть должен я,
О степь унылая, простор твой необъятный;
Но вместо радости зачем душа моя
Полна какою-то тоскою непонятной?

Жалею ль я чего? Или в краю ином
Грядущее сулит мне мало утешенья?
И побреду я вновь знакомым мне путем,
Путем забот, печалей и лишенья.

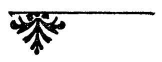
Как часто у судьбы я допросить хотел,
Какую пристань мне она готовит...
Зачем неравный бой достался мне в удел,
Зачем она моим надеждам прекословит?

Ответа не было. Напрасно я искал,
Куда б усталою приникнуть головою...
Не видно пристани... И счастья идеал
Уж я давно зову ребяческой мечтою!..

Но пусть без радостей мои проходят дни...
Когда б осталось мне отрадное сознанье,
Что к благу ближнего направлены они,
Я б заглушил в себе безумное роптанье;

Но нет, еще ничьих не утирал я слез
И сердца голосу был часто непослушен;
Я утешения несчастным не принес,
И слаб я был, и горд, и малодушен.

И жаль мне, что я жизнь покину без следа,
Как покидаю край печального изгнанья,
Что ни единый друг от сердца никогда
Не сжал руки моей в минуту расставанья.



* * *

Не говорите, что напрасно,
Что для бесплодной лишь борьбы
Стремлений чистых и прекрасных
Дано вам столько от судьбы.

Что все, чем полно сердце ныне,
Подавит жизни тяжкий гнет;
Что все растратится в пустыне,
Что дать могло бы цвет и плод.

К чему напрасные сомненья!
Идите смелою стопой;
Вы не из тех, в ком увлеченья
С летами гаснет жар святой.

Пусть дух изведает страданье,
В борьбе пусть будет закален;
И из горнила испытанья
И чист и крепок выйдет он.

Храните ж чистые химеры
Души возвышенной своей,
И животворный пламень веры
Пусть до конца не гаснет в ней!



* * *

О, если б знали вы, друзья моей весны
Прекрасных грез моих, порывов благородных,
Какой мучительной тоской отравлены
Проходят дни мои в волнениях бесплодных!

Былое предо мной как призрак восстает,
И тайный голос мне твердит укор правдивый;
Чего убить не мог суровой жизни гнет,
Зарыл я в землю сам,— зарыл, как раб ленивый.

Душе была дана любовь от бога в дар
И отличать дано добро от зла уменье;
На что же тратил я священный сердца жар,
Упорно ль к цели шел во имя убежденья?

Я заключал не раз со злом постыдный мир
И пренебрег труда спасительной дорогой,
Не простирал руки тому, кто наг и сир,
И оставался глух к призывам правды строгой.

О, больно, больно мне!!! Скорбит душа моя,
Казнит меня палач неумолимый — совесть;
И в книге прошлого с стыдом читаю я
Погибшей без следа, бесплодной жизни повесть.



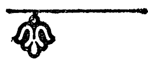
* * *

Когда мне встретится истерзанный борьбою,
Под гнетом опыта поникший человек;
И речью горькой он, насмешливой и злою,
Позору предает во лжи погрязший век;

И вера в род людской в груди его угасла,
И дух, что некогда был полон мощных сил,
Подобно ночнику, потухшему без масла,
Без веры и любви стал немощен и хил;

И правды луч, сверкающий за далью
Грядущих дней, очам его незрим,—
Как больно мне! Глубокою печалью
При встрече той бываю я томим.

И говорю тогда: явись, явись к нам снова,
Господь, в наш бедный мир, где горе и разлад;
Да прозвучит еще божественное слово
И к жизни воззовет твоих отпадших чад!



* * *

Что за детская головка,
Что за тонкие черты!
И в улыбке и в движеньях
Сколько детской простоты!

Лишь во взгляде, полном думы,
Я читаю иногда,
Что исчезли безвозвратно
Детской резвости года.

То огнем, то негой дышат
Эти карие глаза;
Знать, для сердца наступает
Страсти первая гроза...

И боюсь я, и невольно
Грудь сжимается тоской:
Не степной былинке слабой
С ураганом вынесть бой!



СТРАННИК

Томит меня мой страннический путь.
Хотелось бы под вечер на покой,
Хотелось бы на дружескую грудь
Усталою приникнуть головой.

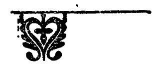
Была пора — и в сердце молодом
Кипела страсть, не знавшая преград;
На каждый бой с бестрепетным челом
Я гордо шел, весенним грозам рад.

Была пора — огонь кипел в крови;
И думал я, что песнь моя сильна,
Что правды луч, что луч святой любви
Зажжет в сердцах озлобленных она.

Где ж силы те, где бодрость прежних лет?
Сгубила их неравная борьба;
И пустота, бесплодной жизни след,
Ждет неизбежная, как древняя судьба.

Пора домой! Не опоздать бы мне;
Не заперты ль ворота на запор?
И огонек мерцает ли в окне,
Маня к себе усталый, грустный взор?

Отворят ли с улыбкою мне дверь?
Услышу ли я ласковый привет:
«Не одинок, не странник ты теперь:
Ты отдохнешь, любовию согрет...»



ЗИМНЕЕ КАТАНЬЕ

Зимней ночью при луне
Я душе твоей раскрою
Все, что ясно будет мне.

Фет

Посмотри, на небе звезды,
Снег блистает серебром...

Едем, друг мой... ночью зимней
Мчаться весело вдвоем.

Полетит как птица тройка,
Колокольчик зазвенит,
И раскинется пред нами
Бесконечный степи вид.

Все, что сердце днем тревожит:
И забот докучных рой,
И судьбы насмешки злые —
Все забудем мы с тобой.

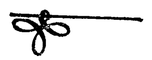
И пускай перенесемся,
Обаяния полны,
В мир волшебных пестрых сказок
Нашей доброй старины.

Будем думать, что в хрустальный
Ты дворец заключена,
Что тебя я похищаю
От седого колдуна...

Что мечом моим булатным
Сторож твой — косматый зверь —
Поражен, и мы с тобою
Птицы вольные теперь.

Право, этот мир чудесный
Лучше нашего в сто крат;
Лучше козни чародеев,
Чем житейский наш разлад.

Едем! ждут за воротами
Сани, крытые ковром;
В небе месяц, в небе звезды —
Снег блистает серебром!



ЛИСТОК ИЗ ДНЕВНИКА

> Elle était de ce monde où les plus belles choses
> Ont le pire destin,
> Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
> L'espace d'un matin [1].

Средь жизни будничной, ее тревог докучных,
Незримых, тайных битв, с той жизнью неразлучных,
Воспоминание лелею я одно,
И сладко так душе и горестно оно.

Я помню, в дальний край гнала меня неволя,—
Судьбы игрушкой быть куда плохая доля!
Так мудрено ль, что злость мне волновала грудь
И что казался мне невыносим мой путь?
Хоть город тот, что мне покинуть предстояло,
Для сердца моего и не был мил нимало,
Но привыкает скоро русский человек:
Где месяц проживет, как будто прожил век,
Притом же иногда меж чопорных педантов,
Меж сплетниц набожных, самодовольных франтов,
Заброшено судьбой, как перл в песке морском,
Найдется существо и с чувством и с умом;
Согреет вас его приветливое слово,
И вы на остальных махнуть рукой готовы.
Так было и со мной: я помню ясный взор,
Улыбку добрую, веселый разговор,
Что от меня вражду, сомненье и печали —
Как духов утра свет — внезапно отгоняли.
С кудрявым мальчиком, с нарядным мотыльком
Я не сравню ее плохим своим стихом;
Но жаль мне, что она не встретила поэта:
Не подарил бы он другой сравненье это.
Красавицей она назваться не могла,
Но детской резвостью, но ясностью чела
Она влекла к себе с неодолимой силой;
И тот, кого она приветом вскользь дарила,
Хотя б под бурями житейскими поник,
Душою воскресал и весел был на миг.

[1] Она жила в том мире, где все прекрасное постигает самая жестокая участь, и роза, она прожила столько, сколько живут розы,— дно утро (*фр.*).

Любуясь милою головкою, бывало,
Я рад был, что судьба ее так баловала,
Что жаль ее судьбе; что от тревог и зла
Она щадит ее: печаль бы к ней не шла...

Итак, я уезжал. На долгую разлуку
Еще пришел я раз пожать ей братски руку;
Хотел ей высказать, что там, в глуши степей,
С любовью буду я воспоминать о ней;
Что днями светлыми я ей одной обязан,
Что к ней останусь я душой навек привязан,
И много кой-чего сказать еще хотел;
Но слов не находил и как немой сидел.
И лучше, может быть! Мой взор сентиментальный
Мог рассмешить ее, пожалуй, в час прощальный!
«Мы с вами свидимся, я знаю, через год,
Вас участь лучшая в краю далеком ждет»,—

Она сказала мне с своей улыбкой ясной.
Как солнечным лучам в осенний день ненастный,
Я рад улыбке был; словам поверил я,
И дальний путь уж был не страшен для меня.
Прощаясь, я просил ее, чтоб серенаду
Она сыграла мне,— я в Шуберте отраду
Неизъяснимую для сердца нахожу.
Вот к клавишам она подходит; я гляжу
На светлое чело, на маленькие руки...
И в душу полились мечтательные звуки...

Два года протекло, как прежде много лет,
Еще в душе моей оставив горький след.
Все так же ратовал я с донкихотским жаром
За призраки свои и чувства тратил даром.
И возвратился вновь я в скучный город свой,
И встретился с давно знакомою толпой.
Все тех же увидал я чопорных педантов,
Нелепых остряков, честолюбивых франтов,
Прибавилось еще немного новых лиц;
Пред золотым тельцом лежат, как прежде, ниц;
Все те же ссоры, сплетни и интриги;
В почете карты всё, и всё в опале книги!
Но не нашел я той, к кому в былые дни
Я смело нес и грусть и радости свои...

И часто так к кому душа моя больная
Рвалась, под жизненным ярмом изнемогая!..
И весть услышал я: ее уж больше нет!
Суровым косарем сражен прекрасный цвет,
Суровым косарем, что без разбору косит
И тех, кто жизнь клянет, и тех, кто жизни просит!
Как больно было мне... Но если свет о ней
При мне судил, еще мне делалось больней!
Ему не жаль, казалось, вовсе, что могила
И юность, и красу навеки поглотила...
Клеветников, завистников бездушных толк
И у дверей могилы даже не замолк.
Я снова посетил давно знакомый дом;
Теперь семья другая поселилась в нем.
Вот уголок уютный, где она, бывало,
Вокруг себя друзей немногих собирала.
Отрадных много я припомнил вечеров;
Войдя в ту комнату, я плакать был готов!
Как оживить она домашний круг умела...
Как быстро время с ней, как весело летело:
Невольно лица прояснялися у всех,
Когда звучал ее беспечный, детский смех.
Теперь не то я встретил: чопорно и чинно
Здесь разговор вели, и в ералаш в гостиной
С тремя почтенными старушками играл
От старости едва ходивший генерал.
Изящно в комнатах, раскошно даже было...
Но все тоску и грусть на сердце наводило...
Но вот хозяйка села за рояль... Она,
Все говорят, артисткой быть великой рождена.
Вот Шуберта опять я слышу серенаду...
И точно... более, казалось бы, не надо
Искусства и желать. Но отчего же мне
Досадно стало так? В душевной глубине
Как будто злоба вдруг к игравшей шевельнулась
За то, что струн души больных она коснулась.
Казалось мне, звучит в игре той мастерской
Насмешка над моей заветною мечтой.

Оставил вечер я... Но все мотив знакомый
Преследовал меня на улице и дома...
Все образ предо мной любимый возникал,
И до рассвета глаз в ту ночь я не смыкал.

* * *

Когда твой кроткий, ясный взор
Ты остановишь вдруг на мне,
Иль задушевный разговор
С тобой веду я в тишине;

Когда подашь мне руку ты,
Прощаясь ласково со мной,
И дышат женские черты
Неизъяснимой добротой,—

О, верь! не зависть, не вражда
К тому, с кем ты на путь земной
Соединила жребий свой,
Грудь наполняет мне тогда.

Я лишь молю, чтоб над тобой
Была господня благодать,
Чтоб свет тщеславный и пустой
Тебя не мог пересоздать.

Чтоб сердце свято сберегло
Свои заветные мечты;
Чтобы спокойно и светло
На божий мир глядела ты...

Чтоб клеветы и злобы яд
Не отравил весны твоей;
Чтоб ты не ведала утрат
И омраченных скорбью дней.

Еще молю я, чтобы нас
Не разлучал враждебный рок,
Чтоб кротким светом этих глаз
Я дольше любоваться мог.



ВЕСНА

> Und Freud' und Wonne
> Aus jeder Brust!
> O Erd', o Sonne!
> O Glück, o Lust![1]

В старый сад выхожу я, росинки,
Как алмазы, на листьях горят;
И цветы мне головкой кивают,
Разливая кругом аромат.

Все влечет, веселит мои взоры:
Золотая пчела на цветке,
Разноцветные бабочки крылья
И прыжки воробья на песке.

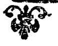
Как ярка эта зелень деревьев!
Купол неба так чист и глубок!
И брожу я, восторгом объятый,
И слеза застилает зрачок.

За оградой садовой чернеет
Полоса взборонённой земли,
И покрытые соснами горы
Поднимаются к небу вдали.

Как любовью и радостью дышит
Вся природа под вешним лучом,
И душа благодарная чует
Здесь присутствие бога во всем!

Снова крепнут дремавшие силы;
Новой жизни приходит пора,
И становится все так возможным,
Что мечтою казалось вчера!

Как прекрасна весна! Миллионы
Ей навстречу звучат голосов,
И в моем воскресающем сердце
Ей привет вдохновенный готов!



[1] И радость и блаженство в каждой груди! О земля, о солнце! О счастье, о веселье! *(нем.)*

* * *

Знакомые звуки, чудесные звуки!
О, сколько вам силы дано!
Прошедшее счастье, прошедшие муки,
И радость свиданья, и слезы разлуки...
Вам все воскресить суждено.

Знакомые тени являются снова,
Проходят одна за другой...
И сердце поверить обману готово,
И жаждет, и молит всей жизни былого,
Согретое страстью былой.

И все, что убито бесплодной борьбою,
Опять шевельнулось в груди...
На доблестный подвиг, на битву с судьбою
Иду я отважно, и яркой звездою
Надежда горит впереди.

В возлюбленном взоре, в улыбке участья
Прочел я давно, что любим;
Не страшны мне грозы, не страшно ненастье;
Я знаю — любви бесконечное счастье
Меня ожидает за ним!

Довольно, довольно!.. замолкните, звуки!
Мою вы терзаете грудь...
Прошедшее счастье, прошедшие муки,
И радость свиданья, и слезы разлуки,
О сердце! навеки забудь!..



МОЙ САДИК

Как мой садик свеж и зелен!
Распустилась в нем сирень;
От черемухи душистой
И от лип кудрявых — тень...

Правда, нет в нем бледных лилий,
Горделивых георгин,
И лишь пестрые головки
Возвышает мак один.

Да подсолнечник у входа,
Словно верный часовой,
Сторожит себе дорожку,
Всю поросшую травой...

Но люблю я садик скромный:
Он душе моей милей
Городских садов унылых
С сетью правильных аллей.

И весь день, в траве высокой
Лежа, слушать бы я рад,
Как заботливые пчелы
Вкруг черемухи жужжат.

А когда на садик сыплет
Блеск лучей своих луна,
Я сажусь в раздумье тихом
У открытого окна.

Посребренных и дрожащих
Листьев я внимаю шум,
И, одна другой сменяясь,
Грезы мне волнуют ум.

И несут на крыльях легких
В мир иной меня оне...
Как сияет ярко солнце
В той неведомой стране!

Нет вражды под этим солнцем,
Нашей лжи вседневной нет;
Человека озаряет
Там любви и правды свет!

Все, что истины пророки
Обещают нам вдали,
Люди в братстве неразрывном
Навсегда там обрели...

О, как сладки эти грезы!
Разрастайся ж, расцветай
Ты, мой садик! и почаще
На меня их навевай.



* * *

О нет, не всякому дано
Святое право обличенья!
Кто не взрастил в себе зерно
Любви живой и отреченья,
И бесполезно и смешно
На мир его ожесточенье.

Но если праведная речь
Из сердца чистого стремится,
Она разит, как божий меч;
Дрожит, бледнеет и стыдится
Пред нею тот, кого обречь
Она проклятью не страшится.

Но где тот века проводник,
Что скуп на речи, щедр на дело,
Что, заглушив страстей язык,
Идя на подвиг честно, смело,
Благой пример являть привык
Толпе, в неправде закоснелой?

Где он? Нас к бездне привела
Стезя безверья и порока!
Рабам позорной лжи и зла
Пошли, пошли, господь, пророка,
Чтоб речь его нам сердце жгла
И содрогнулись мы глубоко!



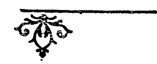
* * *

Трудились, бедные, вы, отдыху не зная,
Судьбе покорные, трудились день и ночь
И думали: знать, доля уж такая
Нам богом суждена — и горю не помочь!

Смочив поля кровавым, скорбным потом,
Вы знали, что не вам они готовят плод;
Но не роптали вы, согбенные под гнетом.
Нет! вы несли свой крест, как праведник несет

И тот, кто мир своею чистой кровью
От рабства искупил, кто, как и вы, страдал,
Кому молились вы смиренно и с любовью,
Вам избавителя венчанного послал.

И настает пора святая возрожденья!
Да будет ясен для грядущего рассвет,
Да принесет он вам с прошедшим примиренье
И раны вековой да уврачует след!



* * *

Ты помнишь: поникшие ивы
Качались над спящим прудом;
Томимы тоской, молчаливы,
С тобой мы сидели вдвоем.

В открытые окна глядели
К нам звезды с высоких небес;
Вдали соловьиные трели
Поля оглашали и лес.

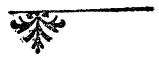
Ты помнишь — тебе я сказала:
Мы много любили с тобой,
Но светлых часов было мало
Дано нам суровой судьбой.

Узнали мы иго неволи,
Всю тяжесть житейских цепей,
Изныло в нас сердце от боли;
Но скрыли мы боль от людей.

В святилище наших страданий
Не дали вломиться толпе —
И молча, без слез и рыданий,
Мы шли по тернистой тропе.

Ты помнишь минуту разлуки?
О, кто из нас думал тогда,
Что сердца забудутся муки,
Что рану излечат года,

Что страсти былые тревоги,
Все бури поры прожитой
Мы, встретясь на новой дороге,
Помянем насмешкою злой!



* * *

Когда возвратился я в город родной
И там, над отцовской могилой,
Колена склонил и поник головой,
О, как мое сердце заныло!

Мне все прожитое припомнилось вдруг;
Припомнились долгие годы,
Что шли средь волнений бесплодных и мук,
Без счастья, любви и свободы.

И мнилось мне, будто отец мой глядит
На сына с тоской и любовью,
Скорбя, что суровым он горем убит,
Что сердце исходит в нем кровью.

Мне слышался говор зеленых ветвей:
«Устал ты и ищешь покою!
Усни здесь! И мы над могилой твоей
Раскинемся тенью густою...»



* * *

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

Пушкин

Была пора: своих сынов
Отчизна к битве призывала
С толпой несметною врагов,
И рать за ратью восставала,
И бодро шла за ратью рать
Геройской смертью умирать.

Но смолк орудий страшный гул;
И, отстояв свой край родимый,
Народ великий отдохнул.
Отчизна вышла невредима
Из той борьбы... как в старину —
В иную славную войну.

И вот опять она зовет
Своих сынов на бой упорный;
Но этот бой уже не тот...
Со злом и тьмой, с неправдой черной
Она зовет теперь на бой,
Во имя истины святой!

Не страшен нам и новый враг,
И с ним отчизна совладает...
Смотрите! уж редеет мрак,
Уж свет повсюду проникает,
И, содрогаясь, чует зло,
Что торжество его прошло.



СЧАСТЛИВЕЦ

Я здоров, румян и весел,
Сытно ем и славно пью;
Никогда нужда и голод
Не стучатся в дверь мою.

Мне наследственный оставил
Мой родитель капитал...
Он его на службе царской
Понемножку собирал.

Я одет всегда по моде
Англичанином-портным;
За приятные манеры
Очень дамами любим.

Не якшаюсь с разной дрянью,
Только с знатными знаком.
И владею превосходно
Я французским языком.

Хоть не делал зла я людям,
Хоть душой и сердцем чист,
Но не скрылся от злословья:
Говорят, я — эгоист!

Клевета! Богоугодных
Разных обществ член и я.
Филантропы пять целковых
Каждый год берут с меня.

Все толкуют: погибает
От неправды род людской...
Тот объелся на обеде,
Умер с голоду другой

Разве я тому причиной?
Видно, так уж суждено.
Рассуждать об этом, право,
И напрасно и смешно!

Жизнь дана, чтоб наслаждаться,—
Мой на это взгляд такой.
Пусть мечтатели вздыхают —
Я махнул на них рукой.

Я румян, здоров и весел,
Сытно ем и славно пью;
Никогда нужда и голод
Не стучатся в дверь мою.



ОПУСТЕВШИЙ ДОМ

Один по улицам брожу я с грустной думой;
На спящий город хор дрожащих звезд глядит.
Вот предо мной дворец забытый и угрюмый,
Где жизнь провел в пирах и неге сибарит.

Когда-то музыка гремела в пышных залах;
Из окон лился свет от тысячи свечей,
И кубки старые усердно осушала
Шумящая толпа напудренных гостей.

Теперь заброшены огромные палаты;
В роскошных комнатах и пусто и темно.
Давно лежит в земле хозяин тороватый;
В чужих краях живут наследники давно.

Стоит уныло дом — а на крылечных плитах,
Под рубищем дрожа, бедняк заснуть прилег
И думает: «Когда б в палатах позабытых
От стужи дали мне хоть тесный уголок!»



ПРИЗРАКИ

Старинные, знакомые мотивы
Порой вечернею откуда-то звучат.
В них юности могучие призывы,
В них с пошлостью людской надежд ее разлад.

И призраки знакомые толпою
На звуки те встают... С насмешкой на устах
Идут они медлительной стопою
И будто говорят: «Уж мы давно в гробах

Лежим, забыв стремления земные,
Признав, что жизнь — бесплодная борьба,
Что на земле блаженны только злые,
А праведных разит бессмысленно судьба.

Спокойно мы в могилах наших тлеем,
Нам не восстать из них на голос суеты,
И о тебе мы, бедный, сожалеем:
Еще волнуешься, еще страдаешь ты!

Ты все еще от жизни ждешь чего-то...
Всё грезы юности живут в душе твоей.
Ты думаешь: упорная работа
Веков готовит рай в грядущем для людей.

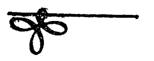
Последуй в край ничтожества за нами,
Стряхни с себя скорей оковы бытия,
Пока еще с младенческими снами
Не навсегда душа рассталася твоя!

В гроб низойти с надеждами отрадно!
Нам не было дано узнать отрады той:
Сомненья дух разбил их беспощадно
Задолго до поры прощанья роковой!»

Исчезните, зловещие виденья!
Я не пойду на ваш печальный зов!
Я жить хочу! Страданья и волненья
Я чашу полную испить до дна готов!

И до конца я веры не утрачу,
Что озарит наш мир любви и правды свет,
Пускай я здесь как в море капля значу,
Но каждый честный бой оставить должен сле

Исчезните! А вы, святые звуки,
Вы силу новую в мою вдохните грудь.
Хотя бы жизнь одни сулила муки,
Я бодро встречу их, благословив свой путь!



НА УЛИЦЕ

Вот бежит по тротуару
Моего соседа дочь.
Стройный стан, коса густая,
Глазки черные, как ночь.

В платье стареньком, в дырявой
Кацавейке на плечах;
Знать, с лекарством из аптеки —
Пузырек у ней в руках.

Уж давно недугом тяжким
Бедный мой сосед томим;
И давно столяр-хозяин
Заменил его другим.

Дочь бежит, дрожа от стужи,
А на плиты яркий свет
Бьет волной из магазинов;
И чего-чего в них нет!

Серебро, хрусталь и бронза,
Ленты, бархат и атлас...
И прохожие от окон
Отвести не могут глаз.

Хоть и холод погоняет
И домой пора давно,
А с толпой остановилась
Поглядеть она в окно.

Перетянута в корсете
Иностранка за столом
Что-то пишет... Чай, тепло ей,
Хорошо в житье таком.

Вот две барыни приходят;
Разодеты в пух оне!
Смотрят вещи дорогие...
Отложили к стороне.

Может, их они наденут
Нынче вечером на бал.
Славно жить богатым людям!
Что по вкусу, то и взял.

И невольно защемила
Сердце девичье тоска;
Видно, вспомнила, бедняжка,
Про больного старика.

И пошла в свой угол темный,
В свой сырой могильный склеп,
Где слезами обливают
Ребятишки черствый хлеб.

Мать сидит и дни и ночи
Над работой заказной,
Чуткий слух свой напрягая,
Не застонет ли больной;

Где, лохмотьями прикрытый,
На полу лежит отец
С неподвижным, тусклым взором,
Желтый, словно как мертвец.

Вот она уж близко дому;
Но при свете фонарей
Видит вдруг — красивый барин
Очутился перед ней.

Он глядит ей смело в очи,
И глядит не в первый раз —
Где б она ни проходила,
С ней, встречается тотчас.

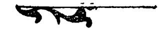
И не раз она слыхала
От него такую речь:
«Полюби! тебя я стану
Холить, нежить и беречь.

Будешь ездить ты в карете,
Будешь в бархате ходить.
Как пойдет к твоей головке
Жемчуга большого нить!

Знатной барыней ты будешь,
И семью твою тогда
Перестанет в жестких лапах
Мять сердитая нужда».

Хоть и прочь она бежала
От лукавых тех речей,
Но потом они звучали
Ей порой в тиши ночей.

И теперь, домой вернувшись,
Молчалива и грустна,
Долго думала о чем-то
И вздыхала все она...



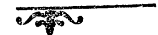
* * *

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...
Чахлая рябина
Мокнет под окном;

Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце
Света и тепла!

Все тебе не рады!
Твой унылый вид
Горе да невзгоды
Бедному сулит.
Слышит он заране
Крик и плач ребят;
Видит, как от стужи
Ночь они не спят;
Нет одежды теплой,
Нету в печке дров...
Ты на чей же, осень,
Поспешила зов?

Вот и худ и бледен
Сгорбился больной...
Как он рад был солнцу,
Как был бодр весной!
А теперь — наводит
Желтых листьев шум
На душу больную
Рой зловещих дум!
Рано, рано, осень,
В гости к нам пришла...
Многим не дождаться
Света и тепла!



* * *

Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;

За этот грешный мир, порока тьмой объятый
За ближнего лилась его святая кровь.

О дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?

О нет! не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь и сил
В наш обветшалый мир учение Христа!



БЫЛОЕ

(С. Н. Ф<едоро>ву)

Ночи бледное светило
Кротким светом озарило
Комнатку мою.

Снова слышу за стеною
Над малюткою больною
Баюшки-баю.

Голосок так чист и звонок,
Что под звук его ребенок
Затихает вдруг.

Спой еще! Тебе внимая,
И душа моя больная
Отдохнет от мук.

Помню я иное время,
Легче было жизни бремя,
Веселей жилось!

Шли так быстро эти годы,
Годы счастья и свободы,
Годы светлых грез!

Сколько вызвано мечтою
Лиц знакомых предо мною
И знакомых мест.

Помню лес... деревьев шепот,
И волны стемневшей ропот,
И мерцанье звезд.

Сад запущенный и мрачный,
Над водой пруда прозрачной
Деревенский дом.

Речи нежные и ласки,
В уголке уютном сказки
Зимним вечерком...

Сердце верило, любило,
Все ему так было мило,
Что теперь смешно!

Но все тихо за стеною...
Над малюткою больною
Голос смолк давно...

Ах, зачем, былые годы,
Годы счастья и свободы,
Я припомнил вас!

На душе тоска сильнее,
И до утра, видно, с нею
Не сомкну я глаз!



ПТИЧКА

Для чего, певунья птичка,
Птичка резвая моя,
Ты так рано прилетела
В наши дальние края?

Заслонили солнце тучи,
Небо всё заволокли;
И тростник сухой и желтый
Клонит ветер до земли.

Вот и дождик, посмотри-ка,
Хлынул словно из ведра;
Скучно, холодно, как будто
Не весенняя пора!

— Не для солнца, не для неба
Прилетела я сюда;
В камышах сухих и желтых
Не совью себе гнезда.

Я совью его под кровлей
Горемыки-бедняка;
Богом я ему в отраду
Послана издалека.

В час, как он, вернувшись с поля
В хату ветхую свою,
Ляжет, грустный, на солому,
Песню я ему спою.

Для него я эту песню
Принесла из-за морей;
Никогда ее не пела
Для счастливых я людей.

В ней поведаю я много
Про иной, чудесный свет,
Где ни бедных, ни богатых,
Ни нужды, ни горя нет.

Эта песня примиренье
В грудь усталую прольет;
И с надеждою на бога
Бедный труженик заснет.



МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Он беден был. (Его отец
В гусарах век служил,
Любил танцовщиц и вконец
Именье разорил.)

И ярый был он либерал:
Все слабости людей
Он энергически карал,
Хоть не писал статей.

Не мог терпеть он спину гнуть,
Любил он бедный класс,
Любил помещиков кольнуть
Сатирой злой подчас.

И Жоржем Зандом и Леру
Был страстно увлечен,
Мужей он поучал добру,
Развить старался жен.

Когда же друга моего
Толкнула в глушь судьба,
Он думал — закалит его
С невежеством борьба.

Всех лихоимцев, подлецов
Мечтал он быть грозой;
И за права сирот и вдов
Клялся стоять горой.

Но, ах! грядущее от нас
Густой скрывает мрак;
Не думал он, что близок час
Вступить в законный брак.

Хоть предавал проклятью он
Пустой, бездушный свет,
Но был в губернии пленен
Девицей в тридцать лет.

Она была иных идей...
Ей не был Занд знаком,
Но дали триста душ за ней
И трехэтажный дом.

Женился он, ему пришлась
По сердцу жизнь сам-друг...
Жена ввела его тотчас
В губернский высший круг.

И стал обеды он давать,
И почитал за честь,
Когда к нему съезжалась знать,
Чтоб хорошо поесть.

И если в дом к нему порой
Являлся генерал,
Его, от счастья сам не свой,
Он на крыльце встречал.

Жена крутой имела нрав;
А дом и триста душ
Давали ей так много прав...
И покорился муж.

Хоть иногда еще карал
Он зло в кругу друзей,
Но снисходительней взирал
На слабости людей.

Хоть не утратил он вполне
Могучий слова дар,
Но как-то стынул при жене
Его душевный жар.

Бывало, только заведет
О крепостных он спор,
Глядишь, и зажимает рот
Ему супруги взор.

И встретил я его потом
В губернии другой;
Он был с порядочным брюшком
И чин имел большой.

Пред ним чиновный весь народ
И трепетал и млел;
И уж не триста душ — пятьсот
Он собственных имел.

О добродетели судил
Он за колодой карт...
Когда же юноша входил
Порой пред ним в азарт,

Он непокорность порицал
Как истый бюрократ...
И на виновного бросал
Молниеносный взгляд...



* * *

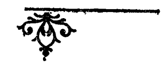
Есть дни: ни злоба, ни любовь,
Ни жажда дел, ни к истине стремленье —
Ничто мне не волнует кровь;
И сердце спит, и ум в оцепененье.

Я остаюсь к призывам жизни глух;
Так холодно взираю, так бесстрастно
На все, что некогда мой дух
Тревожило и мучило всечасно.

И ласка женская во мне
В те дни ответа даже не находит;
В бездействии, в позорном сне
Душевных сил за часом час проходит.

Мне страшно, страшно за себя;
Боюсь, чтоб сердце вовсе не остыло,
Чтоб не утратил чувства я,
Пока в крови огонь и в теле сила.

Годами я еще не стар...
О боже, всех, кто жаждет искупленья,
Не дай, чтоб пеплом сердца жар
Засыпало мертвящее сомненье!



* * *

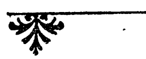
Ты хочешь песен,— не пою
Веселых песен я давно;
А душу ясную твою
Встревожить было бы грешно.

О нет, пусть ни единый звук
Не обнаружит пред тобой
Ни затаенных в сердце мук,
Ни дум, навеянных борьбой.

Пусть не узнаешь дольше ты,
Как беспощадно губит свет
Все наши лучшие мечты,
Святые грезы юных лет!

Когда ж пора твоя придет
И с жизнью выйдешь ты на бой,
Когда в тебе житейский гнет
Оставит след глубокий свой

И будешь, горе затая,
Ты тщетно ждать участья слов —
Тогда зови... и песнь моя
На грустный твой ответит зов.



СЕРДЦУ

Скажи мне, долго ль заблуждаться
Тебе, о сердце, суждено?
Пора бы с грезами расстаться...
Мы старики с тобой давно.

А ты, назло годам и року,
Тревожней бьешься и сильней
(Хоть мало видишь в этом проку),
Чем билось в дни весны своей.

Когда среди волнений света,
В толпе шумящей и пустой,
Слова любимого поэта
Произнесут перед тобой,

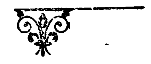
Или науки голос строгой
О правде вечной говорит,
Какую ты забьешь тревогу,
Какой огонь в тебе горит!

Красой стыдливою блистая,
Мелькнут ли женские черты —
В восторге чистом замирая,
Навстречу им как рвешься ты.

О перестань! Понять бы можно
Давным-давно в твои лета,
Что бред поэзия ничтожный,
Что правда вечная — мечта!

Что как-то странно поклоненье
В наш век полезный красоте,
Что уж теперь должны стремленья
У человека быть не те...

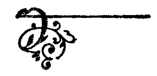
Пойми, что правда там, где сила,
Где достиженье благ земных,
И, все забыв, что ты любило,
Живи и бейся лишь для них!



ЦВЕТОК

Над пустыней, в полдень знойный,
Горделиво и спокойно
Тучка легкая плывет.
А в пустыне, жаждой мучим
И лучом палимый жгучим,
К ней цветок моленье шлет:
«Посмотри, в степи унылой
Я цвету больной и хилый,
И без сил, и без красы...
Мне цвести так безотрадно:
Нет ни тени здесь прохладной,
Ни свежительной росы,
Я горю, томлюсь от зною,
И поблекшей головою
Я к земле сухой приник.
Каждый день с надеждой тайной
Я все ждал, что хоть случайно
Залетишь ты к нам на миг;
Вот пришла ты... и взываю
Я с мольбой к тебе, и знаю,
Что к мольбе склонишься ты:
Что прольется дождь обильный,
И, покров стряхнувши пыльный,
Оживут мои листы,

И под влагой неба чистой,
И роскошный и душистый,
Заблистает мой наряд;
И потом, в степи суровой,
Долго, долго к жизни новой
Буду помнить я возврат...»
Но, горда, неумолима,
Пронеслася тучка мимо
Над поникнувшим цветком.
Далеко, над сжатой нивой,
Бесполезно, прихотливо
Пролилась она дождем;
А в пустыне, жаждой мучим
И лучом палимый жгучим,
Увядал цветок больной...
И все ждал он, увядая,
Тучка вот придет другая...
Но уж не было другой.



* * *

Дети века все больные,—
Мне повсюду говорят,—
Ходят бледные, худые,
С жизнью все у них разлад.

Нет! Напрасно стариками
Оклеветан бедный век;
Посмотрите: перед вами
Современный человек.

Щеки словно как с морозу,
Так румянцем и горят;
Как прилична эта поза,
Как спокоен этот взгляд.

Вы порывов увлеченья
Не заметите за ним;
Но как полон уваженья
Он к достоинствам своим.

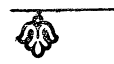
Все вопросы разрешает
Он легко, без дальних дум;
Не тревожит, не смущает
Никогда сомненье ум.

И насмешкой острой, милой
Как умеет он кольнуть
Недовольных, что уныло
На житейский смотрят путь,

Предрассудки ненавидят,
Всё твердят про идеал
И лишь зло и гибель видят
В том, что благом мир признал.

Свет приятным разговором
И умом его пленен;
Восклицают дамы хором:
«Как он мил! как он умен!»

Нет! Напрасно старость взводит
Клевету на бедный век:
Жизнь блаженствуя проводит
Современный человек!



ПОЭТУ

Пускай заманчив гладкий путь,
Но ты своей высокой цели,
Поэт, и в песнях и на деле
Неколебимо верен будь.

Иди, послушный до конца
Призывам истины могучим;
Иди по терниям колючим,
Без ободренья и венца.

И будь бестрепетным бойцом,
   Бойцом за право человека;
Не дай заснуть в пороках века
   Твоей душе постыдным сном.

И будет песнь твоя сильна,
   Как божий меч, как гром небесный;
И не умрет в сердцах она,
   Хотя бы смолк твой голос честный.



ЛЕТНИЕ ПЕСНИ

1

Запах розы и жасмина,
Трепет листьев, блеск луны...
Из открытых окон льется
Песня южной стороны...

И томят и нежат душу
Эта ночь и песня мне;
Что затихло, что заснуло —
Снова будят в ней оне.

И нежданно встрепенулась
Вереница давних грез;
А казалось, что навеки
Эти грезы рок унес;

И что все, чем в молодые
Дни душа была полна,
Поглотила невозвратно
Жизни мутная волна!

Но опять потухший пламень
Загорается в крови,
И опять раскрылось сердце
Для восторга и любви!

Пахнут розы и жасмины,
Серебримые луной...
И поет, поет о счастье
Чей-то голос молодой!

2

И вот шатер свой голубой
Опять раскинула весна;
Окроплены луга росой,
И серебристой полосой
Бросает свет на них луна.

Светла, как детский взор, река,
И ветви ив склонились к ней
Под гнетом легким ветерка;
И прилетел издалека
С звенящей трелью соловей...

Прекрасны вы, дары весны;
И горе бедным и больным,
Чьи очи горьких слез полны...
Такие ночи созданы
Для тех, кто счастлив и любим!

3

Отдохну-ка, сяду у лесной опушки;
Вон вдали — соломой крытые избушки,
И бегут над ними тучи вперегонку
Из родного края в дальнюю сторонку.
Белые березы, жидкие осины,
Пашни да овраги — грустные картины;
Не пройдешь без думы без тяжелой мимо.
Что же к ним всё тянет так неодолимо?

Ведь на свете белом всяких стран довольно,
Где и солнце ярко, где и жить привольно.
Но и там, при блеске голубого моря,
Наше сердце ноет от тоски и горя,
Что не видят взоры ни берез плакучих,
Ни избушек этих сереньких, как тучи;
Что же в них так сердцу дорого и мило?
И какая манит тайная к ним сила?

4

Люблю я под вечер тропинкою лесною
Спуститься к берегу зеленому реки
И там, расположась под ивою густою,
Смотреть, как невод свой закинут рыбаки,
Как солнце золотит прощальными лучами
И избы за рекой, и пашни, и леса,
А теплый ветерок меж тем, шумя листами,
Едва-едва мои взвевает волоса,
И ласково лицо мое целует ива,
Нагнув ко мне свои серебристые листы.
О как мне хорошо! Довольный и счастливый
Лежу я вдалеке от скучной суеты;
Мне в уши не жужжат заученные фразы
Витий, что ратуют за «медленный прогресс»
И от кого бы прочь бежал, как от заразы,
В пустыни дикие, в непроходимый лес.
Порою в разговор рыбак со мной вступает
О том, какой ему на долю выпал лов,
Как сына он к дьячку учиться посылает...
И я внимать ему хоть целый день готов:
Мне по душе его бесхитростное слово,
Как по душе мне жизнь средь вспаханных полей,—
Здесь, пошлости и лжи стряхнув с себя оковы,
Свободней я дышу и чувствую полней.

5

Солнце горы золотило,
Золотило облака.
Воды светлые катила
В яркой зелени река.

И казалось, эти воды
Унесли с собою вдаль
И недавние невзгоды,
И недавнюю печаль.

И как будто воротилась
Снова дней моих весна;
Сердце весело так билось,
Так душа была ясна.

Все, чего душа просила
Так напрасно с давних пор,
Все природа ей дарила:
И свободу, и простор!

6

Ночь пролетала над миром,
Сны на людей навевая;
С темно-лазоревой ризы
Сыпались звезды, сверкая.

Старые мощные дубы,
Вечнозеленые ели,
Грустные ивы листвою
Ночи навстречу шумели.

Радостно волны журчали,
Образ ее отражая;
Рожь наклонялась, сильнее
Пахла трава луговая.

Крики кузнечиков резвых
И соловьиные трели,
В хоре хвалебном сливаясь,
В воздухе тихом звенели,

И улыбалася кротко
Ночь, над землей пролетая...
С темно-лазоревой ризы
Сыпались звезды, сверкая...

7

Бледный луч луны пробился
Сквозь таинственной листвы,
И приносит ветер теплый
Запах скошенной травы.

Все бы только здесь лежал я,
Под навесом этих ив,
В даль немую, в купол звездный,
Взор бесцельно устремив;

Все бы слушал, как вершина
Ивы дремлющей шумит,
Как на темном дне оврага
По камням родник журчит.

Это тихое журчанье,
   Шелест листьев, свет луны —
На меня всё навевает
   Примиряющие сны...

Ночь! с твоим сияньем кротким,
   Для усталого меня,
Ты дороже и милее
   Ярко блещущего дня...

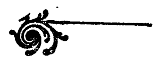
8

Что ты поникла, зеленая ивушка?
   Что ты уныло шумишь?
Или о горе моем ты проведала,
   Вместе со мною грустишь?

Шепчутся листья твои серебристые,
   Шепчутся с чистой волной...
Не обо мне ли тот шепот таинственный
   Вы завели меж собой?

Знать, не укрылася дума гнетущая,
   Черная дума от вас!
Вы разгадали, о чем эти жгучие
   Слезы лилися из глаз?

В шепоте вашем я слышу участие;
   Мне вам отрадно внимать...
Только природе страданья незримые
   Духа дано врачевать!



МОЛЬБА

И, к небу взор поднявши свой,
Они — исполнены печали —
Из глубины души больной,
Души измученной взывали:
«У нас на подвиг нету сил!

Исходит сердце наше кровью,
Неравный бой нас истомил,
Взгляни, взгляни на нас с любовью!»

С глаголом мира на устах
Мы шли навстречу наших братий;
Откуда ж их внезапный страх,
Откуда этот вопль проклятий?
Услышав нашу речь, они
Мечи хватали и каменья
И судьям в диком озлобленье
Кричали бешено: «Распни!»

Ужель вражду и злобу мы
В сердцах людей воспламенили
Лишь тем, что больше зла и тьмы
Добро и свет мы возлюбили?
Что прозывали богачей,
И сильных мира, и свободных
Не гнать от трапезы своей
Нагих, и сирых, и голодных?

И вот, отверженны людьми,
Изнемогли мы в долгой битве.
О боже истины! вонми
Гонимых чад твоих молитве!
Сердца озлобленных смягчи,
Открой слепым и спящим очи,
И пусть хоть бледные лучи
Блеснут в глубоком мраке ночи!



ОБЛАКА

Вот и гроза прошла, и небо просветлело;
Приветно солнышко на божий мир глядит,
Вся степь, как раннею весной, зазеленела;
И воздух свеж и чист, и птичка в нем звенит.

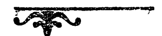
И на сердце давно так ясно не бывало;
В нем тихой радостью сменилася тоска:
Всё, чем оно томилось и страдало,
Как будто унесли с собою облака.

Но отчего ж порой, боязнью тайной мучим,
Все устремляю вдаль я свой несмелый взгляд
И думаю, следя за облаком летучим,
Что старую печаль несет оно назад?



* * *

Нет отдыха, мой друг, на жизненном пути.
Кто раз пошел тернистою дорогой,
Тому на ней лугов цветущих не найти;
Душе больной, измученной тревогой,
Успокоенье смерть одна лишь может дать.
И глупо и смешно его от жизни ждать.
В борьбе с людьми, в борьбе с самим собою
Пройдет твой грустный век; и если из-за туч
Хотя на миг — на краткий миг — порою
Тебе живительный проглянет солнца луч,—
Забыв, что ждет за ним опять ненастье,
Что горе новое готово впереди,—
Благодари судьбу, но более не жди:
Нет продолжительного счастья!



* * *

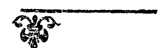
Если в час, когда зажгутся звезды
Над заснувшею, усталою землей,
Молча ты к открытому окошку
Подойдешь, о друг мой, с тайною тоской...

Слушая задумчиво шептанье
Серебристым светом облитых листов,
Обо мне ты вспомни, и душою,
Где бы ни был я, на твой откликнусь зов.

Вспомни, что тревоги и сомненья
Мне ниспосланы на долю от судьбы;
Что во мне так часто гаснет вера,
А твои доступны небесам мольбы.

Вспомни, друг! И помолись, чтоб в душу
Низошла ко мне святая тишина,—
Тишина, какою вся природа
В этот час успокоения полна...

Помолись, чтоб ангел божий с неба
Низлетел ко мне в час смерти роковой,
Чтоб, на кроткие черты его взирая,
Думал я, что ты стоишь передо мной!



* * *

Я у матушки выросла в холе
И кручины не ведала злой;
Да счастливой девической доле
Позавидовал недруг людской.

Речи сладкие стал он, лукавый,
Мне нашептывать ночью и днем;
И наскучили смех и забавы,
И наскучил мне матери дом.

Сердце билось испуганной пташкой,
Не давало ни часу заснуть;
Подымалась под тонкой рубашкой
Высоко моя белая грудь.

Я вставала с постели босая,
И, бывало, всю ночь напролет
Под окошком кого-то ждала я —
Все казалось мне, кто-то идет...

Я ждала и дождалась милòва,
И уж как полюбился он мне;
Молодца не видала такого
Прежде я никогда и во сне.

Очи карие бойко глядели
На меня из-под черных бровей;
Допытать они, видно, хотели,
Что в душе затаилось моей.

Допытали они, что готова
Хоть на гибель для них я была...
И за милым из дома родного
Я, как малый ребенок, пошла.

Был он барин богатый и где-то
Все в далеких краях проживал;
Слышь, лечился — и только на лето
Он в поместья свои наезжал.

Только лаской его и жила я,
Белый свет с ним казался милей;
Нипочем было мне, что дурная
Шла молва про меня у людей.

Да не думала я, не гадала,
Что любви его скоро конец;
Вдруг постыла милому я стала:
И с другой он пошел под венец.

Не пригожим лицом, не красою
Приманила дворянка его:
Приманила богатой казною —
Много взял он за нею всего.

С той поры будто солнышка нету,
Все глухая, осенняя ночь;
Как ни жди, не дождешься рассвету;
Как ни плачь, а беде не помочь.

И с красой я своей распрощалась,
Не узнала б теперь меня мать;
Ни кровинки в лице не осталось,
Словно зелья мне дали принять.

Ах! изменой своей — не отравой —
Он с лица мне румянец согнал...
Буду помнить я долго, лукавый,
Что ты ночью мне летней шептал!



НИЩИЕ

1

В удушливый зной по дороге
Оборванный мальчик идет;
Изрезаны камнями ноги,
Струится с лица его пот.

В походке, в движеньях, во взоре
Нет резвости детской следа;
Сквозит в них тяжелое горе,
Как в рубище ветхом нужда.

Он в город ходил наниматься
К богатым купцам в батраки;
Да взять-то такого боятся:
Тщедушный батрак не с руки.

Один он... Свезли на кладбище
Вчера его старую мать.
С сумою под окнами пищу
Приходится, видно, сбирать...

2

Карета шестеркой несется;
За нею пустился он вслед,
Но голос внутри раздается:
«Вот я тебе дам, дармоед!»

Сурово лакейские лица
Взглянули при возгласе том,
И жирный господский возница
Стегнул попрошайку кнутом.

И прочь отскочил он без крика,
Лишь сладить не мог со слезой...
И дальше пошел горемыка,
Поникнув на грудь головой.

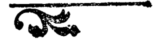
Усталый и зноем томимый,
Он в роще дубовой прилег
И видит, с котомкою мимо
Плетется седой старичок.

«Здорово, парнишка! Откуда?
Умаялся! Хворенький, знать!»
«Из города, дедушка. Худо
Мне, больно».— «Не хлебца ли дать?

Не много набрал я сегодня,
Да надо тебя пожалеть.
Мне с голоду милость господня
Не даст, словно псу, околеть...»

И с братом голодным, что было
В котомке, он все разделил;
Собрав свои дряхлые силы,
На ключ за водицей сходил.

И горе пока позабыто,
И дружно беседа идет...
Голодного, видно, не сытый,
А только голодный поймет!



* * *

Природа-мать! К тебе иду
С своей глубокою тоскою;
К тебе усталой головою
На лоно с плачем припаду.

Твоих лесов немолчный шум
И нив златистых колыханье,
Лазурь небес и вод журчанье
Разгонят мрак гнетущих дум.

Пусть говорят, что ты к людской
Тоске и скорби безучастна,
Что исцеления напрасно
Ждать от тебя душе больной.

Нет, я не верю! С нами ты
Живешь одною жизнью полной;
Или зачем же ропщут волны
И грустно шепчутся листы?

Зачем же с неба хор светил
Земле так ласково сияет
И слезы чистые роняет
Роса на свежий дерн могил?

На все ответ в тебе найдет
Тот, кто с любовью бесконечной
К тебе и гнет тоски сердечной,
И радость светлую несет.

О, не отринь, природа-мать,
Ссрьбой измученного сына,
Чтобы хотя на миг единый
Сошла мне в душу благодать!

Чтобы с себя я мог стряхнуть
И лжи и лености оковы
И с сердцем чистым, с силой новой
Опять пустился бодро в путь...

Да окрылит дух падший мой
Восторг могучими крылами;
Да буду мыслью и делами
Я верен истине одной!



ДЕКАБРИСТ

Забывши прыгать и кружиться
Под звуки бального смычка,
Вот юность пылкая теснится
Вокруг седого старика.
С ним в разговор она вступает,
И отзыв он дает на все,
Что так волнует, увлекает,
Всегда тревожную, ее.
Хоть на челе его угрюмом
Лежит страданий долгий след,
Но взор его еще согрет
Живой, не старческою думой.
К ученью правды и добра
Не знает он вражды суровой;

Он верит сам, что жизни новой
Придет желанная пора.

Поражены его речами,
Любуясь старца сединой,
Твердили юноши: «Летами
Он только стар, но не душой!»
Блажен, кто в старческие годы
Всю свежесть чувства сохранил,
В ком испытанья и невзгоды
Не умертвили духа сил,
Кто друг не рабства, а свободы,
В ком вера в истину жива
И кто бесстрастно не взирает,
Как человечества права
Надменно сильный попирает.



* * *

Нет! лучше гибель без возврата,
Чем мир постыдный с тьмой и злом,
Чем самому на гибель брата
Смотреть с злорадным торжеством.

Нет! лучше в темную могилу
Унесть безвременно с собой
И сердца пыл, и духа силу,
И грез безумных страстный рой,

Чем, все тупея и жирея,
Влачить бессмысленно свой век,
С смиреньем ложным фарисея
Твердя: «Бессилен человек»,

Чем променять на сон отрадный
И честный труд, и честный бой
И незаметно в тине смрадной,
В грязи увязнуть с головой!



* * *

Блажен не ведавший труда,
Но щедро взысканный от неба.
Блажен не евший никогда
Слезами смоченного хлеба.
Вольней и легче дышит он,
Здоров и телом и душою;
И не поникнет головою,
Сомненьем ранним удручен.
Светло, разумно и прекрасно
Все в мире кажется ему;
Он волноваться понапрасну
Не даст ни сердцу, ни уму.
Он не растратит духа силы
Средь мелких будничных забот
И безмятежно до могилы,
Не спотыкаясь, добредет.
Но сколько бедных и голодных
Свой черствый хлеб, свой тяжкий труд
За эту жизнь без скал подводных,
За этот рай не отдадут!



* * *

Друзья свободного искусства
Тебе, артист наш дорогой,
С стесненным сердцем, с грустным чувством
Несут привет прощальный свой.

Ты честно шел — прямой дорогой;
Искусству честно ты служил;
И твой юмòр правдивый много
Мгновений светлых нам дарил.

Не в мишуре, не в ложных блестках
Являлся ты перед толпой —
Ты на сценических подмостках
Был человек, а не герой!

Осмыслить пошлые явленья
Вседневной жизни ты умел,

И чистый пламень вдохновенья
В душе художника горел.

Смеялись мы, когда пред нами
Лгал с увлеченьем Хлестаков...
Глубоко трогал нас слезами
Своими — Тихон Кабанов.

Но вот недуг неумолимый
День от очей твоих сокрыл —
И расстаешься ты с любимой
Тобою сценой в цвете сил.

И грусть нам в сердце западает,
И слышу я со всех сторон:
«Васильев сцену покидает,
Но позабыт не будет он!»



* * *

Завидно мне смотреть на мудрецов,
Что знают жизнь так хорошо по книгам;
Все разрешать они привыкли мигом,
В их головах на все ответ готов.

То, что других болезненно тревожит,
Презренье в них рождает или смех;
Сомненья червь у них сердец не гложет;
Непогрешим мужей ученых цех!

Но одного лишь я боюсь немножко:
Что, если жизнь, как дерзкий ученик,
Вдруг стащит с них всеведенья парик
И книжки их все вышвырнет в окошко?

И род людской, сознав, что он идет
Окольною и вязкою дорогой,
Назло иной теории убогой
Вдруг сделает нежданный поворот?

О, что тогда?.. Но, впрочем, не придут
Ни от чего они, я думаю, в смущенье...
И, прежнего исполнены презренья,
Весь род людской безумным назовут!



ДЕТИ

Люблю я вас, курчавые головки!
Ваш звонкий смех, и ваша беготня,
И хитрости ребяческой уловки —
Все веселит, все радует меня!

Гляжу на вас в сердечном умиленье,
Житейских нужд забыв тяжелый гнет;
Но коротко отрадное забвенье,
И вновь ему на смену скорбь идет.

И в глубине души, помимо воли,
Мучительный рождается вопрос:
Ужель и вам не видеть лучшей доли?
И вам идти путем бесплодных грез?

Ужель и вы в борьбе со злом могучим
Духовных сил растратите запас?
И правды свет, пронзив густые тучи,
Вам не блеснет и не пригреет вас?

Страдали мы — и верили так страстно,
Что день иной придет. О! неужель
Он и от вас далек — тот день прекрасный —
И далека стремлений наших цель?

Ответа нет на мой вопрос унылый...
О, дай-то бог, чтоб эта чаша зла,
Которая всю жизнь нам отравила,
До ваших уст, малютки, не дошла!



НОВЫЙ ГОД

(Н. А. Некрасову)

1

Всем, застигнутым ненастьем,
Всем, кого меж нами нет,
«С Новым годом, с новым счастьем!» —
Шлю сердечный я привет.
Пусть его умчит с собою
Ветер в дальние края —
К вам, житейскою волною
Унесенные друзья!

Всем врагам неправды черной,
Восстающим против зла,
Не склоняющим покорно
Перед пошлостью чела —
Всем привет и все́м желанье,
Чтоб и новый этот год
Дал вам силу на страданье,
Бодрый дух среди невзгод!

2

Пестрота, и блеск, и говор...
Вся горит огнями зала;
«С Новым годом, с новым счастьем!» —
Отовсюду зазвучало.

Сколько здесь приличья, такту
И владеть собой уменья!
Что за тонкие оттенки
В рукожатьях, в поздравленье!

Что изящней, благородней
Их манер и разговора:
Ни движений резких нету,
Ни заносчивого спора!..

Вот оркестр внезапно грянул,
Заглушая говор шумный;
Как досадно!.. Насладиться
Не дает беседой умной.

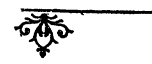
Вплоть до утра все бы слушал
Я в сердечном умиленье
Эти толки — о пороках
Молодого поколенья.

Как правдиво негодует
Убеленный сединами
Муж, что юноши смеются
Нынче даже... над чинами!

Что прекрасное, святое
Все пятнать они готовы
И что главного в них нету —
Нету нравственной основы.

Лезут в Гракхи, рассуждают
Про аграрные законы;
Небывалые повсюду
«Меньших братий» слышат стоны.

Что за речи золотые!
Сердце радостно забьется,
Как подумаю, что слушать
Целый год мне их придется!

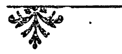


* * *

О, не забудь, что ты должник
Того, кто сир, и наг, и беден,
Кто под ярмом нужды поник,
Чей скорбный лик так худ и бледен,
Что от небес ему одни
С тобой даны права святые
На все, чем ясны наши дни,—
На наши радости земные!

И тех страдальцев не забудь,
Что обрели венец терновый,
Толпе указывая путь —
Путь к возрожденью, к жизни новой!

И пусть в дому твоем найдут
Борьбой измученные братья
Забвенье мук, от бурь приют
И брата верные объятья!



* * *

На сердце злоба накипела
От заученных этих фраз!
Слова, слова! А чуть до дела,
Ни сил, ни воли нет у нас!

Как мы сочувствуем народу,
Как об его скорбим нуждах!
За правду мы в огонь и в воду
Идти готовы... на словах.

Развить логически и здраво
Умеем мы, что гибнет мир;
Что богачей и нищих право
Одно на светлой жизни пир.

И поучаем мы охотно,
Что лень постыдна и вредна;
Что не затем, чтоб кушать плотно
Да празднословить, жизнь дана.

А между тем борьбы упорной
Или сурового труда
Бежим мы с трусостью позорной
И не краснеем от стыда!

И кто, неправдою гонимый,
Себе нашел защиту в нас?
Бесстрастно мы проходим мимо
Людского горя каждый час.

И фразы нам всего дороже!
Нас убаюкали оне...
Когда ж сознаем мы, о боже!
Что нет спасенья в болтовне?

РОДНОЕ

Свесилась уныло
  Над оврагом ива,
И все дно оврага
  Поросло крапивой.

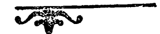
В стороне могила
  Сиротеет в поле:
Кто-то сам покончил
  С горемычной долей!

Вон вдали чернеют,
  Словно пни, избушки;
Не из той ли был он
  Бедной деревушки?

Там, чай, труд да горе,
  Горе без исхода...
И кругом такая
  Скудная природа!

Рытвины да кочки,
  Даль полей немая;
И летит над ними
  С криком галок стая...

Надрывает сердце
  Этот вид знакомый...
Грустно на чужбине,
  Тяжело и дома!



ОТЧИЗНА

Природа скудная родимой стороны!
Ты дорога душе моей печальной;
Когда-то, в дни моей умчавшейся весны,
Манил меня чужбины берег дальный...

И пылкая мечта, бывало, предо мной
Рисует всё блестящие картины:
Я вижу свод небес прозрачно-голубой,
Громадных гор зубчатые вершины...

Облиты золотом полуденных лучей,
Казалось, мирт, платаны и оливы
Зовут меня под сень раскидистых ветвей,
И розы мне кивают молчаливо...

То были дни, когда о цели бытия
Мой дух, среди житейских обольщений,
Еще не помышлял... И, легкомыслен, я
Лишь требовал у жизни наслаждений.

Но быстро та пора исчезла без следа,
И скорбь меня нежданно посетила...
И многое, чему душа была чужда,
Вдруг стало ей и дорого и мило.

Покинул я тогда заветную мечту
О стороне волшебной и далекой...
И в родине моей узрел я красоту,
Незримую для суетного ока...

Поля изрытые, колосья желтых нив,
Простор степей, безмолвно величавый;
Весеннею порой широких рек разлив,
Таинственно шумящие дубравы;

Святая тишина убогих деревень,
Где труженик, задавленный невзгодой,
Молился небесам, чтоб новый, лучший день
Над ним взошел — великий день свободы.

Вас понял я тогда; и сердцу так близка
Вдруг стала песнь моей страны родимой —
Звучала ль в песне той глубокая тоска,
Иль слышался разгул неудержимый.

Отчизна! не пленишь ничем ты чуждый взор.
Но ты мила красой своей суровой
Тому, кто сам рвался на волю и простор,
Чей дух носил гнетущие оковы...



К ЮНОСТИ

(Посвящается молодому поколению)

О юность, юность, где же ты?
Где эта пылкая отвага
И вдохновенные мечты?
Готовность где во имя блага,
Покинув все — семью и дом,—
Идти на битву с мощным злом?

Их нет давно!.. И нету сил
На подвиг трудный и суровый;
Как раб, что много лет носил
Неволи тяжкие оковы,
Я духом слаб, я изнемог,
Сломил меня железный рок.

Лишь одного житейский гнет
Убить в душе моей не в силах,
Одно в ней только не умрет,
Хотя и будет в этих жилах
Струиться старческая кровь:
К отважной юности любовь!..

Когда, толпясь вокруг меня,
Кипит младое поколенье,
Иного, радостного дня
Рассвет я вижу в отдаленье
И говорю с восторгом я:
«Бог помочь, братья и друзья!

Несите твердою рукой
Святое знамя жизни новой,
Не отступая пред толпой,
Бросать каменьями готовой
В того, кто сон ее смутит,
Чья речь, как божий меч, разит.

Бог помочь, братья и друзья!
Когда ж желанный день настанет,
Пусть ваша дружная семья
Отживших нас добром помянет,
Нас всех, чья молодость прошла
В борьбе с гнетущей силой зла!»



ОНА И ОН

Das ist eine alte Geschicht-
H. Hein

Ему все мило было в ней:
И смех ребяческий, и ласки,
Ее голубенькие глазки
И пряди светлые кудрей.

Мирился он с своей судьбой,
Когда к плечу его, бывало,
Ласкаясь, тихо припадала
Она головкой молодой.

Целуя чистое чело
И гибкий стан обвив рукою,
Он говорил: «На мир с тобою
Смотрю я честно и светло.

Ты дух мой слабый извлекла
Из бездны страшного паденья;
Звездою яркою спасенья
Ты в небесах моих взошла.

Отныне были б без тебя
Мне дни мои невыносимы;
Тоской безвыходной томимый,
Сошел бы в землю я, любя!»

На речи нежные она
Могла ответить лишь слезами
И не «клялася небесами»
Навеки быть ему верна.

Она без клятв, без громких слов,
Всю жизнь любить его умела;
Она пошла за милым смело,
Покинув свой родимый кров.

Он был хорош. Лицо его
Следы носило жизни бурной.
Сначала света блеск мишурный
Любил он более всего;

[1] Это старая история... *Г. Гейне (нем.).*

Хоть, может быть, и не блистал
Он там звездой первостепенной
И обращался с ним надменно
Иной сиятельный нахал,

Но сердце женское не раз
Умел пленить он речью страстной;
И были все мужья согласны,
Что он опасен, как Ловлас.

В любви он видел жизни цель,
Бросал, потом опять влюблялся;
С одним соперником стрелялся
И сослан был он за дуэль.

Развратом, картами, вином
Он услаждал тоску изгнанья
И, небольшое состоянье
Убив, остался голяком.

Тогда-то он сошелся с ней,
Его ума она сначала
Боялась всё — не понимала
Его возвышенных речей.

Как дикий цвет в полях, цвела
Она, цены себе не зная;
Ей странно было, как такая
Степнячка нравиться могла;

Да и кому еще притом?
Ему, который там, в столице,
Конечно, не с одною львицей
Великосветской был знаком.

Он победить в ней этот страх
Старался нежностью покорной;
Большую опытность, бесспорно,
Имел в сердечных он делах.

И говорил он так умно!
А отличить в наш век, и сразу,
От чувства искреннего фразу
Сердцам наивным мудрено!

И в Петербург с собой увез
Ее он из глуши печальной;
С ним в путь она пустилась дальный
Без горьких жалоб и без слез.

Он представлял друзьям своим
Ее с торжествовавшим взором;
Друзья все поздравляли хором
Его с сокровищем таким.

Как был доволен он и рад,
Когда знакомые артисты,
Бывало, этот облик чистый
С головкой грёзовской сравнят!

Одна беда: своим трудом
Обоим жить им приходилось;
Она без устали трудилась,
Сидела ночи за шитьем;

А он... он места все искал,
Но, получив ответ повсюду
Один: «Иметь в виду вас буду»,
Пока сложивши руки ждал.

Хоть он на связи прошлых лет
Считать имел бы основанье,
Но в этот раз ему вниманья
Не оказал холодный свет.

Уверен я, известно вам,
Читатель мой, что очень трудно
В столице нашей многолюдной
Себя пристроить беднякам.

Себе отказывать во всем
Он не привык. Среди лишений,
Грошовых счетов, огорчений
Нередко желчь кипела в нем.

Купить хотел бы он своей
Подруге пышные наряды,
Чтобы завистливые взгляды
Привлечь, когда идет он с ней.

Ему хотелось побывать
В любимой опере, в балете;
Порой хотелось даже в свете
Блеснуть любезностью опять.

Во сне он часто видел бал;
Гремел оркестр, блистали свечи,
И кто-то пламенные речи
Ему под музыку шептал...

Но что же делала она?
Ей не мечтался говор бальный:
Зажжет себе огарок сальный
И шьет сидит, не зная сна,

Чтоб только он доволен был,
Клясть перестал судьбы нападки;
Чтоб завтра свежие перчатки
Себе к гулянью он купил.

Она была так весела,
Как бы нужды не знала гнета;
Лишь красота, казалось, что-то
Немного блекнуть начала.

Но наконец — хвала судьбе
(Я отношу сей случай к чудным) —
Местечко с жалованьем скудным
Нашел приятель наш себе.

И стал он в должность каждый день
Ходить и там строчить бумаги;
Но ненадолго в нем отваги
Хватило... не осилил лень!

И, тяготясь своим трудом,
Он стал твердить: «Нет, право, мочи
Приказным быть чернорабочим,
Каким-то упряжным волом.

Не снился мне такой удел!
Доволен будет им не каждый;
Моя душа томится жаждой
Иных, полезных миру дел!»

Но если правду говорить,
Он к делу годен был не слишком;
И не таким, как он, умишкам
Дела великие творить!

И становились все тошней
Ему служебные занятья;
Все чаще сыпал он проклятья
И на судьбу и на людей!

И даже той он не щадил —
Когда домой к себе, бывало,
Придет сердитый и усталый,—
Кому милее жизни был!

Не раз бросал в лицо упрек
Он ей в минуту озлобленья,
Хотя потом просил прощенья
И у ее валялся ног.

То, чем душа была больна,
У ней не изливалось в пенях;
И по ночам лишь на коленях
Молилась пламенно она.

А он все думал об одном:
«Когда ж мне счастье улыбнется?
Иль в должность целый век придется
Мне шляться пó грязи пешком?

Ужели буду поглощен
Я весь чиновничества тиной
И в месяц двадцать два с полтиной
Брать целый век я обречен!»

Желанье благ пережитых
В груди его все возрастало,
И он во что бы то ни стало
Поклялся вновь добиться их.

Давно известно нам из книг,
Что человеку с силой воли
Возможно все. Так мудрено ли,
Что цели скоро он достиг.

Достиг... но не путем труда;
Ведь по привычкам был он барин,
А этот путь неблагодарен
В отчизне нашей, господа!

Он часто льстил себя мечтой,
Что, говорить умея плавно,
Он, верно б, был оратор славный
Иль адвокат в стране иной.

Увы! не то ему судил,
И бед и радостей виновник,
Капризный рок. Один сановник
Тогда в столице нашей жил.

Хотя у старца голова
Была сединами покрыта,
Но называла волокитой
Его стоустая молва.

И точно, от семьи тайком
(Имел детей он и супругу)
Завел он нежную подругу
И ей купил в Коломне дом.

Связь эта длилась много лет,
И дочь была плодом их страсти,
Хоть, признаюсь, темно отчасти,
Кто произвел ее на свет.

Ее любил он: исполнял
Он дочки каждую затею
И обещался дать за нею
Довольно круглый капитал.

Охота страшная была
У ней отведать жизни брачной;
Но, к сожалению, невзрачной
Ее природа создала.

Хотя подчас пускала в ход
Она румяна и белила,
Но женихов не находила,
А ей уж шел двадцатый год.

Она училась кой-чему,
Но не могла прочесть без скуки
Двух слов: не нравились науки
Ее небойкому уму.

Боялась мать, чтобы греха
Какого с дочкой не случилось,—
И к старцу с просьбой обратилась
Скорей найти ей жениха.

Примерным старец был отцом
И, много времени не тратя,
Искать усердно начал зятя
В обширном ведомстве своем.

И наш приятель там служил;
Фигурой стройной, смелым взором,
Изящным светским разговором
Он тотчас старца поразил,

И старец был ужасно рад,
Что сей чиновник интересный
Живет себе в каморке тесной,
Что беден он и не женат.

К себе он на дом звал его
И там однажды, в кабинете,
Открыл ему, что на примете
Имел невесту для него;

Что не красавица она,
Но обладает состояньем,
Притом с отличным воспитаньем,
И будет добрая жена.

Отвесил наш герой поклон,
И с восхищенным старцем вместе
На смотр к назначенной невесте
Поехать согласился он.

Невеста юная гостей
Ждала с тоской нетерпеливой;
Жених изящный и красивый
Давно во сне являлся ей.

Когда ж предстал ей наяву,
Ее он просто озадачил;
Ей стало жаль, что не назначил
Он где-нибудь ей рандеву.

Что не сошлись они тайком
В саду, в аллее темной, длинной,
А здесь, в гостиной этой, чинно
Сидят, и даже не вдвоем...

Сбылся ее заветный сон,
Его мечты сбывались тоже;
Так дожидаться им чего же?
Вопрос о браке был решен.

Но в душу страх ему проник:
Как объяснить подруге прежней?
А объясненье неизбежней
Все становилось каждый миг.

И, этот страх преодолеть
Не в силах будучи, из дому
Он скрылся раз... Она к знакомой
Пошла в тот вечер посидеть.

Когда ж назад она пришла
И, победив свою дремоту,
Хотела взяться за работу,—
Письмо на столике нашла.

Рукой дрожащею печать
Она в испуге надломила,
Прочла... Слезы не проронила
И тихо села на кровать...

И просидела так она
Вплоть до утра, храня молчанье,
Как будто скорби изваянье,
И недвижима и бледна.

Он ей поведал коротко́,
Что в нем уж нету прежней страсти,
Что чувства все не в нашей власти
И с сердцем сладить нелегко.

Ну, словом, он сумел мотив
Найти достаточный измене
И кончил нежно, в нотабене
Подруге помощь предложив.

Но вот уж розовым лучом
К ней утро в комнатку блеснуло:
Она очнулась и взглянула
Глазами мутными кругом.

У ней, казалось, на лице
Уж нет отчаянья и тени:
Привстала... дверь толкнула в сени
И очутилась на крыльце.

Все спало. Даже в мелочной
Лавчонке не было продажи,
И не гремели экипажи
Еще по пыльной мостовой.

С крыльца сошла она и вот
Куда-то улицей пустою
Идет поспешною стопою,
Не озираяся идет.

Дома и церкви перед ней
Громадно высились... но скоро
Пошли лачуги да заборы,
А там застава, даль полей...

Минуя фабрик дымных ряд,
Кладбища тесные могилы,
Она идет, идет... и силы
Ей изменить уже хотят.

Ей темя жжет полдневный зной,
Томят ее усталость, голод...
А сердце, словно тяжкий молот,
Стучит у ней в груди больной.

Переступать она с трудом
Могла — подкашивались ноги...
И вдруг упала средь дороги,
Как колос, срезанный серпом...

Купцом проезжим найдена,
Она в ближайший стан попалась;
И при допросе оказалось,
Что сумасшедшая она.

А наш приятель получил
Довольно выгодное место
И с некрасивою невестой
Спустя неделю в брак вступил.

Я видел раз, как их несла
В коляске модной серых пара,—
И пожалел лишенных дара
Свои обделывать дела!



ПАМЯТИ К. С. АКСАКОВА

Человек он был...

«Гамлет»

Еще один — испытанный боец,
Чей лозунг был: отчизна и свобода,
Еще один защитник прав народа
Себе нашел безвременный конец!

Он был из тех, кто твердою стопой
Привык идти во имя убежденья;
И сердца жар, и чистые стремленья
Он уберег средь пошлости людской.

Он не склонял пред силою чела
И правде лишь служил неколебимо...
И верил он, что скоро край родимый
С себя стряхнет оковы лжи и зла...

В наш грустный век, на подвиги скупой,
Хвала тому, кто избрал путь суровый...
Хвала тому, кто знамя жизни новой
Умел нести бестрепетной рукой.



ДВЕ ДОРОГИ

(Посв<ящается> И. С. Аксакову)

1

Две легли дороги, братья, перед нами,
А какая лучше, рассудите сами.
Первая дорога — широка, привольна;
Всякого народу ходит тут довольно;
Глаже, веселее не сыскать дороги:
Не изрежут камни пешеходу ноги;
По бокам всё рощи с темною листвою;
Есть где приютиться от дождя и зною.
И в садах роскошных недостатка нету,
И гулять в них может всякий без запрету.
Там плоды на солнце, наливаясь, зреют,
Там цветы в зеленой мураве пестреют,
Как богатой ткани яркие узоры,
Любоваться ими не устанут взоры;
И ведет не к горю, не к нужде гнетущей,
А к счастливой доле этот путь цветущий.
В роскоши да в неге, весело, богато
Заживет счастливец в расписных палатах;
Перед ним холопы будут изгибаться,
От него подачки жадно добиваться...
Золотом пресыщен и пресыщен властью,
Попривыкнув к лести и к подобострастью,
Он совсем забудет, что на белом свете
Есть нужды и горя страждущие дети,
Что они не знают счастья до могилы,
А чела не клонят рабски перед силой.
Славная дорога! Хоть кого заманит,
Околдует сердце, разум отуманит!

2

Но другой есть путь — кремнистый,
По горам крутым идет;
Не шумит здесь сад тенистый
И не зреет сочный плод.
Только острые каменья
Чья-то щедрая рука
Разбросала на мученье
Пешехода-бедняка.

Терн колючий то и дело
Вырастает из земли
И ему вонзает в тело
Иглы острые свои.
И идущим по такому
Безотрадному пути —
В золоченые хоромы,
К наслажденью не прийти!
И не ждут они веселья,
На пирах им места нет:
В путь они пустились с целью
Проложить в пустыне след.
Хоть угрюма та дорога
И не к радостям ведет,
Но по ней за ними много
Новых путников пойдет
С упованьем, что желанный
Час придет когда-нибудь,
Что на край обетованный
Будет им дано взглянуть;
И с душою умиленной,
В этот час, с крутых высот,
Солнца правды над вселенной
Встретят путники восход!..
Так-то, братья! Перед нами
Пролегают два пути:
Рассудите же вы сами,
По какому нам идти!



ЛЖЕУЧИТЕЛЯМ

Жрецы греха, пророки тьмы!
Напрасно вы постыдной ложью
Затмить хотите правду божью,
Сердца опутать и умы!
Бессильны злобы ухищренья,
Бессильно жало клеветы:
Свободы пылкие мечты,
Ко благу честные стремленья
Вам не убить! Года пройдут,
И лжи замрет бесследно голос;

Зерно добра даст пышный колос,
А ваши плевелы сгниют!
Иль ослепленным вашим взорам
Заря иная не ясна?
Вам дела нет, что племена,
Покончив с вековым раздором,
Друг другу руки подают;
Что столько свергнуто кумиров
И что сильней всех сильных мира
Стал мысли животворный труд!
Вам дела нет! Но час настанет,
Жрецы греха, пророки тьмы,
И человек, как от чумы,
От вас с проклятием отпрянет!
И вы, с позором на челе,
Пойдете, ужасом объяты,
Как древле брат, убивший брата,
Искать приюта на земле!



* * *

Всю-то, всю мою дорожку
Ранним снегом занесло!
Было время золотое,
Да как сон оно прошло.
Было время — и блистало
Солнце в яркой синеве,
И цветов пестрело много
В зеленеющей траве.
Шумом радостным шумели
Бесконечные леса...
И звенели в темной чаще
Вольных птичек голоса.
И река спокойно в море
Волны чистые несла;
И дрожащим в этих волнах
Звездам не было числа!

Но разнес осенний ветер
    Пожелтевшие листы;
И под холодом поникли
    Запоздалые цветы...

Улетели в край далекий,
  Под иные небеса,
Птички вольные, покинув
  Обнаженные леса!
И в волнах реки шумящих
Не лазурный, чистый свод,
Не бесчисленные звезды —
Тучи смотрятся с высот...

Было время — молодое
Сердце билося в груди;
Жизнь, и счастье, и свободу
Обещало впереди!
Божий мир казался тесен
Для могучих юных сил;
Как орел ширококрылый,
В беспредельность дух парил!
Жажда подвигов высоких
Волновала смелый ум;
Много в сердце было страсти,
В голове — кипучих дум!
Жизнь! зачем же обещаний
Не сдержала ты своих
И зачем не пощадила
Упований молодых?
Сгибло все: надежды, силы...
Как ненастною порой
Зеленеющие всходы
Под дыханьем бури злой!
Было время золотое,
Да как сон оно прошло!
Всю-то, всю мою дорожку
Ранним снегом занесло!



ТУЧИ

Отвори, мой друг, окошко,
Воздух тепел и душист,
Ни один не колыхнется
На березках белых лист.

Отвори, мой друг, окошко
И не бойся. Стороной
Туча грозная промчалась,
Нас пугавшая с тобой.

Но я вижу, ты за нею
Робким взором все следишь;
И грозу — тебе сдается —
Предвещает эта тишь.

Посмотри! Блеснуло солнце...
В бледно-розовых лучах
Тонет даль полей немая...
Отгони свой детский страх;

Посмотри, как чист и ясен
Солнца летнего закат...
И на завтра безмятежный
Небеса нам день сулят.

Но я знаю, что за дума
На челе твоем легла:
Ты забыть не можешь тучи,
Что далеко уплыла.

И, невольно подымая
К небу грустные глаза,
Говоришь себе: «Над кем-то
Грянет страшная гроза!

Дай-то бог, чтоб не застигла
Бедных странников она —
Бедных странников, бредущих
В ночь без отдыха и сна;

Не застигла б тех, кто бросил
Близких, родину и дом
И пошел к далекой цели
Неизведанным путем!»



ЛУННОЙ НОЧЬЮ

И мне когда-то было мило
Светило бледное ночей;
Так много грез оно будило
В душе неопытной моей!

Когда лучи его дрожали
На влаге дремлющей реки,
Душа рвалась к неясной дали,
Полна неведомой тоски.

И было томное сиянье
Путеводителем моим,
Когда спешил я на свиданье,
Кипя восторгом молодым.

Прошли неясные стремленья
И поэтические сны!
Теперь иные впечатленья
Во мне луной порождены.

Досадно мне, что так бесстрастно,
С недосягаемых высот,
Глядит она на мир несчастный,
Где лжи и зла повсюду гнет,

Где столько слабых и гонимых,
Изнемогающих от битв,
Где льется столько слез незримых
И скорбных слышится молитв!



В ЛЕСУ

Шумели листья под ногами,
Мы шли опушкою лесной.
Роса над спящими лугами
Ложилась белой пеленой.

Мы шли. Он молод был, звучала
Отвагой пламенная речь.
Он говорил: «Пора настала,
И стыдно нам себя беречь.

Дружней приняться за работу
Должны все честные умы;
И лжи и зла двойному гнету
Довольно подчинялись мы.

Довольно трусости и лени,
К нам перешедшей от отцов,
И бесполезных сожалений,
И красноречия цветов.

Пускай толпа за подвиг смелый
Нам шлет бессмысленный укор;
Не бросим мы святого дела!
Мы встретим радостно позор!..»

Речам восторженным внимая,
Я думал: «Дай-то, дай-то бог,
Чтоб, на неправду восставая,
Ты в битве той не изнемог!»

Он замолчал... А лес сосновый,
Кивая, ветви простирал,
Как бы его на труд суровый,
На путь святой благословлял...



СОВЕТЫ МУДРЕЦОВ

1

Нет! вы к делу не годитесь,
В вас «умеренности» нет!
Лучше с жизнью примиритесь,
Бросьте юношеский бред!
Ненавидеть слишком страстно,
Слишком искренно любить —
Это в книгах все прекрасно,
Но иначе нужно жить.
В идеалах мало проку,
В них, напротив, вся беда:
С идеалами далеко
Не уйти вам никогда!

2

Ваш язык острее бритвы,
Желчь в речах у вас слышна;
Жизнь, по-вашему, для битвы
Для какой-то создана,

Злым началом отрицанья
Дух ваш слишком заражен;
Всё вам видятся страданья,
Всё вам слышен чей-то стон.
Отрицайте осторожно
И карьеры не губя;
Иногда ругнуть и можно,
Но не громко... про себя!

3

«Или белый, или черный —
Что-нибудь из двух одно!» —
Вами, с пылкостью задорной,
Очень быстро решено.
Это крайности! Ни меры,
Ни границ в вас чувства нет!
Лучший цвет, поверьте, серый:
Он «умеренности» цвет.
А она земные блага
И спокойствие дает;
Вы ж безумною отвагой
Только тешите народ!

4

Но придете вы к тому же!
Поседеет голова,
И стремленья станут уже,
Осторожнее слова...
Если ж в сердце сохранится
Пламень юношеских лет,
Лучше б вам и не родиться:
Не уйдете вы от бед!
Бросьте ваши увлеченья,
Изберите путь иной —
Путь единственный спасенья:
Середины золотой!



* * *

Честные люди, дорогой тернистою
К свету идущие твердой стопой,
Волей железною, совестью чистою
Страшны вы злобе людской!

Пусть не сплетает венки вам победные
Горем задавленный, спящий народ,—
Ваши труды не погибнут бесследные;
Доброе семя даст плод.

Сбудутся ваши святые желания,
Хоть не дождаться поры этой вам
И не видать, как все ваши страдания
Здесь отольются врагам.

Вестники правды, бойцы благородные,
Будете жить вы в правдивых сердцах,
Песню могучую люди свободные
Сложат о ваших делах.



УМИРАЮЩИЙ

Оставь, душа, сомненья и надежды!
Конец борьбе с мирским всесильным злом.
Я чувствую: сомкнутся скоро вежды,
Близка пора заснуть последним сном!

Истощены бесплодно наши силы;
Мы не щадя их тратили в борьбе;
Но у дверей темнеющей могилы
Мы не пошлем проклятия судьбе.

И от нее не ждем мы воздаянья
За все, чем жизнь была отравлена...
Страдали мы — но были те страданья
Дороже нам бездействия и сна.

Покинем мир спокойно, без упрека;
Пусть не для нас победные венцы,
Пусть цель от нас была еще далеко,
Но пали мы как честные борцы!..



ОСЕНЬ

Я узнаю тебя, время унылое:
Эти короткие, бледные дни,
Долгие ночи, дождливые, темные,
И разрушенье — куда ни взгляни.
Сыплются с дерева листья поблекшие,
В поле, желтея, поникли кусты;
По небу тучи плывут бесконечные...
Осень докучная!.. Да, это ты!

Я узнаю тебя, время унылое,
Время тяжелых и горьких забот:
Сердце, когда-то так страстно любившее,
Давит мертвящий сомнения гнет;
Гаснут в нем тихо одна за другою
Юности гордой святые мечты,
И в волосах седина пробивается...
Старость докучная!.. Да, это ты!



ВЕСНА

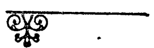
Опять весной в окно мое пахнуло,
И дышится отрадней и вольней...
В груди тоска гнетущая заснула,
Рой светлых дум идет на смену ей.

Сошли снега... Оковы ледяные
Не тяготят сверкающей волны...
И плуга ждут далекие, немые
Поля моей родимой стороны.

О, как бы мне из этих комнат душных
Скорей туда хотелось — на простор,

Где нету фраз трескучих и бездушных,
Где не гремит витий продажных хор.

В поля! в поля! знакомая природа
К себе красой стыдливою манит...
В поля! там песнь воскресшего народа
Свободная и мощная звучит.

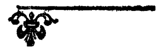


* * *

Что год, то новая утрата,—
И гибнут силы без конца!
Еще меж нами нет собрата,
За правду честного бойца!

Подумать страшно, скольких мы
Недосчитались в эти годы!
И всех, врагов отважных тьмы,
Сломили ранние невзгоды.

И вот над свежею могилой
Нас дума тяжкая гнетет...
Ужели та же участь ждет
Все возникающие силы?



ПАМЯТИ Е. А. ПЛЕЩЕЕВОЙ

1

Как ей, почившей вечным сном,
В гробу из дома унесенной,
Уж не вернуться в этот дом,
К семье, печалью удрученной,—

Так в сердце бедное мое
И радость больше не вернется;
В нем скорбь на долгое житье
Незваной гостьей остается.

Не озарит души моей
Былого счастья луч отрадный;
И жизнь, что ждет меня, мрачней
Осенней ночи беспроглядной...

2

Ты не любила этот свет,
Где вечно добрые страдали,
И отошла в тот край, где нет
«Ни воздыханья, ни печали».
И что́, как перл в волнах морей,
Таилось в любящей и честной,
Не знавшей лжи душе твоей,
Осталось людям неизвестно.

Как мало их, кто понимал
Высокий подвиг жизни темной,
От чьих очей не заслонял
Мишурный блеск твой образ скромный,
Кому не чужд был мир твоих
Заветных дум, надежд любимых,—
Их мало, но тобою в них
Оставлен след неизгладимый.

3

Вот она, твоя могила,
Снегом вся занесена.
Все, чем сердце дорожило,
Все, чем жизнь была ясна,—
Все-то, все навек сокрыла
От очей моих она!

И стою над ней, рыдая,
С головой поникшей я.
О, явись мне, дорогая,
Безупречная моя!

О, покинь хоть на мгновенье
Тесный, мрачный свой приют;
И уста твои прощенье
Мне пускай произнесут.

Все прости, что омрачало
Дни недолгие твои;
И с улыбкой, как бывало,
На меня опять взгляни!

Тщетен зов мой!.. И не взглянет
На меня твой кроткий взгляд.
Образ милый не предстанет,
И уста твои молчат!
Что земли добычей станет,
Не вернет она назад!

Одинок стою, взывая
К незабвенной тени я;
И скорбящая, больная
Рвется к ней душа моя!



APOSTATEN-MARSCH [1]

(Мотив одного немецкого поэта)

Пресмыкаться в грязи, ноги сильным лизать,
За подачку от них продавать убежденье,
Кто отважен и чист, на того клеветать,
  Чтоб изведал беду и гоненье,—
    Вот оно, призванье наше!
    Служим верно мы ему.
    Горе мысли неподкупной!
    Гибель честному уму!
Горе пылким сердцам, что мечты юных дней
Словно клад берегут и, по старой привычке,
Всё о правде кричат да о благе людей,—
  Мы дадим им опасные клички.
Горе тем, кто в лицо нам бросает укор,
Кто позором клеймит наше дело и слово;
Мы толпе закричим: он разбойник и вор,
  Подавайте скорее оковы!
Было время, когда мы, подъявши чело,
Тоже рвались к борьбе и немало шумели;
Слава богу, теперь опьяненье прошло,
  Мы другие преследуем цели.

[1] Песня отступников (*нем.*).

Мы сознали, что все эти грезы смешны,
Что к почету ведет нас дорога иная
И что старый свой грех искупить мы должны,
  Честь и совесть в грязи попирая!
Пресмыкаться в грязи, ноги сильным лизать,
За подачку от них продавать убежденье,
Кто отважен и чист, на того клеветать,
  Чтоб изведал беду и гоненье,—
    Вот теперь призванье наше!
    Служим верно мы ему.
    Горе мысли неподкупной!
    Гибель честному уму!



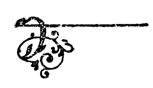
* * *

Блажен, кто мирно без начальства,
Без вицмундира может жить,
Самодовольного нахальства
Кто не обязан выносить

Кто важным делом не считает
Весь канцелярский сор и хлам
И о награде не мечтает
Строча доклады по ночам

Кого не смог лишить покоя
И сна начальничий приказ,
Кто тело спас от геморроя
И от холопства душу спас.

А. П.



* * *

Где ты, пора веселых встреч,—
В саду при ярком свете дня?
И детски ласковая речь,
Любить учившая меня?

Где незабвенная пора,
Когда житейскою тропой,
Чиста, правдива и добра,
Она шла об руку со мной?

Где кроткий свет прекрасных глаз,
Что примиренье в душу лил?
На миг блеснул он — и погас,
На миг он путь мой озарил!

И снова мраком я объят.
И только бледные лучи
Воспоминания дрожат
Еще порой в моей ночи.

Их свет не греет, не живит;
Но жизнь без них еще мрачней;
Больное сердце дорожит
И призраком счастливых дней...



* * *

Быстро тают снега, побежали ручьи,
И теплей небеса засинели...
Вот недолго еще — прилетят соловьи,
Зазвучат их влюбленные трели.

Все-то, все тебя ждут не дождутся, весна!
Жду и я наболевшей душою,
Чтобы лес зашумел, пробужденный от сна,
Разукрашенный яркой листвою.

Сколько раз этот шум, как ему я внимал,
На меня навевал примиренье;
Я сильнее любил, я полнее прощал,
Затихало в груди озлобленье,

И как будто шептал чей-то голос: «Сомкни
Здесь навеки усталые очи,
Хорошо умереть в эти ясные дни,
В эти теплые, тихие ночи.

Хоть и жаль, может быть, расставаться с землей,
Когда все вкруг тебя расцветает;
Но блажен, кто, пройдя путь нерадостный свой,
С примиреньем в груди угасает».



* * *

Тяжелая, мучительная дума
Гнетет меня. Везде она со мной,
В толпе ли я, средь говора и шума,
Иль одинок брожу в тиши лесной.
И шепчет все неведомый мне голос:
«Жизнь прожита! Смотри, в твоих кудрях
Уж не один седой пробился волос,
В морщинах лоб, огонь потух в глазах.
Прошедшее окинь духовным взором
И совести правдивого суда
Не избегай! Пред строгим приговором,
Раскаянья исполнен и стыда,
Склонись во прах челом когда-то гордым,
Сознай, что жизнь напрасно тратил ты,
Что не служил добру оплотом твердым,
Но был рабом бессильным суеты;
Что больше слез, чем радости и счастья,
Ты преданным и добрым тем дарил,
Кто в дни невзгод, в дни бурного ненастья
Любовью путь твой мрачный озарил!
И что ни в чьей душе существованье
Твое следа оставить не могло...»

Бесплодное и горькое сознанье!
Зачем ко мне теперь лишь ты пришло,
Когда в кудрях седой пробился волос,
Когда для битв житейских нету сил?
Зачем мой дух укором этот голос
В былые дни от сна не пробудил?
Жизнь прожита... и скоро с ней проститься
Придет пора... Но думать тяжело,
Что над тобой с любовью не склонится
Ничье в тот миг печальное чело...



СЛОВА ДЛЯ МУЗЫКИ

Я помню все: и голос милый,
И ласки, ласки без конца;
Я буду помнить до могилы
Черты любимого лица.

И сад я помню над рекою,
Где мы, в вечерний, поздний час,
Бродили тихою стопою,
Где мы сошлись в последний раз.

Какой глубокой, страшной муки
Была душа моя полна,
Когда, мои сжимая руки,
«Прости!» — сказала мне она...

Прошли года... Но образ милый
Еще живет в душе моей,
И буду помнить до могилы
Я кроткий свет ее очей...



* * *

Иль те дни еще далеки,
Далека еще пора,
Вами зримая, пророки,
Провозвестники добра?

Скоро ль сменится любовью
Эта ненависть племен
И не будет братской кровью
Меч народов обагрен?

Скоро ль мысль в порыве смелом
Лжи оковы разобьет;
Скоро ль слово станет делом,
Дело даст обильный плод?

Скоро ль разума над силой
Мир увидит торжество?

Или мы сойдем в могилы
Только с верою в него?

Засветись, о день счастливый!
Разгони густой туман,
Что лежит еще на нивах
Стольких сном объятых стран!



ОБЛАКА

(Посв<ящается> Г. А. Ларошу)

Я лежал на траве и глядел,
Как по небу плывут облака;
Ветер листьями клена шумел,
Их ко мне нагибая слегка.

И неслись облака надо мной,
Исчезая и тая вдали...
Они солнце ревниво собой
Заслоняли порой от земли.

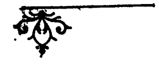
Будто солнцу хотели сказать:
«Не дари ты ей теплых лучей!
Перестань, перестань согревать
Эту землю любовью своей!

Где сгустилась вечерняя мгла,
Где твой пламенный луч догорел,
Сколько там совершается зла,
Сколько темных, неправедных дел!

Разве ласк она стоит твоих?
Разве, грешная, любит тебя?
Нам одним ты сияй! Нас одних,
Непорочных и чистых, любя!»

И неслись по степям голубым
Облака в бесконечную даль,
Исчезая одно за другим;
Но, казалось, их солнцу не жаль;

Не хотело оно чистоты
Их холодной на землю менять
И горячим лучом с высоты
Стало грешную землю лобзать...



* * *

Жаль мне тех, чья гибнет сила
Под гнетущим игом зла;
Жаль мне тех, кого могила
Преждевременно взяла;
Тех бойцов с душою чистой,
Мысли доблестных вождей,
Что дорогою тернистой
Бодро к цели шли своей
С словом пламенным пророка,
Пробуждающим от сна;
Я скорблю о них глубоко,
Свято чту их имена.

Но и вас мне жаль порою,
Изнемогших на пути:
Не хотели вы с толпою
Ослепленною брести,
Но не в силах были благу
Ближних жертвовать собой;
Дух ваш гордость и отвагу —
Всё утратил пред бедой.
Жаль мне вас: я знаю, совесть
Часто шепчет вам укор;
Вашей молодости повесть
Вам слезой туманит взор.
В вашем сердце боязливом
Не угасли стыд и честь;
Знаю я, благим порывам
И теперь к вам доступ есть.
Но над вами полной власти
Не иметь им никогда,
Потому что сила страсти
Сердцу вашему чужда.

И идете вы, склоняя
Грустно голову свою,
Но в душе благословляя
Честно гибнущих в бою.

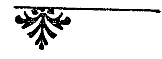
Жаль мне вас... Но есть иные —
И бесчисленны они,—
Что на подвиги благие
Тоже шли в былые дни;
Но высокие стремленья
В жертву пошлости людской
Принесли без сожаленья,
Преклонившись пред толпой.
Честной мысли изменили,
Братьев продали своих,
И позором их клеймили,
И швыряли грязью в них.
Эта дышащая злобой
И предательская рать
Будет ненависть до гроба
В честных душах пробуждать!



СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЗДНЕЙШЕГО ПЕРИОДА

* * *

Блаженны вы, кому дано
Посеять в юные сердца
Любви и истины зерно.
Свершайте ж честно, до конца
Свой подвиг трудный и благой,
И нет награды выше той,
Что вас за этот подвиг ждет:
Роскошный цвет, обильный плод
При жизни вашей принесет
Добро, посеянное вами.
Когда ж пробьет прощальный час,
С благоговеньем и слезами
Опустит в землю юность вас.
Но горе вам, коль захотите
Умы вы ложью омрачить;
Позора вы не избежите,
Пятна вам с совести не смыть!
Кто жаждет знанья, жаждет света,
Тем не ужиться долго с тьмой.
Придет пора, спадет долой
С их глаз повязка, что надета
Была предательской рукой;
Оковы рабства, бездну зла,
К которой ваша ложь вела,
Увидев, юность содрогнется,
Полна и скорби и стыда.
От лжеучителей тогда
Она с проклятьем отшатнется;
И имена их презирать
Своих детей научит мать!



ТОСТЫ

Первый тост наш — за науку!
  И за юношей — второй.
Пусть горит им светоч знанья
  Путеводною звездой.

Пусть отчизна дорогая
И великий наш народ
В них борцов неколебимых
За добро и свет найдет.

Третий тост наш — в честь искусства!
Воздадим хвалу тому,
Кто обрек себя всецело
На служение ему.

Всем, кто будит в людях словом,
Кистью, звуками, резцом
Красоты и правды чувство,—
Мы привет горячий шлем.

Не забудем также, братья,
Добрым словом помянуть
Тех, навек от нас ушедших,
Что, свершив свой трудный путь

И до гроба сохранивши
В сердце преданность добру,
Произнесть могли с поэтом:
«Знаю: весь я не умру».

Пожелаем, чтоб являлось
На Руси побольше их,
Чистых, доблестных, живущих
Лишь для подвигов благих.



ВЕСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Над росистыми лугами
Ветерок ночной гуляет,
Разговор ведет с цветами,
Травку тихо колыхает.

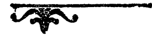
Над заснувшею долиной
Звезды яркие зажглися;
Звуки песни соловьиной
Из-за леса полилися.

Этой ночью не сидится
В душной комнате. Работа
Никакая не спорится,
И бежит от глаз дремота.

В эту ночь сильнее просит
Счастья сердце молодое;
Старика мечта уносит
В невозвратное былое.

Даже тот, чей взор слезою
Злое горе застилает,
Кто поник в борьбе с нуждою,
На мгновенье отдыхает.

И, утешенный приветом
Расцветающей природы,
Забывает, что с рассветом
Вновь прийти должны невзгоды.



ВЕСНА

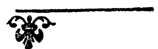
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждет чего-то,
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы!

Все лица весело глядят.
«Весна»,— читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе.

Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят — кто больше всех
Природы любит обновленье!



МОГИЛА ТРУЖЕНИКА

Спи, бедняк! Ты честно бился,
До утраты сил, с нуждою;
Умер ты, но не склонился
Пред неправдою людскою,
Потому-то над тобою
Речь людская не слышна.

Заросла тропа, что к дому,
Где нашел ты отдых, вьется,
И шагов на ней знакомых
Никогда не раздается.
Лишь природа остается
Другу старому верна.
Все, что ты любил когда-то,
Здесь она соединила,
И без мрамора богато
Убрана твоя могила.

Над тобой цветут сирени
И шумят листы березы,
Каплет с них роса, как слезы,
На могильные ступени
В час, когда ночные тени
От лучей дневных бегут.

Мак в траве пестреет яркий,
Льет жасмин благоуханье,
Раздается в полдень жаркий
Вкруг цветов пчелы жужжанье,
Ночью — месяца сиянье
Озаряет твой приют.

Спи, бедняк! Без сожаленья
Ты расстался с этим миром,
Что бросал в тебя каменья,

Оттого, что на служенье
Лжи его, его кумирам
Ты себя не обрекал.

В бедной доле, неизвестный,
Век трудясь неутомимо,
Совершал ты подвиг честный
И в приют свой мрачный, тесный
Ты сошел с несокрушимой,
Страстной верой в идеал!



* * *

Нет мне от лютого горя покоя,
Знать, никуда не уйду от него я.

Взялся бы я за свежительный труд,
Жил бы, как добрые люди живут,—

Только где сила, где воля на это?
Нету в душе на вопрос мой ответа.

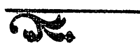
Были когда-то и сила и воля,—
Всё доконала суровая доля.

Нет! не встряхнуть мне кудрями опять,
Гордо чела пред бедой не поднять.

С юностью честною, бодро и смело,
Мне ли идти на полезное дело!

Бурею смятый, кой-как я бреду,
Смотришь — и темная яма в виду.

Лютое горе, о если б ты в ней
Сном непробудным заснуло скорей!



* * *

Теплый день весенний.
Солнышко блестит,
Птичка, заливаясь,
В поле всех манит.

Улицы, бульвары
Запрудил народ,
Пестрыми толпами
За город идет.

Праздничные лица
Радостно глядят;
Редко, редко встретишь
Невеселый взгляд.

Славно всем живется,
Так легко, что нет
У толпы нарядной
Ни забот, ни бед.

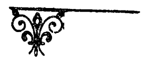
Только мне с тоскою
Справиться невмочь.
Как ее прогнать я
Ни стараюсь прочь.

Где б я ни был — всюду
Шепчет мне она:
«А твоя навеки
Отцвела весна!»

Зашумит ли в роще
Яркая листва,
Мне и в этом шуме
Слышатся слова:

«Нечего от жизни
Ждать тебе. Твой путь
Пройден,— не пора ли
Навсегда уснуть?

И когда сойдешь ты
В землю — над тобой
Зеленеть мы будем
Каждою весной!»



НОЧЬЮ

Жалобно ветер в трубе завывает,
Ночь неприветная смотрит в окно,
Маятник мерно стучит, догорает
Бледный ночник, в доме спят все давно.

Мне одному этой поздней порою
Сон не смежает тяжелых ресниц;
Прошлого тени встают предо мною,
Много знакомых мне вспомнилось лиц.

Вспомнились те, что когда-то так смело
Вышли на битву с неправдой и злом,
Делу благому отдавшись всецело,
Перед толпой не склоняясь челом.

Те, что, отвергнув все блага мирские,
Честную им нищету предпочли;
В ком ни обман, ни гоненья людские
Веры в добро умертвить не могли.

Где-то теперь вы? О, пусть ваше слово
Нам прозвучит в эту темную ночь...
Пусть оно силу на подвиг суровый
Даст нам, готовым в борьбе изнемочь.

Зов наш услышьте средь тьмы беспроглядной,
Нужен усталым ваш братский привет;
Гаснет их вера; увидеть отрадный
Взоры не чают рассвет!



СТАРИКИ

Вот и опять мы, как в прежние годы,
Старый товарищ, беседу ведем,
И прожитые когда-то невзгоды
Смутным каким-то нам кажутся сном.

Сколько мы лет не видались с тобою!
Сколько воды с той поры утекло...
Старость, подкравшись к нам тихой стопою,
Избороздила обоим чело.

Пламень, горевший в глазах, потушила,
Снегом обсыпала волосы нам.
Где наша бодрость, отвага и сила?
Видно, они не под стать сединам!

Помнишь, товарищ, минуту разлуки?
Весело вдаль мы глядели тогда;
Жали друг другу с улыбкой мы руки,
Грозная нас не страшила беда.

Мы говорили друг другу, прощаясь:
Скоро желанное время придет;
Сбудется все, что толпа, издеваясь,
Бредом, мечтаньем нелепым зовет.

Веруя в силу свободного слова,
Думали мы, что могучая рать
Ринуться в битву с неправдой готова,
Стоило только ему прозвучать.

Что же ты вдруг покачал головою?
Что улыбнулись так горько уста?
Молодость нас обманула с тобою...
Совесть зато у обоих чиста.

Бедны мы оба, в потертой одежде;
Много от нас отшатнулось друзей.
Пусть их! Но сердце в нас бьется, как прежде,
Верой горячей в добро и людей.

Пыл нетерпенья в душе охладили,
Свергли немало кумиров года;
Но и кумирам толпы не кадили
В чаянье благ мы земных никогда.

С пеной у рта не бросали каменья
В юность кипучую, если, полна
Гордой отваги, в пылу увлеченья,
Нас за ошибки корила она.

Знаем мы оба: как время настанет
Нам от житейских трудов отдохнуть,
Лихом она стариков не помянет,
Скажет: они пролагали нам путь.

Так-то, товарищ! Разбитым и хилым,
Нам остается глядеть в стороне,
Как нарождаются новые силы,
Как на борьбу выступают оне;

Да вспоминая прожитые годы,
В сердце суровое небо молить,
Чтоб миновали все наши невзгоды
Тех, кто пришел нас, отживших, сменить.



ВОСПОМИНАНИЕ

Посреди людского шума
И томящей суеты
Часто вижу пред собою
Вдруг я мертвые черты...

Очи впалые закрыты,
Плотно сомкнуты уста,
Но еще не отлетела
От почившей красота...

Пламя свеч, вокруг горящих,
На лице у ней дрожит,
Словно все еще румянец
Не сошел с ее ланит.

Я отвесть не в силах взгляда
От спокойного лица,
И тоске, гнетущей сердце,
Меры нет и нет конца...

Помню я, когда сокрыли
Навсегда ее от глаз...
О! как мне взглянуть хотелось
На нее еще хоть раз!

Помню я, как промелькнула
Быстро в памяти моей
Вереница безмятежно
Прожитых счастливых дней...

И понятней с каждым годом
Становилось мне потом
Слово, сказанное миру
«Ада» сумрачным певцом:

Что тяжеле мук для сердца,
Что ужасней пытки нет,
Как о днях былого счастья
Вспоминать в годины бед!..



* * *

Расстался я с обманчивыми снами
Моей давно исчезнувшей весны;
Казалось, жизни мутными волнами
Уже навек они унесены.

Казалось мне, что нет уж к ним возврата,
Смирился я пред силой роковой;
За что страдал, боролся я когда-то —
Все я признал несбыточной мечтой.

Казалось, впрок пошли мне наставленья
Тех мудрецов, что, мне бедой грозя,
Твердили: «Брось безумные стремленья!
Порочный мир пересоздать нельзя.

Пусть он коварной лжи опутан сетью,
Не твой картонный меч ее прорвет,
Перешибить нельзя обуха плетью:
Живи же так, как большинство живет!»

И годы шли, и в жилах кровь все стыла,
В душе все гасла вера в идеал...
И афоризм «солому ломит сила»
Порывы дум кипучих охлаждал...

Но отчего ж, когда порою снова,
Средь мудрецов с остывшею душой,
Из юных уст восторженное слово
Услышу я, зовущее на бой,

На честный бой, во имя тех забытых
Безумных грез... О! отчего тогда
Вдруг на моих поблекнувших ланитах
Румянец вспыхнет жгучего стыда?

И отчего так сильно сердце бьется,
Как билось в дни весны моей оно,
И к жизни вновь все просится и рвется,
Что в глубине его погребено?

Или когда о наглом ликованье,
О торжестве неправды слышу я,
Зачем во мне кипит негодованье
И злобы так полна душа моя!

И кажется мне пошлостью бездушной
Вся эта мудрость опытных людей,
Которой я принес, как раб послушный,
Вас в жертву, грезы юности моей.



ИЗ СТАРЫХ ПЕСЕН

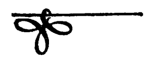
Давно, давно мне перестал
Звучать твой голос милый!
Бывало, в сердце пробуждал
Он дремлющие силы.

Дышалось легче мне тогда
И краше жизнь казалась:
Мне счастья нового звезда
Как будто загоралась...

Когда твоих прекрасных глаз
Лучи меня ласкали,
Как ночи мгла в рассвета час,
Летели прочь печали.

Под кротким светом тех лучей,
Их вызванная властью,
Слагалась песнь в душе моей
Весне, любви и счастью!

Но навсегда померк тот свет
И смолк тот голос милый...
Ни радостей, ни песен нет
С тех пор в душе унылой...



* * *

Я тихо шел по улице безлюдной
И, погружен в раздумье о былом,
Среди домов, облитых лунным светом,
Узнать хотел давно знакомый дом.

Он неуклюж был, ветх и с мезонином;
Я помню, мне казалось все, что он
Из городка уездного в столицу
Каким-то чудом был перенесен.

Куда исчез тот дом? Иль дух стяжанья
Беднягу стер давно с лица земли,
И где стоял он, серенький и скромный,
Высокие хоромы возвели?

Нет, нет! вот он. Сейчас узнал я друга!
Он — тот же все, каким был и тогда;
И лишь чуть-чуть как будто покривился.
Не мудрено! Берут свое года!

Привет тебе! В стенах твоих нередко
Я поздний час в беседе забывал...
То были дни, когда стопой несмелой
Впервые в жизнь я, юноша, вступал.

Привет тебе! Под этой старой крышей
Жил труженик с высокою душой;
Любви к добру и веры в человека
В нем до конца не гас огонь святой.

Учил он нас мириться с темной долей,
Храня в душе свой чистый идеал;
Учил идти путем тернистым правды
И не искать за подвиги похвал.

Учил любить страну свою родную,
Отдать ей весь запас духовных сил,
Чтить имена борцов за свет и знанье —
Тех, кто одной лишь истине служил.

Читая нам создания поэтов,
Воспламенял он юные сердца;
И мы клялись идти к высокой цели,
Не изменять клялись ей до конца.

Уж нет его: давно он спит в могиле!
Но кто из тех, в чью грудь он заронил
Зерно благих, возвышенных стремлений,
Кто памяти о нем не сохранил?

И предо мной тот скромный образ часто
Встает, хотя десятки лет прошли;
Все помню я: беседы эти, споры,
Что в уголке убогом мы вели.

О! как бы мне хотелось в дом проникнуть
Иль заглянуть хотя на миг в окно...
Кто здесь живет? Что здесь сердца волнует?
Безмолвен дом; как в гробе в нем темно.

И дальше я по улице пустынной
Иду...Но все мне кажется, что вот
За мной знакомый голос раздается
И в старый дом опять меня зовет...



ПОСЛЕДНЯЯ СЕРЕДА

(П. И. Вейнбергу)

Всю зиму наш амфитрион
Нас созывал в свои палаты...
Они не пышны, не богаты,
И гостя взор не ослеплен
В них белым мрамором колонн
Или амфор массивным златом.

Зато здесь книгами полны
Стоят шкафы. Глядят портреты
Героев мысли со стены,
Всех, чьи созданья спасены
От волн неумолимой Леты...

Но мне сдается, начал я
Писать высоким слогом... «Лета,
Амфитрион, амфоры» — это
Наскучить может вам, друзья.
Увы! всему виною лета,—
Знать, муза старится моя!

Боюсь ужасно, чтоб не сбиться
Совсем на майковский шаблон...
Мне был всегда противен он,
И с ним искусство не мирится.
А потому спешу спуститься
С Олимпа, взяв попроще тон.

Мы обходились превосходно
Без раззолоченных амфор,
Хоть оживлялся часто спор
Вина струею благородной.
Непринужденный разговор
Лился здесь весело, свободно,

Сюда газетная вражда
И сплетня носу не совала,
Здесь наш кружок — людей труда —
Мог отдохнуть душой усталой,
И дверь была к нам заперта
Для идиота и нахала...

Но скоро нас лучи весны
Разгонят из столицы душной
По всем концам родной страны,
И мы с хозяином радушным
Пока расстаться все должны.

И вот в последний раз пришли мы,
Чтоб благодарственный привет
Сказать вам, искренно любимый
Наш педагог неутомимый
И симпатичнейший поэт.

Дай бог, чтоб будущей зимою
У вас мы снова, милый друг,
Сошлись свободною семьею,
Чтоб не редел наш тесный круг,
Чтоб вновь вечернею порою
Делили вместе мы досуг,

Чтоб речью образной и едкой
Нас Григорович услаждал...
Чтоб нам Давыдов так же метко
Мир закулисный рисовал,
Но чтоб не так являлся редко
Сюда Дитятин-генерал.

Чтоб протестант наш вечно пылкий
И обладающий притом
Юмористическою жилкой,
Наш Острогорский, за бутылкой
Все был веселым остряком.

Чтоб, наконец, нас вдохновляли
Своим присутствием опять
И так же чай нам разливали
Две дамы милые... Едва ли
Мне нужно вам их называть!

Простите мне, что пожеланья
Плохим я выразил стихом...
И дар от нас — в воспоминанье
О наших дружеских собраньях —
Примите скромный наш альбом...



ПЕСНЯ ИЗГНАННИКА

Лети, моя птичка, далеко,
Лети в городок мой родной.
Стоит он в равнине зеленой,
Над светлой широкой рекой.

Ты беленький домик увидишь,
Тенистый вокруг него сад;
В саду том душистые липы,
Березы и клены шумят...

Там, в темной листве притаившись,
Ты песню запой под окном.
И стукнет окно... и головка
Покажется детская в нем.

Ребенка лазурные глазки
Весеннего неба ясней;
Светлей золотистых колосьев
Волна его мягких кудрей.

И будет он слушать певунью,
Сияя восторгом; и ей
Потом на окне разбросает
Он зерна ручонкой своей.

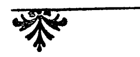
А ты, легкокрылая птичка,
Малютке скажи моему,
Что в крае далеком есть сердце,
Которое рвется к нему;

Что горько мне жить на чужбине,
Что дума одна у меня:
Дождусь ли поры я желанной,
Дождусь ли отрадного дня,

Когда, возвращаясь веселый
В свой мирный родной городок,
Я беленький домик увижу,
Где детский звучит голосок...

И выбежит с хохотом звонким
Малютка навстречу отцу...
И крепко пылающей щечкой
К его он прижмется лицу...

И прошлое горе заставит
Меня позабыть в этот час
Улыбка его дорогая
И блеск голубых его глаз...



* * *

Бурлила мутная река,
Почуяв близкие оковы;
И вдаль куда-то облака
Осенний ветер гнал сурово.

В саду безлюдном и немом
Деревья высились уныло
С листвой поблекшей... Все кругом
О разрушенье говорило.

Но блеск весны я в сердце нес,
Мне божий мир казался светел;
Природы, полон ярких грез,
Я увяданья не заметил.

Был май, и веяло теплом,
Сады цвели, благоухая,
Под ярким солнечным лучом
Волна сверкала голубая.

И тихий шум ветвей густых
Свободных птичек вторил пенью;
Привет в веселых песнях их
Звучал природы возрожденью.

Но мрак царил в душе моей...
Недавней поражен утратой,
Я, средь смеющихся полей,
Уныло шел, тоской объятый.

Небесный купол мне сиял,
Но я могилы видел своды...
И отвращение внушал
Мне пир ликующей природы.

ПАМЯТИ ПУШКИНА

> Да здравствует солнце, да скроется тьма!
>
> *Пушкин*

> Пока надеждою горим,
> Пока сердца для чести живы,
> Мой друг, отчизне посвятим
> Души прекрасные порывы!
>
> *Пушкин*

Мы чтить тебя привыкли с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэт!

Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу;

Кто сердцем чист средь пошлости людской,
Средь лжи кто верен правде оставался
И кто берег ревниво светоч свой,
Когда на мир унылый мрак спускался.

И все еще горит нам светоч тот,
Все гений твой пути нам освещает;
Чтоб духом мы не пали средь невзгод,
О красоте и правде он вещает.

Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовешь нас из могилы;
В продажный век, век лжи и грубой силы
Зовешь добру и истине служить.

Вот почему, возлюбленный поэт,
Так дорог нам твой образ благородный;
Вот почему неизгладимый след
Тобой оставлен в памяти народной!



* * *

Ты жаждал правды, жаждал света,
Любовью к ближнему согрета
Всегда была душа твоя.

Не суету и наслажденье —
Добру высокое служенье
Считал ты целью бытия.

И, провозвестник жизни новой,
На подвиг трудный и суровый
Ты с юных дней себя обрек...

С горячей верой, с сердцем чистым
Ты бодро шел путем тернистым,
Тщеславных помыслов далек.

Давно уж нет тебя меж нами,
Но над правдивыми сердцами
Еще ты властвуешь досель.

И, духом падших ободряя,
Горит звездой в ночи благая,
Тобой указанная цель!



* * *

Без надежд и ожиданий
Мы встречаем Новый год.
Знаем мы: людских страданий,
Жгучих слез он не уймет;
И не лучше будет житься
Людям с честною душой —
Всем, кто с ложью не мирится,
Не мирится с злом и тьмой;
Кто святое знамя права
Нес всегда, и горд и смел,
И в союз вступать лукаво
С силой грубой не хотел!
Знаем мы: толпа Ваалу
Будет так же все кадить,
Так же будет рок к нахалу
И глупцу благоволить!

Хоть и верим мы глубоко
В силу мощную добра,
Но, увы, еще далеко
Торжества его пора!
Без надежд и ликований
Мы встречаем Новый год:
Человеческих страданий
Он, как прежде, не уймет.
Но, подняв свои бокалы,
Пожелаем лишь, чтоб тот,
Кто стремленье к идеалу
В сердце чистом бережет,
Не утратил духа силы
Средь житейских бурь и гроз;
Светоч свой чтоб до могилы
Неугаснувшим донес
И чтоб он с своей суровой
Долей тем был примирен,
Что, страдая, жизни новой
Воздвигает зданье он.



1-е ЯНВАРЯ 1884 г.

Всем трудящимся на благо
Стороны своей родной,
Всем ее ведущим к свету
И бестрепетной рукой
Высоко несущим знамя
Правды вечной и святой,
Всем, кто избрал подвиг трудный
И не ждет себе венца,—
Пожелаем нынче, братья,
Чтоб остались до конца
Верны чистым идеалам
В битве жизни их сердца.
Пожелаем, чтоб не меркнул
Правды луч в краю родном,
Чтоб волной широкой знанье
Разлилось повсюду в нем
И чтоб мира кроткий гений
Осенил его крылом!

27-го СЕНТЯБРЯ 1883 г.

(На смерть И. С. Тургенева)

Вот благородное угасло сердце...
«Гамлет»

Своей мы гордостью и славой
Тебя недаром признаем;
За человеческое право
Являлся честным ты бойцом.

Когда, исполненный смиренья,
Народ наш в рабстве изнывал,
Великий день освобожденья
К нему ты страстно призывал.

Корыстных, суетных, беспечных
Твой голос смелый устыдил...
Любить в глубоко человечных
Своих созданьях ты учил.

На скорбь людскую и страданья
Ты находил в душе ответ;
Ты мысль будить, будить сознанье
Не уставал на склоне лет.

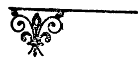
На склоне лет огонь священный
В груди ты все еще таил
И нас, художник вдохновенный,
Красою образов дивил!

И нет тебя!.. Недуга злого
Ты жертвой гас в стране чужой,
Но до прощанья рокового
Все сердцем рвался в край родной.

Его любил ты бесконечно,
Как тот — друг юных дней твоих —
Знаменоносец правды вечной
И мыслей сеятель благих,

Кого так рано смерть сразила,
Но чья пророческая речь
Уж славы луч тебе сулила
И с кем желал ты рядом лечь.

И вот со всех концов прощальный
Тебе привет отчизна шлет...
И много в этот день печальный
Слез о тебе она прольет...
Да, человек он был! — словами
Поэта скажет край родной,
С благоговением цветами
Венчая холм могильный твой.



ПАМЯТИ Н. А. НЕКРАСОВА

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей размыкать наше горе,
Рассеять русскую печаль!

Некрасов

Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал.

Некрасов

Под небом южной стороны
Он вспоминал свой север дальний,
И яркий блеск ее весны
Души не радовал печальной.

В тот час, как луч вечерний гас
В волнах лазурного залива,
Бродил, быть может, он не раз
Один, угрюмый, молчаливый.

Он слушал, в думу погружен,
Густых и темных миртов шепот,
Вечерний колокола звон,
Волны сверкавшей плеск и ропот.

И край иной пред ним вставал,
С его простором и снегами;
Там буйный ветер тучи гнал
Над бесконечными степями...

И средь пустыни снеговой
Лачужки темные мелькали,
Где труд боролся с нищетой,
Где люди радостей не знали...

Тогда стране своей родной,
Тоски исполнен безысходной,
Слагал он песнь, и в песне той
Поэт о скорби пел народной,

Пел о желанных, лучших днях,
Народа прозревая силы...
И песнь его в людских сердцах
К неправде ненависть будила...

Он смолк... его не слышать нам...
Но в песнях, полных вдохновенья,
Он юным завещал певцам
Народу честное служенье!



* * *

Как часто образ дорогой
Встает в ночи передо мною,
С своей улыбкой молодой,
С своей задумчивой красою.
И вновь я вижу этот взор —
Взор, полный ласки и привета...
Больное сердце с давних пор
Его лучами не согрето!
Но тщетно к призраку с мольбой
Свои я простираю руки,
Взываю тщетно я: «Постой!
Изныла грудь моя от муки...»
Безмолвно он уходит прочь,
И остаюсь один я снова
С своей тоской... И только ночь
Глядит в окно мое сурово...



К ПОРТРЕТУ ПЕВИЦЫ

(Ван-Зандт)

Своей чарующей улыбкой
И серебристым голоском
Ты заставляешь биться шибко
Сердец немало. Всё кругом
Тебе с восторгом рукоплещет...
И яркой звездочкою блещет
В столице невской твой талант.
Ценитель музыки серьезной,
Художник, критик, дилетант —
Все без ума от грациозной,
От поэтической Ван-Зандт!



* * *

(Посв<ящается> П. И. Вейнбергу)

Так тяжело, так горько мне и больно...
Так много мук в душе затаено,
Что мне сказать уж хочется давно
Всему, что жизнью мы зовем: «Довольно!»

Грядущее сулит лишь ряд мучений,
Нужду, недуг, заботы без конца;
Не сгонит тень с печального лица
Своим крылом надежды светлый гений!

О! если бы хоть мысль, что не бесплодно
Растрачен был запас духовных сил,
Что никогда я с тем, чего не чтил,
Не примирялся, гордый и свободный!

Но нет! Раба бессилье наложило
Свою печать на все мои дела,
И лишь одно сознанье, что прошла
Бесследно жизнь, я унесу в могилу...



СЛОВА ДЛЯ МУЗЫКИ

(Посвящается П. Н. О<стровско>му)

Нам звезды кроткие сияли,
Чуть веял теплый ветерок,
Кругом цветы благоухали,
И волны ласково журчали
    У наших ног.

Мы были юны, мы любили,
И с верой вдаль смотрели мы;
В нас грезы радужные жили,
И нам не страшны вьюги были
    Седой зимы.

Где ж эти ночи с их сияньем,
С благоухающей красой
И волн таинственным роптаньем?
Надежд, восторженных мечтаний
    Где светлый рой?

Померкли звезды, и уныло
Поникли блеклые цветы...
Когда ж, о сердце, все, что было,
Что нам весна с тобой дарила,
    Забудешь ты?



НА ЗАКАТЕ

(Посвящается Серафиме Александровне Пагануцци)

Среди гнетущих ум сомнений
Порой, в безмолвии ночей,
Передо мною ваши тени
Встают, друзья весны моей,—
Друзья, делившие со мною
Восторгов юношеских пыл,
Борцы с отважною душою,
Которых рок не пощадил;
И на меня, полны печали,
Глядят, кивая головой,
И будто молвят: «Не пора ли,
Товарищ старый, на покой?

Чего ты ждешь? Твои кумиры
Лежат повержены во прах,
На звук твоей забытой лиры
Ответа нет в людских сердцах.
Взгляни вокруг себя: служенье
Иным свершается богам;
Иные слышны песнопенья,
И опустел наш старый храм.
Все, что для нас так было свято,
Толпа глумленью предает,
Ты ей смешон, как был когда-то
Смешон несчастный Дон-Кихот.
Не верят в наши идеалы
Те, что тельца златого чтут...
Сойди ж, ненужный и усталый,
Скорей в безмолвный наш приют,
Тебя забвенья тихий гений
Своим крылом там осенит,
Там вечный сон, без сновидений,
Глаза усталому смежит!»



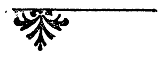
В АЛЬБОМ АНТОНУ РУБИНШТЕЙНУ

Могучие, чарующие звуки!
Блажен внимавший им. Он сохранит
В душе своей навек воспоминанье
О тех часах священного восторга,
Которые художник вдохновенный
Ему дарил. Блажен, блажен стократ!
Но и твоя завидна также доля:
Людских сердец ты мощный властелин.
Тебе дано от неба в дар будить
Высокие и чистые стремленья,
Усталых душ печали врачевать
И с жизнью примирять ожесточенных...
Вот почему все шлют тебе привет
И слышатся со всех сторон желанья,
Чтоб гений твой еще пленял нас долго,
Перенося в мир идеальных грез,
И чаще б нам давал изведать сладость
Святых восторга слез!

НА ПОХОРОНАХ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА

Чиста, как снег на горных высотах,
И кротости исполнена безмерной
Была душа твоя, почивший брат.
Незлобен был, как голубь, ты; вражды
И зависти твое не знало сердце.
Любви и всепрощения родник
Неиссякаемый в груди твоей таился.
Любовью все твои созданья дышат,
Глубокою любовью к человеку...
Не отвергал с презреньем падших ты,
Но пробуждал к ним в ближних состраданье;
Вот почему все честные сердца
Ты влек к себе с неотразимой силой!

Не много тех, кто чистоту души
Умел сберечь средь мутных волн житейских,
Как ты сберег, и в ком не в силах были
Они любви светильник потушить...
Спи мирно, брат наш милый!.. Долго будет
В сердцах людских жить светлый образ твой.
О! если бы могли, хотя на миг,
Твои открыться вежды... в наших взорах
Прочел бы ты, какою беспредельной,
Великой скорбью душу наполняет
Нам мысль, что ты навек от нас ушел!



АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ ЧЕХОВУ

Цветущий мирный уголок,
Где отдыхал я от тревог
И суеты столицы душной,
Я буду долго вспоминать,
Когда вернусь в нее опять,
Судьбы велениям послушный.
Отрадно будет мне мечтой
Перенестись сюда порой,—
Перенестись к семье радушной,
Где теплый дружеский привет
Нежданно встретил я, где нет
Ни светской чопорности скучной,

Ни карт, ни пошлой болтовни,
С пустою жизнью неразлучной;
Но где в трудах проходят дни
И чистый бескорыстный труд
На благо края своего
Ценить умеет темный люд,
Платя любовью за него...
Не раз мечта перенесет
Меня в уютный домик тот,
Где вечером, под звук рояли,
В душе усталой оживали
Волненья давних, прошлых дней,
Весны умчавшейся моей,
Ее восторги и печали!..
Спасибо, добрые друзья,
За теплый, ласковый привет,
Которым был я здесь согрет!
Спасибо вам! И если снова
Не встречусь с вами в жизни я,
То помяните добрым словом
В беседе дружеской меня.



* * *

Кто ты, красавица, с цветами полевыми,
Вплетенными в златистый шелк кудрей,
С улыбкой ясною, с глазами голубыми,
В одежде, сотканной из солнечных лучей,
И кем тебе таинственная сила
Дана сердца больные врачевать?
Пришла — и в них ты радость воскресила;
Что жизнь давно, казалось, в них убила,
Все ожило, все расцвело опять.
И в честь твою природа гимн слагает,
Звенят ручьи, им вторит птичек хор;
Шумя своей листвой зеленой, бор
К тебе, как друг, объятья простирает.
— Я только гостья здесь; я небом послана
В усталые сердца пролить успокоенье,
Смягчить суровых гнев, вражду и озлобленье,
Я только гостья здесь... зовут меня Весна.

* * *

Как в дни ненастья солнца луч,
Блеснув внезапно из-за туч,
Все оживляет на мгновенье —
Так милый, добрый ваш привет
И мне суровых жизни бед
Дает минутное забвенье.

На этот образ молодой,
С его блистающей красой,
Любуюсь я. И в сердце снова
Воскресли грезы прежних дней
Погибшей юности моей,
Волненья счастья прожитого...

Внимая ласковым словам,
Я говорю спасибо вам
За этот луч среди ненастья,
Он дорог мне...



УПРЕК

(Романс)

Томимый горем и тоскою,
Изнемогающий в борьбе,
Послать хотел бы я порою
Упрек язвительный тебе

За то, что жизнь мне отравила,
Что веру в счастье и людей
Ты, беспощадная, убила
В душе измученной моей;

За то, что сгибли дорогие,
Восторга полные, мечты
И все надежды молодые,
Как бурей смятые цветы.

Но нет! Хоть горько мне и больно,
Лишь вспомню я твой светлый взор —
И на устах замрет невольно
Готовый вырваться укор!



* * *

Это пламенное солнце,
Солнце южной стороны;
Это море голубое,
Вечный шум его волны;
Эти пальмы, эти розы,
Этих вилл красивых ряд,
Что с высот своих на море
Так приветливо глядят,—
Все-то здесь чарует взоры
Бесконечной красотой,
И царит она всевластно
Над изнеженной толпой...

Но ликующей природе
Не рассеять мрачных дум,
Отравляющих печалью
Сердце мне, гнетущих ум:
В плеске волн и в шуме листьев,
В песне ветра в час ночной
Слышу плач я о невзгоде
Стороны моей родной!..



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕСНА

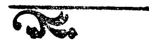
Песни жаворонков снова
Зазвенели в вышине.
«Гостья милая, здорово!» —
Говорят они весне.

Уж теплее солнце греет,
Стали краше небеса...
Скоро все зазеленеет —
Степи, рощи и леса.

Позабудет бедный горе,
Расцветет душой старик...
В каждом сердце, в каждом взоре
Радость вспыхнет хоть на миг.

Выйдет пахарь на дорогу,
Взглянет весело вокруг;
Помолясь усердно богу,
Бодро примется за плуг.

С кротким сердцем, с верой сильной
Весь отдастся он трудам —
И пошлет господь обильный
Урожай его полям!



ОЖИДАНИЯ

Дед-старик в избушке бедной
Чинит ветхий невод свой;
На постельке рядом внучек
Весь в жару лежит больной.

«Все ненастье да ненастье,
Скоро ль кончатся дожди!» —
Говорит ребенок деду.
«Скоро, скоро, подожди!»

«Скоро ль солнышко засветит,
Зашумит трава в степи,
Зашумят в лесу деревья...»
«Скоро, скоро, потерпи!»

«Скоро ль с удочкой, как прежде,
Буду я сидеть все дни
Над прудом под тополями?»
«Скоро, друг, повремени!»

«Да когда же? Вот и маму,
Говорил ты тоже, дед,
Скоро к нам отпустят с неба,
А ее все нет как нет!»

И малютка недовольный
Замолчал, а дед-старик
Над разодранною сетью
Головой седой поник.

И по старческим морщинам
Тихо катится слеза...
Горе деда разглядели
Внука зоркие глаза.

И звучит ребенка слабый
Голосок еще грустней:
«Не дождусь я, видно, мамы —
Не дождусь и теплых дней!»



В БУРЮ

Комнату лампада
Кротко озаряла;
Мать, над колыбелью
Наклонясь, стояла.

А в саду сердито
Выла буря злая,
Над окном деревья
Темные качая.

И колючей веткой
Ель в стекло стучала,
Как стучит порою
Путник запоздалый.

Дождь шумел; раскаты
Слышалися грома;
И гремел, казалось,
Он над крышей дома.

На малютку сына
Нежно мать глядела;
Колыбель качая,
Тихо песню пела:

«Ах! уймись ты, буря!
Не шумите, ели!
Мой малютка дремлет
Сладко в колыбели.

Ты, гроза господня,
Не буди ребенка;
Пронеситесь, тучи
Черные, сторонкой!

Бурь еще немало
Впереди, быть может,
И не раз забота
Сон его встревожит».

Спи, дитя, спокойно...
Вот гроза стихает;
Матери молитва
Сон твой охраняет.

Завтра, как проснешься
И откроешь глазки,
Снова встретишь солнце,
И любовь, и ласки!



ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Хорошо вам, детки,—
Зимним вечерком
В комнатке уютной
Сели вы рядком,

Пламя от камина
Освещает вас...
Слушаете жадно
Мамы вы рассказ;

Радость, любопытство
На лице у всех;
Часто прерывает
Маму звонкий смех.

Вот рассказ окончен,
Все пустились в зал...
«Поиграй нам, мама»,—
Кто-то пропищал.

«Хоть уж девять било,
Отказать вам жаль...»
И послушно села
Мама за рояль.

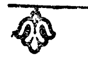
И пошло веселье,
Началась возня,
Пляска, песни, хохот,
Визг и беготня!

Пусть гудит сердито
Вьюга под окном,
Хорошо вам, детки,
В гнездышке своем!

Но не всем такое
Счастье бог дает;
Есть на свете много
Бедных и сирот.

У одних могила
Рано мать взяла;
У других нет в зиму
Теплого угла.

Если приведется
Встретить вам таких,
Вы как братьев, детки,
Приголубьте их.



НА БЕРЕГУ

(Картинка)

Домик над рекою,
В окнах огонек,
Светлой полосою
На воду он лег.

В доме не дождутся
С ловли рыбака:
Обещал вернуться
Через два денька.

Но прошел и третий,
А его все нет.
Ждут напрасно дети,
Ждет и старый дед,

Всех нетерпеливей
Ждет его жена,
Ночи молчаливей
И как холст бледна.

Вот за ужин сели,
Ей не до еды.
«Как бы в самом деле
Не было беды».

Вдоль реки несется
Лодочка, на ней
Песня раздается
Все слышней, слышней.

Звуки той знакомой
Песни услыхав,
Дети вон из дому
Бросились стремглав.

Весело вскочила
Из-за прялки мать,
И у деда сила
Вдруг нашлась бежать.

Песню заглушает
Звонкий крик ребят;
Тщетно унимает
Старый дед внучат.

Вот и воротился
Весел и здоров!
В россказни пустился
Тотчас про улов.

В морды он и в сети
Наловил всего;
С любопытством дети
Слушают его.

Смотрит дед на щуку —
«Больно велика!»
Мать сынишке в руку
Сует окунька,

Девочка присела
Около сетей
И взяла несмело
Парочку ершей.

Прыгают, смеются
Детки, если вдруг
Рыбки встрепенутся,
Выскользнут из рук.

Долго раздавался
Смех их над рекой;
Ими любовался
Месяц золотой.

Ласково мерцали
Звезды с вышины,
Детям обещали
Радостные сны.



ЗАВТРА

Сценка из повседневной жизни

(Посвящается Ивану Петровичу Ларионову)

Под окошком смуглый мальчик
Пригорюнившись сидит;
Перед ним раскрыта книжка,
Но в нее он не глядит.

Тихо в комнате...лишь слышен
Ровный маятника стук,
Да мурлычит разжиревший
Кот, взобравшись на сундук.

Мать пошла к соседке в гости
Посидеть часок-другой;
Прикорнула няня, к печке
Прислонившись головой,

И упал с колен старушки
Недовязанный чулок.
Вот закрыл букварь малютка —
Знать, нейдет на ум урок.

Что мудреного! В окошко
Смотрит солнышко с небес;
Манит в даль, в поля и рощи,
Их лазуревый навес!

Славно в поле! Там бумажный
Вьется змей под небеса
И товарищей веселых
Раздаются голоса!

Солнце яркое сияет
В зимнем небе голубом,
И равниной снежной мчатся
Сани, крытые ковром.

Визг и крик! Всему хохочут
Детки резвые до слез;
Обдает их снежной пылью,
Лица щиплет им мороз...

Двое в санках, рядом с дедом,
А один на облучке.
«Ну! — кричит.— Пошел, Савраска!
Скоро будем в хуторке?..»

Как ни счастливы малютки,
Но еще счастливей дед...
Словно с плеч его свалилось
Целых пять десятков лет!



БАБУШКА И ВНУЧЕК

Под окном чулок старушка
Вяжет в комнатке уютной
И в очки свои большие
Смотрит в угол поминутно.

А в углу кудрявый мальчик
Молча к стенке прислонился;
На лице его забота,
Взгляд на что-то устремился.

«Что сидишь все дома, внучек?
Шел бы в сад, копал бы грядки
Или кликнул бы сестренку,
Поиграл бы с ней в лошадки.

Кабы силы да здоровье,
И сама бы с вами, детки,
Побрела я на лужайку;
Дни такие стали редки.

Уж трава желтеет в поле,
Листья падают сухие;
Скоро птички-щебетуньи
Улетят в края чужие!

Присмирел ты что-то, Ваня,
Все стоишь, сложивши ручки;
Посмотри, как светит солнце,
Ни одной на небе тучки!

Что за тишь! Не клонит ветер
Ни былинки, ни цветочка.
Не дождешься ты такого
Благодатного денечка!»

Подошел к старушке внучек
И головкою курчавой
К ней припал; глаза большие
На нее глядят лукаво...

«Знать, гостинцу захотелось?
Винных ягод, винограда?
Ну поди возьми в комоде».
«Нет, гостинца мне не надо!»

«Уж чего-нибудь да хочешь...
Или, может, напроказил?
Может, сам, когда спала я,
Ты в комод без спросу лазил?

Может, вытащил закладку
Ты из святцев для потехи?
Ну постой же... За проказы
Будет внучку на орехи!»

«Нет, в комод я твой не лазил;
Не таскал твоей закладки».
«Так, пожалуй, не задул ли
Перед образом лампадки?»

«Нет, бабуся, не шалил я;
А вчера, меня целуя,
Ты сказала: «Будешь умник —
Все тогда тебе куплю я...»

«Ишь ведь память-то какая!
Что ж купить тебе? Лошадку?
Оловянную посуду
Или грабли да лопатку?»

«Нет! уж ты мне покупала
И лошадку и посуду.
Сумку мне купи, бабуся,
В школу с ней ходить я буду».

«Ай да Ваня! Хочет в школу,
За букварь да за указку.
Где тебе! Садись-ка лучше,
Расскажу тебе я сказку...»

«Уж и так мне много сказок
Ты, бабуся, говорила;
Если знаешь, расскажи мне
Лучше то, что вправду было.

Шел вчера я мимо школы.
Сколько там детей, родная!
Как рассказывал учитель,
Долго слушал у окна я.

Слушал я — какие земли
Есть за дальними морями...
Города, леса какие
С злыми, страшными зверями.

Он рассказывал: где жарко,
Где всегда стоят морозы,
Отчего дожди, туманы,
Отчего бывают грозы...

И еще — как люди жили
Прежде нас и чем питались;
Как они не знали бога
И болванам поклонялись.

Рисовали тоже дети,
Много я глядел тетрадок,—
Кто глаза, кто нос выводит,
А кто домик да лошадок.

А как кончилось ученье,
Стали хором петь. В окошко
И меня втащил учитель,
Говорит: «Пой с нами, крошка!

Да проси, чтоб присылали
В школу к нам тебя родные,
Все вы скажете спасибо
Ей, как будете большие».

Отпусти меня! Бабусю
Я за это расцелую
И каких тебе картинок
Распрекрасных нарисую!»

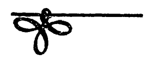
И впились в лицо старушки
Глазки бойкие ребенка;
И морщинистую шею
Обвила его ручонка.

На глазах старушки слезы:
«Это божие внушенье!
Будь по-твоему, голубчик,
Знаю я, что свет — ученье.

Бегай в школу, Ваня; только
Спеси там не набирайся;
Как обучишься наукам,
Темным людом не гнушайся!»

Чуть со стула резвый мальчик
Не стащил ее. Пустился
Вон из комнаты, и мигом
Уж в саду он очутился.

И уж русая головка
В темной зелени мелькает...
А старушка то смеется,
То слезинку утирает.



СТАРИК

У лесной опушки домик небольшой
Посещал я часто прошлою весной.

В том домишке бедном жил седой лесник.
Памятен мне долго будешь ты, старик.

Как приходу гостя радовался ты!
Вижу как теперь я добрые черты...

Вижу я улыбку на лице твоем —
И морщинкам мелким нет числа на нем!

Вижу армячишко рваный на плечах,
Шапку на затылке, трубочку в зубах;

Помню смех твой тихий, взгляд потухших
глаз,
О житье минувшем сбивчивый рассказ.

По лесу бродили часто мы вдвоем;
Старику там каждый кустик был знаком.

Знал он, где какая птичка гнезда вьет,
Просеки, тропинки знал наперечет.

А какой охотник был до соловьев!
Всю-то ночь, казалось, слушать он готов,

Как в зеленой чаще песни их звучат;
И еще любил он маленьких ребят.

На своем крылечке сидя каждый день,
Ждет, бывало, деток он из деревень.

Много их сбегалось к деду вечерком;
Щебетали, словно птички перед сном:

«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток».
«Дедушка, найди мне беленький грибок».

«Ты хотел мне нынче сказку рассказать».
«Посулил ты белку, дедушка, поймать».

«Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!»

И, смеясь, рукою дряхлой гладил он
Детские головки, белые как лен.

Ждал поры весенней с нетерпеньем я:
Думал, вот приеду снова в те края

И отправлюсь к другу старому скорей.
Он навстречу выйдет с трубочкой своей

И начнет о сельских новостях болтать.
По лесу бродить с ним будем мы опять,

Слушая, как в чаще свищут соловьи...
Но увы! желанья не сбылись мои.

Как с деревьев падать начал лист сухой,
Смерть подкралась к деду тихою стопой.

Одинок угас он в домике своем,
И горюют детки больше всех по нем:

«Кто поймает белку, сделает свисток?»
Долго будет мил им добрый старичок.

И где спит теперь он непробудным сном
Часто голоса их слышны вечерком...



ИЗ ЖИЗНИ

1

Из школы детки воротились;
Как разрумянил их мороз!
Вот у крыльца, хвостом виляя,
Встречает их лохматый пес.

Они погладили Барбоску,
Он нежно их лизнул в лицо,
И с звонким хохотом взбежали
Малютки живо на крыльцо.

Стучатся в двери; отворяет,
С улыбкой доброй, няня им:
«Пришли! Небось уж захотелось
Покушать птенчикам моим!»

Снимает с мальчика тулупчик
И шубку с девочки она;
Черты старушки просветлели,
Любовь в глазах ее видна.

И, чмокнув няню, ребятишки
Пустились в комнаты бегом;
Трясется пол под их ногами,
Весь ожил старый, тихий дом!

Отец угрюм; он в кабинете
Все что-то пишет. В спальне мать
Лежит больная; мигом дети
К ней забралися на кровать.

Вот мальчик, с гордостью тетрадку
Из сумки вынув, показал:
«Смотри-ко, мама, две странички
Я без ошибок написал!»

«А я сегодня рисовала,—
Сказала девочка,— взгляни,
Какая сосенка густая,
А возле кустики и пни.

Ведь всё сама я, право, мама,
Не поправлял учитель мне...»
И мать недуг свой забывает,
Внимая детской болтовне.

Встал и отец из-за работы,
Звенящий слыша голосок.
«Ну что вы, крошки, хорошо ли
Сегодня знали свой урок?»

Спрыгнув с кровати, вперегонку
Бегут они обнять отца...
И грусть мгновенно исчезает
С его усталого лица.

И даже солнышко, казалось,
В окно смотрело веселей
И блеском ярким осыпало
Головки русые детей!

И птичка в клетке тесной, вторя
Веселым детским голосам,
Не умолкая, заливалась,
Как бы навстречу вешним дням!

2

Дед, поднявшись спозаранку,
К внучкам в комнату спешит;
«Доброй весточкой утешить
Вас пришел я,— говорит.—

Всё зимы вы ждали, детки,
Надоела вам давно
Осень хмурая с дождями;
Посмотрите же в окно!

За ночь выпал снег глубокий,
И мороз как в декабре;
Уж впрягли в салазки Жучку
Ребятишки во дворе».

И тормóшит дед раскрывших
Глазки сонные внучат!
Но на старого плутишки
Недоверчиво глядят.

«Это,— думают,— нарочно
Все он выдумал, чтоб мы
Поскорей с постели встали;
Никакой там нет зимы!»

«Полно, дедушка! Ты хочешь
Засадить нас за урок,—
Отвечает младший внучек,—
Дай поспать еще часок!»

Рассмеялся дед — любимец
Старика был этот внук;
Хоть проказничал он часто,
Все ему сходило с рук.

«Ах, лентяй! Еще не верить
Смеешь ты моим словам...
Марш сейчас с кровати, соня,
И смотри в окошко сам!

Или нет... Ведь пол холодный;
Босиком нельзя ходить,
Донесу тебя к окошку
На себе я, так и быть».

Вмиг вскарабкался на плечи
Мальчуган ему — и рад;
Пышут розовые щечки,
И смеется детский взгляд.

Поднял штору дед,— и точно!
Снег под солнечным лучом
Бриллиантами сверкает,
Отливает серебром.

«Слава богу! Слава богу!» —
Детки весело кричат.
И в уме их возникает
Уж картин знакомых ряд:

На салазках с гор катанье
И катанье на коньках...
И рождественская елка
Сверху донизу в огнях!

«Ну, вставайте же, лентяи,
Я уж кучеру сказал,
Чтоб ковром покрыл он сани
И Савраску запрягал.

Гостью-зимушку покатим
Мы встречать на хуторок;
Побегут за нами следом
И Барбоска и Дружок.

Ваших кроликов любимых
Там покормим мы, друзья,
И шагающего важно
С умным видом журавля.

Посмеемся над сердитым
И ворчливым индюком;
Всех коровушек мы с вами,
Птичий двор весь обойдем.

А покамест мы гуляем,
Самоварчик закипит...
И яичницу, пожалуй,
Дед потом вам смастерит».

Деду ждать пришлось недолго:
Не успел умолкнуть он,
На ногах уж были детки,
Позабыв и лень и сон.

Вот умылись и оделись
И смотреть бегут скорей,
Запрягает ли Савраску
Кучер дедушкин, Матвей.

Уж какое тут ученье!
Разве тут до букварей:
В голове одна забота —
Как бы в поле поскорей!

И не выдержало сердце
Грамотея моего:
Он вскочил... Блестят глазенки
Нетерпеньем у него.

Подойдя с боязнью к няне,
Заглянул он ей в лицо.
«Спит!» — сказал и осторожно,
Тихо вышел на крыльцо.

На дворе собаку Жучку
От конурки отвязав,
За ворота шалунишка
С нею бросился стремглав.

Миновал он огороды
И соседние сады...
Вот и поле! Мальчик думал:
«Завтра выучу склады!»

Няня старая проснулась;
Из гостей вернулась мать:
«Где же Вася? Ах, ленивец!
Уж опять успел удрать!

Погоди же, на орехи
Я задам тебе потом;
С утра до ночи ты завтра
Просидишь за букварем!»

Няня старая вступилась
За любимца своего,
Хоть и знала, что не будет
Мальчугану ничего,

Что тогда лишь, как ребенка
Нету здесь, сурова мать:
«Посмотри-ка — на дворе-то
Нынче что за благодать!

Пусть побегает по воле:
Мал, глупенек паренек;
Подрастет, тогда не станет
Докучать ему урок;

В толк возьмет небось, что нынче
Людям грамота нужна;
А теперь пока милее
Букварей ему весна!»

Поздно вечером вернулись
Вася с Жучкой. На крыльце
Мать сидела, сокрушаясь
О пропавшем беглеце.

Вот вбежал он запыхавшись,
На колени к ней вскочил.
«Посмотри,— вскричал он,— мама,
Что̀ жуков я наловил!»

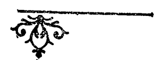
Глазки радостью светились,
И, пунцовый как пион,
Хохоча, жуков на волю
Выпускал из шапки он.

Разноцветный на головке
У него венок пестрел;
Тот венок схватил он быстро
И на мать свою надел.

Замер выговор невольно
На устах ее. Она
Говорит себе: «Уж завтра
Распеку я шалуна!

А сегодня расцелую...»
И целует без конца,
И свести не может взора
С загорелого лица...

А старушка няня смотрит
В дверь с сияющим лицом
И грозит, смеясь лукаво,
Мальчугану букварем!



НА ДАЧЕ

Красивый домик, озаренный
Заката розовым лучом...
Кусты сирени и жасмина
Благоуханье льют кругом;

Балкон уставлен весь цветами,
Обвился плющ вокруг столбов;
И птичка звонко распевает
В зеленой клетке меж цветов.

Шарманка где-то заиграла;
Всё ближе звуки, всё слышней,
И вот из дома выбегает
Толпа нарядная детей.

Друг друга с криком обгоняя,
Они к калитке все спешат,
И как их лица раскраснелись!
Как глазки радостно блестят!

Уж им знакомы эти звуки,
Шарманщик смуглый им знаком:
У деток дружба завязалась
С веселым, добрым стариком.

Он каждый вечер к ним приходит,
Хоть им и нечем заплатить,—
Что за беда! — готов он даром
Друзей своих повеселить.

Порой, забывшись, долго-долго
Один мотив играет он;
В раздумье тихое о чем-то
Он в те минуты погружен.

С лица его улыбка сходит,
Слезой мутится добрый взгляд;
И смотрит с грустью затаенной
Он на детей, на дом и сад.

Унылой песни этой звуки
Воспоминанья будят в нем
О днях далеких и счастливых,
О многом, сердцу дорогом.

Давно покинутой отчизны
Пред ним сияют небеса;
Катятся волны голубые,
Шумят лавровые леса...

Он видит домик, потонувший
В листве зеленой и цветах,
И образ женщины прекрасной
С малюткой смуглым на руках.

И, как Мадонна на картине,
Так у открытого окна
Стоит, прижав к груди ребенка,
С улыбкой ясною она.

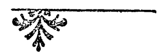
А на крыльце кудрявый мальчик
Поет, плетя себе венок;
И дышит счастьем и отрадой
Цветущий мирный уголок.

Старик один теперь... Скосила
Смерть всю семью его; потом
Другая, незваная гостья —
Нужда — к нему прокралась в дом;

И вот побрел он на чужбину,
Побрел с шарманкою своей;
И каждый раз, когда встречает
Он ласку кроткую детей,

На них с глубокою любовью
Глядит старик... В чужом краю
Чужие дети заменяют
Ему погибшую семью.

Болтает, шутит и смеется
Он с ними, словно молодой,
Для них без устали шарманку
Вертя морщинистой рукой!



* * *

Огни погасли в доме,
И все затихло в нем;
В своих кроватках детки
Заснули сладким сном.

С небес далеких кротко
Глядит на них луна;
Вся комнатка сияньем
Ее озарена.

Глядят из сада ветки
Берез и тополей
И шепчут: «Охраняем
Мы тихий сон детей;

Пусть радостные снятся
Всю ночь малюткам сны,
Чудесные виденья
Из сказочной страны.

Когда ж безмолвной ночи
На смену день придет,
Их грезы песня птички
Веселая прервет...

Цветы, как братьям милым,
Привет пошлют им свой,
Головками кивая,
Блестящими росой...»



ЕЛКА

В школе шумно; раздается
Беготня и шум детей...
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней?

Нет! рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.

Детский взор игрушки манят...
Здесь лошадка, там волчок,
Вот железная дорога,
Вот охотничий рожок.

А фонарики... а звезды,
Что алмазами горят...
А орехи золотые,
А прозрачный виноград!

Будьте ж вы благословенны,
Вы, чья добрая рука
Убирала эту елку
Для малюток бедняка.

Редко, редко озаряет
Радость светлая их дни,
И весь год им будут сниться
Елки яркие огни!



ПЕРЕВОДЫ

с украинского

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ДУМА

Проходят дни... проходят ночи;
Прошло и лето; шелестит
Лист пожелтевший; гаснут очи;
Заснули думы; сердце спит.
Заснуло все... Не знаю я —
Живешь ли ты, душа моя?
Бесстрастно я гляжу на свет,
И нету слез, и смеха нет!

И доля где моя? Судьбою,
Знать, не дано мне никакой...
Но если я благой не стою,
Зачем не выпало хоть злой?
Не дай, о боже, как во сне
Блуждать... остынуть сердцем мне.
Гнилой колодой на пути
Лежать меня не попусти.

Но жить мне дай, творец небесный!
О, дай мне сердцем, сердцем жить!
Чтоб я хвалил твой мир чудесный,
Чтоб мог я ближнего любить!
Страшна неволя, тяжко в ней!
На воле жить и спать — страшней!
Прожить ужасно без следа,
И смерть и жизнь — одно тогда.



* * *

Она на барском поле жала
И тихо побрела к снопам —
Не отдохнуть, хоть и устала,
А накормить ребенка там.

В тени лежал и плакал он;
Она его распеленала,
Кормила, нянчила, ласкала
И незаметно впала в сон.

И снится ей: житьем довольный
Ее Иван, пригож, богат;
На вольной, кажется, женат,—
И потому, что сам уж вольный.

Они с лицом веселым жнут
На поле собственном пшеницу,
А детки им обед несут;
И тихо улыбнулась жница.

Но тут проснулась... Тяжко ей!
И, спеленав малютку быстро,
Взялась за серп — дожать скорей
Урочный сноп свой до бурмистра.



ПЕСНИ

1

И долину, и курганы,
И вечерний тихий час —
Все, что снилось, говорилось,
Вспоминал я много раз!

Разошлись мы, будто вовсе
И не знались никогда!
И минули невозвратно
Наши лучшие года!

Отцвели мы... Я в неволе,
Ты вдовой: мы не живем,
Только бродим, вспоминая,
Как живалось нам в былом!

2

Проторила я дорожку
  Через яр,
Через горы, мой сердечный,
  На базар.
Парням бублики носила
  Вечерком;
Продала — и воротилась
  С пятаком.
Я два гро́ша, ох, два гро́ша
  Пропила,
На копейку музыканта
  Наняла.
Ты сыграй-ка мне на дудке
  На своей,
Чтоб забыла я кручину,
  Горе с ней.
Вот какая, мой сердешный,
  Девка я!
Сватай — выйду я, пожалуй,
  За тебя!

3

Не вернулся из походу
Молодой гусар в село;
Что же я по нем горюю,
Что мне больно жаль его?
За кафтан короткий, что ли,
Иль за черный ус так жаль?
Иль за то, что не Марусей,
Машей звал меня москаль?
Нет! мне жаль, что пропадает
Даром молодость моя:
Не хотят меня и замуж
Брать уж люди за себя.
Да к тому еще и девки
Мне проходу не дают:
Не дают они проходу,
Все гусарихой зовут!

4

Хороша, богата
Я — да толку мало!
Видно, бесталанна,
Друга не сыскала.
Тяжко, тяжко сердцу
Без любви томиться;
Скучно одинокой
В бархат мне рядиться.
С парнем чернобровым,
Круглым сиротою,
Мы бы полюбились —
Да глядят за мною
Мать с отцом так зорко,
Даже сна не знают,
И гулять под вечер
В садик не пускают.
А когда и пустят,
Так всё с ним, с проклятым,
С недругом противным,
Стариком богатым...

5

Полюбила я,
На печаль свою,
Сиротинушку
Бесталанного,
Уж такая мне
Доля выпала!
Разлучили нас
Люди сильные;
Увезли его,
Сдали в рекруты...
И солдаткой я,
Одинокой я,
Знать, в чужой избе
И состареюсь...
Уж такая мне
Доля выпала.



* * *

В те дни, когда мы были казаками,
Об унии и речи не велось;
О, как тогда нам весело жилось!
Гордились мы привольными степями,
И братом нам считался вольный лях;
Росли, цвели в украинских садах,
Как лилии, казачки наши в холе.
Гордилась сыном мать: среди степей
Он вольным рос, он был утехой ей
Под старость лет в немощной, скорбной доле.
Но именем Христа в родимый край
Пришли ксендзы и мир наш возмутили,
Терзали нас, пытали, жгли, казнили —
И морем слез и крови стал наш рай!
И казаки поникнули уныло,
Как на лугу помятая трава;
Рыданье всю Украйну огласило;
За головой катилась голова;
И посреди народного мученья
«Te deum!» ксендз ревел в ожесточенье.
Вот так-то, лях, вот так-то, друг и брат!
Голодный ксендз да буйный ваш магнат
Расторгли нас, поссорили с тобою;
Но если бы не козни их, поверь,
Что были б мы друзьями и теперь.
Забудем всё! С открытою душою
Дай руку нам и именем святым
Христа наш рай опять возобновим!



С польского

АНТОНИЙ СОВА
(Желиговский)

ДВА СЛОВА

Над кладбищем, над могильными плитами
Солнышко весною всходит каждый год,
Каждый год пестреет мягкий луг цветами,
Птичка божия так весело поет.

Голос бога с каждою весною
Говорит природе: «Радуйся, живи;
Громы в небесах глубоко я сокрою;
Пой любовь и знай, источник я любви».

Над кладбищем, над могильными плитами
В тучи солнышко заходит каждый год,
И, с поблекшими от холода цветами
Расставаясь, птичка жалобно поет...

Слышит голос бога каждый год природа:
«Плачь и сокрушайся... Смерть есть твой
закон»
И гремит гроза, и воет непогода,
В мире тленье всё, а вечность — только он.



СТЕФАН ВИТВИЦКИЙ

СЕЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Если волов я не так запрягаю,
Нету во мне для хозяйства пути,
Если в избе я тебе докучаю,
В школу, родная, меня отпусти.

Грамотный буду; крестьянского сына
В школе научат, я знаю, всему;
Сделают там из него господина,
Платье суконное справят ему.

К вам принесу я рассказов немало,
В книжке прочту, как все в мире идет;
Все, что в старинные годы бывало,
Даже и то, что случится вперед...

Каждую травку назвать я сумею,
Буду я в церкви попу помогать
И на стене, над постелью твоею,
Лики угодников углем писать.



СЕЛЬСКИЕ ПЕСНИ

1

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей.

Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой...

Что ты все кружишься?
Что твой черный глаз
Ищет все кого-то?
Нет ее у нас!

За солдата вышла,
Бросила наш дом;
С матерью прощалась
Вон за тем крестом.

Там, где куст, мне с плачем
Ноги обняла
И чуть не вернулась,
Как до гор дошла.

Если к ним летишь ты,
Расскажи потом:
Может, терпят нужду
В городе чужом?

Часто ль вспоминают
Обо мне у них?
Что их дочь-малютка?
Что сыночек их?..

2

Убравши головку цветами,
Маруся стоит над водами,
Любуясь собой, в них глядит
И Яну смеясь говорит:

— Поди ко мне, Ян белолицый,
Напейся студеной водицы...—
«Не стану я пить той воды...
Недолго с тобой до беды...»

— Зачем ты стоишь так далеко,
Знать, речки боишься глубокой?—
«Боюсь! В нее смотрит твой глаз...
А он заколдует как раз!»

3

Тебе няньки песни пели,
    А уж я любил!
И тогда же на мизинец
    Перстень подарил.
Взяли жен себе другие;
    Я же верен был.

Вдруг чужой пришел к нам парень
    И тебе стал мил.
Музыкантов пригласили,
    Я на свадьбе пил!
Стала ты чужой женою,
    А я все любил!

Овдовела ты — с тобою
    Вместе я тужил.
На вдове вдовец женился...
    Я еще любил!
Как смеялись нынче девки.
    Слез я не таил.
Знать, я даром ждал, и перстень
    Мне не пособил!

4

«Хоть бы песенку ты спела!..»
— Не могу, услышит мать.
Ну отворит вдруг окошко:
Нам с тобой несдобровать!

«Видно, ты меня не любишь!
Холодна ты, словно лед;
Вот опять отворотилась...
Разве кто нас стережет?»

— Замолчи! Мы возле хаты:
Могут люди увидать!
Ты бы только целовался;
Ну как нас увидит мать!

«Или каменное сердце
В молодой твоей груди?
Дорогая! хоть разочек
На меня ты погляди!»

— Перестань! В другое время...
А теперь я не могу
Глаз отвесть на миг от стада,
Что пасется на лугу.

«Посмотри! В тенистой роще
Колокольчик голубой...»
— Колокольчик! Неужели?..
То цветок любимый мой!

«Так сорвем!» — Ты здесь останься
«Где ж тебе одной сыскать?»
Проискали долго вместе...
Неужель узнает мать?

5

Молодой стрелок идет дорогой,
И бежит собака перед ним;
Знать, устал и отдохнуть немного
Он прилег под деревом густым.

Встал опять и дальше в путь пустился
По пригорку... через ниву, в лес...
Смотрит в чащу... Вдруг остановился,
Затрубил и из виду исчез...

Я его собаку приласкаю...
Принесу ей больше молока,
Мяса ей и хлеба набросаю,—
Заведет к нам, может быть, стрелка.

Мать пойдет ему зажарить птицу,
Даст отцу он пострелять ружья...
Дети будут с псом возиться;
И вдвоем останусь с гостем я!



ВЛАДИСЛАВ СЫРОКОМЛЯ

ПТИЧКА

Птичка божия проснулася с зарею,
А уж пахаря застала за сохою;
Полетит она к лазурным небесам
И, что видит в селах, все расскажет там.
Скажет птичка богу, что бедняк страдает,
Что кровавым потом ниву орошает;
Не мила, как птичке, пахарю весна,
Радостей не много подарит она...
Встретил бы он солнце песенкой веселой,
Да молчать заставит гнет нужды тяжелый.
На сердце заботы, как свинец, лежат.
Поневоле песня не пойдет на лад.
Где тут любоваться негой лунной ночи,—
Застилают слезы труженику очи...
Скажет птичка богу — чтоб его рука
Поддержала в горькой доле бедняка,
Чтоб ему нести свой крест достало силы,
Чтоб без ропота добрел он до могилы.



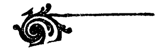
ДУМА

Здесь дни мои текут спокойно,
Здесь хлеба вдоволь и цветов,
И вечерком приятель добрый
Потолковать со мной готов.

Средь яблонь, груш и дубов старых
Отрадно в этой мне тиши.
Еще одно бы только благо —
Одно спокойствие души!

О люди, братья, помолитесь
За брата бедного порой,
Чтобы остыл тревожной мысли
Жар в голове моей больной;

Чтобы мечтам моим крылатым
Рассудок воли не давал,
Чтоб о всеобщем, вечном счастье,
Безумный, я не помышлял!



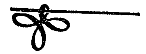
С венгерского

ШАНДОР ПЕТЕФИ

* * *

Степью иду я унылою,
Нет ни цветочка на ней;
Деревца нету зеленого,
Где бы мог спеть соловей.
Мрачно так вечер насупился,
Звезд — ни следа в вышине...
Сам я не знаю, что́ вспомнилась
Вдруг в эту пору ты мне!..
Вспомнилась ты, моя милая,
С кротким и ясным лицом...
Вижу тебя... И, мне кажется,
Мгла уж редеет кругом;

И будто песнь соловьиная
В чаще зеленой звучит;
Волны цветов колыхаются,
В звездах все небо горит...



* * *

За мою доброту меня хвалишь все ты;
Может быть, я и добр не шутя;
Но меня не хвали, ведь моей доброты
Твое сердце источник, дитя.

Не заслуга земли, что пестреет цветок
И что плод созревает на ней;
Разве мог бы взойти хоть один стебелек
Без живительных солнца лучей?

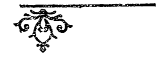


ЯНОШ АРАНИ

* * *

Ах! Сколько, сколько пало их
  В бою за край родной!
Отважных, гордых, молодых,
  С кипучею душой!
Ах! Сколько, сколько сгибло их
  Под гнетом нищеты,
Кому дороже благ земных
  Казались их мечты,
Кто на чужбине чашу бед
  Всю осушил до дна,
Деяний чьих не знает свет,
  Чьи темны имена...
Но не погиб тот идеал,
  Что возвышал их дух!
И пламень тот, что в них пылал,
  С их жизнью не потух!

Завещан честным он сердцам...
И если б край родной
Опять воззвал к своим сынам —
Они готовы в бой!



С немецкого

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

ТИШЬ НА МОРЕ

Тишина немая в море,
Волны темны, как свинец.
Беспокойно на просторе
Озирается пловец.

Легкий ветер не подует;
Как в могиле, тишина...
И в дали необозримой
Не колы́хнется волна.



МОЛИТВА

О мой творец! О боже мой,
Взгляни на грешную меня:
Я мучусь, я больна душой,
Изрыта скорбью грудь моя.
О мой творец! велик мой грех,
Я на земле преступней всех!

Кипела в нем младая кровь;
Была чиста его любовь;
Но он ее в груди своей
Таил так свято от людей.
Я знала все. . О боже мой,
Прости мне, грешной и больной.

Его я муки поняла;
Улыбкой, взором лишь одним
Я б исцелить его могла,
Но я не сжалилась над ним.
О мой творец, велик мой грех,
Я на земле преступней всех!

Томился долго, долго он,
Печалью тяжкой удручен;
И умер, бедный, наконец...
О боже мой, о мой творец,
Ты тронься грешницы мольбой,
Взгляни, как я больна душой!



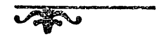
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

* * *

Возьми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии всей!

Сильнее стучи, и тревогой
Ты спящих от сна пробуди!
Вот смысл глубочайший искусства;
А сам маршируй впереди!

Вот Гегель! Вот книжная мудрость!
Вот дух философских начал!
Давно я постиг эту тайну.
Давно барабанщиком стал!

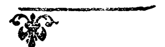


* * *

Скучно мне! И взор кидаю
Я на прошлое с тоской;
Лучше мир был! И дружнее
Жили люди меж собой...

А теперь... несносно, вяло,
Словно вымер целый свет.
В небесах не стало бога,
Но и черта больше нет.

Все так мрачно... отовсюду
Веет холодом могил;
И не будь любви немножко,
Право, жить не стало б сил!..



* * *

О! не будь нетерпелива
И прости, что в песнях новых
Всё еще так внятны звуки
Старой боли дней суровых!

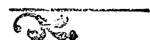
Подожди! Замолкнет скоро
Эхо прожитых мучений,
И в душе расцветшей песен
Пробудится рой весенний!



* * *

Дитя! как цветок, ты прекрасна,
Светла, и чиста, и мила;
Смотрю на тебя... и любуюсь,—
И снова душа ожила...

Охотно б тебе на головку
Я руки свои положил,
Прося, чтобы бог тебя вечно
Прекрасной и чистой хранил.



* * *

Они меня много терзали —
И бледный я стал и худой —
Одни своей глупой любовью,
Другие своею враждой.

И хлеб мой они отравили,
И яду смешали с водой —
Одни своей глупой любовью,
Другие своею враждой.

Но та, кто всех больше терзала
И мучила сердце мое...
Меня никогда не любила;
Вражды не вселил я в нее!



* * *

Мне снилася дочь короля молодая
С унылым и бледным лицом;
Обнявшись, под липой густой и зеленой
Мы с нею сидели вдвоем.

«Не надо мне яркой, блестящей порфиры,
Ни трона отца твоего.
К чему они? Кроме тебя, не желаю
Я в мире, дитя, ничего!»

— Как быть мне твоею,— она отвечала,—
Зарыта в земле я лежу...
И ночью, любви повинуясь призыву,
Мой милый, к тебе прихожу!



* * *

Отчего так бледны розы,
Так печально все вокруг,
И молчит в траве кузнечик?
Отчего, мой милый друг?

Отчего напевы птичек
Грустно в воздухе звучат?
И от трав могильный запах,
А не прежний аромат?

Отчего так солнце тускло
И не греет луч его?
Отчего все стало в мире
Так уныло... так мертво!

Отчего я сам так мрачен?
Отчего, друг милый мой,—
Отчего, мой друг прекрасный,
Расстаешься ты со мной!



ТАМБУРМАЖОР

Он низко пал... Тамбурмажора
Не узнаю я больше в нем!
А в дни Империи, бывало,
Каким глядел он молодцом!

Он шел с улыбкой перед войском
И палкой длинною махал;
Галун серебряный мундира
При свете солнечном блистал.

Когда при барабанном бое
Вступал в немецкий город он,
В ответ на этот бой стучали
Сердца у наших дев и жен.

Придет, увидит он красотку,—
И победит ее сейчас;
Слезами женскими увлажен
Был черный ус его не раз.

Мы всё сносили поневоле,
И покорял, являясь к нам,
Мужчин — французский император,
Тамбурмажор французский — дам.

Как наши ели терпеливы,
Молчали долго мы; но вот
Нам наконец освобождаться
Приказ начальство отдает.

И вдруг, как бык рассвирепелый,
Свои мы подняли рога;
И песни Кернера запели...
И одолели мы врага!

Стихи ужасные звучали
В ушах тирана день и ночь;
Тамбурмажор и император
От них бежать пустились прочь.

Обоим грешникам правдивой
Судьбой урок был страшный дан:
Наполеон попался в руки
Жестокосердных англичан.

Его на острове пустынном
Позорно мучили они;
И наконец уж рак в желудке
Пресек страдальческие дни.

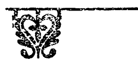
Тамбурмажор был точно также
Всех прежних почестей лишен;
Чтоб избежать голодной смерти,
У нас в отеле служит он:

Посуду моет, топит печи,
Таскает воду и дрова;
Кряхтит бедняга, и трясется
Его седая голова.

Когда приятель Фриц порою
Ко мне заходит вечерком,
Никак не может удержаться,
Чтоб не сострить над стариком.

Не стыдно ль, Фриц? Совсем не место
Здесь этим пошлым остротам:
Величье падшее позорить
Нейдет Германии сынам:

Тебе бы должно с уваженьем
Смотреть на эти седины...
Старик, быть может, твой родитель,
Хотя и с левой стороны...



СТРАНСТВУЙ!

Когда тебя женщина бросит,
Проворней влюбляйся опять;
Но лучше — по белому свету
С котомкой отправься гулять.

Ты синее озеро встретишь...
Над озером липы растут;
Свое небольшое страданье
Все можешь ты выплакать тут.

На горы крутые взбираясь,
Заохаешь ты как старик;
Но, если достигнешь вершины,
Орлиный услышишь там крик.

И сам ты в орла превратишься,
Почуешь, что силен ты стал...
Что стал ты свободен... И очень
Немного внизу потерял!



* * *

Красавицу юноша любит;
Но ей полюбился другой.
Другой этот любит другую
И нáзвал своею женой.

За первого встречного замуж
Красавица с горя идет;
А бедного юноши сердце
Тоска до могилы гнетет.

Старинная сказка! Но вечно
Останется новой она;
И лучше б на свет не родился
Тот, с кем она сбыться должна!



* * *

И смех, и песни, и солнца блеск!
Челнок наш легкий качают волны;
Я в нем с друзьями, веселья полный,
Плыву беспечно... Вдруг слышен треск.

И разлетелся в куски челнок —
Друзья пловцами плохими были,
Родные волны их поглотили,
Меня ж далеко умчал поток.

И вот сработал в чужой стране
Другой челнок я; но бьют сурово
Чужие волны в челнок мой новый;
Мой край далеко! Как грустно мне!

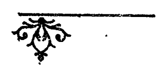
Друзья иные теперь со мной!
И снова песни! Но воют бури,
И гаснут звезды в ночной лазури...
Прости навеки, мой край родной!



* * *

И у меня был край родной:
  Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
  Но то был сон!

Семья друзей была жива;
  Со всех сторон
Звучали мне любви слова...
  Но то был сон!

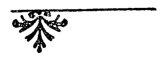


* * *

Был старый король... (Эту песню
Я, други, слыхал в старину.)
Седой и с остылой душою,
Он взял молодую жену.

Был паж с голубыми глазами,
Исполнен отваги и сил;
Он шелковый шлейф королевы,
Прекрасной и юной, носил.

Докончить ли старую песню?
Звучит так уныло она...
Друг друга они полюбили,
И смерть им была суждена.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Брат с сестрой когда-то жили,
Он богат, она бедна.
Раз сестра сказала брату:
«Помоги, я голодна!»

«Ах! оставь меня сегодня! —
Брат ей вымолвил в ответ.—
Я совету городскому
Задаю большой обед.

Этот любит ананасы;
Этот суп из черепах;
Этот с трюфлями фазанов;
Целый день я в хлопотах.

Одному морскую рыбу,
А другому семгу дай;
Третий жрет, что ни попало,
Лишь вина в него вливай!»

И, голодная, от брата
В угол свой она пришла.
Там, слезами обливаясь,
На соломе умерла.

Все умрем мы... Вот явилась
Смерть и к братнему одру;
Богача она сразила
Так, как он сразил сестру.

Но, почуяв, что пришлося
Грешный мир наш покидать,
Он нотариуса призвал
Завещание писать:

Духовенству он оставил
Очень круглый капитал;
Школе также и музею
Много денег отказал;

Не забыл он в завещанье
Институт глухонемых,
Поощрил богоугодных
Обществ много и других.

Был им колокол огромный
В дар собору принесен;
Страшный вес! Металл отличный!
Потрясает воздух звон!

И, весь день не умолкая,
Этот колокол гудит
Про тебя, о муж великий,
Как добром ты знаменит!

Языком своим он медным
Возвещает, что тобой
Все сограждане гордятся,
Весь гордится край родной.

В честь твою гудеть он будет,
Незабвенный филантроп,
И тогда, когда ты ляжешь,
К общей скорби, в тесный гроб.



ГРАФИНЯ ГУДЕЛЬ ФОН ГУДЕЛЬФЕЛЬД

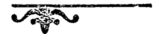
Преклоняются все, о графиня,
За червонцы твои пред тобой.
В раззолоченной пышной карете,
Запряженной четверкой лихой,
Ты на герцогский бал покатила,
Там огни, и оркестр уж гремит,
И по мраморным гладким ступеням
Длинный шелковый шлейф твой шумит.
А вверху галуны и ливреи,
И кричат великаны лакеи:
«M-me la comtesse Goudelfeld» [1].

В дорогих кружевах, в бриллиантах,
По сияющим залам дворца
Гордо с веером ты выступаешь,
И не сходит улыбка с лица.
Так высоко от радости дышит
Грудь твоя, и полна и бела;
Перед целым дворцом герцогиня
Cara mia [2] тебя назвала.
Вальсируют с тобой камергеры;
Превозносит сам герцог манеры
De m-me la comtesse Goudelfeld.

---

[1] Графиня Гудельфельд! *(фр.)*
[2] Моя дорогая *(ит.)*.

Но беда, если денег не будет!
Все к тебе повернутся спиной.
Cara mia презрительно взглянет
И ни слова не скажет с тобой.
Длинный шлейф твой оттопчут лакеи,
Не пойдешь с камергером плясать,
И любезностей ты не услышишь,
Только будешь обиды глотать;
Даже герцог сострит герцогине:
«Как несет чесноком от графини,
От m-me la comtesse Goudelfeld!».



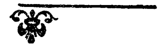
* * *

Пора оставить эту шутку
И заученные слова!
Давно холодному рассудку
Пора вступить в свои права.

Я был с тобой актером ловким:
И живописен и блестящ,
Средь театральной обстановки,
Казался рыцарский мой плащ.

Довольно! Я его бросаю,
Но отчего ж в душе опять
Тоска, как будто продолжаю
Я все комедию играть?

Иль, сам того не сознавая,
Правдивым был я до конца...
И смерть носил в груди, играя
Роль умиравшего бойца?



ЮДОЛЬ ПЛАЧА

Уныло в трубах раздаются
Ночного ветра завыванья...
На чердаке, бледны и тощи,
Лежат два бедные созданья.

И говорит одно: «Рукою
Обвей мне крепче, крепче шею,
К устам моим прильни устами,
Согрей меня, я холодею».

И говорит другое: «Если
Любовь в твоем мне светит взоре,
Я забываю стужу, холод
И все свое земное горе».

Они друг другу жали руки,
И целовались, и рыдали...
Порой смеялись, песню пели
И вдруг затихли, замолчали...

Явился утром полицейский
И с ним хирург, здоровый малый,
Для подтвержденья, что на свете
Двух бедняков еще не стало.

И объявил хирург, что холод
В соединенье с пустотою
Желудка — смерти их считает
Он несомненною виною.

— Из байки нужны одеяла,—
Прибавил он,— зима сурова.—
Потом сказал, что пища тоже
Сытна должна быть и здорова.



* * *

Вчера меня ласкало счастье,
А уж сегодня нет его!
Мне привязать не удавалось
К себе надолго никого.

В мои объятья любопытство
Толкало женщин много раз,
Но, заглянув мне в сердце глубже,
Спешили прочь они сейчас.

Одна в молчанье уходила,
Другая — весело смеясь.
И только ты, меня бросая,
Слезами горько залилась!



ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОЭТУ

Ты поешь, как Тиртей. Твоя песня
Вдохновенной отваги полна...
Но ты публику выбрал плохую,
Ты в плохие поешь времена.

Тебя слушают, правда, с восторгом
И, дивясь, восклицают потом:
«Как полет его дум благороден,
Как владеет он мощно стихом!»

За стаканом вина не однажды
Тебе даже кричали: «Ура!»
Хором песни твои распевали,
Распевали всю ночь до утра.

За столом спеть свободную песню
Очень любят рабы... Ведь она
И желудку варить помогает,
Да и больше с ней выпьешь вина!



ФЕРДИНАНД ФРЕЙЛИГРАТ

* * *

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой.

О, сторожи, чтоб сердце свято
Любовь хранило, берегло,
Пока его другое любит
И неизменно и тепло.

Тем, чья душа тебе открыта,
О, дай им больше, больше дай!
Чтоб каждый миг дарил им счастье,
Ни одного не отравляй!

И сторожи, чтоб слов обидных
Порой язык не произнес;
О боже! он сказал без злобы,
А друга взор уж полон слез!

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

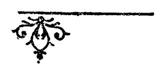
Вот ты стоишь над ней уныло;
На грудь поникла голова;
Все, что любил,— навек сокрыла
Густая влажная трава.

Ты говоришь: «Хоть на мгновенье
Взгляни; изныла грудь моя!
Прости язвительное слово,
Его сказал без злобы я!»

Но друг не видит и не слышит,
В твои объятья не спешит.
С улыбкой кроткою, как прежде,
«Прощаю все» не говорит!

Да! ты прощен... но много, много
Твоя язвительная речь
Мгновений другу отравила,
Пока успел он в землю лечь.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!



МОРИЦ ГАРТМАН

МОЛЧАНИЕ

Ни слова, о друг мой, ни вздоха...
Мы будем с тобой молчаливы...
Ведь молча над камнем могильным
Склоняются грустные ивы...

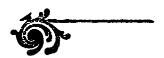
И только, склонившись, читают,
Как я, в твоем взоре усталом,
Что были дни ясного счастья,
Что этого счастья — не стало!



* * *

Капля дождевая
Говорит другим:
«Что мы здесь в окошко
Громко так стучим?»

Отвечают капли:
«Здесь бедняк живет;
Мы ему приносим
Весть, что хлеб растет».

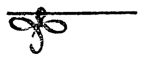


НА МОТИВ БОЛГАРСКОЙ ПЕСНИ

Я в свой цветок любимый заглянула,
И чудный мир увидела я в нем:
Стоял в родной долине домик белый,
Зеленый луг раскинулся кругом.

И я сама сидела на пороге;
Был у меня ребенок на руках;
Ты, милый мой, ходил с улыбкой мимо,
И счастья луч горел в твоих глазах.
Но вот увял, поблек цветок мой бедный;

Напрасно я гляжу в него опять;
Напрасно я ищу цветка такого
Во всех садах,— его мне не сыскать!



МАННВЕЛЬТОВА НЕДЕЛЯ

(Н. А. Некрасову)

Ма́ннвельт коня в воскресенье седлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Едет... Из церкви выходит народ;
Нищих толпа у церковных ворот;
Мимо себе богомольцы прошли,
С де́ньгами кружку попы пронесли;
Нищим не подал никто — и с тоской
Молча поникли они головой.
Вот на помост прилегли отдохнуть:
Может, в вечерню подаст кто-нибудь.
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

Маннвельт коня в понедельник седлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Едет... Пред ним многолюдный базар;
Крики и шум, и пестреет товар —
Есть из чего выбирать богачам,
Много поживы и ловким ворам;
С рынка богатый богаче ушел,
Только бедняк был по-прежнему гол.
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

Маннвельт во вторник коня оседлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Едет он: площадь народом кипит,
Суд там правитель открыто чинит.
Кто пресмыкался, был знатен, богат,
Был им оправдан, добился наград.
Плохо лишь бедным пришлось от него...
А между тем за поездом его
С радостным криком народ весь бежал,
Милость его, доброту прославлял,
Полон восторга от ласковых слов,
Сыпал к ногам его много цветов!
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

В середу Маннвельт коня оседлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Видит он, шумной толпою во храм
Люди стремятся... и пастырь уж там
Молча стоит в облаченье своем.
Скоро невеста вошла с женихом;
Стар он и сед был, прекрасна она;
Был он богат, а невеста бедна;
Счастлив казался жених; а у ней
Слезы лились и лились из очей.
Пастырь спросил у ней что-то; в ответ
Да прошептала она, словно *нет*.
Гости чету поздравляют, потом
Едут на пир к новобрачному в дом.
Мать молодой была всех веселей:
Дочь своим счастьем обязана ей!
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

Вот он коня и в четверг оседлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Видит огромное здание он,
Видит, стекаются с разных сторон
Женщины в бедной одежде туда.
Знатные там собрались господа.
Дамам, разряженным в шелк и атлас,
Бодрых кормилиц ведут на показ.
Кончился смотр; и с довольным лицом
Вышли иные, звеня серебром.
Стон вылетал из груди у других;
Шли они, плача о детях своих,
И еще долго смотрели назад,
Им посылая свой любящий взгляд.
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

В пятницу Маннвельт коня оседлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Видит, на улице муж и жена
Спорят, кричат и бранятся. Она
Волосы рвет на себе: «Осквернил
Брачный союз ты... жену погубил!»
Он отвечает, грозя кулаком:
«Ад принесла ты, злодейка, в мой дом.
Сам я обманут тобою, змея!»
В книгу закона взглянувши, судья
Молвил чете: «Вы расстаться должны».

И разошлись они, злобы полны.
А в отдаленье на камне сидел
Бледный ребенок, дрожа, и глядел
То на отца, то на мать он с тоской
Брошенный ими — пошел он с сумой.
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

Маннвельт в субботу коня оседлал:
Дом его старый не мил ему стал.
Въехал он в город: на улицах бой.
Кровью исходят и добрый и злой;
Раб и свободный убиты лежат.
Бьют барабаны, и пули свистят.
Веют знамена, и много на них
Слов благородных, призывов святых!..
Падая, их произносят бойцы...
С криком народ разрушает дворцы.
В бегстве король... Обуял его страх.
Вносит другого толпа на руках.
Маннвельт, унылый, вернулся домой.

Маннвельт коня в воскресенье седлал:
Дом его старый не мил ему стал.
В чистое поле он ранней порой
Выехал.— Мир был объят тишиной;
Где-то вился над деревней дымок,
Легкий его колыхал ветерок;
Жаворонок в чистой лазури звенел;
Плод на ветвях наливался и зрел;
Тихо — сквозь сеть золотистых лучей —
Воды катил, извиваясь, ручей.
Маннвельт задумчив сидел на коне,
Слышался топот копыт в тишине;
Голос кукушки звал всадника в лес...
Вот уж он в чаще зеленой исчез.
Дальше он все углублялся во тьму:
Тысяча звуков навстречу ему,
Мягких, ласкающих, чудных, неслись.
Нежили слух его... в душу лились,
Ей обещали забвенье, покой...
Маннвельт совсем не вернулся домой!

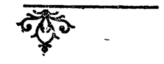


* * *

Стало мне в доме и скучно и тесно,
Тянет куда-то, куда — неизвестно.
В сад не пойти ль, у цветов допроситься
Может быть, мне порасскажут они,
Что это нынче со мною творится
И отчего в эти ясные дни,
Странной, глубокой тоской удручен,
Рвусь я куда-то все из дому вон.

Нет! На вопросы мои разрешенья
Я никогда не дождусь от цветов;
Им не понять ни тоски, ни томленья...
Тупо глядят они, нет у них слов;
Скучно мне в мертвом, безмолвном саду,
В лес я, в зеленую чащу пойду.

Вот я стою под листвой изумрудной,
Тысячи радостных звуков кругом!
Что же и здесь мне так больно и трудно,
Словно опять воротился я в дом,
Словно я в комнате мрачной своей;
Вон бы из этого мира скорей!



ЦВЕТЫ

Каждый день, когда из дому
Выхожу я, у ворот
Ждет меня кудрявый мальчик
И цветы мне подает.

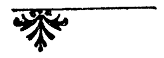
Я привык к его букетам,
И как будто веселей
Стало с ними в одинокой
Тесной комнатке моей.

Так красивы, ярки, свежи
Те цветы всегда, что я
Наконец спросил ребенка:
«Где ты взял букет, дитя?»

— У меня могильщик дядя,—
Он ответил,—и живу
Вместе с ним я на кладбище;
Там цветы я эти рву.

И пошел я с грустной думой,
Тихо молвив: «Узнаю
Я и здесь, судьба, все ту же
Шутку вечную твою;

В каждой радости, что в жизни
Нам тобою послана,
Капля есть отравы горькой —
Грусть на дне затаена».



ПОДАРКИ

— Наш милый гость спешит отсюда.
Скажите, дети, что ему
Дадите вы, чтобы подольше
Остался он у нас в дому?

И старший сын ответил быстро:
«Мой сокол гостю лучший дар;
Он прежде был красив, а нынче
В крыло подстрелен, слеп и стар».

Другой сказал: «А я в придачу
Стрелу, пожалуй, гостю дам;
Она врагов не поражает,
Но в грудь вонзается стрелкам».

Словам их дочь внимала грустно
И тихо молвила потом:
«Я гостю все отдать готова —
Не откажу ему ни в чем:

Ему наряд свой драгоценный,
Ему свой перстень отдаю,
Свое девическое ложе,
Постель пуховую свою!»

— Так пусть же гость уходит с миром!
Прискорбно мне, что сыновья
Мои дарят ему так мало,—
Дарит так много дочь моя!



ИОЗЕФ ЭЙХЕНДОРФ

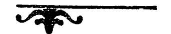
* * *

Ах, не та уж эта липа,
На которую когда-то
Я влезал, чтоб любоваться
Ярким заревом заката!

И не этой рощей темной
Я, под шум ветвей сосновых,
От подруги возвращался
С сердцем, полным песен новых!

Знать, не та уж и долина,
Где порой любви счастливой,
Выходили на свиданье
Мы стопою боязливой.

Нет! Долина, роща, липа —
Те же всё, что в дни былые;
Ты не тот... Остыло сердце,
Да и волосы седые!

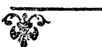


НОЧНЫЕ ГОЛОСА

И дол, и лес объяты тьмой...
Необозримы, молчаливы
Лежат поля передо мной...
И не колышет ветер нивы...

Вдали раздался где-то звон...
То бьют часы, протяжно, мерно...
В испуге встрепенулась серна
И снова погрузилась в сон.

Вот на горе сосновый бор,
Шумя, вершины преклоняет:
Господь идет по высям гор
И спящий край благословляет.



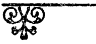
ФРИДРИХ РЮККЕРТ

* * *

Тени гор высоких
На воду легли;
Потянулись чайки
Белые вдали.

Тихо все... Томленьем
Дышит грудь моя...
Как теперь бы крепко
Обнял друга я!

Весело выходит
Странник утром в путь;
Но под вечер дома
Рад бы отдохнуть.



ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ

РЕБЕНОК

Мать в гробу лежит, цветами
Убрана в последний раз;
А ребенок удивленный
С тех цветов не сводит глаз.

На одежде белой розы,
Иммортели в волосах;
Не срывал цветов красивей
Он ни в поле, ни в лесах.

И звучит его молящий,
Серебристый голосок:
«Мама, мама! Подари мне
Хоть один такой цветок!»

Но, ответа не дождавшись,
Про себя он говорит:
«Спит она! Когда проснется,
Непременно подарит!»

И на цыпочках ушел он;
Но потом к дверям опять
Подходил не раз послушать,
Может быть, проснулась мать.



ФРИДРИХ БОДЕНШТЕДТ

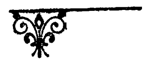
* * *

Пронзительно ветер ночной завывал,
И волны вздымались глубоко...
Один я в раздумье над морем лежал,
Томимый печалью глубокой.

О прошлом я вспомнил, о днях молодых,
О днях, что казались часами;
Сурова пора, заменившая их:
Часы нынче кажутся днями.

Лежал я с безрадостной думой своей,
И видел — звезда задрожала...
Но в небе от бледных, холодных лучей
Светлее и чище не стало.

И думы о прошлом подобны звездам:
  Осенней порою унылой
Встают они только затем, чтобы нам
  Поведать, что ночь наступила...



с английского

ДЖОРДЖ БАЙРОН

* * *

Когда я прижимал тебя к груди своей,
Любви и счастья полн и примирен с судьбою,
Я думал: только смерть нас разлучит с тобою,
Но вот разлучены мы завистью людей.

Пускай тебя навек, прекрасное созданье,
Отторгла злоба их от сердца моего,
Но верь — им не изгнать твой образ из него,
Пока не пал твой друг под бременем страданья.

И если мертвецы приют покинут свой
И к вечной жизни прах из тленья возродится,
Опять чело мое на грудь твою склонится:
Нет рая для меня, где нет тебя со мной!



WHEN ALL AROUND GREW DREAR AND DARK...

Когда был страшный мрак кругом
И гас рассудок мой, казалось,
Когда надежда мне являлась
Далеким, бледным огоньком;

Когда готов был изнемочь
Я в битве долгой и упорной
И, клевете внимая черной,
Все от меня бежали прочь;

Когда в измученную грудь
Вонзались ненависти стрелы,—
Лишь ты одна во тьме блестела
И мне указывала путь.

Благословен будь этот свет
Звезды немеркнувшей, любимой,
Что, словно око серафима,
Меня берег средь бурь и бед!

За тучей туча вслед плыла,
Не омрачив звезды лучистой;
Она по небу блеск свой чистый,
Пока не скрылась ночь, лила.

О! будь со мной! учи меня
Иль смелым быть, иль терпеливым;
Не приговорам света лживым —
Твоим словам лишь верю я!

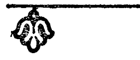
Как деревцо, стояла ты,
Что уцелело под грозою
И над могильною плитою
Склоняет верные листы.

Когда на грозных небесах
Сгустилась тьма и буря злая
Вокруг ревела, не смолкая,
Ко мне склонилась ты в слезах.

Тебя и близких всех твоих
Судьба хранит от бурь опасных;
Кто добр, небес достоин ясных,—
Ты прежде всех достойна их.

Любовь в нас часто ложь одна;
Но ты измене недоступна,
Неколебима, неподкупна,
Хотя душа твоя нежна.

Все той же верной встретил я
Тебя, в дни бедствий погибая,
И мир, где есть душа такая,
Уж не пустыня для меня!



ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

1

У вод вавилонских, печалью томимы,
В слезах мы сидели, тот день вспоминая,
Как враг разъяренный по стогнам Солима
Бежал, всё мечу и огню предавая;
Как дочери наши рыдали! Оне
Рассеяны ныне в чужой стороне.

Свободные волны катились спокойно...
«Играйте и пойте»,— враги нам сказали.
Нет, нет! Вавилона сыны недостойны,
Чтоб наши им песни святые звучали;
Рука да отсохнет у тех, кто врагам
На радость ударит хоть раз по струнам.

Повесили арфы свои мы на ивы:
Свободное нам завещал песнопенье
Солим, как его совершилось паденье;
Так пусть же те арфы висят молчаливы.
Вовек не сольете со звуками их,
Гонители наши, вы песен своих!

2

Ты кончил жизни путь, герой!
Теперь твоя начнется слава,
И в песнях родины святой
Жить будет образ величавый,
Жить будет мужество твое,
Освободившее ее.

Пока свободен твой народ,
Он позабыть тебя не в силах.
Ты пал! Но кровь твоя течет
Не по земле, а в наших жилах;

Отвагу мощную вдохнуть
Твой подвиг должен в нашу грудь.

Врага заставим мы бледнеть,
Коль назовем тебя средь боя;
Дев наших хоры станут петь
О смерти доблестной героя;
Но слез не будет на очах:
Плач оскорбил бы славный прах.

3

THE WILD GASELLE[1]

Газель, свободна и легка,
Бежит в горах родного края,
Из вод любого родника
В дубравах жажду утоляя.
Газели быстр и светел взгляд,
Не знает бег ее преград.

Но стан Сиона дочерей,
Что в тех горах когда-то пели,
Еще воздушней и стройней,
Быстрей глаза их глаз газели;
Их нет! Все так же кедр шумит,
А их напев уж не звучит!

И вы, краса родных полей,
В их почву вросшие корнями,
О пальмы! Участью своей
Гордиться можно вам пред нами;
Вас на чужбину перенесть
Нельзя... Вы там не стали б цвесть.

Подобны блеклым мы листам,
Далеко бурей унесенным...
И где отцы почили, там
Не опочить нам, утомленным...
Разрушен храм. Солима трон
Врагом поруган, сокрушен!



[1] Дикая газель (*англ.*).

WELL, THOU ART HAPPY

Ты счастлива, и я бы должен счастье
При этой мысли в сердце ощутить;
К судьбе твоей горячего участья
Во мне ничто не в силах истребить.

Он также счастлив, избранный тобою,
И как его завиден мне удел!
Когда б он не любил тебя — враждою
К нему бы я безмерною кипел!

Изнемогал от ревности и муки
Я, увидав ребенка твоего,
Но он простер ко мне с улыбкой руки —
И целовать я страстно стал его...

Я целовал, сдержавши вздох невольный
О том, что на отца он походил;
Но у него твой взгляд, и мне довольно
Уж этого, чтоб я его любил.

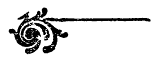
Прощай! Пока ты счастлива, ни слова
Судьбе в укор не посылаю я.
Но жить, где ты... нет, Мери, нет! Иль снова
Проснется страсть мятежная моя.

Глупец! Я думал, юных увлечений
Пыл истребят и гордость и года;
И что ж? Теперь надежды нет и тени,
А сердце так же бьется, как тогда.

Мы свиделись... Ты знаешь, без волненья
Встречать не мог я взоров дорогих;
Но в этот миг ни слово, ни движенье
Не выдали сокрытых мук моих.

Ты пристально в лицо мне посмотрела,
Но каменным казалося оно;
Быть может, лишь прочесть ты в нем успела
Спокойствие отчаянья одно.

Воспоминанье, прочь! Скорей рассейся,
Рай светлых снов, снов юности моей!
Где ж Лета? Пусть они погибнут в ней!
О сердце, замолчи или разбейся!



АЛЬФРЕД ТЕННИСОН

ЛЕДИ КЛАРА ВЕР-ДЕ-ВЕР

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Простите! к вам я равнодушен,
Не в силах вы меня пленить.
От скуки сердцем деревенским
Вам захотелось пошутить;
Но как ни страстны ваши взоры,
Не обожгут меня они:
Не вы мне счастье подарите,
Хоть двадцать графов вам сродни!

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Вы родословною гордитесь,
Гордитесь именем, гербом;
А мне до предков дела мало:
Крестьянин был моим отцом.
Нет! не разбить вам это сердце!
Иная ждет его судьба:
Ему любовь крестьянки доброй
Дороже всякого герба.

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Я не такой ручной, поверьте,
Каким, быть может, вам кажусь;
И будьте вы царица мира,
Я все пред вами не склонюсь.
Над бедным парнем для потехи
Хотели опыт сделать вы...
Но так же холодно он смотрит,
Как на воротах ваших львы.

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Зачем тот день я вспоминаю,
Когда, под тенью старых лип,
Лежал недвижим бедный Лоренц!
(Лишь две весны — как он погиб!)
Вы завлекли... Околдовали...
Вам не учиться колдовать;
Но этот череп раздробленный
Вам страшно было б увидать!

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Лежал он бледный. Мать рыдала...
И слово горькое у ней
Невольно вырвалось... Страданье
Ожесточает так людей!..
Не повторю я здесь, что слышать
Пришлось мне в миг печальный тот...
Да! мать была не так спокойна,
Как Вер-де-Веров знатный род!

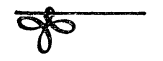
О, леди Клара Вер-де-Вер!
За вами тень его повсюду,
И на пороге вашем кровь!
Вы сердце честное разбили...
Когда бедняк свою любовь
Решился высказать, улыбкой
И взором нежным ободрен,
Вы тотчас выдвинули предков...
Удар был метко нанесен!

О, леди Клара Вер-де-Вер!
С какой насмешкою взирает
С небес наш праотец Адам
На то, чем все вы так гордитесь,—
На эту ветошь, этот хлам!
Поверьте, тот лишь благороден,
Чья не запятнана душа...
А ваши графские короны
Не стоят медного гроша!

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Вы свежи, молоды, здоровы,
А утомление легло
На ваши гордые ресницы,
На ваше гордое чело!

Однообразно, бесконечно
Идут для вас за днями дни,
И вот вы ставите от скуки
Сердцам наивным западни!

О, леди Клара Вер-де-Вер!
Не зная, что с собою делать,
Вы умираете с тоски;
Но неужель к вам не стучатся
Рукою робкой бедняки?
Войдите в хижины... начните
Учить вы грамоте сирот,
А уж на нас рукой махните:
Мы — неотесанный народ!



РОБЕРТ СОУТИ

БЛЕНГЕЙМСКИЙ БОЙ

Прохладный вечер наступил,
Сменив палящий зной.
У входа в хижину свою
Сидел старик седой;
Играла внучка перед ним
С братишкой маленьким своим.

И что-то круглое в траве
Бросали всё они.
Вдруг мальчик к деду подбежал:
И говорит: «Взгляни,
Что это мы на берегу
Нашли, понять я не могу».

Находку внучка взяв, старик
Со вздохом отвечал:
«Ах, это череп! Кто его
Носил,— со славой пал.
Когда-то был здесь жаркий бой,
И не один погиб герой.

В саду костей и черепов
   Не сосчитаешь, друг!
И в поле тоже: сколько раз
   Их задевал мой плуг.
Здесь реки крови протекли
И храбрых тысячи легли».

«Ах, расскажи нам, расскажи
   Про эти времена! —
Воскликнул внук.— Из-за чего
   Была тогда война?»
Затихли дети, не дохнут:
Чудес они от деда ждут.

«Из-за чего была война,
   Спросил ты, мой дружок;
Добиться этого и сам
   Я с малых лет не мог.
Но говорили все, что свет
Таких не видывал побед.

В Бленгейме жили мы с отцом...
   Пальба весь день была...
Упала бомба в домик наш,
   И он сгорел дотла.
С женой, с детьми отец бежал,
Он бесприютным нищим стал.

Все истребил огонь, и рожь
   Не дождалась жнеца.
Больных старух, грудных детей
   Погибло без конца.
Как быть! На то война, и нет,
   Увы, без этого побед!

Мне не забыть тот миг, когда
   На поле битвы я
Взглянул впервые. Горы тел
   Лежали там, гния.
Ужасный вид! Но что ж? Иной
Побед нельзя купить ценой.

В честь победивших пили все,
Хвала гремела им».
«Как! — внучка деда прервала,—
Разбойникам таким?»
«Молчи! Гордиться вся страна
Победой славною должна.

Да! принц Евгений и Мальброг
Тот выиграли бой».
Тут мальчик перебил: «А прок
От этого какой?»
«Молчи, несносный дуралей!
Мир не видал побед славней».



ТОМАС МУР

Из ирландских мелодий

1

НЕ НАЗЫВАЙТЕ ЕГО

Пусть лежит он в тенистом приюте своем,
Где зарыт он без почестей нами...
И, как ночью роса, наши слезы о нем
Пусть безмолвными будут слезами.

От слезинок росы дерн могил зеленей,
Хоть она и в тиши их роняет...
Так и память о нем в нашем сердце свежей
Сохранить нам слеза помогает...

2

ВПЕРЕД

Вперед, мой челн! Пусть ветер гонит нас!
К какой бы мы стране ни мчались дальной,
Но не видать нам более печальной
Страны, чем та, что скрылася от глаз.

И волны мне как будто бы журчат:
«Хоть смерть порой под нашей лаской скрыта,
Но те, кем жизнь твоя была разбита,
Нас холодней, коварней во сто крат!»

Вперед, вперед! Пусть море без конца...
Несись, челнок, и в тишь, и в день ненастный:
Как отдыху, и буре рад опасной
Покинувший коварные сердца!

Но если б где-нибудь еще найтись
Мог уголок пустынный, ни враждою,
Ни ложью не запятнанный людскою,—
Тогда, но лишь тогда, остановись!..

3

КО МНЕ ИДИ

Не в пышный зал, блистающий огнями,
Куда стремятся юноши толпой,—
В мой бедный сад с поблекшими цветами
Иди, мой друг: мы старики с тобой.
Там вызовем мы тени дорогие,
С умолкшими беседу поведем;
Подняв бокал за годы прожитые,
Там совершим мы тризну по былом.

Там мы почтим безмолвною слезою
Погибшие надежды и мечты,
Меж тем как мир над нашей сединою
Склонит свои увядшие листы.
И как в краю пустынном и унылом
Ветвями гордый лавр шумит порой,
Так пусть и наш привет звучит могилам,
Где силы спят, забытые толпой!

4

СЫН МЕНЕСТРЕЛЯ

Он на битву пошел, сын певца молодой,
Опоясан отцовским мечом;
Его арфа висит у него за спиной,
Его взоры пылают огнем.

«Все тебя предают,— барда слышится речь,—
Страна песен, родная страна,
Но тебе до конца не изменит мой меч,
И моя будет арфа верна!»

Пал он в битве... Но враг, что его победил,
Был бессилен над гордой душой;
Смолкла арфа: ее побежденный разбил,
По́рвал струны он все до одной.

«Ты отвагу, любовь прославлять создана,—
Молвил он,— так не знай же́ оков.
Твоя песнь услаждать лишь свободных должна,
Но не будет звучать меж рабов!»

5

I saw from the beach[1]...

Я видел, как розовым утром качался
В волнах прибывавших у берега челн;
И вновь я пришел, когда мрак надвигался.
Челнок был все там же, но не было волн.

Я так же охвачен был счастья волною,
Как этот песком занесенный челнок...
Отхлынули волны, и, полон тоскою,
Остался у берега я одинок...

Зачем говорите вы мне в утешенье,
Что слава должна услаждать мой закат...
Отдайте мне бурную смелость стремленья,
Отдайте мне юности слезы назад!

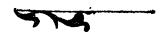
6

Как солнце золотит поверхность тихих вод,
А в глубине меж тем объяты волны тьмою,—
Улыбкой так лицо озарено порою,
Хотя в душе печаль гнетущая живет.

На нас унылый луч осенних бледных дней
Бросает о былых скорбях воспоминанья,
И радость ли нам жизнь дарит или страданья —
Нам все равно тогда: мы безучастны к ней.

[1] Я видел с берега (*англ.*).

Не так ли ветвь одна засохшая висит
На дереве, что все покрыто пышным цветом?
Облитая зари вечерней алым светом,
Она еще красой обманчивой манит,
Но ей уж не расцвесть, и свежею листвою
Листва поблекшая не сменится весною.



ВИЛЬЯМ МОТЕРВЕЛЛЬ

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

В голове моей мозг хочет треснуть,
    Кровью сердце мое истекло;
Изменяют мне ноги... О, Вилли!
    Умереть, видно, время пришло.
Приложи свою руку мне к сердцу
    И щекою приникни к моей,
И скажи — ты меня не забудешь
    Даже там, даже в царстве теней?

О, к чему утешать меня? Полно!
    Пусть беснуется горе в груди.
Только дай мне наплакаться вволю;
    На колени меня посади.
Дай обнять твою голову, Вилли,
    Дай облить мне слезами ее;
Дай потухшим глазам наглядеться
    На лицо дорогое твое!

Никогда уж я больше не буду
    На коленях сидеть у тебя;
Я, несчастная мать, без супруга,
    Умираю, глубоко любя.
Приложи свою руку мне к сердцу.
    Приложи ее крепче — вот так.
Это сердце так бешено рвется,
    Что мой шелковый лопнет кушак.

Проклинаю тот день, как впервые
    Образ твой в мою душу проник,
Рокового с тобою свиданья
    Проклинаю я сладостный миг,

И ту рощу, тот край, где, бывало,
  Не устанем всю ночь мы бродить,
И судьбу, что меня допустила
  Беспредельно тебя полюбить!

О, прости мне, мой милый, не слушай,
  Я сказала тебе не в укор,
Но ведь я так глубоко страдаю,
  Ведь на долю мне выпал позор!

Вижу, градом внезапные слезы
  Из очей покатились твоих...
Но о чем же ты плачешь, скажи мне?
  О грехе ль? О страданьях людских?

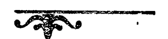
Опостылел мне мир этот, Вилли!
  Я всех радостей стала чужда:
Чем была, не могу я остаться,
  И женой мне не быть никогда!
О, прижми это сердце больное
  К своему еще раз, еще раз...
Поцелуй эти впалые щеки,
  На которых румянец погас!

В голове моей мозг хочет треснуть!
  Кровью сердце мое истекло...
Еще раз перед вечной разлукой
  Я твое поцелую чело,
Еще раз — и в последний, мой милый...
  Подогнулись колени... прощай...
На кладбище, где буду лежать я.
  Не ходи... надо мной не рыдай...

Этот жаворонок, звонкою песнью
  Оглашающий воздух полей,
Целый день будет петь, не смолкая,
  Над могилою тихой моей;
Эта влажная зелень долины
  Скроет бедное сердце мое,
Что любило тебя так безмерно,
  Как тебя не полюбит ничье!

Не забудь, где бы ни был ты, Вилли,
  Не забудь своей Мери! Она
Одного тебя только любила
  И до смерти осталась верна.

Не забудь, что засыпаны прахом
  Будут светлые кудри лежать,
И прильнет он к ланитам, которых
  Уж тебе никогда не лобзать!



РОБЕРТ НИКОЛЛЬ

ВСЕ ЛЮДИ — БРАТЬЯ

О, как бы он счастлив был, свет этот старый,
Да люди друг друга понять не хотят!
К соседу сосед не придет и не скажет:
«Ведь люди все братья,— дай руку мне, брат!»

Зачем мы разлад и вражду не покинем,
Зачем не составим одну мы семью?
Один бы другому сказать мог с любовью:
«Приди! мы все братья,— дай руку свою!

Богат ты и носишь нарядное платье;
Я беден, на мне кафтанишко худой;
Но честное сердце в груди у обоих,
Так дай же мне руку, мы братья с тобой!

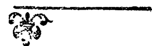
Тебе ненавистны измена и подлость,
Но правды закон тебе дорог и свят;
Я тоже любовью к добру пламенею —
Приди! мы все братья,— дай руку мне, брат!

Ни сильный, ни слабый тобой не обманут,
За слово свое, как и ты, я стою;
Не то же ль, что я, называешь ты счастьем?
Мы братья с тобою,— дай руку свою!

Ты матерью нежно, глубоко любим был,
Моя и жила и дышала лишь мной;
Пускай мы стоим на различных ступенях,
Но руку подай мне,— мы братья с тобой!

Мы любим вечернего солнца сиянье,
Всего нам дороже родимый наш край,
И жизнь для борьбы послана нам обоим;
Мы братья... Так братски мне руку подай!

Грозит уж обоим нам хилая старость,
И смерть неизбежная ждет нас за ней,
И оба мы в темную ляжем могилу.
Да, люди все братья!.. Дай руку скорей!»



С французского

ВИКТОР ГЮГО

ПЕСНЯ

«Поля цветами запестрели,
Веселый май вернулся к нам;
Скажи, изгнанник, неужели
Не рад ты солнцу и цветам?»

«Цветы, что я в стране далекой,
В родной стране своей взрастил,
Я вспоминаю, одинокий...
Май без отчизны мне не мил!»

«Взгляни, изгнанник, на могилы,
Взгляни: и в царстве их немом
Затрепетали жизни силы,
Горячим вызваны лучом!..»

«Могилы вспомнил я иные
И тех, чьи очи я закрыл;
Не милы небеса чужие,
И май изгнаннику не мил!»

«Смотри! Вот птички в темной чаще
Свивают гнездышки свои...
В их трелях, весело звучащих,
Блаженство слышится любви!»

«Гнездо мне вспомнилось родное,
Тот уголок, где я любил,
Где кинул все мне дорогое...
Май на чужбине мне не мил!»

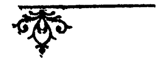


МОЕЙ ДОЧЕРИ

Еще совсем малюткой, в колыбели,
Однажды близ меня заснула ты.
Румянцем щечки пухлые алели,
И ясны были детские черты.
Ты даже трели птички не слыхала —
Так крепко ты и сладко так спала.
А я стоял в раздумье... Окружала
Нас сумерек таинственная мгла...

Казалось мне, что ангелы слетели
К тебе, дитя, с небесной вышины;
И в сердце я молил, чтоб навевали
Они тебе лишь радужные сны.
Жасмины я и розы рвал без шума
И в колыбель бросал к твоим ногам...
И плакал я... Меня страшила дума:
Что в эту ночь судьба готовит нам?

Придет пора, голубка дорогая,—
Я, в свой черед, засну глубоким сном,
И ночь меня окутает немая;
Мрачней тюрьмы мой тесный будет дом,
И птички я не буду слышать трели...
Тогда молитвы, слезы и цветы,
Все, что твоей дарил я колыбели,—
Все возвратишь моей могиле ты!



МАРК МОНЬЕ

* * *

В церкви я стоял и слушал,
Как пред набожной толпой
Говорил входящий в славу
Проповедник молодой;

Так земля ему казалась
Безотрадна и мрачна,
Что лишь страх и отвращенье
Поселяла в нем она.

Слушал я его и думал
О прекрасных вешних днях,
О пестреющих цветами,
Солнцем залитых полях!

Говорил он, что в пороках
Грешный сын земли погряз,
Что любви мы к братьям чужды;
Нет на подвиг силы в нас.

Слушал я его и думал
О друзьях, что на краю
Бездны страшной мне простерли
Руку верную свою.

Слушал я его и думал
О безрадостной судьбе
Стольких добрых и отважных,
В честной гибнущих борьбе!

Он об огненной геенне
В исступлении вещал;
Вопли, плач, зубовный скрежет
За грехи нам обещал.

А меня в обетованный
Край несла мечта моя,
В ту страну, где будут люди
Жить как дружная семья!

Где вражды потухнет пламя,
Перестанет литься кровь
И в сердцах людских зажжется
Бесконечная любовь.

Смолк аббат. Из церкви вышел
Я, краснея за него:
За хулу, что произносит
Он на бога своего!



ЛУИ РАТИСБОНН

ЦВЕТОК

Весело цветики в поле пестреют;
Их по ночам освежает роса;
Днем их лучи благодатные греют,
Ласково смотрят на них небеса.

С бабочкой пестрой, с гудящей пчелою,
С ветром им любо вести разговор;
Весело цветикам в поле весною,
Мил им родимого поля простор!

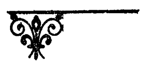
Вот они видят: в окне, за решеткой,
Тихо качается бледный цветок...
Солнца не зная, печальный и кроткий,
Вырос он в мрачных стенах — одинок.

Цветикам жаль его, бедного, стало,
Хором они к себе брата зовут:
«Солнце тебя никогда не ласкало,
Брось эти стены, зачахнешь ты тут!»

«Нет! — отвечал он.— Хоть весело в поле
И наряжает вас ярко весна,
Но не завидую вашей я доле
И не покину сырого окна.

Пышно цветите! Своей красотою
Радуйте, братья, счастливых людей;
Я буду цвесть для того, кто судьбою
Солнца лишен и полей.

Я буду цвесть для того, кто страдает.
Узника я утешаю один.
Пусть он, взглянув на меня, вспоминает
Зелень родимых долин!»



из датских поэтов

ГАНС АНДЕРСЕН

МАТЬ И СЫН

«Скажи мне, родная, дай сыну ответ:
Увижу отца? Иль в живых его нет?
Молчишь ты, и даже не скажешь — кто он,
А нынче мне чудный привиделся сон:
Мне снилось, что был мой отец королем,
Скажи хоть одно мне: куда мы идем?

Блуждаем в степи мы, скрываясь от всех.
Где темные рощи? Там пляски и смех!
Там песни звучали! Туда бы опять...
Опять бы я горы хотел увидать.
Скажи, где отец мой? Скажи мне — кто он?
А я расскажу тебе чудный свой сон.

Мне радуга снилась; на выси двух гор
Она опиралась, и будто мой взор
Над нею отца в облаках различил,
Свободно и гордо он в небе царил,
Корона была золотая на нем,
И ангелы божьи летали кругом.
Он мне улыбался, кивал с облаков...
Отрадных таких я не видывал снов!»

«Какие тут сны! Замолчи ты, глупец!
Из Венгрии мы,— там повешен отец.
Был горд как король он, и в час роковой
Он духом не пал, не поник головой.
Добычею птиц — незарытый — он стал.
В те дни у меня ты под сердцем лежал!
Ну что побледнел? Что дрожишь ты, сынок?
Иди же, иди! Еще путь наш далек».



НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ

ЖАЛОБА ИРЛАНДСКОГО ВЫХОДЦА

Иду я тропинкой заглохшей,
　Поникнув на грудь головой.
Здесь утром весенним однажды
　Мы встретились, Мери, с тобой.
Зеленая рожь колыхалась,
　И звонко пел зяблик в кустах,
Светилась любовь в твоем взоре,
　И розы цвели на устах.

Не многое здесь изменилось:
　Все так же прекрасна весна,
По-прежнему рожь зеленеет
　И зяблика песня слышна.
Но руки твои, дорогая,
　Моих не сжимают уж рук,
И тщетно хочу я услышать
　Любимого голоса звук!

Знакомая взорам ограда
　Белеет опять предо мной —
Ограда той маленькой церкви,
　Где на́звал тебя я женой.
А вот и погост... Нарушают
　Шаги мои часто твой сон...
Сюда отнесли тебя, Мери;
　И здесь же твой сын схоронен...

Теперь я один, моя Мери,
　Не нужен бедняк никому;
Но тем дорожит он сильнее
　Могилами близких ему.

Была моя жизнь трудовая
　Тобой лишь одною светла,
И некого больше любить мне
　С тех пор, как ты в землю сошла.

Слабели не раз мои силы
　Под гнетом нужды и труда,

И к небу и к людям кипела
  В измученном сердце вражда!
Но ты, ты не падала духом,
  Ясна оставалась в борьбе,
И вот почему я взываю,
  Хоть ты и не слышишь, к тебе:

Спасибо тебе, дорогая!
  Ведь голод томил и тебя...
И ты настрадалась немало,
  Но только молчала, любя.
Спасибо тебе за улыбку,
  За каждый сердечный привет...
Спасибо за то, что ушла ты
  В тот край, где страдания нет!

Надолго с тобой я прощаюсь...
  Пройдут на чужбине года,
И старость настанет; но помнить
  О Мери я буду всегда.
Они говорят, что работы
  Там больше и солнце ясней...
Но все буду сердцем стремиться
  Я к родине бедной своей!

Закрою ль глаза я порою,
  Бродя в первобытных лесах,
Туда унесут меня мысли,
  Где милый покоится прах...
Мне будет казаться, что Мери
  Ко мне, улыбаясь, идет,
И рожь зеленеет, и зяблик
  В кустах свою песню поет.



ПОИСКИ

Ищите его по долинам,
Где быстрые реки журчат,
На горных вершинах ищите,

Где жалобно птицы кричат,
В пустыне, где странников звезды
Путем незнакомым ведут.
Того, кто мне жизни дороже,
Быть может, найдете вы тут.

Искали они его всюду,
Кипя беспредельной враждой;
Искали в оврагах, поросших
Высокой шумящей травой,
И бешено к горным ущельям
Своих они гнали коней;
Но тщетно: он был уж далеко...
Позорных избег он цепей.

Чего они мне не сулили,
Чтоб я им сказала, в каких
Местах отдаленных укрыться
Изгнаннику легче от них.
Глупцы! Если б даже корона
Наградою быть мне могла,
Улыбку гонимого ими
Короне бы я предпочла!

Украдкой ему приносила
Я хлеба, вина и плодов;
В объятьях его проводила
Я много счастливых часов.
От мест, где мой милый укрылся,
Бегите, враги! У него
В запасе есть мелкие пули...
Они не щадят никого!

Искали они его всюду:
В долинах, в лесу и в горах,
И криком своим наводили
На женщин и девушек страх;
А в чаще лесной, где сплелися
И дуб, и орешник, и вяз,
Я сон беглеца охраняла,
К его изголовью склонясь...



ДЖОНИ ФА

(Из шотландских народных баллад)

Пред замком шумная толпа
Цыган поет, играет...
Хозяйка замка вниз сошла
И песням их внимает...

«Пойдем,— сказал ей Джони Фа,—
Красавица, со мною,
И мужу не сыскать тебя,
Ручаюсь головою!..»

И обнял правою рукой
Красавицу он смело,
Кольцо на палец Джони Фа
Она свое надела.

«Прощайте все,— родные, муж!
Судьба моя такая!
Скорее плащ мне, чтоб идти
С цыганами могла я.

В постели пышной ночи я
Здесь с мужем проводила;
Теперь в лесу зеленом спать
Я буду рядом с милым!»

Вернулся лорд, и в тот же миг
Спросил он, где супруга.
«Она с цыганами ушла»,—
Ответила прислуга.

«Седлать коней! Недалеко
Еще она отсюда.
Пока я не найду ее,
Ни пить, ни есть не буду!»

И сорок всадников лихих
В погоню поскакали;
Но все они до одного
В лесу зеленом пали!



ВОПРОС

Ужели смерть есть цель? Зачем же путь земной
Усеян яркими, прекрасными цветами;
Зачем печальною осеннею порой
Мы покидаем их с невольными слезами?

Но если жизнь есть цель, зачем же мы порой
Встречаем тернии меж яркими цветами;
Зачем должны кремнистый путь земной
И кровью запятнать и оросить слезами?



ПРОЗА

ДРУЖЕСКИЕ СОВЕТЫ

Повесть. 1849

I

ВСТРЕЧА И ГРЕЗЫ

Случилось это в августе. Наступили сумерки. Петербургские сады и скверы мало-помалу запестрели народом. Жители, которых «жестокий рок» счел недостойными дачи, обрадовались, что солнцу надоело, наконец, немилосердно печь их, и вышли из душных своих жилищ — подышать более или менее свежим воздухом, посмотреть на пыльную зелень. Некоторые, однако ж, предпочитали жиденьким акациям и красному песку монотонных, правильных дорожек просто широкие плиты тротуаров и наслаждались природой на Невском проспекте, который в сумерки, между шестым и седьмым часом, принимает какой-то чудный, успокоительный колорит. Между таковыми-то господами, вдыхавшими в себя запах смолы от торцовой мостовой, в полном убеждении, что они вдыхают свежий и чистый воздух, можно было заметить молодого человека в легоньком, шоколадного цвета с искрой, пальто с длинными темными волосами, довольно живописно выбивавшимися из-под белой пуховой шляпы, и с добрым, меланхолическим выражением лица. Он шел тихо, лениво, несколько переваливаясь с ноги на ногу, заложив руки в карманы пальто и напевая «Aurora-valzer», вещь весьма не новую, но, право, весьма хорошую. Поравнявшись с одним магазином, на каменном крыльце которого итальянец, с угловатыми, загорелыми чертами и небритой бородой, продавал гипсовые статуэтки, расставленные под рост на деревянном лотке, молодой человек остановился. Почувствовал ли он сострадание к оборванной, тощей фигуре уличного Фидиаса или вдруг пришла ему фантазия приобресть изображение какого-нибудь великого человека, но только он подошел к лотку и начал рассматривать грубо выделанные вещицы, прицениваясь к ним и устремляя от времени до времени пристальный взор в черные глаза итальянца. Минут с пять простоял он тут в колебании: кого бы выбрать, Блюхера или Фанни Эльслер, Моцарта или Крылова, или Наполеона Бонапарте. На-

конец, он решился на Моцарте и, запрятав его, головой книзу, в глубокий карман пальто, стал расплачиваться. Пока он вынимал кошелек, вышитый розовыми и зелеными полосками, из дверей магазина показался седой старик под руку с молоденькой девушкой. Старик посмотрел на статуэтки, девушка на молодого человека. Молодой человек сначала не заметил их, занятый своей расплатой; но когда они, сойдя на тротуар, также подошли к лотку, он поднял голову и вспыхнул, как серная спичка. Девушка это заметила и не могла скрыть улыбки; это еще более сконфузило юношу, в котором родилось неодолимое желание поторговать еще изображение какого-нибудь великого человека... Он посторонился, дав старику и девушке ближе подойти к статуэткам, но сам не уходил и прислонился к железной решетке, окружавшей спуск в мелочную лавочку.

Старик снимал каждого гения с деревянной палочки и внимательно разглядывал. Прицениввшись ко всем и посоветовавшись несколько раз с девушкой, он, наконец, нашел, что итальянец уж чересчур дорожится, и отошел прочь. Уходя, девушка опять бросила на молодого человека бойкий, проницательный взгляд и опять заставила его покраснеть. От итальянца, казалось, не ускользнула эта немая сцена, и насмешливая улыбка скользнула на губах его; может быть, он вспомнил при этом иную сцену на своей дальней и знойной родине, вспомнил немой, но выразительный разговор иных очей, черных, как ночь, и сверкающих, как сталь при огне, вспомнил, как и его загрубелые щеки подернулись страстным румянцем, как все было решено в этот миг... и сколько горячих, сладостных поцелуев истрачено было потом на долгом и тайном свидании... а, может быть, ему просто было смешно, что старик только переглядел статуэтки и не купил ни одной?..

Молодой человек несколько секунд смотрел вслед удалявшейся паре и потом тихо пошел за ней, решившись не выпускать ее из виду.

Долго шел он таким образом, в почтительном расстоянии от старика и молодой девушки, строя в голове своей бог знает какие воздушные замки, и незаметно очутился у Летнего сада... В продолжение этого пути девушка два раза быстро оглядывалась, и два раза серенькие, живые глазки ее встречали пальто шоколадного цвета.

— Это, однако ж, далеко,— сказал себе молодой человек, повертывая за своими незнакомыми проводниками на Цепной мост.— Впрочем,— прибавил он, постояв минуту на одном месте,— если уж я столько прошел...

В это время девушка опять оглянулась; это придало решимости молодому человеку, и он опять тронулся с места.

— Она заметила меня, непременно заметила! — воскликнул он так громко, что сам сконфузился, и обернулся, чтоб посмотреть, не подслушал ли кто сзади. Но сзади оказался только разносчик с вареной грушей, который, судя по строгому выражению физиономии, был занят чем-то гораздо более важным, нежели подслушивание чужих фраз.

Сердце молодого человека обмерло, когда старик, при повороте в Фурштадтскую, стал нанимать извозчика; но опасение было напрасное: он не сошелся с извозчиком в цене. Пройдя еще несколько шагов, он начал торговаться с другим, потом с третьим — результаты были одинаковы: извозчики были так же дороги, как и великие люди. Старик не решился взять ни одного и через полчаса благополучно достиг, как говорят русские люди, на своих на двоих — до Песков. На Песках, неподалеку от Таврического сада, они вошли в ворота старого деревянного домика. Измученный молодой человек, проводив их глазами, прислонился к забору, чтоб отдохнуть.

— Далеко! очень далеко! — сказал он.— Но надо следить до конца, нужно узнать, кто она. Боже ты мой! Что это за прелестное личико!.. Да если б она жила втрое дальше, то и тогда бы я не отказался ходить сюда каждый день...

После этого монолога он позвонил у ворот серенького домика. На звонок не отвечал никто. Он позвонил еще. К нему вышла девка весьма невзрачной наружности, с нечесаной головой, без всякой талии и косая.

— Кого вам? — спросила она, осматривая его исподлобья.

— Позвольте спросить, это чей дом-с?..— сказал молодой человек вкрадчивым голосом и даже несколько приподымая с головы шляпу.

— А вам чей нужно? — отвечала девка, нимало не смягчась.

— А мне нужно...

И молодой человек сказал какую-то дикую фамилию, первую, какая ему пришла на ум.

— Не знаю,— произнесла девка отрывисто и пошла прочь, ворча себе под нос:— «Мазурики! ишь лукавый их носит!»

«Ну, много же я узнал,— подумал молодой человек.— Завтра приду опять. Да, кажется, тут и дворника нет... хоть бы в лавочке узнать... глупая девка!»

Но в лавочку идти он не решился, будучи довольно робкого десятка. Он опасался такого же приема, какой был оказан ему со стороны девки, и потому побрел домой, рассудив, что ему ведь в сущности-то дела нет никакого до имени, что имя тут ничего не значит, что главное — нужно видеть незнакомку почаще...

Дорогой он имел время обдумать план будущих действий, потому что жил не совсем близко от Песков, а именно в шестой линии Васильевского острова, на Среднем проспекте. Мечтая о своей встрече и изыскивая разные средства, чтоб познакомиться с существом, пленившим его, молодой человек совершенно забыл свою усталость. Он ни разу не покусился нанять извозчика и возвратился домой уже в десятом часу. Скажем здесь о нем несколько слов. Василию Михайловичу Ломтеву было двадцать три года; он вел жизнь уединенную, ленивую, мечтательную. Окончив курс наук, не торопился, подобно большей части своих товарищей, отыскивать себе места; «отдохну немножко»,— сказал он, хотя отдыхать было не от чего, и стал кое-как перебиваться частными уроками русской словесности, в которой он чувствовал себя всего сильнее, да небольшой срочной работой, получаемой им от знакомого журналиста. Заработанных денег ему только что доставало на прожиток. На удовольствия не приходилось уделять ничего; но он не тужил, и если когда-нибудь у него являлось желание кутнуть немножко, сходить в театр или в другое какое веселое место, то это желание, благодаря ленивой, неподвижной натуре Василия Михайловича, быстро исчезало, не получив должного удовлетворения. В самом деле, одеваться, покупать перчатки, брать заранее билет — все это казалось ему таким ужасным, что он, после некоторых обсуждений pro и contra и после предварительного совещания с своим полосатым кошельком, решался отложить лучше всякое попечение о веселье и принимался по-прежнему читать и курить, курить и читать. Говорят, что по библиотеке человека легко узнать его характер; не знаю, в какой степени это справедливо вообще, но что касается до Василия Михайловича, то по книгам, стоявшим на его полке, можно было составить себе, действительно, некоторую идею о его личности. Книг этих было немного, и почти все стихи: сочинения Пушкина и Жуковского, Шиллера и Гёте, еще несколько мелких немецких поэтов, «Дон-Кихот», и потом два-три французские романа, как, например, «Оберманн» и «Адольф», два-три эстетические сочинения и, наконец, «Идеи о философии истории» Гердера. Вот и все. Это бы-

ли, что называется, настольные книги Василия Михайловича. Он беспрестанно перечитывал их, заучивал даже некоторые места наизусть. Пушкина и Шиллера в особенности он не выпускал из рук. Часто, в летнюю ночь, открывал он окно своего мезонина, и, смотря на колыхавшиеся при лунном свете деревья Среднего проспекта, начинал декламировать вслух строфы из Пушкина. Вообще, помечтать очень любил Василий Михайлович, и бо́льшая часть его времени проходила в мечтаниях. Разные несбыточные романы, которых он сам был, конечно, героем, складывались у него в голове; ему нравилось, по воле прихотливого воображения, запутывать и развязывать эти сказки; он так сжился с ними, так умел перечувствовать их, что порой ему даже казалось, будто он на самом деле переживает все это. Знакомых у него было немного — большею частью его прежние товарищи, которые иногда навещали его или приглашали к себе. Василий Михайлович по временам не прочь был от кутежа, но только любил, чтоб это было все эстетически. Он имел непобедимое отвращение от всего грязного и уродливого. Красота имела в нем страстного, горячего, хотя несколько робкого поклонника. Сколько раз мечтал он о хорошеньком, светлом создании, которое полюбило бы его и, несмотря на его бедность и ничтожество, подало бы ему руку на долгий житейский путь! О, чего бы не отдал он за подобную любовь! И каких жертв ни принес бы он тогда любимой женщине; как бы стал он лелеять ее! как бы гордился он этой любовью! как бы возвысился он ею в своих собственных глазах!.. Тогда началась бы настоящая жизнь, полная бесконечного, невыразимого счастья. Но этого существа не находилось до сих пор по самой простой причине: Василий Михайлович весьма редко попадал в общество женщин, а если и попадал когда, то оказывался таким робким, таким застенчивым, что не произносил почти ни слова или произносил что-нибудь такое, что было вовсе некстати и только возбуждало насильственную улыбку. Бойким даром слова не обладал бедный Василий Михайлович, и это огорчало его не на шутку. Он видел, что человек хорошо говорящий, хотя и не так глубоко и сильно чувствующий, будет всегда иметь перевес над ним, концентрированным и неспособным красноречиво высказывать все ощущения, наполняющие грудь его. Товарищи Василия Михайловича очень любили его; они знали его прекрасное, доброе сердце, его необыкновенное сочувствие всему благородному и высокому, его глубокое сострадание к чужому несчастью. Он приобрел даже, в бытность свою в учебном

заведении, между ними некоторый авторитет. Во всех ссорах и вообще спорных пунктах к нему обращались, как к самому добросовестному посреднику с рыцарскими понятиями о чести. Несмотря на свою бедность, он всегда готов был предложить нуждающемуся товарищу, не дожидаясь просьбы его, что имел в своем распоряжении; сам же редко прибегал к займу, потому что, как я уже сказал, не позволял себе никаких наслаждений и тратил свои маленькие доходы на необходимое. Родных у Василия Михайловича не было никого в Петербурге. Старушка мать жила где-то в провинции. Все доходы ее ограничивались небольшой пенсией после мужа, отставного капитана, умершего два года спустя после турецкой кампании, и потому сын не мог рассчитывать на ее помощь. Он хотел было сначала перевезти ее в Петербург, но она отвечала, что не желает оставлять своего родного городка, к которому уже давно привыкла, что, притом, она чувствует себя уже слишком дряхлою для такого переселения, и только просила сына почаще писать к ней, уведомляя ее о своем здоровье. Это приказание матери Василий Михайлович исполнял свято и раз в неделю аккуратно отсылал к ней короткое, почтительное послание, от времени до времени прибавляя к нему какую-нибудь безделушку в подарок, что всегда очень утешало добрую старушку; она не могла нахвалиться сыном перед своими знакомыми и только молилась богу, чтоб он не дал ей умереть, не повидавшись еще раз с ее бесценным Васей.

Василий Михайлович, в свою очередь, не прочь был даже вовсе переехать в провинцию, если б только нашлось порядочное и не слишком тяжелое место. Но как подобные места, если они существуют, не являются сами к услугам желающих, и как Василий Михайлович был слишком ленив для того, чтоб хлопотать, то этой мечте едва ли когда-нибудь суждено было перейти в действительность. А в ожидании места молодой человек продолжал курить и декламировать Пушкина, мечтать и давать уроки. Дни тянулись за днями однообразно и вяло, похожие друг на друга как братья-близнецы, не унося и не принося с собой ни печалей, ни радостей...

Наконец, это невозмутимое существование начало утомлять Василия Михайловича; ему захотелось также испытать волнение, захотелось, более чем когда-нибудь, отведать любви «с ее небесною отрадой, с ее мучительной тоской», говоря словами его любимого поэта. Он всматривался в каждое хорошенькое личико, встречавшееся на улице,

и спрашивал себя: «Не это ли будущая подруга моей жизни?..» Но будущие подруги проходили мимо, не обращая на молодого человека никакого внимания... и драмы любви все не было, как не было!

— Неужели я умру, никого не любя, кроме героинь великих поэтов, и никем не любимый?..— восклицал Василий Михайлович, возвращаясь к себе домой после своих вечерних прогулок.

И ему делалось невыразимо грустно... Хотя, казалось бы, времени было у него впереди еще много — ему только что минул двадцать третий год, и мысль о смерти не должна бы приходить ему в голову, но у Василия Михайловича между прочими особенностями была следующая: он постоянно воображал себя больным с тех пор, как прочел какую-то медицинскую книгу, попавшуюся ему случайно под руку, в которой описывались признаки разных болезней. Напрасно уверял его знакомый доктор, что он совершенно здоров, что и пульс и язык его ясно показывают это — Василий Михайлович каждый день отыскивал у себя признаки то водяной, то какой-нибудь другой, более мудреной и сложной болезни, и погружался в хандру.

Странные, мрачные грезы приходили ему иногда в голову. Он воображал себя умирающим, одиноким; вокруг постели чужие, незнакомые люди, без участия и сострадания на лицах; это хозяева, у которых он нанимал квартиру; им неприятно, что у них будет, дверь об дверь, покойник, и они не стараются скрыть своего неудовольствия; они вслух говорят, что и похоронить-то его, может быть, придется им на свой счет... Но в этой толпе он вдруг замечает томное, меланхолическое личико, полное невыразимой прелести и доброты. Эти большие голубые глаза устремились на него с таким сожалением... ему показалось даже, что в них блеснули две слезинки... да, он не ошибся: она подносит к лицу платок... но кто же ты, милое, доброе дитя, явившееся, как ангел утешитель, к одру умирающего? Я, кажется, встречался с тобою при жизни? где же была ты? что не протянула ты мне раньше руки своей? Может быть, я не умирал бы еще теперь, потому что я еще молод... много радужных, светлых надежд, много несбыточных грез уходят со мной в могилу... Если б ты посетила меня раньше, если б я услышал из уст твоих слово любви и сочувствия, я воскрес бы душой, я не угас бы, не погиб бы так скоро...

И она, бледная и дрожащая, бросается перед ним на колени и, прерывая рыданиями слова свои, отвечает ему:

«Я дочь этих людей, что были тут сейчас, я любила тебя... любила так долго и тайно, но не смела бы никогда высказать тебе любви, которой ты не замечал, живя подле меня, видя меня перед собой почти каждый день... Теперь я не в силах сдерживать своих чувств; они просятся, рвутся из груди моей... они терзают и давят меня...»

И он прижимает ее к больной груди, осыпает ее горячими поцелуями, обливает слезами и благодарит судьбу, что хоть одну минуту блаженства она даровала ему, хоть одну минуту, прожитую истинною, действительною жизнью! Но, увы! — это были только грезы; у хозяина Василия Михайловича, купца третьей гильдии, никогда не было не только такой, но и никакой дочери...

Порой ему казалось, что он лежит в гробе, что его друзья и знакомые несут его, и он читает на лицах их сожаление... что даже чья-то слеза упала ему на холодный лоб... и этот-то голос говорил над ним:

— Спи мирно! Ты был добрый, благородный человек... Жаль тебя! В душе твоей было много огня, но ты растратил его в пустыне. Много было любви в твоем сердце, но не на кого было излиться ей... И схоронил ты ее навеки в груди своей, как мы схороним тебя сейчас...

И после таких грез, продолжавшихся иногда по целым часам, Василий Михайлович чувствовал себя утомленным, как после тяжелого, неприятного дела... Нередко оказывалось, что лицо его было омочено слезами, и он, как бы стыдясь самого себя, хватался за платок и поспешно утирался.

Я забыл еще прибавить, что Василий Михайлович очень любил музыку и даже сам играл на скрипке, правда, не более как две или три пьесы, но зато это были любимые его пьесы, доставлявшие ему столько же удовольствия, сколько и чтение стихов пушкинских. Эти любимые пьесы его были: «Серенада» Шуберта, «Aurora-valzer» и «Последняя мысль» Вебера. Немецкой музыке он отдавал предпочтение перед итальянской, и потому только изредка посещал оперу. Статуэтка же Моцарта была им куплена сколько из сострадания к бедному скульптору, столько же и из глубокого уважения к этому великому композитору.

Перейдем теперь к рассказу.

Я уже сказал, что Василий Михайлович вернулся домой довольно поздно. Незнакомка совершенно очаровала его, вскружила ему голову. Ее тонкие, нежные черты, ее умные, серые глазки то и дело мерещились ему: «Ну, зачем я не живописец? — говорил он себе.— Ведь вот взял бы карандаш, да и набросал бы эскиз, и любовался бы им каждый

час... А то скоро ли я теперь увижу ее? Завтра, пожалуй, опять неудача будет... Господи! Если б встретить ее одну на улице...»

Нужно признаться, что это последнее желание было совершенно бесполезно, потому что заговорить с женщиной на улице Василий Михайлович никогда бы не осмелился, особенно с такой, в которую он влюблен...

В мечтах о своей красавице Василий Михайлович совершенно позабыл бюстик Моцарта, все еще лежавший головой книзу в кармане пальто; уж только тогда, когда ему захотелось поиграть на скрипке, он вздумал о нем и пошел вынимать. Там же лежал полосатый кошелек, который Василий Михайлович счел за нужное обревизовать.

«Чтоб действовать, нужны деньги,— сказал он себе,— а у меня их, кажется, очень мало».

И в самом деле, налицо оказался только целковый. Василий Михайлович задумался.

«И как назло, такое ужасное расстояние! Но ничего, была не была! Зато, если она узнает, что я так далеко хожу для нее, это будет служить ей доказательством моей сильной любви!»

Василию Михайловичу не приходило в голову спросить себя, с какою целью он намерен волочиться. Он видел цель в самой любви и не заботился о последствиях; ему хотелось только, чтоб роман его подарил ему хоть несколько приятных часов. Впрочем, мысль о женитьбе не была совершенно чужда ему; но он мечтал об ней, как о каком-то недосягаемом счастье. Часто воображение рисовало ему такие картины счастливой домашней жизни: он видел себя в маленькой уютной комнатке, изящно отделанной, устланной мягким ковром, озаренной таинственным полусветом матовой лампы... Рядом с ним доброе, любящее существо, полное нежной заботливости... Светлое спокойствие дышит в чертах ее; неизъяснимою грацией проникнуты ее движения; он читает ей Шиллера, и она жадно слушает его, разделяет его восторг, указывает сама на красоты этого дивного гения; ее женственная натура так верно, так хорошо угадывает их своим эстетическим инстинктом... Он в восторге роняет книгу и прижимает к сердцу свою подругу... он счастлив, невыразимо счастлив!

Это был идеал Василия Михайловича... Прибавьте к этому какой-нибудь вальс, сыгранный в сумерки на фортепьяно, хорошенького мальчика или хорошенькую девочку, которая возится на ковре с своими игрушками, да двух добрых приятелей, по временам заходящих потолковать о том,

что делается на белом свете,— и больше ничего не желал бы Василий Михайлович!

Но, повторяю,— все это казалось ему недосягаемым счастьем. Он как-то считал себя недостойным его.

«Кто пойдет за меня, бедного, темного человека?.. и за что полюбить меня? — спрашивал он себя.— Ведь я никогда не выскажу всего, что происходит в этом сердце; а кто ж будет угадывать? кто поймет?.. Каждый припишет глупости мою робость, мою застенчивость».

Поставив статуэтку Моцарта на стол, Василий Михайлович вынул скрипку и стал играть одну из своих любимых пьес, потом другую, потом третью; потом опять начал сначала — и, таким образом, проиграл за полночь; после чего открыл окно, освежил вспотевшее лицо свое струями воздуха, полюбовался на чистое небо, на чудную прозрачную ночь, помечтал еще о сереньких глазках и греческом носике своей незнакомки и, наконец, лег в постель, наказав хозяйской кухарке разбудить его завтра непременно как можно раньше: он готовился опять в далекое путешествие — на Пески,— но и это второе путешествие также не имело важных результатов. Он видел свою незнакомку, сидевшую у окна, видел, как старик отправился куда-то в вицмундире и с портфёлем под мышкой — и только... Василий Михайлович пять раз прошелся мимо окон девушки, и каждый раз она подымала головку и взглядывала на него. Наконец, когда он прошел в шестой, она встала из-за пялец и исчезла. Василий Михайлович вернулся домой с намерением повторять эту прогулку ежедневно.

II

ПРИЯТЕЛЬ

Едва Василий Михайлович успел снять пальто и закурить трубку, как вошел к нему приятель его, Околёсин, плотный, плечистый малый, лет двадцати шести, с черными, густыми бакенбардами, которые, сливаясь под гладко выбритым, лоснившимся подбородком, образовывали около лица весьма красивую рамку. Околесин был, как это выказывалось во всех приемах его, чрезвычайно высокого мнения о своей наружности. Он не мог пройти мимо зеркала, а иногда даже просто мимо какой-нибудь гладко выполированной вещи, чтоб не посмотреться и не поправить своих воротничков. Эта уверенность в непогрешимости своей физиономии заставляла его считать себя страшным для

женского пола ловеласом. Он вполне убежден был, что ни одна женщина не может устоять перед ним, и рассказывал, в подтверждение этого, тысячу более или менее неправдоподобных историй, которых он был героем. Все эти истории обыкновенно заключались какой-нибудь сентенцией, произнесенной тоном ментора, человека, прошедшего через огонь и воду и потерявшего способность увлекаться. За исключением этих слабых сторон, Околесин был очень хороший малый, умевший со всеми ужиться, слывший между приятелями за хорошего товарища и оживлявший всякую компанию своей веселой, неумолкаемой болтовней. Кроме того, он был человек достаточный, имел хорошее место и связи в служебной аристократии; играл с незначительными лицами в преферанс по большой; любезничал с их женами, которым доставал французские романы и билеты в театр; устраивал пикники и, по временам, не прочь был потолковать о предметах философского содержания. Он даже хвалился знакомством своим с учеными и литераторами и иногда, поймав на лету, за хорошим обедом, какую-нибудь идейку, почитал обязанностью всюду разглашать ее, в некоторых кружках выдавая ее за свою собственную, в других же, прибавляя обычную фразу: «Как недавно выразился такой-то».

Околесин и Ломтев воспитывались в одном учебном заведении. Околесин уже был на выходе, когда Ломтев только что начинал курс. Это не мешало им, однако ж, сблизиться. Добродушное, кроткое лицо Ломтева, простота и деликатность его обращения, тихий, откровенный разговор, в котором часто просвечивала теплая, симпатичная натура, сочувствующая искусству и всем прекрасным стремлениям,— все это располагало каждого к молодому человеку с первой встречи. Околесин тотчас же понял, что Ломтев умнее и начитаннее его, и что это человек, не выставляющий каждую минуту напоказ своего ума, как это делает бо́льшая часть умных людей для удовлетворения своего тщеславия, не старающийся разбить и уничтожить ближнего для того, чтоб этим придать себе более рельефа, не взирающий с высоты своего величия на все, что хоть вершком пониже его способностями или знанием, но что, напротив, это было олицетворение терпимости, снисходительности, деликатности, ценившей себя слишком мало, но тем более ценимой другими. Околесин понял это, говорю я, и решился короче сойтись с ним, находя это знакомство и очень приятным и не совсем бесполезным, потому что, со стороны интеллектуальной, тут можно было кое-чем пожи-

виться. Ломтев, не залезавший ни к кому сам, не имел также и обыкновения убегать и дичиться людей, искавших его знакомства, если эти люди чем-нибудь особенно неприятно не поразили его. Околесин умел жить и не навязывался нахально на шею Ломтеву, но предоставил сближение с ним случаю и сам только довольно искусно подготовил этот случай.

Ломтев, с любовью отыскивавший в человеке хорошие стороны, тотчас же нашел их в Околесине и простил ему за них дурные, которые, впрочем, его очень забавляли. Скоро они подружились. Околесину посчастливилось оказать Ломтеву какую-то услугу, которую тот, разумеется, ценил в душе гораздо выше, чем она сто́ит, и с тех пор отношения их сделались еще короче.

— Что это ты, философ, с урока или на урок? — произнес Околесин звучным, здоровым баритоном, входя в комнату и протягивая Ломтеву руку.

— А! Околесин! как я тебе рад... друг мой! — отвечал Василий Михайлович, ставя трубку в угол.— Нет, я не с урока и не на урок.

— Что ж? уж не отвык ли носить дома халат?.. душа моя!

— Нет не то; я ходил со двора... только не на урок! — с улыбкой сказал Василий Михайлович.

— Куда ж так рано? не места же искать? Об этом, кажется, только мне стоит сказать два слова — и мигом будет философу место славное, по характеру!

— Благодарю тебя за участие, Околесин; только я не об месте; тут совсем другое дело... Любовь, Околесин, любовь!..

— Э? Давно ли?.. Три дня тому назад я видел тебя; ты еще был здоров, в своем уме...

— Уж я знал, что ты будешь смеяться... Только, право, теперь это не поможет.

— Да с чего же ты берешь, что я смеюсь?.. Я говорю очень серьезно; только это моя теория, уж извини: любовь — это временное помешательство; а над такими вещами грех смеяться. Лечить я готов... Ну, хочешь лечиться? Отвечай на мои вопросы... Во-первых, давно ли обнаружился недуг?

— Вчера вечером, друг мой, вообрази...

— Погоди, погоди! Какие признаки?

— Признаки...Сердце мое замирает... я чувствую как бы электрическое сотрясение, когда вспомню об этом удивительном, ясном, поэтическом личике... Я бы охотно отдал

три четверти своей жизни за то, чтобы она принадлежала мне остальную четверть...

— Бред есть?—спросил Околесин, прерывая приятеля.

— Вчера целый вечер я не в состоянии был ни за что приняться. Всю ночь блистали передо мной, как звезды, ее чудные глазки... и сегодня чуть свет я отправился туда опять.

— Куда туда? Ты узнал, стало быть, где она живет? И ведь. небось даль страшная?..

— Да... то есть не совсем далеко... на той стороне.

Василий Михайлович не смел признаться Околесину, что он два раза ходил на Пески.

— Ну, что ж дальше? ты узнал... ну, говорил с ней; что ж она?..

— Говорил!.. уж ты хóчешь бог знает чего с первого раза. Как я мог заговорить, когда она сидела у окна?..

— А ты гулял мимо. Рыцарь ты Тогенбург!

— Ну, да... ну, что ж?.. Рыцарь Тогенбург был с сердцем, умел любить; ты, может быть, скажешь, что и тот рыцарь был сумасшедший, который достал перчатку своей возлюбленной чуть не из львиной пасти...

— Сумасшедшие, братец, все сумасшедшие! Я знаю, что и ты готов в огонь и в воду броситься... Да это все вздор; это все только, покуда не узнал предмета своей страсти... Поверь ты мне, поверь моей опытности в этом деле, предметы нашей страсти только издали кажутся очаровательными; узнать их — это единственное средство вылечиться от сумасшествия... Через неделю тебе так надоест *твоя пассия,* что уж ты вспомнишь меня. Я испытал это... (Околесин поправил воротнички и манжеты и, как будто без намерения, посмотрелся в полированный стол, который стоял перед ним.)

— Не знаю, о каких ты женщинах говоришь, Околесин,— возразил Василий Михайлович,— может быть, тебе и приходилось встречать таких; но я головой поручусь, что эта девушка другого разряда: в чертах ее, в движениях столько наивной прелести...

— Ну, как хочешь!.. Умоляю тебя только, действуй, действуй скорей. Мне ужасно хочется видеть тебя здоровым... Ну, что ж, она заметила тебя, улыбалась, делала глазки?..

— Заметить-то заметила, еще вчера заметила, когда я провожал их до дому...

— Их... то есть она с кем же была?..

— Верно с отцом... старичок такой в вицмундире. Сегодня я видел, как он пошел куда-то с портфёлем...

— Браво! это чудесно! значит, в должность уходит. Ну, ты, разумеется, сейчас письмецо...

Околесин подмигнул правым глазом.

— Нет, я не успел,... то есть, правду тебе сказать, мне и в голову не пришло передать письма... а это ты хорошую мысль подал.

— Да как же, братец! уж я все это знаю. Письмо, письмо самое жаркое; стихов туда натолкай; восклицательных знаков побольше; бумажку какую-нибудь возьми *парфюме*, на облатке, чтобы тут éspérance[1] была эдакая... и l'affaire ets bâclée[2].

— Да, да... хорошая мысль! — говорил, ходя по комнате, Василий Михайлович и уже сочинял в голове своей страстное письмо.— Только как же... через кого передать?..

— Ну, уж это просто срам. Ты точно новорожденный младенец: на что ж дворники-то и кухарки?..

— Ну, а если ответа мне не будет?

— Второе письмо, третье, четвертое посылай, бомбардируй письмами. Ведь не Трафальгар же она...

— То есть Гибральтар...

— Ах! что я! не Гибральтар же... Ну, уж если, *паче чаяния*, письма не помогут, так еще средство есть... Я зайду к тебе понаведаться, как ты... Да есть ли, брат, у тебя деньги? ведь эти, эти... как бишь его...

— Кого?

— Да ну, этого мифологического божка, что у Юпитера на рассылках был...

— Меркурий...

— Ну, да... так я говорю, что ведь эти Меркурии деньги любят...

— У меня есть... мало, правда; да я завтра за уроки получу.

— Смотри, не продиктуй какому-нибудь ученику вместо образцовых стихов, что ли — любовного письма... ведь от вас, философов, это может статься.

— Ну, вот еще!

— Так деньги тебе не нужны?..

— Нет, благодарю.

— Ну, прощай же. Желаю поскорей выздороветь. Смот-

---

[1] Надежда (*фр.*).
[2] Дело сделано (*фр.*).

ри же, бомбардируй письмами, опомниться не давай... одно за другим. Нужно, этак, все четыре в один день...

— А если на первое ответят? Впрочем, нет... такого счастья я не смею и ждать...

— Не дожидаясь ответа, братец, второе письмо валяй! Adieu! [1] Посидел бы подольше, да не могу — еду к начальнику с докладом на дачу, там и обедать, верно, останусь. А если ты не рано опять ложишься, я бы на обратном пути заехал узнать, как и что...

— Заезжай, пожалуйста, сделай милость... мы поговорим...

— Хорошо. Ты бы черновую рукопись письма-то спрятал — мне показать; мне хочется, знаешь, полюбопытствовать, как вы, философы, там выражаетесь...

Околесин вышел.

«Добрый малый! — сказал себе Василий Михайлович, оставшись один.— Только хочет показаться разочарованным, а на самом деле не прочь и влюбиться... знаю я его!»

Василий Михайлович, тотчас же по уходе Околесина, взял лист почтовой бумаги, очинил перо, придвинул к окну маленький столик и принялся сочинять письмо.

Известно, что русский язык не совсем еще выработался до той легкости, которая потребна для бильеду и вообще для любовных объяснений; а потому Василий Михайлович был в большом затруднении, как писать: милостивая государыня или просто сударыня, или совершенно ничего не выставлять наверху письма и начать прямо с дела. Наконец, он решился на последнее. Послание сочинялось долго, очень долго. Василий Михайлович писал и драл, драл и писал, так что пропустил даже час урока, что бывало с ним весьма редко, и решился послать к ученику свою записку, в которой говорилось, что учитель внезапно занемог и что, находясь в крайне стеснительном положении, покорнейше просит доставить ему следующие за десять или хоть только за пять уроков деньги. Записка была отправлена с кухаркой, а в ожидании ответа Василий Михайлович стал переписывать свое послание. Он до такой степени углубился в него, что не слыхал, как воротилась кухарка, как положила возле него запечатанный пакет, пробормотав что-то себе под нос, как, наконец, принесен был той же кухаркой обычный обед из трех блюд, которые все успели простыть, пока Василий Михайлович выставил в конце страницы заглавные буквы своей фамилии.

---

[1] Прощай *(фр.)*.

Несмотря, однако ж, на такой усиленный труд, письмо Василия Михайловича вышло довольно бессвязно, и круглоты периодов не было решительно никакой.

«Простите мне мою дерзость,— писал влюбленный юноша,— простите, что я осмелился к вам писать... Я знаю, что не имею на это никакого права, но что же мне делать, когда невыносимая, страшная тоска мучит сердце мое... когда сдавленное в груди чувство так и просится наружу... Я не в силах больше сдерживать его... я не могу ни за что приняться: ваш светлый, небесный образ преследует меня всюду... Ради самого бога, не отвергайте меня! Позвольте видеться, говорить с вами; это все, чего я желаю... Умоляю вас, не откажите мне... Одно только слово, и я счастлив, невыразимо, бесконечно счастлив... Скажите мне, где могу я вас встретить опять, когда услышу звуки вашего голоса, увижу ваш взор, от которого так тепло становится на сердце... О, не оставляйте же без ответа это письмо... Еще раз умоляю вас!.. Одно... только одно слово, написанное рукой вашей...» etc. etc...

Сложив это письмо очень искусно вчетверо и запечатав его в пакет, Василий Михайлович стал одеваться. Когда он натягивал на себя свое шоколадное пальто, ответ ученика попался ему на глаза.

— А! совсем забыл! — произнес Василий Михайлович и потом наивно прибавил, вынув из пакета деньги:

— Странная вещь! Если напишешь — пришлите десять или пять, так уж непременно пришлют пять; это всегда так бывает, я заметил...

После этого глубокомысленного и верного замечания, достойного даже более практического ума, чем каков был Василий Михайлович, он отправился на Пески.

Невзрачная девка, вызванная опять молодым человеком и пришедшая было при виде его в свирепую ярость, скоро смягчилась, почувствовав на ладони холодное прикосновение благородного металла. Письмо было вручено ей, и в ожидании ответа Василий Михайлович стал прохаживаться мимо окон своей возлюбленной. Он не видел ее у окна, из чего заключил, что она читает письмо где-нибудь в глубине комнаты, и ждал. Так прошло четверть часа... полчаса. Наконец, он начинал приходить в нетерпение и решился — еще позвонить. Невзрачная посланница возвратилась на этот звон и, озираясь вокруг исподлобья, сказала сквозь зубы:

— Взяла.

— Взяла! Ну, а ответ?

— После, слышь; некогда, устамши.

Пройдясь еще несколько раз мимо серенького домика и не видав никого у окон, Василий Михайлович, грустный, направил стопы восвояси.

— Даже не видел ее! — говорил он дорогой...— Попробую еще письмецо; авось-либо!

Околесин сдержал обещание и часу в одиннадцатом вечера заехал к своему приятелю. Он застал его лежащим на диване с трубкой в зубах.

— Вот и я! Ну, что? удалось? — спросил Околесин, садясь подле Ломтева на диване.

— Нет...

— Не отвечала? Ну, это известная тактика!..

— Мне даже не удалось ни разу взглянуть на нее... Это просто ужасно! И как я устал!

— А! видно, красавица-то очень далеко живет!

— Да, далеко.

— И не хочет сказать... ведь этакой! боится, чтобы я не отбил!! — самодовольно произнес Околесин.— Не бойся, душа моя, я уже больше не пускаюсь на это, предоставлю вам, молодежи, мечтателям. Я, брат, скоро совсем остепенюсь... жениться хочу.

— Ты?.. Жениться?.. В самом деле? Ты не шутишь?

— Честное слово.

— А как же ты давеча против женщин так восставал?

— Да что ж! ведь я и не влюблен; невеста влюблена в меня по уши, жить без меня не может... Добрая девочка такая... Ну, думаю, была не была! Потомство иметь хочется, вот что главное. Ну, да знаешь, женатый человек как-то в обществе тоже больше веса имеет...

— Счастливец! завидую тебе, Околесин! Подле тебя будет всегда любящее существо.

— Э! полно, братец! Я тебе говорю, что это вовсе не по любви делается, а так... Ну, хозяйка будет в доме, с детьми возиться будет. Тут даже и некогда о нежностях думать.

— Ну, а вот я так иначе думаю...

— Да... ну! Оставь это в покое... Только обещай, что шафером у меня будешь.

— Охотно.

Они пожали друг другу руки.

— Ты о себе-то мне скажи... Ну, что ж, завтра еще письмо?

— Да, еще письмо.

— Что ты такой задумчивый, рассеянный?..

— Мне грустно, что я не видал ее... то есть, кажется бы, не свел глаз с нее!

— Эк тебя! Да послушай, Вася, брось письма: что тут долго возиться? Приступай к делу решительнее...

— А как же?

— Да просто явись, скажи — так и так, простите, что осмелился... Ну, разумеется, простит!

— Нет, я, кажется, никогда не решусь на это, Околесин! Под каким предлогом?.. Да и не пустят меня.

Околесин захохотал.

— Помилуй! Какие тут предлоги? Да первый, какой на ум взбредет...

— Однако ж... я, право, не изобретателен. Это странно, ей-богу! Ведь сидишь дома, бывало, каких глупых историй не выдумаешь, а тут, вот что хочешь делай, не лезет ничего в голову...

— Да просто приди и скажи, что из департамента от папеньки...

— Ну, уж это слишком нагло.

— Чем смелее, тем лучше... От папеньки да и только. Скажи, что ваш папенька, сударыня, очки забыл... ну, вот и предлог. Она сконфузится, станет очков искать, а ты в это время бух на колени — и кончено дело. Там уж не мне учить тебя, что говорить.

— Околесин, друг мой! — воскликнул Василий Михайлович, вскочив с дивана и схватив Околесина за руки.— Ты мой избавитель...

— Твой из-ба-ви-и-и-тель! — запел Околесин из «Роберта».— Так и решено: ты идешь за очками...

— Иду! Не знаю, право, хватит ли у меня духа... страшно, Околесин!

— Выпей рюмку хереса перед тем...

— Да не лучше ли еще письмо...

— Вот уж и начал отступать...

— Ах, я не знаю, что будет со мной! Я не сомкну нынче глаз, я это чувствую... Боже мой! если б только это удалось...

— Удастся, удастся! Женщины это любят; и я понимаю их... я бы на их месте тоже любил... Это значит человек не боится препятствий, для любви пойдет на все... Это Испанию напоминает... Как женюсь, поеду в Испанию; это будет очень романтически...

— Да ведь ты не влюблен...

— Да я так поеду, чтобы страну видеть, нравы оригинальные... Конечно, не для жены... Je ne suis plus d'age pour

cela[1], состарился... Это любопытно, однако ж, мой юный гидальго; чем-то кончится твое похождение... а, кстати, брульйон письма оставил?..

— Да, вот оно.

Околесин положил его в боковой карман и встал с своего места.

— Для чего ты берешь?

— А так, при случае...

— Что при случае?..

— Тоже какому-нибудь приятелю помочь, пригодится. Прощай, Ломтев.

— Ты уж идешь?.. Погоди, поговорим еще... Я что-то хотел спросить у тебя...

— Вспомни и спроси завтра; я заеду утром, а теперь спешу домой. Ужасно много работы: вот целые три дня даже невесты не видел — так занят... До свиданья!

Василий Михайлович сказал правду: он действительно почти всю ночь не мог сомкнуть глаз; ворочаясь с боку на бок, кряхтя и жмурясь, он представлял себе завтрашнюю сцену в бесконечных видоизменениях. Воображение рисовало ему его возлюбленную в разных костюмах и разных положениях: то сидящую у окна за пяльцами, то ищущую очков, то встречающею его на пороге своей комнаты с закрасневшимися щечками и улыбкой на устах. Он придумывал разные фразы, которые собирался сказать ей, перешел даже, в мечтах своих, за сцену объяснения — и, к рассвету, уже сидел с подругой своего сердца в той светлой, уютной и теплой комнатке, что, помните, мелькала ему в тумане будущего, как высший идеал счастья. Он даже ласкал у себя на коленях белокурого кудрявого мальчика, как две капли воды похожего на мать. Резвый мальчишка смеялся и, хватая его своими маленькими, пухлыми ручонками за лицо, кричал во все горло: папа, папа, папа!

Наконец, ему кое-как удалось заснуть; но через два часа он вскочил с постели и со страхом взглянул на часы.

— Девять часов! Слава богу, не поздно.

Василий Михайлович особенно позаботился на этот раз о своем туалете; он причесал голову глаже обыкновенного, выпустил воротнички, довольно большие и лежачие, как носят их в Германии ученые и поэты, и надел перчатки. Посмотревшись в зеркало, он изумился бледности своего лица: бессонная ночь оставила на нем печать свою. Дейст-

---

[1] Для этого у меня уже не тот возраст *(фр.)*.

вительно, нервы его были расстроены и глаза блестели несколько лихорадочным блеском.

Он отправился.

Когда он ступил на крыльцо, сердце его забилось так сильно, что можно было заметить это сквозь сюртук его. Он остановился, не смея взяться за ручку колокольчика. «Не вернуться ли, не бежать ли?» — подумал он. Дрожь пробежала у него по спине. Наконец, бодрость на мгновение возвратилась к нему; он воспользовался этим мгновением и дернул за колокольчик; за дверью послышались шаги.

Василий Михайлович раскаялся, что позвонил.

Знакомая ему девка отперла дверь и вытаращила на него глаза.

— Что это вы? куда вы?

Он сунул ей в руку целковый.

— Доложи барышне, что пришел чиновник от папеньки из департамента, за очками.

Василий Михайлович даже позабыл осведомиться, не дома ли папенька.

— За очками? — повторила девка, продолжая глупо смотреть на него.

— Ну, да, поскорей...

Она не двигалась с места и, казалось, хотела возражать, но не нашла что. Он дал ей еще какую-то монету, и она пошла, покачивая, в сомнении, головою.

Василий Михайлович вошел в переднюю, но не простоял там минуты, как нежный, тоненький голосок произнес в соседней комнате: «Попроси сюда».

Девка прибежала в переднюю, моргнула глазом и дала знак головой, чтоб молодой человек проходил в залу. Он мигом сбросил с себя пальто и очутился перед своей незнакомкой.

У него позеленело в глазах; все предметы, стоявшие в комнате, заходили вкруг него вверх ногами, и посреди этого хаоса мелькало белое кисейное платьице и черная прозрачная пелеринка на голых плечах... Девушка была восхитительна в этом простом и изящном наряде.

Взглянув в лицо молодого человека, она вспыхнула — догадалась в чем дело — и робким, сконфуженным голосом произнесла:

— Папенька не оставлял очков; он, может быть, потерял их дорогой... а, впрочем... я поищу...

Она сама не помнила, что говорила, и хотела убежать в другую комнату, но у Василия Михайловича откуда ни взя-

лась храбрость: он бросился к ней и загородил ей дорогу... Все фразы, заготовленные им для этого случая, были забыты...

— Ради бога... я не за очками... это не папенька... простите меня...— бормотал он, совсем потерявшись, и вдруг, вследствие ли бессонной ночи, расстроившей его нервы, или потрясенный слишком сильными ощущениями, побледнел как полотно и прислонился к косяку двери...

— Что с вами? — воскликнула с участием девушка, вперив в него боязливый и сострадательный взгляд.

Не отвечая ни на этот вопрос, ни на этот взгляд, он бросился на стул, стоявший неподалеку и, закрыв руками лицо, зарыдал... С ним сделался нервический припадок.

Девушка вскрикнула и побежала из комнаты. Не прошло минуты, как она вернулась с стаканом воды...

— Выпейте... полноте..— говорила она, подойдя к молодому человеку.

Он все не открывал лица. Наконец, она отвела его руки и тихо отерла своим платком лицо его.

Василий Михайлович, в свою очередь, схватил маленькую, белую ручку девушки и горячо прильнул к ней губами, потом прижал ее к голове, потом к сердцу...

— Перестаньте... папенька может прийти... Он сказал, что вернется раньше...

— Не выгоняйте меня! Сжальтесь надо мной! Скажите мне что-нибудь... одно слово... вы не сердитесь на меня?

— Нет... нет...— отвечала она отрывисто и робко осматриваясь,— но, ради бога... право, я боюсь... если папенька...

— Я не уйду, прежде чем вы не скажете мне, где могу я вас видеть... но только скорей... сегодня же.... Я хочу говорить с вами, высказать вам все, что у меня на душе... прошу... умоляю вас...

— Хорошо... завтра... но только теперь уйдите, сделайте милость.

— Где же?.. когда?.. О! не обманывайте меня! назначьте мне место, час...

— Ну, завтра... вечером, в Таврическом саду...

— В котором часу? где именно?..

— В шесть... где хотите...

— У пруда...

— Хорошо, хорошо... уходите скорей...

— Вера Николавна, Вера Николавна! — послышался из передней голос девки, бежавшей к ним впопыхах,— кажись, барин...

— Ну, вот видите! Скорей, скорей, пройдите здесь...

И она толкнула его в маленькую дверь, которая вела в коридор. Он еще раз поцеловал второпях ее ручку и, прошептав: «Завтра!» бросился в кухню, откуда и вышел на свежий воздух. Описывать восхищение Василия Михайловича я не стану. Не стану говорить, как он вернулся домой и что делал весь этот день. Кто не угадает, не поймет этого сам; кто не перешел через подобные ощущения?

III

СВИДАНИЕ, ПИСЬМО И ОТЪЕЗД

Еще не было шести часов, а Василий Михайлович уж давно расхаживался около пруда в Таврическом саду. Грудь его волновалась от нетерпения; он беспрестанно оглядывался во все стороны, не покажется ли в глубине какой-нибудь длинной, тенистой аллеи знакомое белое платье, и повторял про себя: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты» и проч. Вдруг кто-то сзади тихо прикоснулся к плечу его; он оглянулся, Вера Николаевна (которую мы будем впредь называть просто Верочкой) стояла перед ним в том же костюме, в каком он видел ее вчера, с маленьким зонтиком в руках. В довольно почтительном расстоянии от них, между зеленью, мелькала невзрачная и вечно угрюмая физиономия Верочкиной прислужницы.

День был ясен и тих; листья не шевелились; по бледно-голубому небу кое-где летали разрозненные беловатые облачка; зелень Таврического сада была как-то менее запылена, нежели прочая петербургская зелень; близость воды придавала прохладу воздуху; воробьи, весело чирикая, скакали на дорожках. Вся эта обстановка могла, пожалуй, за неимением лучшего, заставить даже и не такого мечтателя, как Василий Михайлович, на минуту отвлечься от города и позабыть его душную, пыльную атмосферу и его здания, давящие вас своей громадностью; но для Василия Михайловича этот сад, с его бледною зеленью и полузаплесневевшею водой, превратился в сущее Эльдорадо: все казалось ему свежее и ярче; он чувствовал, что праздник настает для души его и она наполняется светлой, торжественной радостью...

— Я опоздала немножко,— сказала с улыбкой Верочка, подавая Василию Михайловичу руку, которую он сжал крепко в своей, но, однако ж, не осмелился поцеловать.

Они пошли по одной из аллей. Многое хотелось сказать в избытке чувства Василию Михайловичу, и он не знал.

с чего начать. Верочка, читая смущение на лице его, заговорила первая.

— Я боялась, чтоб вы не занемогли,— сказала она,— вы вчера были так больны... так больны... вы сильно меня напугали...

— О, это ничего, ничего, Вера Николавна... теперь я совсем здоров... я так счастлив, что не в силах высказать вам; моего счастья, кажется, было бы довольно, чтоб исцелить умирающего... О, если бы вы только знали, в каком сомнении я находился со вчерашнего утра! Мне все казалось, что вы не придете, что вы назначили мне это свидание для того, чтоб отделаться от меня, что, может быть, вы сердитесь за мою дерзость...

— Полноте! — говорила Верочка потупившись.— Я видела вашу искренность... я почувствовала к вам такое сильное участие, что не могла не прийти, хотя бы единственно для того, чтоб узнать, тут ли вы, не сделалось ли чего с вами... Знаете ли, однако ж, я не должна приходить сюда больше! Это свидание должно быть последним...

При этих словах, произнесенных тихим прерывистым голосом, она подняла на него свои глаза, в которых выражалось какое-то боязливое сожаление: она боялась огорчить молодого человека и, казалось, хотела вычитать на лице его, прежде чем он успеет ответить, впечатление, произведенное ее словами.

— Последнее?—повторил Василий Михайлович.—Так-то всегда бывало со мной! — прибавил он, махнув рукой.— Думаешь, что вот нашлось, наконец, счастье, а оно и ускользнет от тебя, как тень, как призрак...

— Так вы были несчастны? — спросила Верочка с участием.

— Несчастен, потому что я никогда не любил и не был любим; а это, может быть, еще больнее и тягостнее, чем потерять любимое существо...

— Это странно, однако ж; я думала совсем напротив... что вы очень влюбчивы... Но скажите, отчего же это так? Разве вы не встречали ни одной женщины по себе? Или, может быть, вы влюблялись, но любовь ваша проходила так скоро, что вы не хотите и назвать это любовью...

— Нет, нет, Вера Николавна! Даже малейшей вспышки, минутного увлечения не способны были родить во мне те две-три женщины, с которыми я был знаком. Между мною и ими было так мало общего, и они, казалось, поняли это с первой встречи... потому-то и показали ко мне нечто вроде презрения... Я тоже понял еще прежде их и, не чув-

ствуя в себе охоты насиловать для них свою природу, подчиниться для них условиям, постоянно и глубоко возмущавшим меня, бежал из их общества... и стал по-прежнему вести уединенную жизнь, однообразную, не согретую ничьим участием, не оживляемую никакими тревогами, но, по крайней мере, свободную. Нет, я знаю, чувствую, что сердце мое способно любить, и если этот запас любви, наполняющий его, погибнет или растратится даром, то не моя вина...

— Почему же вы думаете, что я не из тех женщин, для которых, как вы говорите, не стоит приносить ничего в жертву?..

— Почему? почему? Я и сам не мог себе дать отчета почему, но только, увидев вас, я испытал совсем не то чувство, какое испытывал при встрече с другими женщинами. Какой-то неведомый голос как будто говорил мне: «Она поймет тебя; многое, что волновало тебя, изведало ее сердце; вы не чужды друг другу». И я не обманулся, я это чувствую, я вижу... Это свиданье, этот разговор служит тому доказательством, и он не может быть последним... Нет! нет!.. Ради бога, Вера Николавна, не отвергайте меня; позвольте мне чаще встречать вас; узнайте меня короче...

— Мне грустно, поверьте мне... но... как же мне быть?.. Я выхожу замуж.

— Замуж?.. Боже мой! Боже мой! Зачем я не встретил вас раньше? Может быть, я был бы навеки счастлив...

— Я расскажу вам все откровенно. Вы увидите, в каком я положении и что мне делать... У меня есть семейство: отец, брат и замужняя сестра. С некоторого времени несчастия одно за другим поражают нас. Не знаю, как пережил их мой отец, который уже довольно дряхл. С него самого начались они. Он служит и жалованьем содержит почти всех нас. Других доходов нет у него. Домик, в котором мы живем, хотя и наша собственность, но ничего не приносит нам, потому что мы сами живем в нем — и еще требует беспрестанных поправок. Это очень старый дом, доставшийся папеньке после старшего брата его. Настали для нас разные грустные обстоятельства; между прочим, с папеньки стали взыскивать значительную сумму, которую он должен был внести за другого по поручительству. Бог знает, чем бы это кончилось, если б не познакомился с нами, случайно, один молодой человек, богатый и имеющий, кажется, обширное знакомство. Он видел меня на одной вечеринке; мне вовсе не хотелось танцовать, потому что на сердце у меня было так тяжело, грустно... Только неотступные просьбы хозяйки дома, нашей доброй знакомой, заставили

меня поехать на этот вечер, на котором я, однако ж, решилась пробыть не более двух часов. Как увидите, эти два часа были употреблены с пользой. Молодой человек также почему-то не танцовал или, по крайней мере, танцовал очень редко, и одне кадрили; мы случайно разговорились, сначала о пустяках: он спросил меня, отчего я с таким упорством отказываю всем мужчинам, меня ангажирующим. Я отвечала, что не расположена веселиться и что если б согласилась танцовать, то усыпила бы своего кавалера. «Советую и вам беречься,— прибавила я,— чувствую, что я сегодня слишком нелюбезна, даже глупа». Но, несмотря на мое предостережение, он продолжал говорить со мной, всячески стараясь развлечь меня. В другое время он, может быть, и успел бы, потому что говорил не глупо, но на этот раз я только принужденно улыбалась на все его остроты. «Боже мой! — воскликнул он наконец.— Что бы я ни дал, чтоб иметь возможность помочь вашему горю!..» Это восклицание было услышано хозяйкой: «А вы знаете это горе?» — спросила она молодого человека, подходя к нам и взяв меня за обе руки. «Нет, я еще не мог заслужить такого доверия...» — отвечал он. «Ну, так я вам расскажу его,— сказала хозяйка,— и вы, может быть, в самом деле поможете... у вас такие связи!» Она увела нас в другую комнату и рассказала молодому человеку все папенькино дело. Он обнаружил большое, непритворное участие, обещал хлопотать и просил позволения сперва приехать к нам, чтобы переговорить с папенькой. Молодой человек сдержал свои обещания, ездил, просил и хлопотал; но денежное взыскание с папеньки остановлено быть не могло. Откуда нам было взять эти деньги? Папенька ходил совершенно убитый. Мы не знали, к кому бы прибегнуть. Друзья в этих случаях обыкновенно щедры только на советы. Хоть в воду кинься — такое было положение... Однажды молодой человек является к нам и застает папеньку в припадке ужасного отчаяния. Я тоже плакала горько... Последняя надежда наша пропала. Мы обратились к одной богатой помещице, жившей в провинции и которой папенька некогда оказал большие услуги — он выиграл процесс, от которого зависело все ее состояние,— она несколько раз помогала нам, когда мы были в нужде. Правда, это были почти всегда небольшие деньги, но мы могли надеяться, что она, зная честность папеньки и помня его услуги, не откажет и в более значительной сумме. На наше несчастье, помещица умерла, и письмо, посланное к ней, было возвращено нам назад уж наследниками. Молодого человека тронуло поло-

жение наше, и он предложил папеньке нужные деньги. Мы не знали, как благодарить его; но он тотчас же уехал, сказав, что деньги будут доставлены вечером. На прощанье я крепко пожала ему руку и, вся в слезах, сказала ему: «Этого я не забуду, пока жива!»

Но этим еще не кончились услуги нашего нового знакомца, потому что не кончились наши несчастия... Я сказала вам, что у меня есть еще брат девятнадцати лет. Он поступил в армейский полк; там, упустив из виду, что мы живем в постоянной нужде, начал он вести жизнь, далеко превышавшую его средства. Папенька узнал это со стороны, от одной старушки, нашей дальней родственницы, приезжавшей оттуда в Петербург помещать куда-то маленького сына. Это несказанно огорчило папеньку... Однажды утром мы получили от брата письмо. Папенька был на службе. Я узнала по адресу руку брата, но предчувствуя что-нибудь недоброе, решилась распечатать письмо и прежде прочесть его сама, с твердым намерением — не показывать его батюшке, если оно будет содержать в себе какое-нибудь грустное известие. Так и случилось: брат писал, что он сделал две тысячи рублей долга и дал честное слово заплатить его через десять дней (от того дня, как послал к нам письмо: именно столько времени требовалось на то, чтоб получить от нас ответ). Что было делать? Обращаться опять к молодому человеку было бы неделикатно, щекотливо, как вообще занимать у лица, которому не заплачен старый долг. Одно средство находилось в нашем распоряжении — мы могли продать свой домик, самим нанять где-нибудь уголок и жить процентами с остальных денег. Но скоро ли найдешь покупщика? А брат требовал немедленной присылки. Однако ж письмо я не тотчас показала папеньке и несколько приготовила его; он, казалось, ждал подобного удара и на совет мой продать наше последнее достояние — дом не возражал ни слова. В тот же вечер приехал к нам молодой человек. Он нашел нас обоих опять печальными, потому что как я ни старалась скрыть горе, но не могла. Лицо мое изменяло мне... Мы решились просить молодого человека поискать покупщика. Он вызвался с удовольствием, но, уходя от нас, отозвал меня в сторону и сказал: «Послушайте, Вера Николаевна, скажите мне откровенно, что заставляет вас продавать этот дом, к которому вы привыкли и который еще вовсе не так ветх, как вы говорите с папенькой? Эта мнимая ветхость только предлог: я вижу, тут что-то кроется. Если вы имеете ко мне хоть малейшую дружбу, если считаете меня достойным вашей доверенности, объ-

ясните мне настоящую причину вашего решения...» Я рассказала ему, в чем дело, и даже дала прочесть письмо брата. Он ничего не отвечал и только молча покачал головой; потом подал мне руку и произнес: «Постараюсь обделать дело как можно скорей. Благодарю, что вы обратились ко мне». Между тем я написала к брату письмо, чтоб успокоить его, и просила только не ставить нас снова в такое затруднение. Три дня не являлся к нам молодой человек, и о покупщике не было слуха. Мы начинали беспокоиться, как вдруг получаю я от него, на мое имя, письмо. Он писал, что из-за двух тысяч не стоит продавать дом, что он в эти три дня успел достать их и уже отослал в Т... на имя брата. Признаюсь вам, хоть это письмо меня и очень обрадовало, потому что мне было крайне жаль расставаться с нашим домиком, где я выросла и воспитывалась, но в то же время оно заставило меня задуматься... Мне было как-то странно, удивительно, что этот молодой человек до такой степени добр к нам, услужлив. Две услуги его, оказанные нам, могли даже назваться благодеяниями... И неужели все это делается без всякой отдаленной цели, единственно из доброты сердечной? Но какую же постороннюю цель мог он иметь? Какие виды?.. Я читала много романов и часто судила по ним о людях, сравнивала встречавшиеся в жизни лица с героями этих романов, применяла свое положение к разным вычитанным положениям, и потому, очень естественно, заключения мои и образ действия бывали, по большей части, ошибочны. На этот раз я тоже в голове своей создала что-то в роде романа; не знаю от чего мне вообразилось, что молодой человек имеет намерение стеснить впоследствии папеньку и заставить меня выйти за него замуж... Иногда мне казались смешны мои собственные мысли, тем более, что последние две тысячи были даны даже без векселя, но тем не менее я не могла от них отделаться. Молодой человек продолжал к нам ездить, был по-прежнему предупредителен и ласков и со мной, и с батюшкой; он проводил у нас целые вечера и оживлял своим веселым характером нашу монотонную жизнь. Он избегал всякого случая говорить об оказанном нам одолжении. Если речь заходила о людском эгоизме, о том, как редко сохраняют в нужде друзей своих, он тотчас переменял разговор. Его деликатность заставила меня краснеть за мои глупые мысли. Узнав его короче, я увидела, что это в самом деле добрейшая душа в мире, хоть он и старался иногда прикидываться, по какой-то очень забавной странности, эгоистом, практическим, жестким человеком...

Наконец, ему удалось одолжить нас еще раз. Сестра моя, бывшая замужем за одним спекулятором и аферистом, всю жизнь хлопотавшим, как бы нажить себе огромное состояние и прожившим на разных акциях то, которое имел, овдовела. После покойника осталось столько разных долгов, что для уплаты их оказалось необходимым продать все его движимое и недвижимое имущество, да и того еще было мало, так что сестра осталась совершенно без приюта и без куска хлеба. В надежде отыскать себе впоследствии какое-нибудь место, она на время поселилась у нас. Сестра моя — женщина добрая, трудолюбивая, серьезная, самой строгой нравственности. Молодой человек познакомился с ней и не прошло двух недель — нашел ей место классной дамы при каком-то благотворительном женском заведении, место, совершенно обеспечивающее ее существование. Благодарность папеньки за все эти поступки нашего знакомого была невыразима. Он привязывался к нему с каждым днем больше и больше. Прибавьте к этому разные мелкие услуги, которые часто ценятся не менее больших, потому что показывают внимание и уважение к вам. Молодой человек доставал папеньке разные книги, привозил нам билеты в театр, играл с папенькой по самой маленькой в преферанс и всех привязал к себе своей снисходительностью, своим легким откровенным характером. Но папеньку беспокоила мысль — как расквитаться с этим кредитором; чем он был деликатнее, тем скорее папеньке хотелось заплатить ему. Занимая, он имел в виду откладывать ежегодно половину своего жалованья на уплату этого долга, и для этого решился сократить некоторые расходы. Но одно обстоятельство ускорило уплату. По вскрытии духовного завещания помещицы, которой, как я вам говорила, папенька выиграл огромный процесс, оказалось, что она оставила нам участок земли, стоивший по крайней мере тысяч пятнадцать серебром. Какой-то сосед помещицы узнал об этом, тотчас сделал нам предложение продать ему участок, смежный с его имением. Мы, разумеется, были очень рады, и деньги были немедленно, по совершении купчей, возвращены молодому человеку... Но услуги его были так важны для нас, папенька так полюбил его, что ему ужасно хотелось чем-нибудь выразить свою благодарность. Он призвал меня и стал советоваться, что бы подарить на память в именины нашему бывшему кредитору; я вызвалась вышить ему сонетку. Сонетка была очень хороша, и когда я отдала ему ее, то он был так рад, так рад, что я даже удивилась: неужели такая ничтожная вещь может доставить столько удовольствия

мужчине, и довольно солидному мужчине, а не мальчику? Он начал меня уверять, что эта вещь не расстанется с ним, что с ней будет связано воспоминание о лучших днях его жизни: словом, наговорил мне таких вещей, каких мне от него никогда не приходилось слышать и которые казались как-то странны на языке у человека, никогда не упускавшего удобного случая посмеяться над сентиментальностью. Правда, я иногда подозревала, что он лжет, что он говорит не от души, потому что мне случалось заметить два-три взора его, брошенные на меня украдкой, когда он сидел с папенькой за картами, а я работала или читала в другом углу: эти взоры были так нежны, так сладки, что мне всегда приходила после охота спросить у папеньки, не проиграл ли его партнер, и папенька отвечал ему: «Ремизится... страшно ремизится!»... Не знаю, зачем люди хотят казаться не тем, что они есть... и даже самые хорошие люди...

Итак, принимая от меня сонетку, он чуть не объяснился мне в любви; я отделалась шуткой и не придала особого значения словам его, хотя тон, каким они были сказаны, уже изумил меня. После уже они стали для меня яснее. Вечером я получила от него формальное письменное объяснение в любви, в котором говорилось, что он давно любит меня, но не смел открыть мне, и притом он находился в таких щекотливых отношениях к нам, что сделать это предложение раньше казалось ему неделикатным: значило, как будто требовать благодарности за оказанное одолжение, и проч. Потом он просил меня сказать ему откровенно, положа руку на сердце — каковы чувства мои к нему и согласна ли я быть женой его. Я показала это письмо папеньке, который очень обрадовался; эта мысль, казалось, давно уже была у него на уме; но он не высказывал ее, ожидая, не сделает ли кто-нибудь из нас первого шага. «Что ж ты ответишь, Вера?» — спросил потом папенька, гладя меня по голове и устремив на меня пытливый взгляд. «Я сама не знаю,— отвечала я,— подумаю, папенька». Это предложение сделано так неожиданно, что мне в самом деле нужно было хорошенько подумать, взвесить, разобрать свои чувства. На другой вечер папенька пришел в мою комнату, посадил меня подле себя на диван, обнял и тронутым, дрожащим от волнения голосом спросил, надумалась ли я. Казалось, по торжественным приемам его, что он собирается сказать мне что-то важное и серьезное. Действительно, на ответ мой, что нет еще, он стал уговаривать меня не отказываться от этой партии; говорил, что он уже стар и желает видеть меня пристроенной; что у меня нет впереди блестя-

щей будущности; что бедной девушке не должно быть слишком разборчивою на женихов и что поступок человека, предложившего мне свою руку, очень благороден. Потом он прибавил, что этот случай представляет нам возможность достойно выразить ему нашу благодарность за все, что он для нас сделал. Папенька заключил свою речь следующими словами: «Впрочем, дитя мое, я не принуждаю тебя; ты не ребенок и можешь сама рассудить. Говорю тебе, что, согласившись на это предложение, ты истинно утешишь своего старика отца, ибо это докажет, что ты добрая, благодарная девочка!» Я была очень взволнована речью папеньки. Ему самому хотелось бы подольше не расставаться со мной, но он желал мне счастья и думал, что тот, кого судьба посылает мне, может сделать меня счастливой. Я обещала дать решительный ответ через час и сдержала свое обещание; через час я пришла к папеньке с готовым письмом в руке, в котором изъявляла молодому человеку свое полное согласие.

Папенька крепко поцеловал меня и прослезился от радости. Старик был очень счастлив в эту минуту; я тоже была счастлива.

Любила ли я моего жениха, люблю ли я его — я не буду... я не могу отвечать на это, потому что и сама не знаю... Знаю только, что я уважаю этого доброго, благородного человека, что он всегда будет иметь во мне друга, что если даже я не люблю его еще, то полюблю... постараюсь любить...

Через две недели наша свадьба.

Вот моя история. Она, может быть, наскучила вам; но я хотела, чтоб вы знали мое положение. Видеться с вами мне невозможно; не требуйте от меня этого...

— Боже мой! да как же это? Неужели мы решительно нигде не должны встретиться, Вера Николаевна?.. О! Зачем я вас не встретил раньше?.. Но, впрочем, к чему бы это повело?.. И тогда ваш теперешний жених имел бы надо мной преимущество... Он богат и мог оказать вам не одну услугу; а я... кроме участия, кроме любви, у меня ничего бы не было... Так вы решились выйти за него, не любя его, решились выйти из благодарности...

— Нет, не из одной благодарности. Правда, я не чувствую к нему страсти, но он и не требует ее... Я буду уважать его... любить как друга, как брата...

— Но этого мало для счастья целой жизни. Время придет... и если вы до сих пор не любили, то должны будете

кого-нибудь полюбить, и тогда-то увидите, как неосторожно поступили.

— Я подавлю, затаю в себе эту любовь, и никто не узнает о ней. Что же делать, если такова моя участь?.. Но не предвещайте мне этого; может быть, моя дружеская привязанность к жениху разрастется до страсти...

— Едва ли это бывает так.

— Но что же делать? Я дала слово... и не могу изменить ему.

— Так это последнее наше свидание...

— Последнее... Прошу вас, не старайтесь со мной видеться.

— Зачем же вы пришли сегодня? Зачем не выгнали вы меня, когда я явился к вам в первый раз?.. Это свидание останется в моей памяти для того, чтоб говорить мне, что и я мог бы быть счастлив... Но, послушайте, Вера Николавна, позвольте мне только изредка видеть вас, говорить с вами: и это будет уже для меня наслаждение... Пускай вы не хотите любви моей, но чем же это мешает нам видеться?..

— Нет... нет!.. прошу вас... Это нужно... вы сделаете это, если любите меня...

— Если люблю вас? Вы слишком хорошо знаете, что это слово может заставить меня все сделать... Я исполню ваше требование.

— По крайней мере, на время... Потом мы можем встретиться опять... и будем друзьями... Тогда многое изменится... То, что вы называете любовью ко мне, охладеет, пройдет...

— Никогда!.. никогда!..

— Однако ж, для нашего общего счастья, нам должно забыть друг друга...

— Забыть? А разве это зависит от человека? Вы думаете, что, перестав с вами видеться, я забуду вас... Вы ошибаетесь, Вера Николаевна, вы не знаете меня! Вам это легко сделать, потому что... знакомство мое не оставит в вас ничего...

— Почему вы знаете? — быстро прервала Верочка.— Если б это было так, зачем бы мне запрещать вам видеться со мной?..

— Что вы говорите?.. Неужели вы чувствуете, что *могли бы полюбить* меня?.. Скажите мне это еще раз, Вера Николавна! Мне, может быть, так послышалось... Я расстроен...

Верочка отвечала ему молчаливым пожатием руки. Он также сжал ее руку, медленно поднес к губам и потом сказал:

— Если это нужно для вашего спокойствия, я готов, как бы мне тяжело ни было...

— Да... да!.. я не могу поручиться, что не полюбила бы вас, а этого не должно, не может быть... Но мне давно пора... меня ждут... Прощайте. Сдержите же свое обещание, не старайтесь со мною видеться... Прощайте...

— Надолго ли? — произнес Василий Михайлович.

Верочка молча пожала плечами. Он еще раз поцеловал ее руку и пошел по аллее, которая вела к выходу.

По возвращении домой Василий Михайлович нашел у себя на столе письмо от матери из провинции и повестку на небольшие деньги. Старушка писала сыну, что она опасно больна, что, может быть, ей скоро придется умереть, и просила его приехать на время к ней. Предвидя, что у него могло не случиться денег, она заняла у своих знакомых небольшую сумму, которую посылала ему на проезд.

Василий Михайлович призадумался над письмом. Оно его опечалило, потому что он любил мать.

— Сама судьба,— произнес он помолчав,— заставляет меня исполнить желание Веры.

В эту минуту вошел Околесин.

— Ну что? каково дела идут?..— сказал он, протягивая руку Василию Михайловичу.

— Эх! все как нельзя хуже...

— Почему?

— Вот письмо от матушки. Старушка бедная занемогла, просит меня приехать к ней.

— Ну, а любовные дела?

— Тоже худо...

— Ты не решился пойти за очками! Я так и знал!

— А вот и ошибся. Не только за очками ходил, но и сейчас был на свиданье, да все это ни к чему не привело.

И Василий Михайлович принялся рассказывать свои похождения за очками.

— Не знаю, что со мною сделалось, брат Околесин, но я расплакался, упал в обморок. Ей, видно, стало меня жаль, и она решилась назначить мне свидание... но зачем...

— Известно зачем, чтоб целые два или три часа врать пустяки, сантиментальничать и целоваться...

— Нет, ты опять ошибся; мы вовсе не сантиментальничали; она, как пришла, объявила мне, что наше свидание должно быть последним...

— Ну, разумеется. Когда ж бывает иначе? Нужно же поломаться, пококетничать...

— Нет, она говорила искренно... Если б ты только видел, как она чужда всякого кокетства, как мило она призналась мне, что она «не ручается, чтобы она не полюбила меня»...

— Она сказала это, и ты...

— Да постой же! Дай мне все рассказать. В том-то и дело, что она не должна любить меня... потому что выходит замуж...

Околесин расхохотался.

Василий Михайлович продолжал:

— Она пришла из сожаления, из сострадания ко мне; пришла с тем, чтоб просить меня не преследовать ее. Это благородная, прекрасная девушка... Она рассказала мне всю историю свою; она очень обязана своему жениху, который не раз помогал ее семейству, и потому она не хочет изменить данному слову, не хочет обманывать этого человека. Я дал ей слово и не изменю ему, да и притом я дня через два уеду.

— Ну, уж как ты себе хочешь, а я, право, твоего рыцарства не могу понять. Ты идеализируешь девочку, которая просто с тобой пококетничала, в полной уверенности, что ты на другой же день опять потребуешь у ней свидания...

— Она уважает своего жениха, и если почувствует страсть к другому, то затаит ее в глубине сердца, употребит всю свою волю на то, чтоб противиться этой страсти, бороться с ней...

— О, да я вижу, это страница из романа!... По моему мнению, так уж если ей, действительно, не хочется, чтоб ты ее преследовал, то это разве покуда... Может быть, ей в самом деле хочется выйти замуж, и она боится, чтоб жених как-нибудь не пронюхал о ваших свиданиях и не отказался. В тебе же она не слишком еще уверена; ты ей предлагал одно сердце — а об руке и помина не было. И притом ты, верно, имел неосторожность сказать, что ты беден; а жених, коли он помогал ей — значит, богат... так вот она и рассудила, что выйду замуж... нечего выпускать из рук синицы, когда еще журавли в небе летают...

— Воля твоя, а я не считаю ее способною на такие расчеты... Это чистая натура, еще не испорченная светом.

— А где ты мог узнать ее?.. Ты влюблен, потому и говоришь так. Послушай-ка лучше моего совета, воспользуйся обстоятельствами.

— Какими?..

— Слушай. Ты должен ехать не сегодня, так завтра. Напиши к своей возлюбленной горячее письмо, в котором

требуй *последнего* свидания. Подчеркни три раза слово: последнее; скажи, что ты навсегда уезжаешь, исполняя ее требование...

— К чему эта ложь?

— Скажи, что ты навсегда уезжаешь, исполняя ее требование. Пусть это докажет ей, что ты готов пожертвовать для нее всем — своими знакомыми, своими привычками, своей карьерой... Сколько ты намерен пробыть в провинции?

— Не знаю, как здоровье матушки...

— Ну, положим, месяц или два... Через два месяца ты возвращаешься сюда, отыскиваешь свою возлюбленную, бросаешься на колени и говоришь, что ты боролся с своей страстью, но не в силах был подавить ее — и, наконец, решился снова явиться сюда, чтоб быть любимым или умереть! Тебя, разумеется, не допустят умереть — и великодушно простят.

— Нет, обманывать так я не способен. Я напишу к ней только письмо, в котором потребую последнего свидания... и на этом свидании объясню ей все как есть... Я хочу видеть ее еще раз перед отъездом. Бог знает, встречу ли я ее когда-нибудь опять...

— Если воротишься сюда, то, конечно, встретишь.

— Может быть, она уедет куда-нибудь... Может быть, я сам останусь в провинции.

— Это как?

— Да так. Во-первых, для моего здоровья здешний климат не годится: грудь у меня слаба (Василий Михайлович кашлянул для подтверждения своих слов). Притом же матушка желала бы не расставаться больше со мною; ей уже недолго остается прожить... Наконец, если я останусь здесь, то не отвечаю за себя и, может быть, не сдержу своего обещания...

Околесин пожал плечами и ничего не отвечал на эти доводы. Обменявшись еще несколькими словами, друзья простились.

— Когда ж ты уезжаешь? — спросил Околесин.

— Да если найду билет в дилижанс, то через два или три дня.

— Надеюсь, что мы не раз еще увидимся. Ты не поверишь, как мне досадно, что ты не будешь у меня шафером.

На другой день Василий Михайлович взял в дилижанс билет и потом тотчас же написал к Верочке записку. Вот ее содержание:

«Я уезжаю отсюда, Вера Николавна... может быть, навсегда. Позвольте же мне еще раз вас видеть. Это будет последний; я не нарушу более вашего спокойствия. Молю вас, не откажите мне... Пускай останется у меня на сердце, по крайней мере, одним светлым воспоминанием больше. Жду вас там же, где мы были вчера, и какое-то тайное предчувствие говорит мне, что жду не напрасно».

Покуда известная посланница носила записку своей барышне, Василий Михайлович пошел в сад. Через десять минут Верочка тоже явилась туда. Она пришла торопливо. Щечки ее разгорелись от ходьбы, и Василий Михайлович нашел ее лучше, чем когда-нибудь. Он бросился к ней навстречу.

— Вы писали мне, что уезжаете,— сказала Верочка, протягивая ему руку,— и я не могла не прийти сюда; но дома жених мой; и он и папенька думают, что я у себя в комнате... а потому я должна как можно скорее воротиться... Но, ради бога, скажите, куда вы уезжаете...

— В провинцию, там у меня больная старушка-мать, которая просит меня приехать...

— Отчего вы пишете «навсегда»? Разве вы не вернетесь сюда?..

— Может быть, нет; на это есть так много причин...

Верочка посмотрела ему в лицо... Он потупил глаза.

— Я угадываю вас: это жертва, которую вы хотите принесть девушке, почти незнакомой вам... и которой, может быть, она недостойна...

— Нет, нет! Вы достойны не такой жертвы, Вера Николавна! Эта жертва слишком ничтожна для меня. Жить здесь и не видеть вас... не все ли равно, что уехать отсюда? Я ничего не оставляю, что бы привязывало меня к Петербургу. Притом и мать моя будет рада, если я поселюсь с ней, да и здоровье мое выиграет; здесь я постоянно страдаю грудью. Не говорите же мне, что это будет жертва...

Нужно сознаться, что Василий Михайлович нарочно упомянул о своем постоянном и мнимом недуге для того, чтоб показаться более интересным... Несколько минут они молчали... Василий Михайлович шел подле Верочки, опустив голову и ощупывая один за другим зеленые листья, которые он срывал по дорожке. Наконец, он остановился и сказал:

— Вам пора... я задержал вас... Благодарю, что вы не отказали мне в моей последней просьбе... Будьте счастливы, бесконечно счастливы... будьте любимы... и когда-нибудь вспомните обо мне...

Сердце Василия Михайловича сжалось; он схватил обе руки Верочки, пристально посмотрел на нее, как будто любуясь ее красотой, и ему показалось, что в глазах девушки сверкнули две слезинки, но он не смел верить себе: он думал, что ошибался, что, может быть, это просто — солнце...

— Прощайте! — произнесла она голосом, в котором выражалось волнение.— *До свидания!..*

Через два дня Околесин, провожая своего друга в контору дилижансов, давал ему, по обыкновению, разные советы, как должно вести себя с женщинами, особенно в провинции, где так скоро всех женят, и просил остановиться у него, когда Василий Михайлович вздумает воротиться.

IV

ДВА ПИСЬМА

Письмо Веры Николаевны к одной приятельнице.

Декабрь 18...

«Не сердись, ради бога, не сердись на меня, бесценный друг мой, Аннета, что ты столько времени не получала от меня ни строки. Твое письмо и огорчило, и обрадовало меня. Огорчило, потому что ты считаешь меня способной забыть подругу своего детства, ту, от которой у меня не было тайн и которая сама постоянно делилась со мной всеми печалями и всеми радостями; обрадовало, потому что в этих меланхолических строках, в этих нежных, незлобных упреках, я вижу новое подтверждение, новое доказательство твоей ко мне привязанности, заставляющей меня гордиться. Помню, как еще в пансионе все добивались дружбы добренькой, хорошенькой Аннеты и как эта дружба вдруг пала на меня — и возвысила меня в моих собственных глазах так же, как и перед другими. Быстро пронеслись эти счастливые, эти беспечные дни... Но кто из нас позабудет их, кто не сохранит своих первых связей? Мне случалось читать в разных книгах множество нападок на женскую дружбу; но они мне всегда казались несправедливыми; это писали или люди вовсе не знающие женского сердца, или судящие о всех женщинах по двум-трем дурным, которых им удавалось встречать. Редко бывает, чтоб отношения, существовавшие между пансионскими подругами, изменялись впоследствии, даже при совершенном неравенстве в общественном положении.

Между мужчинами, напротив, редко бывает иначе... Мы можем служить примером тому, что я сказала о женской дружбе. Все мы разошлись в разные стороны, по предсказанию Сашеньки А*, написавшей мне в альбом стихи, которые, помнишь, оканчивались так:

И разбредемся мы, mesdames,
По всем российским городам.

Одни разбогатели, сделались знатными дамами, другие трудом поддерживают свое существование, а между тем все попрежнему любят друг друга, ничего не скрывают одна от другой, находятся в деятельной переписке. Это все я говорю затем, чтоб ты не верила никаким скептическим выходкам, никаким клеветам на женское сердце. Если я так давно не писала тебе, это значит только, что я была слишком полна различными, беспрерывно сменявшими одно другое, ощущениями, которые решительно не давали мне ни на минуту опомниться. Но даже и в это время я несколько раз принималась за перо, чтоб высказать тебе все, что тяготило, тревожило, волновало меня... Но ни одно письмо не кончала я: все письма до такой степени были бессвязны, до такой степени походили на бред больного, расстроенного воображения, что, перечитывая их, я сама приходила в ужас и тотчас же бросала их в печку. Теперь, когда я несколько осмотрелась вокруг себя, когда мало-помалу улеглись в душе моей чувства, внезапно встревожившие ее, и я стала спокойнее, могу, наконец, рассказать тебе все, что было со мной, могу начать свою исповедь, свои confidences[1]. Имей только терпение читать.

Да, добрая моя Аннета, в это короткое время я много пережила, многое перечувствовала... может быть, даже более, чем во все мои семнадцать лет. Мне кажется, я, наконец, узнала это чувство, к которому все бывшие подруги мои, исключая тебя, считали меня неспособной; помнишь ли, как все они влюблялись, кто в учителей, кто в сына доброй содержательницы нашего пансиона, мадам Декруа, тогда как я была постоянно равнодушна и к застенчивому математику, и к болтуну историку, и к красивому, белокурому, но невыразимо глупому Жоржу?.. Я даже с удивлением спрашивала, что можно находить в них? И как на меня сердились за это! Какими эпитетами не закидывали меня, так что, наконец, слыша беспрерывно и со всех сторон название бесчувственной, холодной девочки, я и сама стала со-

[1] Признания *(фр.)*.

мневаться, есть ли у меня сердце. Отчего, в самом деле, думала я, все девушки одного со мной возраста ощущают такую потребность любить? Пускай выбор их падает на людей не совсем симпатичных и которых они стараются сами идеализировать — это происходит только оттого, что они не видят других мужчин; но все-таки значит, что в сердце их больше любви, чем в моем, что эта любовь просится наружу, ищет себе выхода и, faute de mieux [1], устремляется на Жоржа... И мне было больно, досадно, что я не испытывала этого чувства, что подруги не хотят открывать мне своих тайн, думая, что я не в состоянии понять их! Одна ты, мой несравненный, единственный друг, Аннета, не доверяя боязливому, ребяческому характеру других подруг и прочтя на моем лице следы печали, которая начинала серьезно мучить меня, только ты пришла ко мне, подала мне руку и, открыв мне свое сердце, просила, чтоб я в свою очередь ничего не скрывала от тебя, постоянно рассказывала тебе причины всех радостей своих и огорчений... С этой минуты я была вся твоя, почувствовала к тебе безграничную симпатию — и дала слово исполнить твое требование... Ты знаешь, осталась ли я верна этому слову?

Слушай же, слушай меня, Аннета! Я сказала тебе, что, *кажется*, это чувство, давно желанное, давно ожиданное, наконец, пришло ко мне... но, увы, пришло слишком поздно... Впрочем, я и сама не могу дать себе отчета, люблю ли я или нет... Это сделалось так странно и так внезапно; тут столько непонятного, необъяснимого для меня... Расскажу тебе все, все, мой друг; может быть, ты поможешь мне разрешить мои сомнения.

Я писала тебе, в каком плачевном положении мы находились все некоторое время, как мы от него избавились с помощью одного доброго человека, который в настоящую минуту зовет меня женой своей. Когда он совершенно неожиданно сделал мне предложение, я совсем стала в тупик и не знала, что отвечать. Я чувствовала к этому человеку расположение... дружбу; если хочешь, была ему очень благодарна за все его одолжения, но мне никогда не приходило в голову, что я могу сделаться его женою. Связать себя на всю жизнь с человеком, к которому не чувствуешь страсти, в котором, несмотря на его добрые стороны, замечаешь несколько довольно резких, шокирующих недостатков, очень извиняемых в знакомом, но уже менее извиняемых в муже... До сих пор я не обращала внимания на то, что могло не нра-

---

[1] За неимением лучшего *(фр.)*.

виться мне в нем; но когда он изъявил желание сделаться моим мужем, я стала тщательнее, подробнее анализировать характер его, смотреть на него в микроскоп, отчетливо и ясно представляющий мне каждый оттенок, каждый изгиб его сердца, едва заметный для простого глаза... Положительно могу сказать, если б я была совершенно независима от посторонних обстоятельств, то не решилась бы на этот брак. Но мое положение (оно хорошо известно тебе, и ты войдешь в него, я уверена), неизвестность, ожидающая меня в будущем, старость папеньки и его неотступные просьбы заставили меня согласиться. Долго потом обсуживала я свой поступок. Мне казался он не совсем благородным... Может быть, думала я, этот человек надеется найти во мне горячую, страстную привязанность и, вместо этого, встретит только уважение, только благодарность... Притворяться я не могу, не умею — и знаю, что с первых же дней он увидит насквозь мое сердце и прочтет в нем настоящее название того чувства, которое я питаю к нему... С другой стороны, я сама хорошенько не знала себя. Пансионская жизнь пришла мне на память: я вспомнила упреки моих подруг в холодности, в неспособности любить... и сказала себе: откажу я этому человеку, потому что мне кажется, я не довольно люблю его; но если я не в состоянии *больше* любить никого, если, основываясь на том же предлоге, откажу я и другому и третьему, то мне не трудно будет остаться и старой девой... а ничто так не ужасало меня постоянно, как эта мысль! Однако ж я готова была скорее принести в жертву самое себя, чем сделать несчастным другого. Я решилась прежде всего объясниться с моим женихом, высказать ему откровенно, положа руку на сердце, свои к нему чувства, и если он не захочет требовать больше, то согласиться на его предложение. За одно могла отвечать я ему, что жена его будет верна своим обязанностям... и этого, кажется, было ему довольно. Когда я все сказала ему, все, что хотела, он взял меня за руку и отвечал, что если я не чувствую к нему ненависти, отвращения, если только не боюсь быть с ним несчастливой, то он, с своей стороны, совершенно довольствуется моей дружбой. Я заметила даже самодовольное выражение на лице его; казалось, он внутренно говорил себе: «Коли есть дружба, то ручаюсь, что она превратится впоследствии в страсть...» Если б это случилось так!..

Но слушай дальше, Аннета. Нас помолвили, поздравляли... Папенька был вне себя от восхищения. У меня также, после моего объяснения с женихом, отлегло от сердца. По крайней мере, я поступила не эгоистически... и не обма-

нула его. На третий день после нашей помолвки, когда жениха моего, ездившего к нам каждый вечер, задержали дома дела — он большой делец, все возится с разными бумагами,— мы пошли с папенькой гулять. Мне нужно было купить перчатки и еще кое-что, и потому мы отправились заодно на Невский. При выходе из одного магазина встретили мы молодого человека, который покупал на крыльце чью-то статуэтку... какого-то музыканта или живописца. Я заключила тотчас же, что он должен быть сам артист: Почему мне это вообразилось, право, не знаю: как будто *простой* человек не может покупать статуэток великих артистов? Впрочем, друг мой, у него такое поэтическое, такое нежное лицо, что я невольно вспомнила героев своих любимых романов и довольно пристально посмотрела на него. Если б ты знала, как я раскаивалась потом в этом взгляде!.. Но, клянусь тебе, ни малейшего кокетства не было в нем... Он, однако ж, заметил его, сконфузился, покраснел и не двигался с места; это показалось мне так смешно, что я не удержалась от улыбки. Сделав несколько шагов, я по какому-то безотчетному чувству оглянулась назад: мне хотелось знать, все ли он стоит на том же месте и отчасти посмотреть еще раз на это лицо... Он все стоял. Через две минуты я опять оглянулась—на этот раз он шел за нами и сам устремил мне в лицо такой нежный, умоляющий взгляд, что мне вдруг перестало быть смешно... и сердце мое сильно замерло. Я тотчас же отвернулась, но он не переставал идти за нами и преследовал меня вплоть до нашего дома (как тебе покажется это путешествие?); он сделал это так искусно, что папенька вовсе не заметил его, тогда как я постоянно его видела. Ты скажешь мне, что я сама виновата, что я не должна была ни пристально смотреть на него, ни улыбаться, ни оглядываться назад... Так, мой друг, чувствую, что это все справедливо, что много неосторожности было с моей стороны, но только, повторяю тебе, кокетства не было тут ни на волос. Хоть он и мог подумать, что я поощряю его преследование, но все движения, и улыбка, и пристальный взгляд — были невольны, безотчетны...

Возвратясь домой, я стала к окну. Он несколько раз прошел мимо. Я слышала потом, как он позвонил у ворот; Анисья вышла к нему. Он хотел узнать мою фамилию, но это не удалось ему, потому что Анисья, как тебе известно, не отличается большою деликатностью в обращении, особенно же с незнакомыми. Когда я спросила ее, кто звонил, она отвечала мне: какой-то «шарамыжник», сам не знает кого ищет. Я думала, что этим все кончится; но как же я ошиб-

лась! На другой день эта же самая Анисья подала мне письмо, сказав, что принес — «не знаю какой человек» и ответа просит. Адреса не было. Если б я увидела на нем незнакомую руку, я бы тотчас возвратила письмо, не читая, потому что подозревала, от кого оно; но я распечатала его, и делать было нечего... Пробежав письмо, я бросила его на окно и прогнала Анисью, строго запретив ей принимать вперед письма от неизвестных людей. Но когда она вышла, я не могла удержаться и снова взяла это письмо: мне любопытно было посмотреть, как он пишет; что́ он пишет — я знала заранее. Прочтя письмо, я была поражена необыкновенной искренностью, с которой оно писано. Оно вовсе не походило на те любовные объяснения, которые мне случалось встречать в романах и которые всегда казались мне немножко напыщенными... Впрочем, прилагаю тебе копию с него — и ты можешь судить сама. Мне стало жаль моего бедного преследователя... Весь этот день я продумала об нем. Когда приехал жених, я была рассеянна, отвечала невпопад на все его вопросы и, наконец отговорившись головною болью, ушла к себе в комнату раньше обыкновенного. Там я опять принялась перечитывать это письмо... Я ощущала при этом какое-то невыразимо приятное чувство, которое я не в силах растолковать тебе; мне нравилось вникать в эти строчки, придавать им особенный, загадочный смысл и по ним создавать себе биографию лица, писавшего их. Каких романов я только не придумывала! Наконец мне самой стало это смешно... Я оставила письмо и раскрыла первую попавшуюся мне под руку книгу... Это был *«Вертер»*, Гёте, по-французски. (Мне подарил его мой жених вместо кипсека, потому что тут превосходные картинки.) Никогда еще не читала я с таким жадным наслаждением этих страстных, восторженных страниц...

Чувствую, что ты будешь бранить меня, назовешь легковерной, мечтательницей, une tête exaltée[1]; но, несмотря на это, продолжаю. Я хочу, чтоб ты знала все... Побереги же свои упреки: им еще будет место.

Это был только пролог, моя добрая Аннета,— на другое утро начался самый роман...

Папенька, по обыкновению, отправился в должность. Не прошло часа после его ухода, как мне докладывают, что он прислал из департамента какого-то чиновника за очками. Я думала, что, может быть, очки в самом деле остались дома, тем более, что папенька поздно встал и очень торо-

[1] Чересчур экзальтированной *(фр.)*.

пился. Я велела попросить чиновника в залу... Представь себе мое удивление, мое замешательство, когда я увидела перед собой его... моего преследователя! Меня рассердил поступок его, и я намерена была произнесть что-то очень грозное и самым повелительным тоном, но необъяснимая робость напала на меня — и как ты думаешь, чем разразился мой гнев?.. Тем, что я пробормотала: «я поищу очков» и бросилась было вон из комнаты, но он стал у дверей, схватил меня за руку и дрожащим, едва слышным голосом стал мне говорить в чем дело... Если бы ты видела его в эту минуту, Аннета! Он был бледнее этой бумаги, на которой я пишу к тебе. Я испугалась, взглянув ему в лицо, не помню, что отвечала и даже отвечала ли, но... он бросился на стул и зарыдал. Да, милый друг мой, Аннета, он плакал!.. Я в первый раз видела мужчину плачущего... и еще как! Это не могло не подействовать на меня... Скажи мне, что бы ты стала делать на моем месте? Я нашла самым лучшим — принесть ему воды и утереть его слезы своим платком. Сострадание к нему вытеснило в эту минуту все другие чувства из моего сердца. Я не в силах была рассуждать, мне было его так жаль, так жаль... Он, верно, прочел на лице моем это сожаление, потому что взор его выражал бесконечную благодарность. Он горячо целовал мои руки, шептал какие-то бессвязные, непонятные полуфразы... Я не могу понять, Аннета, как можно влюбиться так с одной встречи! Где-то читала я, что самая сильная любовь та, которая родилась беспричинно, вдруг... Правда ли это? Но, может быть, такая любовь зато и проходит скоро... Когда он пришел немножко в себя, я просила его уйти, потому что папенька мог воротиться. Он отвечал мне, что не уйдет, пока я не назначу ему свидания... и несколько минут продолжал неотступно просить об этом. Наконец, чтобы отделаться от него, я согласилась. В это время папенька был уже на лестнице, и я поскорей толкнула моего влюбленного в коридор, который ведет на черный выход. Вижу... вижу, какое строгое выражение принимает лицо твое при чтении этого письма, бесценный друг мой, Аннета! Вижу, как ты покачиваешь головой и готовишься отечески, любовно пожурить меня... «Надеюсь, ты не была на этом свидании?» — скажешь ты мне... О! ради бога, не брани, не обвиняй меня! Знаю, что рассудок должен был запретить мне идти, но я не в силах была посоветоваться с рассудком, а если б и посоветовалась, то все-таки не послушалась бы его, я могла повиноваться только сердцу, а оно говорило мне: «Иди, хоть для того, чтобы узнать, не болен ли он после вчерашнего волнения!»

Я пошла и всей душой желала, чтоб он был там... Если б он не пришел, я бы все думала, что́ с ним сделалось? может быть, он умирает, и тайно мучилась бы, не имея об нем никаких известий... Я не знала и до сих пор не знаю, кто он, где он живет. Однако ж он явился; казалось, он был очень счастлив... но я тотчас разрушила это мгновенное счастье: я рассказала ему откровенно всю свою историю и потребовала, чтоб он не преследовал меня больше... Я видела, как тяжело ему было дать мне это обещание; но он дал его... Выслушав рассказ мой, он понял, что иначе не может, не должно быть. Он очень робок, застенчив; я удивляюсь даже, как у него достало твердости на это романтическое похождение с очками... И зато слезы его показали, что ему это стоило! Он сказал мне, что никогда еще не любил, что ведет уединенную жизнь, что он чувствует себя не созданным для света и ни одна из тех женщин, с которыми он сходился, не нравилась ему... Мне кажется, он не мог лгать... В нем есть какое-то добродушие, какая-то задушевность, заставляющая верить на слово и невольно располагающая к нему.

На другой же день после нашего свидания я получила от него записку, в которой он говорил, что уезжает отсюда и, может быть, навсегда. Перед отъездом он хотел видеть меня еще раз и умолял прийти опять туда же.

В этот вечер был у нас жених мой. Анисья вызвала меня жестами из другой комнаты и подала эту записку... Я сказала папеньке и жениху, что пойду к себе в комнату написать письмо к тебе, Аннета, а сама ушла на это последнее свидание. Он ждал меня. Получив известие из провинции, что мать его больна, он решился ехать к ней... Я спросила его, зачем же он писал мне, что едет навсегда, и из ответа его поняла, что это жертва, которую он приносит мне, моему спокойствию: он чувствовал, что, оставаясь здесь, не в силах будет исполнить своего обещания...

Я не знала, что думать об этом человеке. Он жертвует всем для женщины, которую видел всего два раза?.. Или он обманывал, надеясь тронуть меня, или в самом деле это глубоко любящая натура, которая для счастья любимого существа способна отречься от своего собственного счастья... Во мне есть какое-то тайное, необъяснимое убеждение, что он не лгал, что он в самом деле уехал. Вот уже два месяца, как я нигде не встречала его. Может быть, я никогда не встречу его больше, никогда не узнаю, что это был за человек... Странный эпизод в моей жизни, неправда ли, Аннета? Теперь я замужем; муж очень любит меня; он ласков, пре-

дупредителен со мной, исполняет, угадывает все мои желания; старается всеми силами, чтоб я как можно больше веселилась, потому что скука, по его мнению, причиною всех супружеских несчастий. Он и не подозревает, как скучны все эти *удовольствия*, которые он так заботится доставлять мне! Если бы он знал, как бы я ему была благодарна за несколько часов дружеского, откровенного разговора, за какую-нибудь хорошую книгу, прочитанную друг другу вслух, за переданное или разделенное впечатление! Но, увы! С тех пор как я замужем, мы еще, кажется, ни одного вечера не были дома. Знакомые Бориса Михайловича — так зовут моего мужа — приглашают нас к себе наперерыв и сами ездят к нам с визитами. Этими знакомыми нужно дорожить: они все люди полезные... Борис Михайлович даже находит их очень милыми.

По утрам муж мой в должности, в разъездах по разным делам, и возвращается только к обеду. За обедом или после обеда он рассказывает мне разные городские сплетни, а вечером мы куда-нибудь едем... Так проходят все дни наши. Когда я остаюсь одна, на меня часто находит какая-то хандра; не хочется ни за что взяться, шитье валится из рук, начну читать — ничего не понимаю. Не знаю, чему приписать это — расстроенным ли нервам или непривычке к своему новому положению. И бог знает о чем я думаю... Сама не могу дать себе после отчета. Мысли без связи, без последовательности, сменяют одна другую в голове. Часто вспоминаю я о своем детстве, о нашей пансионской жизни; о тебе почти всякий день! Как бы дорого я дала, чтоб ты теперь была подле меня, чтоб я могла обнять тебя, прижать к своему сердцу! Многое хотела бы я тебе еще высказать, чего невозможно передать в письме... Не приедешь ли ты к нам погостить, Аннета? Неужели ты не можешь хоть на один только месяц покинуть своих воспитанниц? Им приищут на это время другую гувернантку...

Папеньке тоже очень хочется тебя видеть. Он приезжает к нам через день обедать и скоро совсем переедет, потому что хочет продать свой серенький домик, в котором одному ему скучно. Каждый раз он осведомляется, не имею ли я от тебя известий... Помнишь, как он, бывало, поручал тебе смотреть за мной, чтоб я не баловалась и не шалила, когда ты по праздникам приходила к нам из пансиона? Он и теперь часто повторяет: «Аннета славная была девушка, скромная, *солидная*. Дай бог ей счастья!» Дай бог тебе счастья! — это и мое искреннее, горячее желание: будь счаст-

лива и не оставляй твоей старой подруги, которая так часто нуждается в твоих советах, в твоей помощи...

Недавно как-то папенька заехал ко мне совсем неожиданно, утром, и попал на одну из этих минут безотчетной тоски, одолевающей меня по временам, как я уже тебе сказала. Ты не можешь представить себе, как я была рада его приезду! Я с восторгом кинулась ему на шею и прижалась к груди его... Я знала, что подле моего сердца бьется в эту минуту другое, горячо любящее меня, и мне стало так легко, так отрадно... Радостные слезы полились у меня из глаз. Папеньку удивило это; он сжал мои руки, крепко поцеловал меня и спросил, что значат эти слезы, эта бледность, это изнеможение на лице моем? Я напрасно старалась убедить его, что это ничего больше, как раздражительность нервов. Он сомнительно качал головой и требовал, чтоб я откровенно сказала ему, не несчастлива ли я, не огорчает ли меня чем-нибудь муж. Я поспешила его разуверить, отвечала, что муж мой превосходнейший из людей, и дай бог, чтоб все мужья были таковы, но что мне просто вдруг сделалось скучно — сама не могу понять отчего.

«Это романы, романы все! — произнес со вздохом папенька, погрозив мне пальцем,— они вас, молоденьких бабенок, с толку сбивают!» И вслед за этим прочел мне целую тираду о назначении и обязанностях женщин, которую опять завершил крепким и звучным поцелуем.

Эта тирада, нужно признаться, была не совсем кстати... и даже несколько неосторожна: никто не сознает лучше меня обязанностей женщины, и мысль о борьбе с ними не приходила мне в голову...

Когда возвратился домой муж, папенька сказал ему, что я без него скучаю, и советовал реже оставлять меня одну... Борис Михайлович был, кажется, очень доволен первым, и дал слово с неделю не ездить по делам, рапортовавшись больным. Это в самом деле превосходный человек; любит он меня без памяти; нет, кажется, жертвы, которую бы он не был готов принесть мне; я бы должна быть очень счастлива... что я говорю... но разве это в самом деле не так?.. разве мне недостает еще чего?.. Отчего же так ноет мое сердце? Отчего эти тоскливые дни, эти бессонные ночи?..

Если б ты знала, какие я все вижу сны, Аннета! Каждый раз *он* (ты понимаешь, о ком я говорю) является мне. Еще вчера мне снился опять тот сад, где было наше свидание... Я углубилась в самую густую аллею; вдруг кто-то схватил меня за руку... я вскрикнула. В эту минуту тучки, закрывавшие месяц, рассеялись, и он осветил знакомое ли-

цо... Это он стоял передо мной — грустный, задумчивый, как тогда. Он посмотрел на меня и тихо сказал: «Ты требовала, чтоб я уехал для твоего спокойствия. Я исполнил твою волю. Скажи же мне, скажи искренно, ничего не тая от меня, была ли ты без меня спокойна, счастлива?..» Я дрожала от волнения и страха, хотела отвечать, но не могла: слова замирали у меня на губах, слезы готовы были брызнуть из глаз. Он обнял меня, и я почувствовала на щеке страстный, жаркий поцелуй...

Я проснулась и долго еще не могла опомниться: сердце мое сильно билось, голова горела. Этот сон не выходил у меня из головы целый день. У меня явилось невыразимое желание увидеть еще раз этого человека... я *любила* его в этот день, я это чувствовала. Несколько раз вынимала я его письма и с жадностью перечитывала, их, обливала слезами. «Сумасшедшая!» — скажешь ты... Да, мой друг, мне кажется самой, что я до сих пор в каком-то болезненном припадке... Когда вернулся домой Борис Михайлович, мне было стыдно смотреть на него, как будто я сделала какое-нибудь преступление: я покраснела до белков, когда он, по обыкновению, подошел поцеловать меня.

Долго ли еще будет длиться это мучительное, невыносимое состояние?.. Если б у нас была деревня, я попросила бы мужа увезти меня; может быть, чистый, деревенский воздух принес бы мне пользу, освежил бы мою обезумевшую голову... Я езжу по вечерам и балам, чтоб развлечься, но смертельная скука находит на меня и там... Раз в неделю я слушаю оперу, и это еще доставляет мне всего более наслаждения: неопределенность музыки дает возможность подлаживать под нее всякое ощущение...

Вот уже два дня, как муж мой не ездит в должность и сидит со мной. Наскучив болтать о разных городских новостях, о разных историях, случившихся в свете, который вовсе меня не интересует, я предложила как-то Борису Михайловичу сыграть ему что-нибудь из Майербера или Россини... Он с удовольствием принял мое предложение и, закурив сигару, расположился на диване слушать. Я едва была на половине пьесы, как он уж заснул. В другое время я, может быть, рассмеялась бы и, не обращая внимания, продолжала бы играть; но на этот раз я с сердцем встала из-за фортепьяно и ушла к себе в комнату. Не поверишь, как я стала с недавних пор раздражительна: не знаю сама от чего; каждая малость, каждая неловкость моего мужа бесит меня. Некоторые привычки его, на которые я прежде смотрела совершенно равнодушно, кажутся мне теперь

смешными, безобразными. Он замечает мои капризы, мою неровность и, к чести его должно сказать, сносит их с истинно британской флегмой. Иногда мне становится совестно за себя, а иногда его хладнокровие сердит, оскорбляет меня: мне кажется оно пренебрежением ко мне. Он как будто считает меня недостойною внимания, думаю я, как будто хочет сказать: ну, что с ней спорить? сумасбродная женщина! ребенок! всего лучше оставить ее в покое; сама уймется!..

На другой день после того, как он заснул под музыку, мы опять сидели вдвоем, и Борис Михайлович, вероятно, желая угодить мне, взял с этажерки Пушкина и начал читать вслух. Для меня нет наказания хуже, как слушать человека дурно читающего. Нужно было слышать, что сделал Борис Михайлович с чудным, гармоническим стихом Пушкина! Вообрази себе, Аннета, он никак не может соблюсти метра и беспрестанно ставит ударение не на том слове, где следует. То есть, в нем решительно нет никакого поэтического чувства! Досталось же от него бедному Пушкину! Я не могла этого вынести, взяла из рук его книгу и сказала, что не лучше ли ему идти к себе в кабинет и читать дело, из которого ему велели составить экстракт: это будет для него интереснее и полезнее. А как он занят собой, если б ты знала! Сколько времени он каждый день стоит перед зеркалом! Право, его туалет длится гораздо дольше моего, и не муж меня ждет, а я должна ждать его, когда мы собираемся ехать куда-нибудь вместе.

Слышу, что ты говоришь мне: «Должно быть снисходительнее к этим мелочам, особенно в муже: у каждого есть свои недостатки... и на солнце есть пятна...»

Знаю, мой друг, знаю и верю, что муж мой est un exellent homme au fond...[1] Мне самой больно и досадно на себя, что я стала такой капризной, сварливой, придирчивой! Но как же быть мне? Как освободиться от всех этих качеств, не только неприятных, даже отвратительных в женщине? Куда бежать от гнетущей меня невыносимой тоски?.. Ради бога, подай мне совет, мой единственный, мой добрый друг, Аннета! Умоляю тебя, пиши ко мне скорее, что ты думаешь обо всем этом. Не заставь меня долго ждать, не заставь сомневаться в твоей готовности помочь мне. Каждая минута ожидания будет для меня веком. Любящая тебя беспредельно

Вера.

---

[1] В глубине души превосходный человек *(фр.)*.

P. S. Когда я прочла это письмо, я увидела, как оно длинно и как бессвязно. Я писала его в несколько приемов. Меня не раз отвлекали от него, и потому ты простишь меня... Боюсь одного, разберешь ли ты, будешь ли ты иметь терпение докончить это маранье...»

Письмо Василия Михайловича к Околесину.

«Пишу тебе немного, любезный мой Околесин, потому что скоро надеюсь сам увидеть тебя. Матушка, как тебе уже известно, скончалась, и мне нечего больше делать здесь; однако ж и в Петербурге намерен пробыть недолго. Я писал уже тебе, что я сошелся здесь с одним добрым, прекрасным человеком, в семействе которого жила моя матушка, и был принят как родной. Это старик Т***. Он недавно получил наследство на юге, в Малороссии, и предлагает мне ехать с ним туда, в качестве домашнего учителя его маленьких сыновей, и также для того, чтоб помогать ему, сколько могу, в управлении имением. Я принял это предложение с охотой, хотя на последнее дело не чувствую в себе большой способности. Я это сказал ему; он отвечал, что если это мне наскучит, то он тотчас же оставит меня в покое, и только умолял не отказываться ехать с ним. Он очень меня полюбил, не знаю за что. Это редкий старик: несмотря на то, что ему скоро пятьдесят лет, душа его сохранила много юношеского, много теплоты и сочувствия ко всякому благому делу. Жена у него — простая, добрая женщина, которую муж далеко опередил в образовании, но у которой есть верный женский инстинкт, умеющий отличать истину и многое заменявший ей в жизни. Существо в высшей степени любящее, она посвятила себя воспитанию своих детей, и стоит только взглянуть на них, чтоб тотчас же понять, что воспитание их слишком разнится от того, которое дается в большей части русских семейств, особенно живущих по деревням и в провинции. Нужно было видеть, как эти превосходные люди приняли горячо к сердцу мое горе. Правда, они сами все очень любили мою покойную матушку. Жена Т***, еще до своего замужества будучи очень бедной девушкой, сиротой, познакомилась с матушкой, жила у ней и была ей несколько обязана. С тех пор они постоянно находились в самых дружеских отношениях. Воспитанница Т***, Катенька Горева, резвая пятнадцатилетняя девушка (я и забыл тебе сказать о ней), находящаяся у него под опекой, также обнаруживала к матушке во все про-

должение ее болезни самую нежную заботливость, самое непритворное участие. Она не отходила от постели больной, подавала ей лекарства, старалась утешать ее и развлекать веселыми россказнями. Катеньку нельзя было узнать во все это время; она так умела переломить свой бойкий, веселый характер, что я удивился ее твердости. Обыкновенно она прыгает, скачет, хохочет без умолку, дразнит попугая или собаку — словом, шумит с утра до ночи. Недели за две до матушкиной кончины ее вдруг стало вовсе не слышно: она совершенно притихла и по целым часам сидела за книгой или пяльцами. Когда матушка умерла, она плакала о ней, как можно только плакать о самом близком существе. С этих пор я помирился с Катенькой; но прежде она решительно надоедала мне: бывало, не даст ничем заняться, непременно постучится в дверь и вбежит под каким-нибудь предлогом; то ей нужно карандаша, то она забыла свои часы завесть и пришла посмотреть сколько на моих, то просит книжку почитать и непременно стихов, которые она потом заучивала наизусть и пресмешно декламировала мне. Не знаю почему, но в присутствии этого ребенка робость моя совершенно исчезает: я забываю, что я с глазу на глаз с женщиной, сам шучу и болтаю разные пустяки. Это, я думаю, именно оттого, что она еще ребенок. Опека ее кончится не прежде, чем через полтора года. Богатая невеста будет... Я думаю, женихи не заставят ждать себя, особенно если ее привезут в Петербург.

Итак, друг мой Околесин, мы скоро увидимся... Ты ведешь теперь уже не ту безалаберную, кочующую жизнь, какую вел, когда мы расстались: ты женат, несмотря на свой скептицизм в отношении к прекрасному полу, и, как из письма твоего видно, доволен своей участью. Завидую тебе, тысячу раз завидую. Я бы тоже был доволен своим теперешним существованием и не прочь бы остаться в этом городке, где нахожусь, если только подле меня так же было постоянно любящее, милое моему сердцу создание... Но, видно, этим мечтам не суждено перейти в действительность!.. А что-то делает моя назнакомка? Она тоже, может быть, замужем, и почти наверное. Счастлива ли *она*? Оставил ли в ней наш трехдневный роман хоть маленький след, хоть какое-нибудь воспоминание?.. Иногда я целые дни просиживаю в раздумье об ней. Кажется, мне никогда не забыть этого светлого, грациозного образа, на миг озарившего светом любви мое бедное, темное существование... Тоска нестерпимая находит на меня по временам... Боже мой! Если б я мог еще раз встретить ее, когда вернусь в Петер-

бург! Едва ли... Я пробуду там не более недели, и притом я связан словом, дал обещание — не стараться даже видеть ее. Я выезжаю отсюда через неделю, несколькими днями раньше семейства Т***, которое хочет еще заехать по дороге куда-то в деревню, к каким-то родственникам. Мы сойдемся в Петербурге и отправимся все вместе. Прощай, мой любезный и добрый друг. Нетерпеливо жду минуты, когда опять пожму тебе крепко руку.

Преданный тебе навсегда и всем сердцем

Василий Ломтев».

V

МАСКАРАД

В Большом театре давали «Соннамбулу», эту оперу влюбленных и мечтателей по преимуществу, где душа чахоточного маэстро, кажется, вылилась вся в страстно-меланхолических звуках. Хотя уже не было магического, глубоко-потрясающего голоса Рубини, но знаменитое questo pianto[1] не утратило своего влияния на слушателей и отдавалось страшным, глухим рыданием в их замирающих сердцах... Василий Михайлович, только что возвратившийся из провинции, тоже сидел в креслах. Он внимательно слушал беллиниевскую музыку, но глаза его смотрели на сцену: через несколько кресел от него в бенуаре сидели две женщины, одна пожилая, другая очень молоденькая. Первая, казалось, очень мало обращала внимания на то, что происходило на сцене, и то и дело наводила огромную костяную трубку на разных зрителей, помещавшихся в партере, преимущественно же на эполеты. Вторая, напротив, не спускала со сцены глаз и сидела неподвижно, подперев щеку рукою. Одета она была очень просто, и простота эта еще рельефнее выдавалась подле вычурного, безвкусного наряда ее приятельницы, которой короткие рукава и открытый лиф обнаруживали не совсем роскошные, не поражавшие особенной белизной руки и плечи. На молодой женщине было розовое, шелковое платье, robe montante[2]; чепчик с белыми лентами сидел так кокетливо на голове ее и отличался необыкновенной грациозной и легкой формой. На плечах у нее накинута была черная бархатная мантилья; белая лай-

[1] Это страдание (*ит.*).
[2] Закрытое платье (*фр.*).

ковая перчатка обтягивала маленькую ручку, державшую золотую с эмалью лорнетку. На эту-то женщину устремил Василий Михайлович пристальный неподвижный взгляд, и по выражению лица его можно было заметить, что созерцание это не только не мешает ему слушать музыку, но что каждый аккорд, каждая нота глубоко вонзаются в его сердце и причиняют ему какую-то сладостную боль...

Василий Михайлович узнал в молодой женщине Верочку. Он не искал этой встречи: должен ли он был видеть в этом какое-то таинственное предопределение и, уступив влечению страсти, изменить своему обещанию, подойти к этой женщине, заговорить с ней, напомнить о себе или бежать вон из театра, пока она не заметила его?.. Как человек слабый, без воли, Василий Михайлович не решился ни на то, ни на другое, а выбрал среднее, т. е. решил не заговаривать, но и не уходить из театра.

Занавес упал при громких криках и аплодисментах густой толпы. Василий Михайлович один сидел в прежнем положении. Верочка обернулась в его сторону; глаза ее рассеянно скользили по лицам, ее окружавшим, и вдруг остановились на нем: она узнала его... Румянец вспыхнул на щеках ее; она быстро отвернулась по какому-то невольному, инстинктивному движению и заговорила со своей соседкой... Я бы желал подслушать, что говорится в подобных случаях: это очень любопытно... Верочка сказала, может быть, что «Сомнамбула» прекрасная опера или что в театре чрезвычайно жарко. Соседка ее, казалось, не сочла слов этих даже достойными ответа, потому что кивнула ей слегка головой и продолжала смотреть на шумный партер.

«Она даже не поклонилась мне! — подумал Василий Михайлович,— ее рассердило мое появление... не уйти ли?..»

И между тем взоры его как будто были прикованы к Вере Николаевне: он уже не видел лица ее, потому что она встала и, повернувшись к партеру спиной, начала разговаривать с каким-то молодым человеком в палевых перчатках и круто завитым, который только что вошел в ее ложу.

Василию Михайловичу сделалось досадно, зачем она разговаривает с молодым человеком... «Впрочем, может быть, это муж!» — произнес он про себя и тотчас же устремил на него свою маленькую черную трубку.

«Что ж? — продолжал он внутренно рассуждать сам с собой.— Он молод, хорош... только, кажется, должен быть фертик такой; едва ли он сделает ее счастливой... Странно, однако ж: она описывала мне его на первом свидании

нашем человеком солидным, деловым, а это фигура вовсе не делового человека...»

Тут у Василия Михайловича явилась мысль узнать, как фамилия Верочкина мужа, и он потихоньку, осторожно пробравшись по своему ряду и несколько раз извинившись, хотя ровно никого не задел, отправился в кассу. Во все время, пока он шел к выходу, не спускал он глаз с заветной ложи. Василий Михайлович страх боялся, чтобы Вера Николаевна как-нибудь не уехала, пока он пойдет осведомляться о ней... Ему так хотелось хоть один раз еще полюбоваться на это милое личико!..

«Подожду только, пока она обернется,— уверял он себя в продолжение всего спектакля,— взгляну на нее еще и потом сейчас же уеду...»

Она обертывалась, он глядел — и потом опять оставался.

В кассе сказали Василию Михайловичу, что эта ложа взята баронессой Г***.

«Баронессой Г***,— повторил Василий Михайлович, возвращаясь к своему креслу.— Так вот оно как — баронесса!.. Может быть, оттого-то она и не поклонилась... Боже мой! Неужели в этом светлом, в этом прелестном создании столько мелочного тщеславия?.. Нет, не верю, не верю! Она просто меня не заметила, не узнала...»

Все это, однако ж, весьма грустно настраивало Василия Михайловича. Он погрузился еще в бо́льшую задумчивость и, слушая «Perche non posso odiar ti» [1], чуть не плакал.

По окончании оперы Василий Михайлович пошел за Верой Николаевной и ее приятельницей на подъезд, закрыв себе лицо воротником шинели, так что его нельзя было узнать. Он поместился за колонной позади обеих женщин, с намерением шмыгнуть к дверям, когда закричат карету баронессы, чтобы в *последний раз* взглянуть хоть на профиль Верочки.

В ожидании кареты между дамами завязался разговор. Василий Михайлович прислушался.

— Вы заедете за мной завтра? — сказала Верочка, обращаясь к своей спутнице.

— Непременно. A quelle heure irons nous? [2]

— A quelle heure ca commence? [3]

— Да, кажется, в 11. Аллегри будет разыгрываться в 12. Я приеду в половине первого.

---

[1] Почему не могу ненавидеть тебя *(ит.)*.

[2] В котором часу мы пойдем? *(фр.)*

[3] В котором часу начинается? *(фр.)*

— Хорошо. Я буду ждать.

— Et votre mari?[1] Неужели и он с нами?

— Нет, он не любит... Да бог знает зачем и я еду... если бы не вы...

— Уж я ручаюсь, что вам будет весело.

— Еще, может быть, я передумаю...

— Ну, вот! Нет, вы непременно должны ехать, вы дали слово... не то j'enleve cotre mari[2], чтоб не входить одной.

— Пожалуй... et puis je me sens mal aujourdhui...[3]

— Э! Это пройдет...

— Карета баронессы Г***! — раздался голос жандарма.

— Allons, allons[4],— сказала Верочка, схватив свою спутницу за руку и таща ее к дверям.

Верочка прошла мимо Василия Михайловича, не заметив его.

Он вышел вслед за ней и побрел домой. Василий Михайлович только утром того дня возвратился в Петербург. Он остановился уже не на Острову, а в одном отель-гарни, в котором еще прежде нанимал комнату. Он думал было воспользоваться приглашением Околесина и остановиться у него, но, вспомнив, что тот женился и что, следовательно, ему придется быть постоянно в женском обществе, струсил и отправился к своей прежней знакомке, отдававшей внаймы нумера. Притом же он думал, что, может быть, это приглашение Околесина было только обыкновенной учтивостью и что присутствие постороннего лица может стеснить женатого человека. Вследствие всех этих рассуждений он положил не переезжать к Околесину, но через два часа после приезда пошел к нему повидаться. Околесина не было дома. Василий Михайлович не велел человеку говорить о себе, намереваясь на другой день опять зайти к своему приятелю. Завернув на обратном пути в кондитерскую, он увидел на афише, что итальянцы поют вечером «Сонамбулу», и как эта опера была одной из любимых его опер — он даже играл из нее лучшие места на скрипке,— то и решился ее послушать. Как назло, билетов в галерею пятого яруса, куда Василий Михайлович обыкновенно отправлялся, не оставалось уже, и он принужден был взять себе кресло. Застань он Околесина дома, он, верно, пригласил бы его вечером, и Василий Михайлович вовсе не пошел

---

[1] А ваш муж? *(фр.)*

[2] Я похищаю вашего мужа. *(фр.)*

[3] И потом сегодня я себя плохо чувствую *(фр.)*

[4] Пойдемте, пойдемте *(фр.)*.

бы в театр. Найди он билет в галерею, он не увидел бы Верочки. Известно, что холодность любимого предмета, так же как и всякие другие препятствия, только сильнее воспламеняет человека и делает его способным на такие похождения, на которые бы он, при обыкновенном ходе вещей, никак не отважился. Так случилось и с Василием Михайловичем: ему страх захотелось узнать — отчего ему не поклонилась Верочка... Если она сердится на него, думает, что он обманул ее и вовсе не уезжал, то следовало оправдаться. Если она просто не заметила его, то все-таки он бы очень желал знать, как бы она поступила в таком месте, где бы нельзя было не заметить его... Нужно еще как-нибудь встретиться с ней... Василий Михайлович никогда не ходил в маскарады, и уж одна мысль о белых перчатках, которые нужно было для этого натягивать, о живой и, вероятно, весьма насмешливой болтовне масок, которые решительно поставили бы его в тупик, если б вздумали с чем-нибудь адресоваться к нему,— одна уже эта мысль бросала его и в жар и в холод. Но на этот раз Василий Михайлович начал колебаться, не идти ли ему в маскарад, начал задавать себе вопрос: имеет ли он право быть в маскараде, он, пренебрегающий светскими наслаждениями, и не оскорбит ли уже одна его смиренная, меланхолическая фигура веселой толпы, стремящейся в маскарад, чтобы позабыть, посреди интриг и интрижек всякого рода, все маленькие и большие житейские неприятности, все скучные и серьезные дела?.. Долго, подобно Гамлету, задавал он себе классический вопрос — быть или не быть, и не мог решиться. Он сделал карандашом на клочке бумаги расчетец, во что может стоить ему этот вечер, с извозчиками и с покупкой белых перчаток, и увидел, что сумма денег, потребных на все издержки, не выходила из пределов возможного, придумал несколько весьма удачных фраз, которые бы он отпустил, если б к нему подошли какие-нибудь резвые маски с обычным приветом: «Я тебя знаю», взвесил все шансы pro и contra, и, однако ж, все еще не чувствовал в себе довольно сил, чтоб разрешить трудную задачу, чтоб произнесть окончательно: да или нет!.. Нужно было для этого другое, постороннее беспристрастное лицо; это лицо он нашел в хозяйке своей, добрейшей немке. Да не подумает кто-нибудь, что он поведал ей все тайны своего сердца — нет! он сделал ее только орудием жребия, глашатаем его воли, т. е. дал доброй немке в руки три конца своего красного носового фуляра, на одном из которых завязан был узелок, и, зажмурившись, дернул...

Узелок означал *да*, и Василий Михайлович, выдернув его, решился ехать.

В каком-то опьянении, не помня сам себя, купил белые перчатки, подстриг и немного подвил свои волосы и, проходив два часа по Невскому, возвратился к себе домой. Тут раздумье взяло его снова...

«Зачем я иду? — спрашивал он сам себя.— Я не увижу ее, если она и будет там: маска скроет от меня прелестные черты ее. А если она сама подойдет ко мне, заговорит со мной... О! за один час разговора с ней я готов пожертвовать всем — не только какими-нибудь привычками, но и всей жизнью моей!.. Да, я не верю, чтоб она заметила меня в театре... Может быть, она позволит мне явиться к ней... может быть, позволит мне называться ее другом? Разве этого уже не довольно? Разве для этого я не готов отказаться от поездки своей?.. Да! Решено. Я буду, я должен быть там...»

В одиннадцать часов Василий Михайлович был уже в маскараде.

Он пришел очень рано; в зале прохаживались только несколько масок, с которыми, покручивая усы, любезничали черкесы. Василию Михайловичу сделалось очень скучно; он сел и, убаюканный звуками военного оркестра, погрузился в мечты. «Каким образом мне узнать ее, когда она войдет? — думал он.— Правда, их войдут две... но ведь мало ли масок входят по две?.. Мне кажется, сердце должно подсказать мне... и притом ее ручка не имеет себе подобных... Я сейчас же узнаю эту дивную ручку... Боже мой, как быстро, однако ж, прибывает народ!.. Ну, что, если эта зала наполнится вся?.. Меня опять могут не заметить в толпе... Зачем я пришел сюда?..»

Зала, действительно, с каждой минутой наполнялась все больше и больше. Маскарад начинал оживляться. Повсюду смех, шум, говор... Василий Михайлович был выведен из задумчивости довольно забавным, хотя и очень коротким разговором, происходившим у него под самым носом. Какой-то смуглый, черноволосый молодой человек, в очках, с добродушной, открытой физиономией, и толстый не по летам, прохаживался один, заложив правую руку за свой белый жилет и беспрестанно кивая головой разным знакомым, которых у него оказалось гибель. Вдруг какая-то маска в довольно изящном домино, но с морщинистой и набеленной кожей на полуоткрытом лбе, тихонько ударила его сзади по плечу и произнесла:

— Я тебя знаю...

Толстый молодой человек посмотрел на нее и очень серьезно отвечал:

— Это не делает тебе чести, потому что я незнаком с порядочными женщинами.

Маска отошла, пробормотав: «Mauvais sujet»[1], при общем смехе окружавших молодого человека приятелей... Василий Михайлович тоже рассмеялся и, поднявшись с места, пошел бродить, стараясь по каким-нибудь признакам узнать ту, для которой пришел, и мимоходом подслушивая отрывистые, летучие фразы. Он обошел два раза вокруг залы и уже хотел подняться наверх, чтоб посмотреть, что делается в фойе, как столкнулся с Околесиным, который влек за собой маску в голубом атласном домино...

— Боже мой, Ломтев! — воскликнул Околесин остановясь.— Вот забавно! Да как ты здесь? Давно ли приехал?..

Маска между тем лорнировала Василия Михайловича, который совсем сконфузился...

— Да... я вчера только приехал; я был у тебя, но не застал дома...

— Заходите завтра, пожалуйста, да только вечером: по утрам меня не бывает... До свидания... Встретимся еще?

Эти последние слова Околесин произнес, уже отойдя от своего приятеля на несколько шагов и делая ему рукой прощальный жест...

«Это, верно, жена его,— подумал Василий Михайлович,— должно быть, очень хорошенькая, сколько можно судить по нижней части лица... и такая стройная талия... Счастливец, Околесин!»

Василия Михайловича опять начала одолевать хандра, и он решился, пройдя раз по фойе, отправиться домой.

На площадке было рассеяно несколько групп... Какие-то две маски очень маленького роста, схватив под руки белокурого юношу с миниатюрной, сладенькой физиономией и которого они называли Колей, бежали к буфету.

— Дай мне лимонаду, Коля! — пищала одна.— Я так вспотемши!..

— А мне яблока, Коля! — говорила другая...

Какая-то маска, довольно плотного и, должно быть, весьма сантиментального свойства, таща за собой молоденького моряка, которого

...ланиты
Едва пух первый оттенял,

говорила ему жеманно и нараспев:

[1] Человек с плохой репутацией *(фр.)*.

— Я вижу, воспитанник бури, что сердце твое еще не испытывало любви?..

Молодой человек, казалось, не совсем довольный эпитетом воспитанника бури и, заметив на губах Василия Михайловича, шедшего подле них, улыбку, от которой тот не мог удержаться при словах маски, сказал:

— Убирайся ты, маска, со своей чепухой...

— Ах, боже мой! — возразила маска, закрываясь в порыве стыда рукой.— Какой недоступный...— И потом, устремив на Василия Михайловича сладкий взор, прибавила что-то, как будто мимоходом...

Василий Михайлович, как видно, не чувствовал большого расположения продолжать разговор и повернулся было к дверям, как вдруг черное домино с пунцовыми лентами взяло его за руку и тоненьким, едва слышным голосом сказало:

— Пойдем в залу... здесь холодно... я хочу говорить с тобой...

Сердце Василия Михайловича сильно забилось.

«Это она,— подумал он,— непременно она: как она ни старается переменить голос, я узнаю ее».

— Тебя давно не было видно,— сказало домино, когда они пришли в залу.— Правда ли, что ты был влюблен?..

— Может быть,— отвечал смущенный Василий Михайлоич,— только «был» тут не нужно.

— А! Ты влюблен до сих пор? Это, впрочем, немудрено было отгадать по твоему грустному виду: ты бродил целый вечер один, бледный, как статуя командора.

— А вы меня давно заметили?..

— Во-первых, в маскараде не говорят *вы*... Пари держу, что ты не любишь маскарадов, никогда не бываешь в них и сегодня пришел, потому что *она* назначила тебе здесь rendez-vous?

— Первое справедливо: я не люблю маскарадов; но свидания не назначал мне никто...

— Зачем же ты пришел сюда?..

— Надеюсь ее встретить...

— Но как же ты узнаешь ее под маской?..

— Я и сам не знаю... Какой-то таинственный голос шептал мне: «Иди, ты увидишь ее...» И я решился пойти...

— Вы давно не видались?

— Давно... потому что меня не было в Петербурге.

— А! Ты уезжал! Я предчувствую, что тут целый роман. Знаешь ли, я большая мечтательница и люблю создавать себе разные романы. Иногда мне случалось угады-

вать... Посмотрим, не угадаю ли я теперь. Та, которую ты любишь — девушка...

— Первая ошибка! Теперь она замужем.

— Ну, верно, была еще девушкой, когда ты влюбился в нее?

— Да...

— Какие-нибудь обстоятельства разлучили вас... воля родителей, может быть, недостаток состояния с чьей-нибудь стороны...

— Этот роман случается слишком часто, однако ж это не мой роман. Препятствия были, но она сама причиной их...

— Так это любовь безнадежная... она не любит тебя?

— Не знаю. Впрочем, на что вам... на что тебе знать все это?

— Может быть, я могу помочь тебе... Я страсть как люблю помогать влюбленным... Скажи же мне, отчего ты уезжал...

— Оттого, что меня призывали домашние дела.

— Так не любовь заставила тебя уехать?

— Поводом к этому была не любовь, но я ухватился за случай и хотел вовсе не возвращаться сюда или возвратиться только тогда, когда пройдет эта любовь, чтоб не нарушить спокойствия любимой женщины...

— Однако ж ты возвратился... Я не могу понять тебя... если ты возвратился, значит — любовь твоя прошла, а ты мне сказал уже, что ты влюблен до сих пор.

— Я здесь только на несколько дней и потом навсегда или, по крайней мере, очень надолго уеду опять...

— *Она* знает, что ты здесь?

— Нет, и дай бог чтоб не узнала!.. Я уже раскаиваюсь, что пришел сюда ..

— Славный комплимент твоей маске! — сказало домино, засмеявшись...

— Нет, я не так выразился,— возразил смущенный Василий Михайлович.— Я хотел сказать, что мне не следовало являться сюда... потому что я дал обещание не преследовать ее: пусть же она, по крайней мере, не знает, что я изменил обещанию... Больше нам негде встретиться...

— Почему же ты думал, что она будет здесь? Разве она так любит маскарады?

— Нет, я узнал случайно... Вчера я встретил ее в опере; она не поклонилась мне, не хотела узнать меня. Из этого я заключил, что она или сердита на меня, или успела уже позабыть обо мне. Если она сердита, если она думает, что

я вовсе не уезжал, что обманул ее, то мне хотелось разуверить ее; я не хочу, чтоб она унесла обо мне дурное воспоминание. Если ж она позабыла обо мне, значит, я могу оставаться в Петербурге. На подъезде я подслушал разговор ее с другой дамой и узнал, что она будет в маскараде. Долго колебался я — идти или нет и, наконец, решился. Предчувствие меня не обмануло. Она, вероятно, здесь, но не хочет заговорить со мной... А если б она только знала, как много счастья может дать мне одно слово, один взгляд ее!..

— Так ты остаешься в Петербурге? — спросила маска помолчав.

— Не знаю еще... не думаю. Впрочем, меня зовут ехать на юг России, дают мне место...

— Когда же ты хочешь ехать?

— Может быть, скоро... через неделю или через две.

Маска молчала несколько минут и потом тихо, голосом, выражавшим душевное волнение, спросила:

— И ты бы очень хотел ее видеть еще? Говорить с ней?..

— О! Чего бы не отдал я за это счастье! Я хотел бы только сказать ей, что я все еще люблю ее, что свято помню данное слово, что готов для нее на все: спросил бы, счастлива ли она с тем, кого судьба послала ей спутником в жизни; напомнил бы ей еще раз, что она имеет во мне верного друга, которому может протянуть руку во всех несчастиях, который радуется всем ее радостям... Но я слишком увлекся грезами... я не увижу ее до отъезда.

— Послушай, что, если я возьмусь помочь тебе?..

— Ты?

— Да. Тебе не верится?

— Да ты не знаешь еще, кто она. и я тебе не могу сказать этого по самой простой причине — потому что и я не знаю.

Маска усмехнулась.

— Я не требую... я знаю сама и говорю, что доставлю тебе случай видеть ее, говорить с ней...

— Как?.. Но нет, я не решусь явиться еще раз никуда. Если я не видал ее сегодня, то пусть так и останется. Притом же, где бы я ни встретил ее, я сам не осмелюсь заговорить с нею; а ждать, чтобы она заговорила сама, невозможно, потому что она имела случай сделать это сегодня — и не сделала.

— Если я поручусь тебе, что она подаст тебе руку и скажет: «Я не могу разделять любви вашей, потому что

связана долгом, обязанностями, которые должны быть для меня святы, но я прошу вас быть моим другом, как я буду вашим; если вы в самом деле любите меня и дорожите моим спокойствием, то не будете никогда говорить мне о своей любви; мы будем видеться, встречаться, как старые знакомые; я даже представлю вас своему мужу, если вы захотите этого, но дайте мне слово исполнять мои условия?»

Эти слова были произнесены уже не пискливым, поддельным голосом: маска изменила себе, и Василий Михайлович услышал знакомый, серебряный голосок, полный такой задушевности, такого искреннего участия... Он крепко сжал руку своей маске... Она прибавила:

— Что бы ты отвечал этой женщине?..

— Я отвечал бы, что она делает меня счастливейшим из людей, что я остаюсь здесь и клянусь ей никогда, ни одним неосторожным словом не возмущать ее спокойствия...

В эту минуту они вошли в одну из зал фойе. Там было пусто. Василий Михайлович воспользовался этим случаем, чтоб с жаром поднести к губам руку своей маски...

— Что это? — сказала она ему.— Ты, кажется, вообразил себе, что *она* говорит с тобой и говорит именно то самое, что придумало мое воображение...

— Да! Я говорю с ней, я не ошибаюсь — и я счастлив, невыразимо счастлив... Если б я только мог увидеть эти черты...

— Полно, полно! Уверяю тебя, что ты ошибся.

Маска старалась принять свой прежний тон, но он не удавался ей; смех ее дышал притворством.

— Нет! Никто не разуверит меня. Мне слишком хорошо известны звуки этого голоса, знакома эта рука... И как могло постороннее лицо знать мой роман?..

— Нечего было знать — ты сам все рассказал мне; немного нужно было воображения, чтоб отгадать самой все остальное... А от нее разве я также не могла узнать всего этого? Разве она не могла показать мне тебя здесь и поручить мне?..

— Нет, нет, нет, Вера Николавна! Полноте...

Он не успел договорить, как в залу вошло голубое домино, которое Василий Михайлович встретил несколько времени назад с Околесиным; оно обратилось к даме Василия Михайловича и сказало:

— Votre mari vous cherche... il part... restez vous? [1]

— Non, non...[2]

[1] Ваш муж вас ищет. Вы остаетесь? *(фр.)*

[2] Нет, нет... *(фр.)*

Она пожала руку Василия Михайловича и тихо произнесла:

— В четверг я опять буду здесь...

— Но до четверга — целая неделя! — возразил было Василий Михайлович, но его уже не слыхали. Он простоял с минуту на одном месте, и когда маски исчезли у него из глаз, пошел в сени отыскивать шинель, довольный тем, что не попусту был в маскараде.

На другой день вечером он отправился к Околесину и нашел его сидящего в прекрасно убранном кабинете, перед камином с сигарой в зубах.

— А! Ломтев! — воскликнул он, вскакивая с места и обнимая приятеля.— Как мне жаль, что вчера я не успел хорошенько поговорить с тобой! Давно ты здесь?

— Только два дня.

— Зачем же ты не остановился у меня?..

— Благодарю тебя, но я боялся быть тебе в тягость.

— Какой вздор! Я был бы очень рад, и жена тоже; у нас есть комната совершенно лишняя, хоть в наймы отдавай; ты бы мог прекрасно в ней расположиться. И нам очень бы весело было втроем... Переезжай-ка!

— Нет, уже не стоит, зачем же? Я здесь, может быть, не долго останусь.

— Э? Так ты принял предложение этого старика... как бишь его... о котором ты мне писал?

— Да... то есть, вот видишь, я еще не совсем решился... особенно со вчерашнего дня решение мое несколько поколебалось.

— Не с маскарада ли? Как это туда тебя занесло? Ты, братец, меня так поразил... Ломтев в маскараде! Да никто из твоих знакомых не поверит этому, если рассказать.

— Я и сам дивлюсь, как у меня достало духа... Впрочем, я не раскаиваюсь...

— Уж не завел ли ты в эти два дня какой-нибудь интрижки? Может, в губернии-то ты пообтесался...

— Нет, это продолжение моей старой истории... помнишь?..

— Старой? — произнес с расстановкой Околесин, припоминая, о чем говорит Василий Михайлович.— А! Вспомнил; это та девочка-то, к которой ты за очками ходил?..

— Да, только она теперь замужем.

— А знаешь ли что? Я по твоим письмам думал, что ты влюблен в ту девочку, которая за твоей матерью, во время ее болезни, ходила...

— В Катю? Нет! Я не переставал думать о той...

— Ну, что же, рассказывай; она подошла к тебе сама, была, конечно, очень довольна, что ты уезжал для нее,— ведь, надеюсь, что ты сказал, что ты для ее спокойствия уезжал — и еще больше довольна, что ты скоро возвратился... «будучи не в силах долее выносить с ней разлуку». Так ли?

— Ты совсем не так смотришь на вещи. Это отнимает у меня охоту тебе рассказывать.

— Нет, нет, продолжай. Мне очень любопытно знать развязку этого приключения.

— Да развязки-то еще нет... и не будет. Это добродетельнейшая женщина в мире; она не изменит своим обязанностям...

— Ты в этом убежден?.. Не просила ли она тебя опять уехать?

— Нет, я вижу, что она не хочет, чтобы ей приносили жертвы; она позволяет мне остаться, позволяет быть ее другом, но требует, чтобы я никогда не возмущал ее спокойствия словом любви... и я затаю ее в глубине души...

— Да уж коли она сама начала говорить тебе, коли предлагает тебе дружбу, так уже кончено! Ну, может ли существовать дружба между молодым человеком и хорошенькой женщиной?.. Ну, подошла ли бы она к тебе, если б была в самом деле добродетельнейшая женщина в мире, как ты говоришь?..

— Это ровно ничего не доказывает. Если она чувствует ко мне хоть немножко любви, то очень понятно, что ей хотелось знать, отчего я так скоро воротился, не охладела ли совершенно страсть моя или не обманывал ли я и не оставался ли в Петербурге... Притом же она вела разговор осторожно, не высказывалась долго и, наконец, не могла выдержать...

— Все это тебе так только кажется...

— Что же, по-твоему, мне делать должно?..

— Бухнуть при первом же свидании любовное объявление, сказать, что не чувствуешь себя способным к дружбе.

Долго еще Околесин давал Василию Михайловичу подобные наставления и, наконец, прощаясь с ним, сказал:

— Не советую тебе, любезный друг, пренебрегать и поездкой на юг: это здоровью твоему сделает пользу. Да и Катенька-то... знаешь, ведь богатая наследница, брат! Нужно быть практическим человеком...

— Неужели ты считаешь меня способным жениться из-за денег?..

— Да не из-за денег... кто ж тебе говорит?.. А понравиться может, как и всякая другая. Деньги же, право, ничему не помешают... Напротив, дадут тебе средство осуществить многие из твоих задушевных помыслов, которые ты до сих пор считал мечтами. А эта женщина стоит ли, чтоб для нее жертвовать будущим?.. Кокетка... уж по всему видно, что кокетка... Ну, скоро ли ко мне завернешь? — прибавил Околесин, когда Василий Михайлович был уже в передней и надевал шинель.— Мне жаль, что я тебя нынче не мог жене представить: она занемогла, бедняжка,— простудилась вчера в маскараде проклятом...

— А она тоже с тобой была в маскараде?.. Это голубое домино...

— Нет, нет — это одна ее знакомая... Ну, прощай... А, право, переселился бы ко мне... хоть и ненадолго, все равно. По крайней мере, чаще будем вместе...

— Хорошо, я посмотрю... не говорю наверное.

Они пожали друг другу руки.

Неделя для Василия Михайловича прошла в томительном ожидании, в непрестанном обдумывании плана своих действий. Он в первый раз колебался, не послушаться ли ему советов Околесина, которых он до сих пор никогда не считал серьезными. Боязнь показаться действительно смешным в глазах молодой женщины, недоверие к своему знанию жизни — все это очень смущало и тревожило бедного Василия Михайловича...

Роковой день маскарада застал его еще в раздумье. Наконец, он отдался на волю судьбы и, не гадая ничего заранее, решился действовать так, как настроят его впечатления.

VI

БРАСЛЕТ

Выдержка из дневника Верочки

«Боже мой, боже мой! Какой тревожный, мучительный сон! И как я рада, наконец, своему пробуждению! Долго, может быть, целую жизнь не позабыть мне этих тягостных ощущений, положивших меня, наконец, в постель... Но я встала победительницей — и на душе так легко, так светло и отрадно! Тихая сладкая грусть заменяет теперь мрачную тоску, раздиравшую мое бедное сердце. Я могу гордиться своей победой; я смело и без стыда смотрю в глаза мужу;

ласки его не заставляют меня больше содрогаться, не вызывают из глубины души язвительных упреков совести; поцелуи его не жгут меня, как раскаленное железо. Еще несколько дней — и, может быть, прежнее спокойствие совсем возвратится ко мне...

. . . .

Сегодня первый день, что я чувствую себя хорошо, но все еще слаба, и доктора запретили мне много ходить по комнате или долго чем-нибудь заниматься: они говорят, что я была очень плоха, что они боялись нервной горячки. Теперь *опасность* совсем миновала... Да, я сама сознаю это лучше их... Бедный муж мой был в отчаянии, он не отходил от меня. Сколько горя я причинила ему! Он приписывал всю болезнь мою простуде и проклинал маскарады... Если б он знал, как он был прав, проклиная их!

Я не решилась писать к Аннете обо всем, что случилось в последнее время. А она, бедненькая, так перепугалась за меня, так умоляла меня в последнем письме своем ничего не скрывать от нее!.. Когда она приедет ко мне, я перескажу ей все. Однако ж все эти чувства, все эти мысли, так волновавшие меня, не давая мне ни минуты покою, просились наружу... Я не могла схоронить их в себе; я должна была кому-нибудь передать их — и начала вести дневник... Но вот уже две недели как я не дотрагивалась до его листов. И как-то странно перечитывать мне все написанное... Теперь только вижу, в каком я была бреду...

Со дня представления «Сомнамбулы» этот бред идет все crescendo. Помню, какой трепет пробежал по моим жилам, когда я увидела его, сидящего в партере, с глазами, устремленными на меня.

Я не имела духа даже поклониться ему и невольно отворотилась.

В продолжение всего спектакля я была в каком-то опьянении. Я не слушала музыки, хотя и не отводила со сцены глаз... Мне казалось, что все окружающие замечают мое смущение, что они даже знают причину его и смотрят на меня с язвительными улыбками. Как я рада была моему глупому вздыхателю N, когда он вошел в нашу ложу! Я думаю, он пришел в восторг от моей приветливости, от моей с ним любезности — с ним, которого я всегда немилосердно преследую своими насмешками. Он не заметил моих лихорадочных судорожных движений, бессвязности моего разговора, даже беспрестанного повторения одних и тех же вопросов, на которые он отвечал с таким редким терпением — и с такой редкой глупостью!

Мне страшно хотелось узнать — какая причина возвращения в Петербург этого человека. Охладел ли он ко мне и потому считал свое присутствие здесь безопасным? Но взгляд его говорил другое: я не могла не прочесть в нем любви. Или не в силах он был оставаться долее в разлуке со мной и привязанность к матери не могла вытеснить из его сердца других привязанностей? Наконец, не обманывал ли он меня просто, говоря, что уезжает отсюда, чтоб выманить от меня лишнее свидание?..

Кто мог отвечать на все эти вопросы?.. Он один. Но как заставить его быть искренним? Для этого нужно было третье лицо — а я никому не хотела высказать своей тайны. Я встретила его на другой день в маскараде. Сердце мое замерло, когда я увидела его... Я долго колебалась, подойти к нему или нет, — и, наконец, решилась. Изменив, сколько могла, свой голос, я заговорила с ним, я старалась казаться равнодушной, даже несколько насмешливой, но обыкновенно это тогда и не удается, когда об этом стараешься. Я не думала, однако ж, что он ждал меня, что он пришел сюда для меня. Почему он мог думать, что я там буду? Я спросила его; он отвечал, что подслушал в сенях театра мой разговор с баронессой. Я попалась впросак: он мог подумать, что я заметила его в сенях и нарочно заговорила с баронессой о маскараде, в надежде, что он услышит и сочтет это за косвенный зов... Но делать было нечего, я стала допытывать его.

Он узнал меня, но тем не менее его слова были искренни. Не знаю почему, но я не могу не верить этому человеку. Какое-то тайное убеждение есть у меня, что он не лжет. Он сказал, что приехал сюда не надолго, что опять уедет куда-то на юг и уже бог знает когда возвратится; но перед отъездом ему хотелось видеть еще раз ту, которую он так внезапно и так сильно полюбил и для спокойствия которой готов на всякую жертву...

Мне стало жаль его; мне стало досадно на себя, что я так жестоко поступала с ним до сих пор... Нет, сказала я себе, если он так великодушен, что считает для себя законом волю любимой, но еще ничем не доказавшей ему любви своей, женщины, какие бы жертвы ни заставляла его приносить эта воля, если он так великодушен, то и я должна быть достойна этого великодушия, должна иметь столько мужества, чтобы лицом к лицу бороться с опасностью и не лишать его последнего утешения, которого он вымаливает у меня, позволить ему видеться со мной, предложить ему свою дружбу...

Я решилась — и просила его не уезжать.

Наш разговор был прерван; баронесса сказала, что муж мой едет домой и она тоже. Я не могла оставаться одна и шепнула своему влюбленному: «До следующего маскарада, в четверг!»

Этот второй маскарад решил все...

Пробило двенадцать. Мне нездоровилось. Я несколько простудилась в сенях после первого маскарада и всю неделю не выезжала. Однако ж, преодолев себя и не желая изменять данному обещанию, я отправилась. Он встретился мне, едва я вошла в залу. Я удивилась бледности и расстроенности его лица, спросила его, что с ним, здоров ли он. Он отвечал, что провел всю эту неделю в мучительном беспокойстве и нетерпении, думал, что не будет конца его ожиданиям: так хотелось ему скорее увидеть меня, говорить со мной... Я сняла маску, и мы сели в ложу.

Этот вечер напомнил мне сцену в нашем старом домике, на Песках, когда он явился за папенькиными очками. Он был так же бледен и в таком же волнении... весь дрожал, слезы катились по лицу его, что-то лихорадочное было заметно в его глазах и движениях. Говорил он с жаром, с увлечением, но бессвязно... Я старалась успокоить его и сказала: «Вы больны... В другой раз, когда вы будете спокойнее, я буду отвечать вам; теперь вы не в состоянии меня слушать; уезжайте... Когда-нибудь мы опять увидимся».

— Я умру... если вы отвергнете меня! — воскликнул он. — Сжальтесь! Меня никто не любил еще...

Наконец, чтоб кончить как-нибудь эту сцену, терзавшую меня, я сказала:

— Послушайте. Я не отвергаю вас... но, ради бога, ради вашей любви ко мне, кончимте теперь этот разговор... Я не запрещаю вам видеться со мной, но теперь вам нужно успокоиться...

— Когда же мы увидимся и где?..

— Завтра утром, в час, в нашем старом домике, помните, где было наше первое свидание... я буду ждать вас...

Сказав это, я поспешно вышла из ложи.

Возвратилась домой я встревоженная, больная и всю ночь не могла сомкнуть глаз. Мысль о завтрашнем свидании бросала меня то в жар, то в холод. Я не знала, идти мне или нет; несколько раз решала я, что не пойду; но бледные черты его, дышащие такой глубокой грустью, таким ужасным страданием, увлажненные глаза представали мне снова... я слышала его мольбы и рыдания: «Меня никто еще не любил! Я умру, если вы отвергнете меня!» раздава-

лось в ушах моих, и я изменяла решение... Изнеможенная этими ощущениями, этой тяжелой борьбой, я заснула только под утро, но через два часа проснулась опять и, увидев себя в зеркало, испугалась: меня поразило страшно болезненное выражение моего лица...

Муж хотел послать за доктором; я просила его не делать этого, что к вечеру все пройдет. «Я говорил тебе, что не нужно было ехать в маскарад, сегодня тебе хуже...» — сказал он. Он даже не хотел ехать в должность, но я отговорила его, и он уехал. Оставшись одна, я опять стала думать о предстоявшем свидании, беспрестанно взглядывая на часовую стрелку... Оставался еще час... Сердце мое сильно билось, грудь подымалась, голову давил как будто железный обруч, жилы на висках бились сильно и тяжело... Наконец, в каком-то безотчетном порыве бросилась я к письменному столу, вынула лист почтовой бумаги и начала писать...

Это было письмо к нему... Что заключалось в нем, мне трудно припомнить теперь; я помнила только, пока писала; когда же письмо было готово, я все позабыла... Знаю только, что я послала ему на память браслет с миниатюрным портретом моим, а дома сказала, что потеряла его в маскараде...

Я отослала письмо с прежней моей горничной туда, где назначено было сойтись. Она знает его в лицо и умеет молчать. Когда пробил час, у меня как будто отвалил камень от сердца. Но от беспрерывных и сильных потрясений я к вечеру слегла в постель... Приехал доктор и объявил, что у меня может открыться нервическая горячка.

Я пролежала три недели и, как говорят, в первые дни болезни была в сильном бреду. Муж не отходил от меня; я боялась, не высказала ли я ему своей тайны... До сих пор, однако ж, я не слыхала от него ни малейшего намека. Когда я на обычный вопрос: «Каково тебе?» отвечала: «Лучше», лицо его приняло такое радостное выражение, какого я еще никогда не видала на нем, и, поцеловав меня в лоб, он произнес сквозь слезы: «Ну, слава богу!»

Мне стало жаль моего бедного мужа. Если б он знал, какая гроза собиралась над головой его!

А *он?* Уехал ли он отсюда? И что с ним теперь?..»

Неделю спустя после свидания Ломтева с Околесиным, описанного мной в предыдущей главе, и на третий день после маскарада, который был причиной болезни Верочки и о котором читатели имеют понятие из ее дневника, Василий Михайлович снова явился к своему приятелю.

Околесин был что-то не в духе. Он по-прежнему очень обрадовался Василию Михайловичу, усадил его в покойные кресла, предложил трубку, но не торопился закидывать его вопросами об его интриге, не хохотал и вообще говорил как-то тише обыкновенного. Несколько минут разговор тянулся вяло и о таких предметах, которые, по-видимому, не интересовали ни того, ни другого. Околесин отвечал на вопросы Василия Михайловича рассеянно, часто не слыхал, что ему говорят, и от времени до времени поглядывал на дверь в соседнюю комнату.

Наконец, после некоторого молчания Околесин сказал Василию Михайловичу:

— Ах, да! Я и забыл расспросить тебя... Ну, что маскарад? Послушался ты моих советов?..

— Да, но они ровно ни к чему не повели. Я остаюсь при своем прежнем мнении, что это добродетельнейшая из женщин, и уезжаю через несколько дней. Семейство Т*** должно приехать сюда на этой неделе.

— Э? Счастливого пути, любезный друг! Хоть я бы и желал, чтоб ты еще пожил с нами, да делать нечего! Эта поездка будет тебе полезна — уж вспомни меня. Ну, а как же твой идеал? Твоя красавица?..

— Она назначила мне на другой день свидание — и не явилась...

— Может ли быть? Это, верно, только уловка, по всему видно, что она страшная кокетка...

— Перестань, Околесин, ты оскорбляешь эту женщину, оскорбляешь мою любовь. Брось свои понятия о женщинах, если понятия эти, действительно, таковы. Когда бы ты прочел письмо, которое она написала мне, ты бы не отзывался так о ней...

— Ну-ка, прочти, может, я и переменю свои понятия...

— Да что читать! Я знаю ответ твой заранее. Ты скажешь, что она хочет заинтересовать меня препятствиями, ты не поймешь всей искренности этого письма, всей глубины чувства, диктовавшего его, или, лучше сказать, не захочешь понять.

— Нет, совсем нет! — самодовольно улыбаясь, возразил Околесин.— Я не скажу этого... Я знаю, что много есть исключений... Ну, прочти же...

Василий Михайлович вынул из бокового кармана письмо и прочел:

«Я не могу, я не должна прийти на это свидание. Не обвиняйте меня... Постарайтесь меня забыть и, верьте, что я буду страдать, может быть, не менее вас. Что делать!

Судьба так хотела; она свела нас слишком поздно; мы оба могли быть счастливы, если б встретились раньше... Умоляю вас, забудьте меня!.. Если вы в самом деле любите меня, то не преследуйте меня больше... Я и так поступила слишком неосторожно... я не должна была делать этого... Но пусть это, по крайней мере, послужит вам доказательством моей симпатии к вам... Я не так поступила бы с человеком, к которому ничего не питала бы. Прощайте... прощайте навсегда!

Возьмите на память портрет мой: пусть он иногда напоминает вам ту, которая от полноты сердца желает вам счастья».

Слезы дрожали в голосе, которым Василий Михайлович прочел это письмо.

— Да,— произнес Околесин,— видно, что женщина с чувством писала... А я бы все-таки на твоем месте продолжал преследовать...

Василий Михайлович махнул рукой, как бы говоря: «Неисправим, хоть брось!»

— Ну, а портрет с тобой? Меня, брат, ужасное любопытство берет взглянуть...

— Уж позволь тебе не показывать.

— Отчего?.. Да что ты, боишься, что ли, чтоб я не встретил ее да не проговорился бы... Я могу тебе слово дать, если ты сомневаешься в моей скромности. И притом, чем же можно ее компрометировать? Она поступила хорошо: осталась верна своему долгу... значит, добродетель за ней...

— Она, конечно... Пожалуй, я покажу тебе: это браслет с миниатюрой.

Василию Михайловичу, как и всем влюбленным, самому очень хотелось услышать от кого-нибудь похвалу предмету своей страсти, и, вынув завернутый в бумажку браслет с миниатюрным портретом, он вручил его Околесину. Околесин взглянул на портрет и вдруг побледнел... Сердце его сильно билось, руки дрожали; он уронил браслет на пол...

— Ах! — сказал Василий Михайлович, удивляясь этой неловкости своего приятеля.— Как ты неосторожен! Мог разбить.

— Барыня просят вас к себе, Борис Михайлович,— доложил в эту минуту Околесину человек, входя в кабинет.

— Сейчас, сейчас,— пробормотал Околесин, вставая с места.— Извини,— сказал он, обращаясь к Ломтеву,— жена очень больна, простудилась на маскараде, доктора боятся,

чтоб нервическая горячка не сделалась... я все с ней сижу... извини...

— Помилуй! — отвечал Василий Михайлович, также направляясь из кабинета.

— Так ты уезжаешь... и скоро?..

— Я думаю...

— Ты твердо решился?..

— Да.

— Прекрасно сделаешь, уверяю тебя, прекрасно сделаешь... это очень тебе будет полезно!.. Да и женщина-то эта в самом деле, кажется, сто́ит...

— А! Наконец-то и ты заговорил так!.. Видно, тебя пленила ее красота... Но я тебя задерживаю, ступай к жене... До свиданья.

— До свиданья! Так ты едешь непременно?

— Непременно.

— Это благородно, мой друг, вполне благородно.

Он крепко пожал руку Василию Михайловичу.

«Каков же я-то! — говорил себе Околесин, идя в спальню жены.— А? давал ему какие советы... и на свою шею! Беда на волоске висела... Дамоклесов меч, да и только! О, болван, болван!»

И он в благородном негодовании колотил себя по лбу.

На возвратном пути от своего приятеля домой Василий Михайлович зашел в кондитерскую и, пока ему готовили чашку кофе, открыл попавшиеся ему под руку «Ведомости». Пробегая, без внимания, разные объявления, он вдруг остановился на одном из них, окруженном толстым черным бордюром. Оно было такого содержания:

«Сего *** декабря утрачен в маскараде, в Большом Театре, браслет с миниатюрным женским портретом. Кто оный доставит (туда-то), получит 25 рублей серебром награждения».

Василий Михайлович остолбенел, прочтя это объявление. Он вспомнил смущение Околесина, вспомнил выроненный на пол браслет — и догадался, в чем дело...

Дня через три или четыре он уехал в губернию, а через год женился на Кате, о которой, помните, писал в письме к Околесину.

Говорят, он совершенно счастлив и собирается ехать в «классическую страну миртов и апельсин», куда так давно стремились его мечты...



ПАШИНЦЕВ

Повесть

I

ГОСТЬ

В кабинете, убранном со всеми затеями достатка и моды, наполненном туровскою мебелью и устланном зеленым сукном, молодой человек, лет двадцати пяти, весьма недурной наружности, растянувшись в покойных креслах перед камином, курил сигару. Большие карие глаза его неподвижно смотрели на пламя, брови были нахмурены, что придавало лицу озабоченный вид, мягкие темные волосы спадали несколько на лоб; склоненная набок голова опиралась на руку. Подле него, на маленьком столике, горела свеча и лежала раскрытая книга «Les vies des dames galantes» [1] Брантома. Раздумье молодого человека длилось около часа и, может, продлилось бы еще более, если бы не раздавшийся в передней звонок, заставивший его приподняться и оборотить голову к двери.

Вошел лакей в ливрее с гербами.

— Господин Глыбин,— доложил он.

— Что ему нужно? — как бы про себя произнес молодой человек и, помолчав секунду, прибавил: — Проси.

Он отодвинул от себя маленький столик, сбросил с сигары пепел и, поправив рукой волосы, приготовился встретить гостя.

Гость этот был по крайней мере вдвое старше его. Густые прекрасно сохранившиеся волосы были белы, как снег. Доброта, сквозившая в светло-голубых глазах его, смягчала строгое выражение лица, которого правильные и благородные черты могли бы служить образцом скульптору для старческой головы Он держался прямо; что-то гордое замечалось в приемах его и походке; усы, такие же седые, как и голова, и застегнутый доверху черный сюртук обличали в нем отставного военного.

— Вы не ждали меня, Владимир Николаич? — сказал он, протягивая руку хозяину.

— Да, вы довольно редко меня посещаете, Павел Сергеич,— отвечал тот.— Садитесь-ка.— Молодой человек придвинул гостю кресло.— Или сюда не хотите ли, к камину.

[1] «Жизнь галантных дам» *(фр.)*.

— Нет, благодарю. Я не люблю тепла. Я приехал с намерением потолковать с вами серьезно, Владимир Николаич.

— Разве вы когда-нибудь говорите иначе? Я всегда удивлялся вам в этом отношении, как и во многих, впрочем; мне казалось, что вы никогда ни о чем не думаете, кроме серьезных вещей.

— Мне было бы и грешно заниматься тем, что тешит вас, молодежь. На все свои годы. Было и мое время. Я отдал дань молодости и давно распрощался с ее увлечениями. У меня на руках семья и несколько сот человек, за которых я несу ответственность перед богом и совестью.

— Это так, но всякий ли способен остановиться вовремя, Павел Сергеич? Всякий ли способен, во имя обязанностей, отказаться от самой привлекательной стороны жизни?..

— Вы говорите, как юноша... Эта самая привлекательная, по вашим словам, сторона жизни кажется только такою, пока не улеглись страсти, не остыла кровь, пока рассудок не вступил в свои права, которых не хочет признавать молодость. А потом на эту привлекательную сторону начинаешь смотреть совсем иными глазами и уж далеко не удовлетворяешься ею. Для старика возможно одно счастье — это сознание, что посильно исполняешь свой долг, словом,— счастье спокойной совести. Но будет об этом, скажите мне, что вы намерены теперь делать с собой?

При этих словах молодого человека несколько покоробило.

— Что делать...— отвечал он, горько улыбнувшись.— Ничего.

— Как ничего? На что-нибудь надо же решиться,— возразил гость с некоторою резкостью, и лицо его приняло строгое выражение.

— На что же, почтеннейший Павел Сергеич? Вы, кажется, меня немножко знаете; знаете мое прошедшее и можете сказать, к чему я годен... Мне остается одно из двух: или пустить себе пулю в лоб, или идти в маркеры. Вы меня застали в раздумье, на какую из этих двух мер решиться.

— Если вы хотите меня удивить хладнокровием и беспечностью в критическую минуту жизни, так вы ошибаетесь. Я давно перестал удивляться, да и пожил слишком много на свете, я не могу верить искренности подобного хладнокровия.

Молодой человек сделал движение, но гость тихо положил на его руку свою и, не дав ему возразить, продолжал:

— Не прикидывайтесь оскорбленным: я убежден, что вы в глубине души признаете меня правым; а лучше выслушайте меня. Вы сказали, что вы ни к чему не годны,— это вздор. Воспитание и жизнь, которую вы вели до сих пор, правда, значительно исказили вашу природу, но, однако же, не до такой степени, чтоб окончательно лишить вас воли. Хоть вы и стараетесь казаться хладнокровным, но ваши слова обличают совершенный упадок духа. Если же это только непростительная, глубоко вкоренившаяся в вас леность, то вы должны победить ее, и победите. Людей, ни к чему не годных, нет. Есть люди, которые не хотят быть ни к чему годными, это так. И, может быть, вы один из них. Стыдно, Владимир Николаич! Вы дурь на себя напускаете. Оглянитесь, в какое время мы живем. Ничего не делать — грех перед богом и ближними. Знаете ли вы, что, когда я услыхал о перемене, происшедшей в вашем состоянии, я только в первое мгновение пожалел о вас, а потом сказал себе: это, может быть, к лучшему.

— Благодарю вас за это лучшее,— насмешливо перебил говоривший молодой человек.

— Ирония ваша неуместна, Владимир Николаич, и я опять повторяю, может быть, все к лучшему. Вы оглянетесь на свое прошедшее и покончите с ним навсегда: житейские бури укрепляют человека. Вдумайтесь хорошенько в свое положение, загляните в себя самого поглубже, авось и найдете еще силу для честной и полезной деятельности. Вы еще очень молоды, Владимир Николаич, и все дороги перед вами открыты, бог дал вам ум, способный понять, что труд возвышает и облагораживает человека, что уподобляться рабу, лукавому и ленивому, зарывшему в землю талант свой, жить для одного себя и чужими трудами,— ничуть не похвально. Бог дал вам сердце, готовое любить все доброе и хорошее и отвергнуть все злое и недостойное. Но на сердце этом начала нарастать кора; не дайте ей загрубеть, разбейте ее вовремя, пока еще не поздно, и избавьте свой зрелый возраст от бесплодного раскаяния и угрызений совести, неминуемых в противном случае. Когда этот возраст придет, может быть, с ним и придет желание что-нибудь делать, да уж трудно будет превозмочь себя. Бездействие войдет в привычку, а что сильнее привычки? Если мои старческие советы не довольно убедительны, я прибавлю к ним имя, на которое, надеюсь, отзовется сердце ваше, которое должно быть ему дорого,— имя вашей матери. Да! Владимир Николаич, ее именем я прошу вас, возьмитесь за дела; перестаньте быть фланером; будьте чем-нибудь.

— Что же мне делать, Павел Сергеевич, научите, что начать, куда броситься!..

— Если у вас нет никакого особенного призвания, служите...

— Служить! Легко сказать, когда я не имею ни малейшего понятия о том, что такое служба. Я не сумею написать самой вздорной бумаги.

— Привыкнуть недолго. В два-три месяца, если не будете лениться, узнаете весь порядок, научитесь всем формальностям, это пустое. Была бы добрая воля.

— Но где же я найду место, какие у меня связи? Друзья моего отца, которые пили и ели у него чуть не каждый день, по смерти его не хотели на меня и глядеть. Когда я сделал им визиты, они приняли меня так важно и холодно, вероятно, пронюхав, что дела мои плохи, и боясь, чтоб я не стал просить о чем-нибудь,— что я дал себе слово больше не быть у них, а о моих собственных друзьях и говорить нечего. Вот уж две недели, как ни один носу ко мне не кажет. Да они и не могли бы для меня ничего сделать, потому что сами слишком мало значат.

— Я думаю, вам нет нужды оставаться в Петербурге; в нем хорошо с деньгами, а вы должны теперь сами, собственным трудом добывать их. Притом, самолюбию вашему придется испытывать беспрестанные толчки, неизбежные при такой перемене положения; поезжайте в провинцию.

— И рад бы, но куда?.. и как же я там найду себе место?

— За это я берусь. Поедемте вместе в Ухабинск. Я живу там пятнадцать лет, мне там все знакомы. Я представлю вас тамошним властям и ручаюсь, что вы получите место: сначала, конечно, не бог знает какое, но все же не без жалованья. Там жизнь дешевле. Квартиры вам нанимать не надо, поселитесь у меня, семейство мое будет вам радо. Мы будем считать вас своим. В Ухабинске есть люди порядочные, образованные; есть книги, с тоски не умрете. Ну, что ж, по рукам?

— Благодарю вас, Павел Сергеевич... но я, право, не знаю...

— Что же вас останавливает?..

— Когда вы думаете ехать?

— Через неделю... О дороге тоже не заботьтесь. Мы поедем в моем экипаже. Ну, так прощайте, у меня есть дела.

— Верьте мне, что я никогда не забуду того, что вы для меня делаете.

— Без благодарности, я для вас ничего не делаю. Я помню приязнь вашей матушки, помню все, что она сделала для моей жены, а следовательно, и для меня. Оказывая вам услугу, я плачу старый долг, и благодарю бога, что представился случай заплатить его, хоть и далеко не вполне. Желаю от глубины сердечной, чтоб иная духовная жизнь началась для вас со вступлением на поприще, избираемое вами, и чтоб эта жизнь как можно менее походила на ваше прошлое. Прощайте, друг мой.

Глыбин, пожав молодому человеку руку и крепко поцеловав его на прощанье, вышел.

Оставшись один, Владимир Николаевич несколько минут постоял в задумчивости на одном месте; потом продекламировал два стиха из Грибоедова:

Пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок...—

и, закурив новую сигару, опять поместился перед камином.

«Какой, однако же, славный человек этот Глыбин,— подумал он,— а я прежде считал его сухим педантом и гордецом. Правда, он говорит немножко высокопарно, но сердце у него отличное».

II

ПРОШЕДШЕЕ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Отец Владимира Николаевича Пашинцева служил в молодости в гусарах, но еще поручиком вышел в отставку, вследствие каких-то неприятностей с своим полковым командиром, причиной которых, как говорили многие, была жена этого последнего, страстно влюбившаяся в Пашинцева. Слухи эти тем более казались вероятными, что молодой гусар обладал прекрасною наружностью и самыми изящными манерами. Образования он блестящего, правда, не получил, но на это обстоятельство смотрели тогда гораздо снисходительнее, чем нынче; и притом Пашинцев, потолкавшись между порядочными людьми, приобрел такую сноровку, такое уменье скрывать свои недостатки, что никому никогда и в голову не пришло назвать его необразованным. Вообще он мог бы выбрать девизом своим: «Слыть, а не быть», потому что в свете ему приписывались постоянно качества, которых именно у него не было. Он умел очень мило рассказать анекдот, сострить насчет ближнего, особенно если этот ближний не принадлежал к числу сильных мира сего, умел

ловко вклеить в разговор цитату из модного французского романа; и прослыл он человеком умным, тогда как ум его глядел весьма недалеко. Относительно понятий о нравственности он всегда был на стороне большинства и придерживался той обыденной, узкой морали, которую можно сравнить с монетой, перебывавшею в стольких руках, что на ней совершенно изгладились все знаки, определявшие ее стоимость, но потому-то именно и успел заслужить название глубоко нравственного человека, хотя правила, руководившие им, были очень шатки и не один грешок лежал у него на совести. Ни одна лотерея в пользу бедных, ни один домашний спектакль не обходились без его участия. Он неподражаемо исполнял роли *jeunes premiers*[1] и имел приятный, хотя несильный тенор, приводивший дам в непритворный восторг. И вот про него говорили, что он человек с добрым, чувствительным сердцем, хотя доброты его только и хватало на публичную, гласную филантропию, а чувствительность проявлялась в одном пении французских романсов и водевильных куплетов, тогда как в душе его свил себе гнездо самый черствый, самый подленький эгоизм. С юных лет Пашинцев заботился всего более о связях. Чтобы втереться в расположение к знатным, он пускался на тысячу маленьких низостей, искательств и угождений; и в этом случае ему значительно помогала его наружность, которая делала всегда очень приятное впечатление на женщин, так что им он, кажется, преимущественно был обязан своими успехами в свете. Впоследствии это искательство превратилось у него в какую-то хроническую болезнь и отпечаталось на всех приемах и движениях его, приобретших необыкновенную вкрадчивость Лет тридцати с небольшим он женился на побочной дочери одной важной особы и взял за женой такой куш, который мог бы вполне обеспечить на всю жизнь и его и его потомство. Но вышло не так, он дал полный разгул своему тщеславию, получил посредством важной особы, доступ во все салоны, давно составлявшие предмет его задушевных помыслов и стремлений, захотел явить себя достойным такого знакомства и решился жить, что называется, на широкую ногу. Балы, обеды, пикники, рауты, *folles journées*[2] и пр. сменяли друг друга. Играть он садился не иначе, как по самой большой, с знаменитейшими игроками клуба. В опере и во французском театре абонировал ложу; дом свой отделал так, что

[1] Первых любовников *(фр.)*.
[2] Увеселения *(фр)*.

даже затмил своего покровителя; экипажи и лошади Пашинцева возбуждали всеобщее удивление. Словом, он показал, что умеет жить и относительно вкуса поспорит хоть с кем угодно. При подобном существовании, разумеется, не могло надолго хватить денег, взятых в приданое за женой; и Пашинцев должен был это предвидеть. Однако же он не унывал, рассчитывая, видно, на дальнейшее покровительство тестя, а может быть, и на счастливую игру или на ловкость и изворотливость своего ума. Но известно, что судьба очень часто совершенно непредвиденным образом расстраивает самые верные людские соображения. И вот над головой Пашинцева разразился удар, которого он всего менее ожидал. Тесть его умер скоропостижно от апоплексического удара, прежде чем Пашинцев успел уговорить его сделать в пользу дочери духовное завещание. Имение важной особы перешло к законным наследникам, сестре и племяннику, жившим уже несколько лет за границей и находившимся с покойником в очень холодных отношениях. Пашинцев не имел даже возможности завести процесс, потому что жена его была незаконная дочь важной особы, так внезапно переселившейся в лучший мир. Как ни прискорбно было сердцу отставного гусара изменить образ жизни и расстаться с безумною роскошью, в которую он успел втянуться, но другого средства для избежания совершенной нищеты не оставалось. И вот, уплативши часть своих долгов, которых, мимоходом сказать, накопилось довольно, Пашинцев оставил Петербург и поселился в Москве. Но и тут он не мог отказаться от аристократического знакомства и английского клуба, хотя уж дом был отделан не с такою роскошью, орловские рысаки не изумляли более прохожих и ложи в итальянской опере иметь было не нужно, по неимению самой оперы. Предлогом к переселению, конечно, как это всегда бывает, послужил сын, которого Пашинцев хотел приготовлять в Московский университет. «Я хочу,— говорил заботливый отец,— чтобы сын мой получил *фундаментальное* образование, а Московский университет лучший во всей России». Конечно, находились люди, недоверчиво улыбавшиеся при этих словах, тем более что сыну минуло всего девять лет и, следовательно, в университет готовить его было немножко рано. Может быть, Пашинцев подчас сознавал и сам, что ему не верят, но уж так, видно, человек создан, что убаюкает себя ложью, да и успокоится. По смерти тестя Пашинцев выказал всю сухость и даже низость своей природы, совершенно изменившись в обращении с женой, как будто бедная женщина

была виновата, что он сорил деньгами для удовлетворения своего тщеславия и что расчеты его и соображения лопнули вдруг подобно мыльному пузырю. Притворная нежность и заботливость, которыми при жизни важной особы Пашинцев окружал жену и которые доставили ему в свете репутацию прекрасного мужа, заменились холодностью, порой даже грубостью и попреками. Переход этот тем глубже поразил Пашинцеву, что совершился чрезвычайно резко, без всякой постепенности. Пашинцев не считал нужным и маскироваться перед женой. Если б он мало-помалу охладевал к ней, положим, что ей было бы не легче, но она по крайней мере могла бы приписать эту холодность только непостоянству, свойственному многим мужчинам, теперь же перед ней разоблачались корыстолюбие, алчность, тщеславие и грубость мужа, и она потеряла к нему всякое уважение. Она увидела ясно, что он никогда не любил ее, что нежность его была притворная, что он из видов женился на ней, из видов обращался с нею деликатно. Слабая и болезненная от природы, она, казалось, с этим ударом утратила последний остаток сил и с каждым днем таяла как свеча. Вся привязанность ее сосредоточилась на ребенке, который, как будто инстинктивно чувствуя, кто прав и кто виноват в этом семейном разладе, происходившем перед глазами его, платил своей матери такою же нежною любовью, тогда как отца боялся, и только. Это еще более вооружило Пашинцева против жены. Но она недолго тяготила его своим присутствием. Смерть давно сторожила жертву свою; быстро развивавшаяся чахотка свела бедную женщину в могилу. С приличною, изящною печалью шел Пашинцев за гробом своей жены; присутствовавшие на похоронах говорили, что он до такой степени убит, что не может плакать. По смерти матери Владимир перешел под надзор гувернера, пустейшего француза, придерживавшегося крепких напитков; он занимал своего питомца преимущественно гимнастическими упражнениями. Отца ребенок видал только по утрам, когда его водили к нему в кабинет для целования родительской ручки. По целым дням Пашинцев не бывал дома. Вечера проводил в клубах или аристократических московских гостиных; обедал тоже по большей части в гостях или в ресторанах, а если и случалось ему садиться за стол дома, то только тогда, когда он приглашал к себе гостей; но ребенок в эти дни должен был оставаться у себя в детской, потому что разговоры папаши с гостями не отличались скромностью. К довершению всего, Пашинцев, наскучив вдовством, сошелся с какою-то наездницей

из цирка, для которой отлично меблировал квартиру, завел низенькую карету на лежачих рессорах и задавал то и дело ужины с шампанским. Наконец настало для Владимира время вступления в университет.

Благодаря отличной памяти Владимир выдержал вступительный экзамен без труда и первое время начал было довольно прилежно слушать лекции; но это скоро ему надоело... Его занимала сначала новизна всего окружающего; мало-помалу аудитория и лица профессоров пригляделись, наука не могла иметь для него интереса... он поступил вовсе не для нее, а для того, чтобы по окончании курса получить диплом и с ним положение в обществе. Притом он сошелся с несколькими молодыми людьми знатных и богатых фамилий, которые все время свое проводили в кутеже, ездили по театрам и маскарадам и для которых ничего не делать было каким-то *point d'honneur*[1]. Эти господа составляли свой особенный кружок, державшийся вдалеке от студентов-тружеников, готовивших себя на служение науке и обществу. Кто рассчитывал на протекцию, кто на деньги. Примкнувши к ним, Владимир не хотел ни в чем отставать от своих новых товарищей. На лекции он стал приходить редко, и то на несколько минут. Все утро проходило у него в визитах или в игре на бильярде. Круг знакомых его сделался так обширен, что у него недоставало вечеров; и иногда в один и тот же вечер он успевал побывать в двух-трех домах. Но, выезжая беспрестанно и кутя на счет товарищей, он не мог не звать и к себе. Нужно было от времени до времени и самому задать вечеринку или обед, и на это просаживалось все годовое жалованье, получаемое от отца, так что потом оказывалось необходимым прибегать к ростовщикам. Хотя все знали, что состояние старика Пашинцева расстроено, но, с другой стороны, образ жизни его говорил ясно, что оно расстроено еще не до такой степени, чтобы какие-нибудь две-три тысячи долгу, сделанного кутилой-студентом, могли быть в тягость его родителю. Однако ж, когда пришлось платить за сына, старик вознегодовал; но Владимир красноречиво доказал ему, что, живя в кругу порядочных людей, нельзя же не делать того, что они делают, и что поддерживать это знакомство необходимо, ибо оно может пригодиться впоследствии; связи, сделанные в годы юношества, говорил он, самые прочные, самые надежные... они остаются на всю жизнь. Отец был тронут этими доводами; и так как связи

---

[1] Вопросом чести *(фр.)*.

были всегда его собственным коньком, то он и простил сына и внутренне даже порадовался, что он сблизился avec des enfants de bonnes familles [1], а не с какими-нибудь Ивановыми, Петровыми, Васильевыми, Dieu sait qui enfin [2] (надобно заметить, что старик Пашинцев даже *думал* всегда *по-французски*), потому что ведь в эти университеты всякая дрянь лезет; не попади он в такой кружок, он, может быть, набрался бы бог знает каких привычек, пожалуй, еще сделался бы метафизиком, либералом.

C'est dans l'air aujordhuit... on a beau parler contre cela! Il pleut d'esprits forts. Nous voyons des gouvernements provisoirs composés de bottiers et de tailleurs [3].

Владимир, довольный своей победой, дал волю разгулу. Связь отца его с наездницей из цирка не могла для него оставаться тайной; и он не замедлил последовать такому соблазнительному примеру.

Экзамены между тем шли своим чередом. Память постоянно вывозила Владимира; стоило ему подзаняться какой-нибудь месяц, чтобы догнать товарищей, аккуратно следивших за курсом. Вот наконец настал и выпуск. Владимир кончил курс, хоть не кандидатом, но все же кончил, и через два-три месяца по выходе из университета определился куда-то, не то чтобы служить, но числиться... Но жизнь его, в сущности, мало отличалась от той, которую он вел, нося голубой воротник. Все те же выезды, те же пирушки, то же волокитство продолжались и теперь. Разница была только в том, что он переехал в Петербург, попал в фаверы к одной знатной барыне, уже не первой молодости, но еще хорошо сохранившейся и занимавшейся литературой. Барыня эта писала водянистые стихотворения, где прикидывалась страстною, возвышенною натурой, чем-то вроде Лукреции Флориани, ищущей идеала и не находящей его. На самом же деле идеальным стремлениям ее вполне удовлетворяли кирасирские и разные другие кавалерийские офицеры, а иногда и камер-юнкеры и студенты... Она ловила их, как кобчик насекомых. Впоследствии барыня эта, вознегодовав на журналы, отказавшиеся печатать ее стихотворения и даже порядком ее поругивавшие, чего она и заслуживала, озлобилась на литературу, начала кричать о безнравственности ее направления, продолжая между тем втихомолку ока-

---

[1] С детьми из хороших семей *(фр.)*.

[2] И бог знает кем *(фр.)*.

[3] Сейчас это носится в воздухе... сколько говорят об этом! Он вольнодумец. Мы видим временные правительства, состоящие из сапожников и портных *(фр.)*.

зывать благосклонность, разумеется, проникнутую чистейшею нравственностью, разным юношам и преимущественно выступающим на житейское поприще.

Предаваясь с увлечением всем петербургским удовольствиям и втягиваясь все больше и больше в долги, на которые подстрекала его еще и весть, что старик Пашинцев пустился в какие-то спекуляции, выиграв в английском клубе весьма значительный куш, Владимир не помышлял о будущем и никогда не спрашивал себя: хорошо ли он делает, живя так? Никакая серьезная мысль не могла забрести ему в голову, потому что он не был почти вовсе развит в нравственном отношении. Ни одной сколько-нибудь дельной книги не прочитал он. Ничто не наводило его на мысли ни о себе, ни о том, что его окружало. Но зато мелочное самолюбие, тщеславие, желание блистать, производить эффект, возбуждать зависть с каждым днем замечались в нем явственнее. У него было незлое сердце, он слыл в своем кружке хорошим товарищем, но и эти качества по выходе из университета значительно в нем ослабели и могли впоследствии окончательно исчезнуть при его образе жизни и замениться тем узким эгоизмом, той сердечною сухостью, которые составляли преобладающую черту в характере его отца. На всех, кто был беднее и скромнее его, Владимир уже начинал смотреть как на плебеев, которым не следует и руки подавать; а каждого человека с знаниями или даже просто читающего он называл педантом и посматривал на него враждебно. В это-то время он вдруг получил известие о смерти отца, давно уже хворавшего. Владимир никогда не любил его горячо; но смерть его заставила, однако же, юношу призадуматься, призадуматься об отношениях своих к отцу и о своей будущности. Эта смерть вызвала в нем и воспоминание о матери, начинавшее изглаживаться из его памяти. Меланхолический образ стройной и бледной женщины, с горькой улыбкой на губах, с черными думающими глазами, встал перед ним, как живой. Ему вспомнились и нежные ласки, и горячие поцелуи, которыми осыпала она его детскую, курчавую головку, вспомнились слова, до сих пор почему-то никогда не приходившие ему на ум, слова, о которых он почти позабыл и которые она сказала за несколько дней до смерти: «Будь добр, мой Володя. Люби людей, заботься о счастье близких тебе». Он не понимал тогда этих слов, и бедная женщина, так много страдавшая, может быть, произнесла их только для того, чтоб облегчить свое горе, а между тем они запали в детскую душу и отозвались в ней, когда пришло время.

«Люби людей, будь добр...», а кого он любил до сих пор и в чем проявлялась его доброта? Неужели связи с камелиями можно назвать любовью? Неужели поверить в долг несколько золотых приятелю на устройство пикника, где тебя же самого напоят шампанским до положения риз,— значит сделать доброе дело? По смерти отца Владимир оказался совершенно нищим. У старика Пашинцева осталось столько долгов, что и половины их невозможно было уплатить доставшимся сыну его имуществом.

У самого Владимира тоже накопилось их немало. Спекуляции, в которые бросился его отец незадолго до своей смерти, при совершенной неспособности его к ним, лопнули. В первую минуту Владимир, не рассуждая долго, хотел пустить себе пулю в лоб; но потом одумался и начал приискивать средства к поправлению своих обстоятельств. И каких мыслей не приходило ему тогда в голову, отуманенную отчаянием! О самых гадких проделках стал он помышлять, изобретая в свое оправдание разные более или менее ловкие софизмы. То он хотел сделаться шулером, то жить на счет какой-нибудь отцветшей, но еще с неугомонившимися страстями госпожи, каких в Петербурге немало. К чести его нужно сказать, что он не остановился ни на одном из этих предположений и что никакие ловкие софизмы не успели победить природного отвращения к ним в его сердце. Мысль о труде, о службе тоже явилась у него, но он считал себя совершенно неспособным к какой бы то ни было деятельности. Отец несколько раз советовал ему сыскать себе место, но настоять не умел. Владимир откладывал со дня на день; да притом же он составил себе такое понятие о всех служебных местах, что они не могли его привлекать. Хорошего места, на котором бы можно командовать, иметь подчиненных, не дадут сразу, думал он; а проходить через низшие должности, сделаться приказным, подьячим, как он выражался, было ему не под силу, оскорбляло его достоинство, его самолюбие, наконец, его эстетическое чувство. Владимир был, что называется, белоручка и думал, что природа создала людей двух сортов: первый сорт имел назначением наслаждаться жизнью, второй сорт — добывать себе хлеб насущный трудом и доставлять первому сорту средства к наслаждению. Первый обладал слабыми нервами и имел все пять чувств необыкновенно тонко развитыми, у второго нервы были немножко потоньше каната, и ни вкус, ни обоняние не были вовсе развиты. Это уж так самим богом устроено и всегда должно оставаться так.

С каждым днем обстоятельства жали Владимира все сильнее и сильнее. Он еще не мог расстаться с своим изящно убранным кабинетом, но чувствовал, что скоро туровские кушетки и этажерки пойдут одна за другою в продажу, и пойдут, вероятно, за бесценок приятелям, которые попросят уступить им «по дружбе, не слишком дорого».

В такую критическую минуту явился к нему Глыбин, которого он тоже считал педантом и который был старым знакомым его семейства. Некогда он был даже страстно влюблен в мать Владимира, но, бедный армейский офицер, он не мог надеяться получить руку дочери, хотя и незаконной, но единственной дочери важного лица, искавшего ей приличную партию. Глыбин подавил в себе эту привязанность, но навсегда сохранил светлое воспоминание о женщине, которая хотя не платила ему взаимностью, но уважала его за честную душу и была с ним добрее и ласковее всех ее окружающих. Глыбин сделался вхож к важному лицу совершенно случайно. Важное лицо и отец Глыбина когда-то служили вместе на Кавказе; но время и, главное, различие в общественном положении изменили отношения между старыми товарищами. И когда к важному лицу явился сын прежнего сослуживца его, то был принят с тою внимательностью, которая сильно отзывается снисхождением и тотчас же ставит между обоими лицами преграду, исключающую всякую мысль о сближении. Важное лицо спросило Глыбина, когда тот откланялся, не может ли оно быть ему чем-нибудь полезно? Глыбин отвечал, что ему ничего не нужно, и никогда ни с какою просьбою не обращался к важному лицу, но продолжал посещать его, чтобы видеть мать Владимира. Когда ее помолвили за Пашинцева, Глыбин перестал ходить к важному лицу. Со стариком Пашинцевым Глыбин также не мог никогда сойтись. Они смотрели на жизнь с слишком различных точек зрения.

Впоследствии роли перменились. Честным трудом, оборотами, предприимчивостью Глыбин составил себе состояние, и Пашинцев-отец не раз прибегал к нему, когда был стеснен обстоятельствами. Сначала Глыбин не отказывал, и Пашинцев разделывался с ним честно; но наконец обманул его. Глыбин не искал с него, зная, что это будет напрасно, и не желая делать скандала. Он еще помнил жену своего должника и чтил ее память. Но больнее всего было для него видеть испорченность, дурное воспитание Владимира, в котором он замечал способности и который чертами лица живо напоминал свою мать.

Узнав о положении Владимира, Глыбин не замедлил прийти к нему на помощь. Неделю спустя после разговора, описанного мною в первой главе, они уж были в дороге.

III

НОВЫЕ ЛИЦА

В маленькой гостиной, освещенной лампою, стоявшею на круглом столе перед диваном, сидели две женщины и мужчина. Одна из этих женщин, которой на вид можно было дать лет тридцать шесть, худощавая, с болезненным, бледным и добрым лицом, прислонясь к спинке дивана и закинув назад голову, казалось, находилась под влиянием какой-то сильно тревожившей ее думы. С глазами, устремленными неподвижно на одну точку, она уже несколько минут оставалась в этом положении. Другая, молоденькая девушка, наклонясь к столу, что-то работала; но работа, как видно, не поглощала всех ее мыслей, потому что она вполголоса вела разговор с помещавшимся подле нее в креслах господином, перед которым лежала на столе раскрытая книга. Слушая внимательно каждое слово своей соседки, он не спускал глаз с ее тонкого правильного профиля, со всей ее маленькой и хорошенькой головки, осененной густыми темными волосами. Господин этот имел тоже наружность довольно привлекательную. В серых бойких глазах его было много ума. Хотя смуглые, мужественные черты были неправильны, хотя нос был несколько длинен, но эти недостатки искупались живым и энергичным выражением лица, к которому, как нельзя более, шли и насмешливая улыбка, беспрестанно появлявшаяся на губах, и длинные волосы, живописно откинутые назад, и большие отогнутые воротнички очень тонкой и белой рубашки. Взглянув на этого человека, вы бы невольно сказали: «Вот физиономия, которая должна нравиться женщинам»,— и уж потому, что она была недюжинная, вы бы, может быть, сами почувствовали к нему влечение. Господин с выразительными чертами только что читал вслух своим собеседницам роман Жорж Санда «*Мопра*» и остановился по просьбе старшей из них, сказавшей, что мысли ее в разброде и что она не может слушать внимательно.

— Так вы говорите, Лизавета Павловна, что любить недостойное любви нельзя? — спросил смуглый господин молодую девушку, слегка улыбнувшись.

— Я в этом убеждена.

— И даже имея надежду исправить, пересоздать его, как, например, Эдмея своего Мопра?

— Даже. Прежде чем не совершится пересоздание, привязаться к человеку, которого недостатки резко бросаются нам в глаза, нельзя...

— Значит, нельзя и пересоздать.

— Это как?

— Чтобы пересоздать, нужно сперва полюбить, без любви этого не сделаешь...

— Можно любить, но иначе, не тою любовью, о которой шла речь.

— Нет, тут нужна именно та любовь, потому что такое пересоздание требует жертв, беспрестанного самоотвержения, а на него способным делает нас только страсть.

— Позвольте мне с этим не согласиться. Любовь, в смысле милосердия, способна, может быть, на жертвы еще высшие...

— Сохрани бог, в подобном случае, от милосердия... Что́ скажет человек, которого вы вздумаете перевоспитывать, если заметит в вас сострадание к нему, не более... Разве гордость его не возмутится? Если он читал «Горе от ума», так непременно скажет вам: «Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом...» Нет-с, в том-то и дело, что иметь благотворное влияние на другое существо, стоящее на низшей против вас ступени развития, можно только тогда, когда это существо само не замечает, что вы хотите его переделывать, когда оно подчиняется бессознательно вашему нравственному превосходству.

— Такая гордость, о какой вы говорите, возможна только в человеке очень развитом. Это гордость искусственная, до нее доходят анализом, это не гордость, а мелочное самолюбие; оскорбительного в сострадании ничего нет для простой натуры.

— А мне так кажется, что подобная гордость должна быть во всяком человеке, хоть бы он в жизнь свою ни единой книги не прочел и даже не имел понятия о том, что такое *анализировать* свои чувства...

Впрочем,— прибавил смуглый господин,— бросимте это. Сказать вам по правде, ни в какие перевоспитания я не верю, все это хорошо в романах, а в действительности этого, кажется, никогда не бывает, вероятно, потому, что редко нас хватает на самопожертвование, не доросли мы еще до него.

— Я знаю, что вы не верите ни во что высокое в жизни.

— В героическое не верю — грешен. Что делать... как-

то мало попадалось на житейском пути героев! Иной, смотришь, и начнет, пожалуй, совсем как герой, так и ждешь от него чего-нибудь великого или думаешь, что ему сужден трагический конец, а на поверку выходит, что герой оказывается такою же тряпкою, как и наш брат простой смертный. Новый салоп жене понадобился или личного врага своего доконать захотелось, вот и конец геройству, и опять вспомнишь старика Крылова с его «Волом и Лягушкой».

— Удивительный взгляд, удивительная вера в людей; а я вот хоть и не встречала героев, а все-таки верю, что они возможны, и не думаю, чтобы каждый для женина салопа готов был забыть то, что для него должно быть всего дороже,— честь! Мне досадно, когда так говорят. Еще вы, я знаю, не из дурных побуждений говорите, а есть люди, которые сомневаются в возможности благородного подвига,— единственно из оскорбленного самолюбия. Они сознают, что в них самих нет силы для подвига, и им досадно видеть ее в другом. Из зависти они готовы заподозрить все честное и высокое.

— Но согласитесь, что если они не дураки, они не станут кричать против истинного подвига, совершенного в глазах у всех, потому что каждый будет вправе обвинить их в зависти; а если они видят, что подвига нет, что есть только фразы, за которые воскуряют фимиам, как за подвиг,— естественное дело, что им станет досадно, они чувствуют, что они ничуть не хуже того, кому воскуряют фимиам, они только не говорят фраз и потому не удостоиваются его. И вот они говорят: «посмотрим, подождем, не окажется ли и этот герой таким несостоятельным, каким оказались мы». Помните, когда мы с вами были на фейерверке, когда три ракеты отсырели и вы сами начали говорить, что, верно, и остальные отсыреют, и действительно, все отсырели.

— Но по крайней мере, если б хоть одна ракета совершенно удалась, я бы не стала подкапываться и говорить: нет, все как-то нехорошо, и эта отсырела немножко...

— В первый раз, как мы увидим совершенно удавшуюся ракету, Лизавета Павловна, посмотрите, как я буду хвалить ее.

— Я повторяю вам, что говорила не о вас, в вас еще есть немножко веры... Вы только любите прикинуться неверующим.

Яков Петрович Заворский, к которому относились слова Лизаветы Павловны Глыбиной, дочери знакомого уже вам старика, в самом деле был вовсе не скептик в душе, хотя

и старался выказать себя таким. Поступки его совершенно противоречили его словам. Его можно было даже назвать энтузиастом и идеалистом. Он увлекался часто самыми несбыточными предположениями относительно блага ближних. В первой молодости он был страстным поклонником социальных утопий, от которых в зрелом возрасте отступился, но они оставили в нем глубокий след. Он не мог быть хладнокровным зрителем разъедающих, подтачивающих общественный организм пороков, не проходил безучастно мимо страждущего и привык видеть брата в каждом человеке, какое бы ни было его общественное положение, как бы ни было недостаточно его воспитание. В нем не умерло отвращение к неразумной силе и грубому произволу, не исчезла готовность к каждому истинно доброму и полезному предприятию; кроме того, кошелек его был всегда готов к услугам нуждающегося,— хотя сам он подчас кричал против филантропии и уверял, что она только поощряет леность и тунеядство. Нужно прибавить, что Яков Петрович был в высшей степени деликатен в своих добрых делах, так что человек, одолженный им, уходил от него чуть не с убеждением, что он сам сделал Заворскому одолжение, приняв услугу. Черта эта, к несчастью, довольно редко встречается в наше время, когда благодеяния по большей части делаются таким образом, что благодетели теряют всякое право на благодарность. Яков Петрович, обладая тремястами душ, принадлежал к тому меньшинству помещиков, которое любимо своими подданными, но зато, увы, не любимо своими собратьями! Впрочем, Заворский мало обращал внимания на соседей и, живя почти безвыездно в деревне, не находил нужным с ними сближаться. Он искал более общества тех людей, которые, разделяя его образ мыслей, могли быть ему полезны добрым советом в деле хозяйства. Сделать из крестьян своих хороших, предприимчивых, трудолюбивых хозяев — вот к чему он стремился. Глыбин не был его соседом, он имел поместье в другом уезде, но одинаковые цели сблизили их. Притом же Глыбин, как человек опытный и практический, во многом мог быть полезен Заворскому, еще не вполне расставшемуся с прежними мечтами и впадавшему порой в идеализм. В то время, когда происходит рассказ мой, Яков Петрович должен был по своим домашним делам находиться в губернском городе; но и здесь он выезжал очень мало. Губернские власти приходились ему не совсем по нутру. В семействе же Глыбиных он отдыхал сердцем. Жена Глыбина, Авдотья Федоровна, была женщина тихая, добрая, любившая без памяти мужа и дочь и ко-

торой вся жизнь ограничивалась тесной сферой семейного кружка. Она не получила почти никакого образования и всем, что знала, была обязана мужу. Она совершенно подчинялась ему, признавая превосходство его над собой; и, надобно отдать ему честь, он не употреблял во зло этого подчинения, а, напротив, обращением своим старался показать, что считает права жены в доме равными во всем правам мужа. Но подчинение ее было добровольное. Глыбин был ее идолом. Каждый день, проведенный в разлуке с ним, казался ей годом; вот отчего мы видели ее при начале этой главы грустно задумчивою. Она с часу на час ждала возвращения мужа из Петербурга.

О старике Глыбине скажу здесь также мимоходом несколько слов. Я уже говорил, что он в молодости был военным. Раненный на Кавказе, он вышел в отставку и возымел сильную охоту образовать себя. Для этого он стал слушать университетские лекции; и слушал он в продолжение нескольких лет; прослушав курс естественных наук, он принялся за медицинский, намереваясь, если достанет сил и способности, сделаться медиком. Обстоятельства его были далеко не блестящие, и он, кроме пользы ближнему, видел в этой профессии обеспеченный кусок хлеба. Но перемена, происшедшая в его положении, помешала ему кончить курс. Ему досталось по наследству от дяди триста душ, и нужно было ехать в деревню. Два года после того он женился на бедной девушке, сироте, облагодетельствованной матерью Владимира Пашинцева, о которой жена Глыбина до старости не могла вспомнить без слез. Пашинцева по смерти родителей Глыбиной взяла ее к себе и окружила ласками и заботами, какие можно только ждать от сестры. Впоследствии она устроила свадьбу ее с Глыбиным, которого знала за безукоризненно честного и доброй души человека.

Яков Петрович Заворский и Лизавета Павловна были большие друзья. Хотя они часто спорили, порой даже ссорились, но это не мешало им оставаться в самых искренних отношениях. Они имели в характерах нечто общее, хотя и проявлявшееся в различных формах,— это именно идеализм. Заворский маскировал его насмешкой, как будто сам иногда стыдился своей юношеской пылкости. Лизавета Павловна, напротив, не скрывала своего энтузиазма, своей симпатии ко всему страждущему. Сохраняя эту любовь как святыню, Лизавета Павловна старалась, по возможности, доказать ее на деле и не вдалась в фразерство. Фразы она не терпела, хотя разговор ее не походил на разговоры уха-

бинских барышень, прославивших ее за то мечтательницей. Она, конечно, не оскорблялась этим названием, зная, что эти, чуждые мечтательности, барышни удивительно рано привыкают писать записочки своим обожателям и бить по щекам горничных, и понимая, что у нас зовется мечтателем каждый, кто не погряз по горло в тине сплетничанья, домашних дрязг и ералаша, не дающего, конечно, воли мечтательности. Якову Петровичу доставалось еще более от ухабинского общества. Названия вольтериянца, фармазона, вольнодумца, пересмешника, реформатора, крикуна, опасного человека, не уважающего старших, думающего быть умнее всех, сыпались на него со всех сторон.

Горе тому, кто возвысит голос против житейской пошлости; но еще большие гонения ждут человека, который восстал против нее не одним словом, но и своими поступками показал, что он не мирится с ней, который, вместо того чтобы набивать карман и твердить при этом, что он служит верой и правдой государю своему и отечеству, вместо того чтобы гнуть в три погибели каждого, кого можно гнуть (а многие ли не имеют права хоть кого-нибудь да согнуть?), идет себе прямо и честно дорогой, указанной ему совестью! Как не назвать такого человека опасным и вредным?

Обращаюсь к рассказу. Лизавету Павловну, не пользовавшуюся расположением общества, боготворили зато все домашние: ради ее ласкового взгляда и приветливого слова каждый готов был в огонь и воду. Однажды, когда она опасно занемогла, прислуга вся впала в уныние, не всегда встречающееся в подобных случаях в барских домах. Оно не выражалось в приторных, лицемерных вздохах и аханьях, но ясно виделось на лице каждого; все молча бродили, как тени, порой только спрашивая друг у друга: «Каково барышне?» В доме Глыбиных на прислугу не смотрели как на низшую породу на ступенях создания, с которой нельзя говорить, не унизив чувства собственного достоинства; господин не брезгал подчас и посоветоваться с своими людьми, а русскому человеку кажется всего нужнее доброе слово, оно всего скорее способно привязать его к вам. На водку дать, подарить на праздник целковый — дело еще не великой важности, это сделает иногда и тот, кто только что в ухо съездил. Доброе же, человеческое обращение куда как редко приходится встречать русскому простолюдину!

Образ жизни Лизавета Павловна вела скромный и уединенный. Она, пожалуй, не прочь была и повеселиться, но частых выездов не любила, как не любила тратить отцов-

ские деньги на наряды, и хотя одевалась всегда даже с кокетливым изяществом, но изящество это не переходило в роскошь. Она довольствовалась простеньким фуляром, кисеей, а иногда и холстинкой; но платье сидело на ней зато так хорошо, талия ее была так стройна, а воротнички и манжеты, вышитые ею самою, были так милы и такой снежной белизны, что, кажется, никакой пышный наряд не сделал бы ее лучше. В характере Лизаветы Павловны было несколько и отцовской серьезности. Она рано начала думать и отдавать себе отчет во всем происходившем около нее: читать ей давали не все без разбора, и благодаря этому, воображение ее, от природы пылкое, не развилось в ущерб других способностей. Она очень любила музыку и целые вечера проводила, разыгрывая на фортепьяно какую-нибудь трудную классическую пьесу. Музыка сделалась для нее потребностью, такою же, как хлеб и вода; отец ее, тоже страстный меломан, боялся, чтобы после замужества, когда у нее явятся новые обязанности, она не бросила ее, подобно большей части наших девушек, которых учат играть для того только, чтобы похвастаться перед публикой; он наконец совершенно успокоился на этот счет, убедясь, что Лизавета Павловна никогда, ни за что не бросит музыки. «Ведь не мешала же ей теперь музыка заниматься хозяйством, которое почти все лежало на ней,— думал старик,— не пренебрегала же она для нее прозаическими домашними занятиями! Она не любит праздности, не любит таскаться с визитами и по лавкам, не любит сидеть, сложа руки, а это главное. Бог даст, и в свое собственное хозяйство перенесет эти привычки».

— Что это Павел не писал с последнею почтой? — произнесла Авдотья Федоровна, когда Заворский и Лиза замолчали.

— Да, верно, сам едет,— отвечал Яков Петрович.

— Хорошо, кабы так, а что, если захворал!

— Ну вот, Авдотья Федоровна, вы уж начали, смотрите, завтра или послезавтра прикатит.

В эту минуту на улице раздался звон колокольчика.

Все вскочили с мест и, подбежав к окнам, стали прислушиваться. Колокольчик становился все слышнее и слышнее; он все приближался и наконец зазвучал в той улице, где был дом Глыбиных. Несколько мгновений спустя дорожный экипаж остановился у подъезда этого дома.

Авдотья Федоровна, Заворский и Лиза вышли на крыльцо встретить приехавшего.

IV

НОВАЯ ЖИЗНЬ

— Вот вам гость,— сказал Глыбин, поцеловавши дочь и жену и пожав руку Заворскому, и при этих словах указал на входившего за ним в комнаты Владимира Николаевича.— Это сын Лидии Евграфовны Пашинцевой.

Услышав это имя, жена Глыбина радостно вскрикнула.

— Сын Лидии Евграфовны! — проговорила она.— Ах, скажите. Вот не думала увидеть вас здесь, молодой человек!

Владимир Николаевич ловко раскланялся.

— Подойдите-ка, подойдите-ка сюда поближе к лампе,— продолжала Авдотья Федоровна, подводя Пашинцева к свету и разглядывая лицо его.— Похож, похож! Как две капли воды. Мы с вашею матушкой очень дружны были. Я никогда не забуду того, что она для меня сделала. Она была моя благодетельница.. Да,— помолчав немного, прибавила Авдотья Федоровна,— она умела заставить любить себя.— И слезы навернулись на глазах говорившей.— Очень, очень рада Что ж вы к нам, на время или совсем?

— Все зависит от обстоятельств,— отвечал Владимир Николаевич, тронутый воспоминанием о матери.— Думаю, что скорей совсем.

— Конечно, совсем,— возразил Глыбин.— Владимир Николаевич служить здесь хочет.

— Доброе дело, доброе дело,— сказала Авдотья Федоровна.

— И жить будет у нас Я к тебе не писал об этом, потому что некогда было. Позаботься же приготовить ему комнату — ту, что рядом с библиотекой; она ведь не занята?

— Нет, нет, не занята. Распоряжусь тотчас. Как я рада, право! — И Глыбина вышла из комнаты.

— А вот моя дочурка, Владимир Николаич,— сказал Глыбин, обнявши Лизу,— рекомендую, видите какая, только что не переросла отца

Владимир Николаевич, поклонившись еще раз, произнес какую-то очень ловко составленную французскую фразу, смысл которой был тот, что он желал бы, чтобы семейство Лизы считало его не чужим себе и чтобы Лиза видела в нем брата, как ее мать видела сестру в его матери. Эту фразу он долго обдумывал дорогой и заучил в нескольких редакциях, прилаживая к разным обстоятельствам, которые

могли, по его соображениям, сопровождать прием его у Глыбиных.

Хотя каждая из ухабинских барышень на месте Лизы непременно бы после этой фразы пришла в восторг от Владимира Николаевича и, улучив удобную минуту, выбежала бы в другую комнату, чтобы сказать своей маменьке, que ce jeune homme est charmant[1], но на Лизу слова молодого человека не сделали ровно никакого впечатления, ни дурного, ни хорошего; она только увидела, что у Пашинцева есть, как говорится, много апломбу. Заворскому, менее снисходительному, чем Лиза, фраза Владимира Николаевича положительно не понравилась. Искреннее чувство Авдотьи Федоровны, по мнению Заворского, должно было бы вызвать и со стороны приезжего менее искусственное приветствие. Впрочем, когда его познакомили с Пашинцевым, Яков Петрович довольно крепко пожал ему руку; а Лиза, после слов Владимира Николаевича, подала ему свою и произнесла тоже по-французски:

— Желаю, чтобы мы были друзьями...

Скоро подали чай, и завязалась живая, искренняя беседа, в которой, конечно, менее всего принимал участие Пашинцев, не успевший еще хорошенько ознакомиться с окружавшими его лицами. Он более наблюдал и, казалось, хотел по физиономиям угадать характеры этих людей. На все вопросы Авдотьи Федоровны о семействе Пашинцева он отвечал весьма охотно и с большим тактом; а такт в этом случае был очень нужен ему, потому что Глыбина, не зная, что привело его в провинцию, делала иногда такие вопросы, которые поставили бы другого на месте Владимира Николаевича в тупик. Глыбин несколько раз взглядывал значительно на жену при ее расспросах, но она или не видела, или не понимала этих взглядов. Владимир Николаевич, не распространяясь подробно о своих обстоятельствах, намекнул, однако же, что считает себя обязанным Глыбину, протянувшему ему руку в очень трудную минуту жизни. Лиза ограничилась несколькими вопросами относительно петербургской жизни, оперы, которую ей очень хотелось бы послушать, и литературы. Относительно первого Владимир Николаевич вполне удовлетворил ее любопытство и сделал весьма живой очерк столичных удовольствий; об опере отзывался довольно поверхностно, но при этом очень мило сострил над своим немузыкальным ухом, так что заставил невольно простить себе поверхностность своего отзыва. Что

[1] Что этот молодой человек очарователен (*фр.*).

же касается до литературы, то тут он оказался совершенно несведущим. Имена лучших современных писателей наших были ему или вовсе не известны, или известны лишь понаслышке. Как ни старалась скрыть свое удивление Лиза, в простоте сердечной думавшая, что петербургскому юноше стыдно не читать ничего русского, это удивление, однако ж, не ускользнуло от Пашинцева, и он покраснел. Но еще более пришел он в замешательство, когда Глыбин завел с Заворским какой-то серьезный разговор и когда, последний, высказав какое-нибудь мнение, обращался к Владимиру Николаевичу со словами: «Как вы на этот счет думаете?» Пашинцев никогда ни о чем серьезном, выходившем из сферы его пустой и праздной жизни, не думал, и многие предметы, о которых говорили Заворский и Глыбин, как-то дико звучали в его ушах. Владимир Николаевич уже называл в душе своих собеседников, по привычке, педантами и нетерпеливо ждал, когда наконец придет время спать. Глыбин, казалось, заметил неловкое положение молодого человека, потому что всячески старался свернуть разговор на вседневные, житейские предметы, доступные Пашинцеву; но Заворский, обрадовавшись, что видит перед собой человека, только что возвратившегося из Петербурга, не переставал расспрашивать Глыбина, что говорят и думают в известных кружках о том или другом общественном вопросе, что́ гласное судопроизводство, как стоит дело об устройстве крестьянского быта, какие толки о политических новостях, какое впечатление произвела такая-то статья журнала, чего ожидают от такого-то деятеля на административном поприще. Словом, Заворский едва давал Глыбину отвечать; не успевал тот кончить, как Заворский забрасывал его новыми расспросами, и расспросам этим, казалось Владимиру Николаевичу, не будет конца. Не менее, чем весь происходивший при нем разговор, удивляло его и то, что Лиза внимательно прислушивалась к этому разговору, что ее не только не клонило ко сну, но что, напротив, в глазах ее так и просвечивалась любознательность, и они беспрестанно переходили с Глыбина на Заворского, с Заворского на Глыбина. Она даже раза два перебила их и сделала Заворскому довольно меткое и показавшееся Пашинцеву справедливым возражение против публичного воспитания женщин, которому она решительно предпочитала домашнее.... «Да это синий чулок,— подумал Владимир Николаевич,— губернская Жорж Санд». Но, несмотря на насмешку над Лизой, сложившуюся в уме его, он чувствовал некоторую досаду, что молоденькая девочка знает больше его и судит о таких

вещах, о которых он понятия не имеет. Самолюбие его было задето. Ему очень хотелось знать, какое она составила себе о нем мнение... «Уж, конечно,— думал он,— такое, что я невежда, пустейший человек! Что же больше она могла вывести из моих разговоров?» Он внутренне сознавал, что она вправе была сказать это.

Наконец подали спасительный ужин; в продолжение его Владимир Николаевич был молчалив и задумчив; это, конечно, приписали усталости с дороги, чему он был крайне рад, вовсе не желая, чтоб общество догадалось о тайной причине его неудовольствия,— причине, заключавшейся в сознании своей пустоты, которое впервые пробудилось в сердце молодого человека.

— Этот господин, кажется, мелко плавает,— сказал Заворский, когда Пашинцев ушел в свою комнату.

— Как вы всегда поспешны на заключение о людях! — возразила Лиза.

— Извините, Лизавета Павловна, я не поспешен в суждениях о том, что требует времени для узнания. Я, например, не скажу, что этот молодой человек дурного характера, что он тщеславный или бесчестных правил.

— Еще бы вы это сказали! — воскликнула Лиза.

— Но согласитесь, что ум — такая вещь, которую сразу заметишь, а господин Пашинцев не сказал во весь вечер путного слова.

— Во-первых, ум очень относительная вещь, Яков Петрович, и притом часто мы готовы назвать дураком человека только за то, что он не сочувствует нашим убеждениям

— У меня вовсе нет такой нетерпимости, но согласитесь, что он не высказал несочувствия никаким убеждениям

— Наконец мы еще чаще необразованность принимаем за глупость. Очень может быть, что этот молодой человек мало читал, мало думал, но я решительно не нашла, чтоб он был глуп.

— Пожалуй, согласен... А вот, кстати, припомните давешний разговор наш.

— Ну, что ж?

— Да, вот вам бы взяться за роль Эдмеи,— с некоторою колкостью сказал Заворский,— и начать перевоспитывать этого господина. Славный случай проверить на деле, чье мнение справедливее, ваше или мое, то есть можно ли, не любя человека (я разумею любовь как страсть), пересоздать его... Займитесь-ка им, в самом деле?.. Советую вам.

— Пожалуйста, избавьте меня от советов,— сказала Лиза, вспыхнув,— это вы только могли бы, при вашей само-

уверенности, взяться перевоспитывать человека, а я не нахожу в себе для таких подвигов ни уменья, ни силы.

— Ну, полноте, не сердитесь, я пошутил.

Лиза не отвечала.

— Ну, не сердитесь же,— повторил умоляющим голосом Заворский,— дайте ручку...

— Не дам.

— Ну, пожалуйста, дайте, не то я всю ночь не усну, а мне завтра дела пропасть, вы знаете, что у меня правило не уходить спать, рассорившись...

— Вы злой человек,— отвечала Лиза, протянув ему руку.— Вас не за что любить.

— Я знаю, что вы меня не любите,— возразил Заворский вполголоса и наклонился к Лизе, как будто для того, чтобы взять лежавшую на окне фуражку.

Лиза слегка закраснелась. Заворский заметил этот румянец и ушел очень довольный.

Глыбин пользовался общим уважением в Ухабинске; он имел репутацию безукоризненно честного человека, и так как он нигде не служил, то положение его относительно губернских властей было совершенно независимое. Они смотрели на него как на равного и даже нередко прибегали к нему за советами. Некоторые отчасти побаивались его, потому что каждое злоупотребление находило в нем беспощадного обвинителя, не стеснявшегося громко и резко высказывать свое мнение, на что давала ему право жизнь, не запятнанная ни одним дурным поступком. Все почитали за честь знакомство с ним и заискивали его расположения: все уверяли его в своей дружбе, хотя в предводители его и не выбрали бы, потому что он все-таки, несмотря на многие отличные качества свои, слыл между этими господами за беспокойного человека и вольнодумца. Глыбин отрекомендовал Владимира Николаевича губернатору. Это был благообразный, седой старичок с звездой на фраке и лысиной на голове, отличавшийся более добротой, чем способностями, и который, при совершенном отсутствии характера, легко подчинялся влиянию людей, более умных и энергических, чем он. Его любили за ласковое, мягкое обращение и гостеприимство, но, что называется, не ставили в грош. Губернатор обласкал Владимира Николаевича как родного и обещал сделать для него все, что может. Имея, однако же, основание не доверять этим лестным обещаниям, Глыбин счел нужным познакомить молодого человека с правителем канцелярии его превосходительства, человеком дельным и энергическим. Строгая и несколько суровая наружность его могла с первого

разу внушить подчиненному робость, но, в сущности, правитель тоже имел доброе сердце и готов был помочь каждому, если только помощь эта не противоречила внушениям долга. Он уважал и любил Глыбина, и на просьбу его принять участие в молодом человеке отвечал, что постарается в самом скором времени приискать место, а пока посоветовал Пашинцеву заниматься под его руководством в канцелярии, чтобы попривыкнуть к делу. Тогда открывалась вакансия чиновника особых поручений при губернаторе, и правитель имел в виду убедить его превосходительство дать эту должность Владимиру Николаевичу, если только он окажется способным человеком. Относительно честности молодого человека правитель не сомневался, полагаясь вполне на рекомендацию Глыбина. На другой же день после визита правителю Владимир Николаевич отправился в канцелярию и усердно принялся за работу. Новизна положения и здесь заняла его так же, как занимала по вступлении в университет.

— Ну, что, как идет работа? — спрашивал его Глыбин, когда они сходились к обеду.

— Ничего... Павел Сергеич, идет помаленьку.

— Ведь не слишком трудно? — говорил Глыбин улыбаясь.

— Гораздо менее, чем я думал.

По вечерам продолжал к Глыбиным приходить Заворский, и споры его с Лизой и отцом ее начали более и более заинтересовывать Пашинцева. Он уже менее скучал; и если что казалось ему непонятно, обращался откровенно с вопросом к разговаривавшим; какой бы наивный, ребяческий ни был вопрос его, Глыбин и Лиза очень снисходительно все объясняли ему; но только при Заворском он не пускался в расспросы, боясь насмешливой улыбки его. Делать визиты ухабинскому обществу Владимир Николаевич пока еще не порывался. Он отчасти боялся, чтобы Глыбин не подумал, что он скучает у них... да и действительно, он еще не скучал и мог обойтись без других знакомств... Лиза начинала ему сильно нравиться...

Скоро кружок, собиравшийся у Глыбиных, увеличился еще несколькими лицами; приехал на вакационное время брат Заворского, студент Московского университета, юноша еще более живой и бойкий, чем Яков Петрович, совершенное подобие того, чем был этот последний лет десяти назад; он привез с собой товарища, не имевшего родных, к кому бы можно было приехать на лето. Студент Заворский пригласил его в деревню к своему брату; а так как эта дерев

лежала в нескольких верстах от города, то студенты раза два в неделю непременно отправлялись к Глыбиным. Еще бывало у них лицо, с первой встречи очень поразившее Владимира Николаевича неуклюжестью манер, мозолистыми плебейскими руками и отсутствием накрахмаленных воротничков. Это был домашний учитель Мекешин. Физиономию он имел суровую, глядел несколько исподлобья, носил всегда длиннополый синий сюртук и фуражку с козырьком, очень похожим, как казалось Пашинцеву, на навес у крыльца. По всем приемам его, по всей фигуре вы с первого раза могли угадать в нем семинариста; и говорил он даже на «о». «Чорт знает,— подумал Владимир Николаич, увидев Мекешина, вошедшего в гостиную Глыбиных,— какой народ ходит к Глыбиным». И Владимир Николаевич, презрительно посматривая на Мекешина, долго не удостоивал его словом. Тот, при незнакомом ему лице, тоже как-то ежился и, казалось, боялся высказываться. Видно было, что нужда помяла-таки этого человека и что обстоятельства не развили в нем особенной доверчивости к людям. Глыбин, как водится, познакомил его с Владимиром Николаевичем. Оба они довольно сухо поклонились друг другу, но руки друг другу не подали. Мекешин не подал потому, что не знал, будет ли это приятно его новому знакомому, о котором он заключил по его наружности, что это должен быть светский человек, и потому, что боязнь показаться навязчивым доходила у него до самой последней крайности, впадавшей в чопорность; Пашинцев же потому, что руки Мекешина произвели на него неприятное впечатление, и он был убежден, что они непременно мокрые. Глыбины между тем были до чрезвычайности ласковы с Мекешиным, не делая ни малейшего различия в обращении между ним и другими гостями. Заворский как-то особенно льнул к нему, и можно было даже подумать, что он делает это, как говорится, *в пику* Владимиру Николаевичу, на которого решительно не обращал внимания. В конце вечера Мекешин поободрился и сделался разговорчивее, вызванный студентом Заворским на спор о терпимости в литературе. Мекешин утверждал, что терпимость в известные эпохи вредна и что, наконец, трудно уберечься от крайностей тому, кто всю душу свою положит на какое-нибудь дело, что эти крайности свидетельствуют о страстной, энергической, до истощения сил готовой на борьбу натуре. От литературы спор перешел на историю, и здесь Мекешин доказывал, что каждая реакция влекла за собой непременно нетерпимость и крайности и что без них новые идеи никогда бы не привились к обществу. Яков Петрович во всех этих

спорах держал сторону Мекешина, против брата. Энергия и прямота, с которою Мекешин отстаивал свои убеждения, и его начитанность произвели впечатление на Владимира Николаевича. Когда Мекешин увлекался предметом спора, в глазах его было столько энтузиазма, щеки его так разгорались, он весь приходил в такое волнение, что к нему невольно в эти минуты лежало сердце, и он переставал быть дурным и неуклюжим. От Лизы не укрылось пренебрежение, с которым Владимир Николаевич смотрел на Мекешина, и то, что они не подали друг другу руки, как при встрече, так и на прощанье. Она тотчас угадала впечатление, произведенное на Владимира Николаевича бедным учителем, и решилась, при первом удобном случае, завести об этом речь с Пашинцевым. В настоящую минуту она ограничилась тем, что, когда Мекешин откланивался, она протянула ему свою руку, которую тот с большим чувством сжал в своей.

На другой день, после обеда, когда Авдотья Федоровна ушла к себе в спальню, почувствовав головную боль, а старика Глыбина не было дома, Лиза сидела под окошком в гостиной и читала.

Владимир Николаевич, войдя в комнату, прервал ее чтение.

— Я пришел некстати, Лизавета Павловна, помешал вам читать,— сказал Пашинцев, порываясь уйти.

— Вовсе нет; я еще двадцать раз успею кончить этот роман до отъезда маленького Заворского. (Глыбины называли студента Заворского для отличия от брата маленьким, и это название шло к нему, потому что он в самом деле был довольно миниатюрен.)

— А это его роман? — спросил Пашинцев, садясь против Лизы и перелистывая книгу.

— Да.

— Как вы его находите?

— Кого? Заворского или роман?

— Роман.

— А вы читали его?

— Нет. Вы знаете, Лизавета Павловна, что я почти ничего не читал.

— Прочтите. Это очень хорошая вещь... Я вообще люблю английские романы, но Диккенс, по-моему, выше всех нынешних писателей.

— Вы, кажется, сходитесь в этом с Яковом Петровичем, как и во многом.

Легкий румянец на мгновение подступил к щекам Лизы и потом снова исчез.

— Да, в наших вкусах есть кое-что общее, но далеко не все. Мы с ним часто спорим и даже ссоримся.

— Les petites querelles soutiennent l'amitie? [1]

— Может быть.

— И на этом основании мне бы тоже хотелось с вами поссориться, Лизавета Павловна.

— Эта поговорка вовсе не говорит, что люди, которые между собой не ссорятся, не могут быть дружны.

— Однако ссора скрепляет дружбу.

— Плохая дружба, которую можно скреплять искусственными средствами. Впрочем, если бы вам захотелось непременно со мной поссориться, дело за этим не станет.

— Будто? Так, значит, я только предупреждаю ваше желание?

— Да... Мне хотелось бы вас побранить немножко.

— Зачем же немножко? Уж браните больше, умнее буду.

— В уме у вас и так нет недостатка. А вот подобрее быть не мешало бы.

— Вы находите, что я зол, Лизавета Павловна. Но согласитесь, что этот упрек можно сделать скорее Якову Петровичу, который куда как не прочь кольнуть ближнего.

— Но все-таки я скажу, что он добрее вас.

— Может быть. Я действительно слышал, что он делает много добра, но если я его не делаю, Лизавета Павловна, так я в том, право, не виноват. Чем я могу быть полезен другому? Какое добро я могу сделать?

— Вы думаете, что добро делать, значит давать деньги взаймы?

— И это тоже, между прочим.

— Это добро, я уверена, и вы делали, ведь вам, конечно, случалось одолжать приятелей?

— Положим.

— А случалось ли вам когда-нибудь привязать к себе человека? Я заметила, что вы ни с кем не ведете переписки. Отчего бы это? Неужели вы не оставили в Петербурге ни одного существа, с которым вам тяжело быть в разлуке, которое бы о вас жалело?

— Совестно признаться, а кажется, что так.

— Отчего же это? Значит, деньги, которые вы одолжали приятелям, не скрепляли вашей дружбы с ними? Зна-

---

[1] Милые бранятся — только тешатся (дословно: маленькие ссоры утверждают дружбу — *фр.*).

чит, тут нужно что-нибудь другое? Единство вкусов, привычек, характеров даже, вероятно, тоже было между вами.

— Все было; но дело в том, что и я и они — мы были порядочными эгоистами и заботились только о том, как бы не скучать.

— Что вам, я думаю, также не всегда удавалось.

— И даже очень часто не удавалось.

— А удавалось ли вам когда-нибудь утешить товарища, упавшего духом, облегчить чье-нибудь горе? Вот эти одолжения — повыше денежных.

— Да, если мне не попадались ни больные, ни задавленные обстоятельствами,— сказал с насмешкой Пашинцев.

— Они не могли не попадаться,— продолжала Лиза, так значительно взглянув на молодого человека в ответ на его насмешку, что он невольно потупился, —едва ли найдется хоть один человек, у которого бы не было горя, который бы не нуждался в утешительном слове, но чтобы заслужить доверие, чтобы вызвать на откровенность и, наконец, чтобы только понять чужое горе, проникнуть в чужое сердце,— нужно *любить*, а вы не любили. Ваших приятелей вы любить не могли, потому что, как говорите, не уважали их, а на других людей, стоявших ниже вас по своему воспитанию и происхождению, вы смотрели свысока. Вы могли пожать только ту руку, на которой лайковая перчатка. Бедность в ваших глазах была пороком. Все, что не изящно, не вылощено, не приглажено, вселяло в вас отвращение к себе.

— Почему вы так думаете?..

— Я не думаю, я убеждена. Не далее как вчера вы смотрели с презрением на этого честного, доброго Мекешина, который по уму, по благородству правил заслуживает полного уважения; разве ложный стыд не удержал вас пожать ему руку, единственно потому, что он дурно одет, что у него не аристократическая рука? Ну, признайтесь, ведь я правду говорю?

— Признаюсь вам, Лизавета Павловна, он действительно мне не понравился сначала, я смотрел на него не с презрением, как вы говорите, но с удивлением, потому что мне не приходилось встречать таких людей, но потом, когда я увидел, что он умный и образованный человек...

— Вы стали смотреть на него снисходительно, но все-таки, верно, говорили про себя, что с такими людьми надо держать себя на благородной дистанции; все-таки вы не обратились к нему ни с одним словом в течение всего вечера и на прощанье опять не решились подать руки ему. Напрасно, Владимир Николаич. Вспомните, что вы теперь хотите

служить; что можете получить впоследствии важное место, будете иметь подчиненных, в нужды которых порядочный начальник должен вникать, а если вы не победите в себе эту брезгливость, эту ложную гордость, вы и полезны не будете и любви не заслужите ничьей.

— Лизавета Павловна, я чувствую всю справедливость слов ваших, и, верьте мне, они не пропадут даром. Я употреблю все усилия, чтобы переработать свою глупую натуру. Знаю, что я мелочен, что я тщеславен, но сложите хоть маленькую долю вины на обстоятельства, на воспитание, которое дали мне. Я не приписываю им всего, сознаюсь, что во многом виноват я сам, но и они помогли, право. Я решился твердо, Лизавета Павловна, начать совершенно новую жизнь. И чувствую, что вам обязан этим еще более, чем вашему батюшке. Вы можете вполне пересоздать меня!

— Вы приписываете мне слишком много, Владимир Николаич. Но если дружба моя может хоть сколько-нибудь значить в жизни вашей, я уж буду довольна.

— Она будет для меня всем, всем, Лизавета Павловна. Вот и теперь с вами одною я могу быть откровенен; к вам несу я все, что на сердце, не боясь ни насмешки, ни холодности. После разговора с вами как-то лучше становится. Ваша дружба возвышает меня в собственных глазах. Верьте мне, что я постараюсь сделаться достойным этой дружбы.

Лиза с улыбкой подала ему руку.

Вечером у Глыбиных опять собрались те же лица, что и накануне. Владимир Николаевич был уже совершенно другой с Мекешиным, беспрестанно с ним заговаривал, потчевал его сигарами, жал ему руку, хоть все еще не без некоторого опасения загрязнить свою. От внимания Якова Петровича, заметившего накануне холодность Пашинцева с учителем, не ускользнула эта внезапная перемена, и он тотчас же приписал ее влиянию Лизаветы Павловны.

«Таки взялась за роль Эдмеи!» — сказал он себе и никак не мог воздержаться, чтобы раза два в продолжение вечера не срезать, что называется, Пашинцева, когда тот осмелился было вклеить свое словцо в какой-то серьезный разговор. Лиза при этом, конечно, вступалась за своего *protégé*, стараясь придать словам его совсем иной смысл, чем находил Заворский. К счастью своему, Пашинцев выразился оба раза довольно неопределенно, и потому Лизе удалось кое-как его выпутать.

Владимир Николаевич благодаря влиянию Лизы действительно принялся приучать себя исподволь к серьезному чтению. Он вооружился терпением и целые вечера просиживал за книгой. Одолевши какую-нибудь ученую статью, он вдруг исполнялся гордости и самодовольства и уже считал для себя возможным принять участие в спорах, происходивших у Глыбина; ему страшно хотелось щегольнуть приобретенным знанием, и он начинал отстаивать какую-нибудь вычитанную мысль, приводя в защиту ее вычитанные же аргументы. Конечно, за свою смелость он бывал всегда почти наказан, потому что или Заворский, или Мекешин побивали его наголову. Но он не приходил бы в уныние от своего поражения, довольный уже тем, что ему удалось потолковать о предметах, вызывающих на размышление, если бы Заворский в свои возражения не вклеивал какого-нибудь едкого словца, намекавшего на то, что Владимир Николаевич повторяет чужие слова, как попугай, что он не способен заметить односторонность в вычитанном суждении, не способен взглянуть на предмет с своей точки зрения и т. д. При этих выходках, разумеется, самолюбие Пашинцева сильно страдало (он чувствовал Заворского правым), и он стал ненавидеть своего противника. «Это человек сухой, без сердца»,— говорил себе Владимир Николаевич. Но он ошибался. Заворский действовал так под влиянием чувства, заставляющего нас часто действовать наперекор добрым внушениям нашей природы, но от которого, при всем желании нашем, мы не в силах бываем отрешиться: им овладела ревность. Ко всякому другому Заворский был бы снисходительнее; но он стал замечать, что Пашинцев влюблен в Лизу, и ей самой начинает нравиться. Не будь этого, Заворский готов был бы также взять юношу под свое покровительство, помочь ему добрым советом, но теперь Яков Петрович был беспощаден. Он, однако же, сам понимал, что делает дурно, выставляя на вид недостатки соперника и осмеивая его перед Лизой; он даже знал, что этим не только не выиграешь у женщины, а скорее только вооружишь ее против себя и дашь противнику лишний шанс; потому что женщины вообще любят принимать сторону слабых и угнетаемых, и те, которые осмеливаются нападать на их *protégés*, становятся им противны. Все это понимал Заворский и между тем не в силах был воздержаться. Часто сухость с ним Лизы, ее строгий, холодный взгляд заставляли его раскаиваться в своей раздражительности; он давал себе обещание не повторять нападков своих на Пашинцева — и не сдерживал обещания.

— Я начинаю убеждаться, что я в вас ошиблась, Заворский,— сказала однажды Лиза, оставшись с Яковом Петровичем наедине.

— Очень вам благодарен.

— За что?

— Как за что? Вы находите, что я лучше, чем вы думали.

— А если хуже?..

— Эта мысль могла бы мне прийти в голову, если бы вы когда-нибудь были обо мне хорошего мнения.

— Ошибаетесь. Я всегда думала, что у вас хорошее сердце...

— У кого нынче не хорошее? Это еще не много. Нынче свет так и кишит добрыми малыми.

— Но не добрыми людьми.

— Вы считали меня всегда таким господином, для которого ничего нет святого, который ни во что хорошее не верит, потому, конечно, что судит о других по себе.

— Вы любили прикинуться таким господином, это правда, mais au fond [1], я всегда думала, что вы истинно добрый человек...

— А теперь?

— А теперь начинаю сомневаться...

— Вероятно, потому, что я часто даю щелчки самолюбию этого франтика, что ваш батюшка вывез из Петербурга?

— Тут нет ничего похвального.

— Ну, что ж тут худого?

— А хоть бы то, что вы этим можете отбить у него охоту к делу.

— Плох же он после этого, а мне казалось, что я ему пользу делаю, напротив; что мои щелчки могут заставить его трудиться с большим рвением и отучат его толковать о том, чего он хорошенько не знает; а то и выйдет из него современный герой.

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет,
Верить, не верить — ему все равно,
Лишь бы доказано было умно.

— Знать что-нибудь для него так ново, что, право, извинительно, если ему хочется поговорить о том, что он узнал...

— Надо приучать его, чтобы он думал о том, что узнает, а не звонил с чужого слова.

---

[1] Но в сущности *(фр.)*.

— Все это придет: давно ли он начал что-нибудь делать? Вы чересчур взыскательны. Наконец, если и действительно у него бывают ребяческие выходки и вы находите нужным дать ему понять, что он не так говорит или поступает, как бы следовало, разве нельзя этого сделать поделикатнее? Ведь вы иногда просто говорите ему грубости.

— Мне кажется, деликатность в этих случаях не так действительна, жесткое словцо скорее проймет.

— Оскорбленное самолюбие может привести человека к тому, на что он иначе никогда не решился бы: разве не бывали примеры?..

— Так вы решительно хотите перевоспитать этого молодчика?

— Я вам уже сказала, что я никого не берусь перевоспитывать, а если вижу, что человек хочет идти по лучшей дороге, чем шел прежде, так уж, конечно, не стану его сворачивать на старую, это, может быть, очень человечно и благородно, но только не в моем вкусе.

— Если вам угодно, чтобы я не возражал господину Пашинцеву, если я этим успею снова заслужить в ваших глазах репутацию человека с хорошим сердцем, даю вам слово, что, хоть бы он сказал, что завтра мы проснемся все на луне, я с ним и тогда соглашусь. Не хочу уступить ему в покорности, хоть и не отличаюсь, как вы знаете, этой воспрославленною добродетелью.

— Я вас не понимаю.

— Понимаете, да не хотите сознаться; разве он не оказался самым покорным юношей? Вспомните, как он поднял было нос перед Мекешиным; а вы сделали ему внушение, и он на другой же день наичувствительнейшим образом пожал его мозолистую, плебейскую руку. Разве этого мало? Господин Пашинцев выдержал, вероятно, немалую борьбу с своими аристократическими инстинктами, прежде чем решился на подобную жертву.

— Мне кажется, что он не сошелся в первый же раз с Мекешиным, потому что не знал, что он за человек. Вы сами же говорили, что не терпите людей, вешающихся на шею каждому встречному. Значит, это говорит в пользу Пашинцева. А потом, увидев, что Мекешин умен и с благородным сердцем, он подал ему руку. Тут не нужно было ничьих внушений.

— Может быть, и так. Радуюсь, что господин Пашинцев делает все из таких прекрасных побуждений.

— В которые вы не привыкли верить...

— Если бы я не верил в них, то вы бы заставили меня поверить...

— Но ваш комплимент не заставит меня переменить мое о вас мнение. Я окончательно убеждена, что ум ваш развился в ущерб сердцу.

— Ведь это тоже комплимент, Лизавета Павловна.

— Я бы не была им довольна.

— Вот идет мсье Пашинцев, у которого развитие совершалось, вероятно, наоборот; прощайте, Лизавета Павловна. Внушите ему уж кстати, чтобы он пореже употреблял слова *прогресс, цивилизация;* они как-то теряют свой смысл в устах его.

— Если б я могла внушить вам, что в ваших устах любовь к человечеству тоже не совсем сохраняет свой настоящий смысл!

«Она к нему не равнодушна, это верно,— подумал, уходя, Заворский,— иначе бы не вступалась за него так горячо».

Служебная деятельность Владимира Николаевича началась довольно удачно. Ему дали обещанное место чиновника по особым поручениям. Правитель дел отзывался о его способностях с похвалой. Его превосходительству нравилось более всего в Пашинцеве то, что он un jeune homme comme il faut [1], не похожий на других чиновников его канцелярии, между которыми находились даже молодцы, сморкавшиеся без платка; а уж лайковых перчаток не носил решительно ни один. Его превосходительство очень соболезновал, что окружен такими gens mal élevés [2], и приглашал к себе служить молодых людей из Петербурга, но никто не шел, потому что Ухабинская губерния лежала черт знает где,— на краю света; да и служба у его превосходительства никому не льстила. Даже и губернаторши хорошенькой не было, через которую бы можно себе карьеру сделать. Самого его превосходительства может забрать в руки какой-нибудь дока, вылезший из приказных, и изволь ему кланяться. Так рассуждали столичные молодые люди, получавшие лестное предложение его превосходительства служить в Ухабинске, и он остался со своими чиновниками, не носившими перчаток и носовых платков. Впрочем, правитель дел носил и то и другое, и если его превосходительство не считал его вполне *комильфо*, то и не считал его вполне *мовежанром*.

---

[1] Светский молодой человек *(фр.)*.

[2] Плохо воспитанными людьми *(фр.)*.

Внушения правителя и разговоры у Глыбиных воспалили в Пашинцеве ярость к преследованию лихоимства. Правитель обещал ему поручить первое следствие, которое представится; но, однако же, предупредил его, что даст ему в руководители «мужа, искушенного горнилом опыта», чтобы Владимир Николаевич не сделал промаха.

Его превосходительство, отдавая должную справедливость изящной наружности своего нового чиновника и его *комильфотству* и ловкости, не преминул выразить свое удивление, что такой милый молодой человек вовсе не посещает общества.

— Напрасно, напрасно, mon cher,— проговорил благодушный старец Владимиру Николаевичу,— общество формирует молодого человека: никогда не надо избегать общества; чем более вы будете посещать общество, тем менее полезут вам в голову эти вредные, заразительные идеи, ces idées pernicieuses [1], которые нынче любит молодежь, croyez moi, mon cher [2], я знаю жизнь, говорю вам как отец сыну.

К этому его превосходительство присовокупил, что Владимиру Николаевичу необходимо познакомиться с ухабинскими дамами, il y en a ce qui sont charmantes [3], и тут же заметил, что женщины — это, можно сказать, цвет и краса создания и что кто не любит la causerie [4], тот не может называться порядочным человеком, un homme comme il faut.

Когда Владимир Николаевич сообщил Глыбиным, что губернатор непременно желает отрекомендовать его дамам, Павел Сергеевич усмехнулся и сказал:

— Ну что ж, познакомьтесь... узнайте поближе провинциальное общество, это не мешает...

— Очень любопытно знать, какое впечатление оно сделает на мсье Пашинцева,— вмешался Заворский.— Мне кажется, оно должно ему понравиться...

— Почему вы думаете это? — спросил Пашинцев.

— Потому, во-первых, что здесь много хорошеньких женщин... а какой же молодой человек не любит хорошеньких женщин? А потом оно вам напомнит вашу петербургскую жизнь,— продолжал Заворский.

— Может быть, я вовсе не желаю, чтобы мне о ней что-нибудь напоминало, а что касается до хорошеньких жен-

---

[1] Эти опасные идеи *(фр.)*.
[2] Верьте мне, мой дорогой *(фр.)*.
[3] Среди них есть очаровательные *(фр.)*.
[4] Непринужденной беседы *(фр.)*.

щин, то мне случалось их видеть довольно, и одна красота еще не может произвести на меня сильное впечатление.

— Видели довольно?.. Да, я думаю, прекрасное никогда не надоест видеть, сколько ни смотри; если вы вчера видели картину Иванова, так из этого не следует, что вам не захотелось завтра видеть Брюлова? И зачем же одна красота только... здешние дамы имеют много и других достоинств... на театре отлично играют, романы французские читают... вы так горячо стоите за прогресс цивилизации, это должно вас радовать...

— Если вы думаете, что я только в этом и вижу цивилизацию, так очень ошибаетесь...

— Чего же вам еще надо?.. Филантропии, что ли?.. И за этим дело не станет... Они у нас и ближних любят... кроме мужей, разумеется... с первого раза всучат вам дюжину билетов на какую-нибудь благотворительную лотерею. Уж не знаю, что бы и сталось с здешними бедными, если бы не наши добрые, милые дамы!

— Да перестаньте, Заворский,— перебила Лиза,— предоставьте Владимиру Николаичу самому увидеть все... гораздо лучше, если он взглянет на общество без всякого предубеждения.

— Вы правы, Лизавета Павловна,— и я молчу. Меня тоже интересует суждение господина Пашинцева о здешней публике.

— Когда же вы намерены, Владимир Николаич, выступить на *светское* поприще? — спросила Лиза.

— Да вот, говорят, в среду будет бал в собрании; так я и отправлюсь. Там увижу всех разом.

— И потом сделаете визиты тем, которые вам понравятся.

— Едва ли я буду делать визиты. Новые знакомства отняли бы у меня слишком много времени, а я уж и так довольно потратил его, бог знает на что.

— Что ж? — сказал Заворский.— Если вы немножко отстали в знаниях, зато, вероятно, приобрели много опыта... жизнь ведь тоже учит не меньше книг.

— Есть книги хорошие, из которых научаешься уму-разуму, и есть дурные, из которых ничего не выжмешь; так точно и жизнь: бывает она бесполезная, пустая, бывает и плодотворная.

— Ну,— произнес Заворский вполголоса, чтобы Лиза не могла его слышать,— плодотворная жизнь еще у вас впереди, молодой и холостой человек.

Пашинцев вспыхнул при этом плоском каламбуре; но приход какого-то нового лица прервал разговор их.

Лиза, при вести о намерении Пашинцева познакомиться с ухабинским обществом, сначала было призадумалась. Она боялась за Владимира Николаевича, чтоб он опять не увлекся и не бросил своих занятий и службы, но потом сказала себе: «Пускай, это послужит ему испытанием; если он не поддастся, значит, желание переработать себя в нем глубоко и сильно, значит, у него есть воля. Если же напротив, то, конечно, Заворский скажет тогда, что из Пашинцева никогда ничего не выйдет». Но ей не хотелось этого допускать, притом она надеялась несколько на свое влияние. А лучше, если бы он не пускался, заключила Лиза! И в самом деле, уж если человек не надеется на свою силу, то не лучше ли ему стараться избегать тех положений, которые ставят его в необходимость бороться? Сколько есть людей, честно, без укоров совести проживших жизнь, может быть, единственно потому, что им не встречалось больших искушений? Конечно, эти натуры не внушают к себе такой симпатии и уважения, как противоположные им, отстоявшие свою независимость посреди самых неблагоприятных обстоятельств,— но что же делать? Всякому своя доля, и весь мир не может состоять из героев.

V

УХАБИНСКАЯ ПУБЛИКА

Был очень табельный день, и потому зал ухабинского собрания блистал ярче обыкновенного. Кроме шести люстр, постоянно зажигавшихся в простые клубные дни (ухабинская публика в течение всей зимы отплясывала в собрании каждую среду), по стенам горели повсюду свечи, отчего была нестерпимая духота. Снаружи здание тоже иллюминовали, и на улице густая толпа народа любовалась на длинные ряды плошек, украшавших балкон и тротуарные тумбочки, нисколько не боясь возвратиться домой с головною болью от чада и копоти. У подъезда обнаруживалось необыкновенное движение, кареты подъезжали одна за другой, и из них с легкостью сильфид выскакивали очаровательные ухабинские дамы в необозримых кринолинах, сопровождаемые мужьями в черных фраках и белых галстуках или в серебряных и золотых эполетах. Мужья не уподоблялись сильфам, они довольно тяжеловато и с озабоченным видом ступали по устланным ковровыми половиками

ступеням лестницы; на лице многих из них можно было прочесть грибоедовский стих: «Бал вещь хорошая, неволя-то горька!» Молодые, развязные кавалеры опережали мужей и жен и спешили, сбросив с себя шинель, подойти к зеркалу, висевшему в прихожей, чтобы поправить свои помятые шляпой или каской прически. Для этой надобности лежала на столике под зеркалом щетка грязноватого свойства. Зал наполнялся быстро и начинал представлять для глаз весьма живописную пестроту: розовые, голубые, белые платья, аксельбанты, красные панталоны, звезды на фраках и на мундирах, Станиславы на шее, Станиславы в петличках, белые бурнусы на синих кафтанах, даже один гусарский доломан и один черкесский чекмень, усы, бакенбарды, лысины, убеленные сединами старцы и старицы, цветущие здравием юноши с проборами посередине головы, с проборами на затылке, с проборами сбоку, цветы, ленты, колосья, обнаженные плечи, пухленькие и тощие,— словом, было от чего зарябить в глазах, закружиться в голове. И все так изящно, прилично, нигде карикатурной фигуры, нигде допотопного чепца, нигде безвкусного сочетания цветов. Самый придирчивый столичный франт, окинув пытливым взором это многолюдное общество, сквозь вставленную в глаз лорнетку, не нашел бы ничего провинциального, отсталого; от всего веяло модой, утонченным вкусом, знакомством с столицей, словом — просвещением! Запах от различных духов, которыми были пропитаны носовые платки, как дамские, так и мужские, и от московской и петербургской помады, которою, кажется, также не брезговали оба пола, запах этот, говорю я, наполняя воздух зала, раздражал нервы и производил что-то вроде опьянения. Оркестр еще молчал, и капельмейстер, в длиннейшем белом жилете, с волнением посматривал в прихожую. В зале слышалось только жужжанье, какое бывает в жаркий летний день в комнате, когда налетят в нее шмели и осы... Ожидали его превосходительства, ибо до него никогда не начинались танцы. Дамы, пользуясь минутами ожидания, то и дело бегали в уборную поправлять туалеты. На бале они, казалось, забывали свои антипатии, свою вражду, все ссоры, интрижки и сплетни, которыми так изобилует провинциальная жизнь; обращались друг к другу с самыми ласковыми, дружескими названиями, chére madame B, душа моя Софья Ивановна, и поправляли друг другу платья, прикалывали бантики, советовали спустить пониже цветок, и все это с такою предупредительностью, с такою любовью, что вы невольно умилились бы, если бы только вас пустить

в уборную. Казалось, ни малейшего соперничества не существует между ними. Каждая заботится только о том, чтобы ее приятельница была лучше ее. Ну, совершенная Аркадия! Может быть, и в самом деле между ними не было соперничества?.. Обилие кавалеров, отличавшихся на ухабинских балах, могло бы придать этому предположению большое вероятие, но нет! Уж так создан свет, что иной ловкий кавалер понравится трем дамам вдруг, бог знает за что,— ничего в нем, кажется, нет такого, только что панталоны узкие носит,— а другой как ни финти, как ни старайся пленить, а все неймет, все остается вакантным, и потому-то злые языки говорили, что эта дружба ухабинских дам продолжалась только до начатия танцев, а под конец бала выходило совсем другое. Впрочем, я никогда не верил злым языкам.

Наконец частный пристав в синих очках, стоявший у самого выхода, дал знак капельмейстеру, и оркестр грянул; мужчины столпились к дверям, дамы выровнялись в одну шеренгу против мужчин, так что образовалась улица, по которой его превосходительство, раскланиваясь и улыбаясь на обе стороны, прошел медленно и торжественно; за ним следовал Владимир Николаевич, завитой, раздушенный и в белом галстуке, его превосходительство, однако ж, имел не совсем представительную наружность: старенький, седенький и сутуловатый, с большою лысиной на макушке, он вовсе не смотрел начальником. Ничего в нем не было олимпийского, и батальонный командир ухабинского гарнизона справедливо утверждал, что это потому происходит, что его превосходительство в военной службе никогда не служил, выправки не имеет, и при этом батальонный командир, озираясь вокруг себя для того, чтобы удостовериться, не подслушивает ли его кто, добавлял: «А уж какой это губернатор, коли ростом не вышел!.. Вот был здесь, лет десять тому назад, губернатором Максим Семеныч,— ну, это начальник, нечего сказать! От одного взгляда, бывало, подчиненный, как угорелая кошка, по всем углам замечется, словно кипятком ошпарит; а уж если крикнет на тебя, так-таки тут и присядешь; из своих рук казачьих офицеров нагайками лупил. Отлупит, а потом, как гнев-то пройдет, денег даст. Зачем же теперь и начальника ставят, коли не затем, чтобы от него подчиненному трепет был? Без трепету и порядка быть никакого не может».

Трепета действительно перед его превосходительством мало чувствовали, но зато дамы были от него без ума и говорили, что они никогда не встречали такого доброго,

милого старичка. И теперь они его окружили и осыпали вопросами о здоровье, о том, что пишут ему нового из Петербурга, где, как все знали, у него были большие связи, и скоро ли он намерен дать у себя бал. Некоторые, посмелее, даже приглашали его вальсировать; а одна подарила ему цветочек из своего букета и сама продела этот цветок в петличку губернаторского фрака, за что его превосходительство с чувством пожал маленькие пальчики очаровательницы. Но от вальса он положительно отказался и, воспользовавшись этим случаем, представил дамам своего нового чиновника по особым поручениям, qui valse supérieurement [1], как выразился его превосходительство, хотя он и не видел Пашинцева вальсирующим Дамы, с самого появления Владимира Николаевича, посматривали на него с любопытством, тем более что появление его было совершенно неожиданно; никто не знал, что приехал молодой человек из Петербурга, и всех удивляло, как это подобная новость не разнеслась по Ухабинску, который, как и все провинции, был очень падок на новость. Конечно, если бы приезжий был человек не светский, если бы он притом был пожилой — с пряжкой за пятнадцать лет или крестом на шее, то он мог бы преспокойно явиться в собрание, не возбудив ничьего любопытства. Мало ли приезжает чиновников служить в ухабинские присутственные места!.. Но это совсем другое дело. Владимир Николаевич глядел совершенным щеголем. От испытующего взгляда дам не укрылись ни модные воротнички тонкой отличной рубашки, ни петербургский покрой фрака, ни даже изящный фасон сапог, не похожих вовсе на сапоги ухабинских франтов, стучавшие и с какими-то тупыми, как будто обрезанными носками. Владимир Николаевич тотчас же пригласил на вальс самую хорошенькую барыню, ту, которая подарила его превосходительству цветок, а потом и всех остальных. Дамы остались очень довольны его ловкостью, ему тоже понравились их стройные талии, свеженькие туалеты и белые плечи. Желая познакомиться с ухабинскими дамами покороче, он стал было приглашать их и на кадрили, но, к сожалению, в Ухабинске водилось обыкновение — ангажировать заранее, и потому все оказались уже разобранными, так что он едва успел найти дам на две последние кадрили; а на мазурку тоже остался без дамы.

— Ах, какая досада! — сказала маленькая, хорошенькая, живая барыня с черными выразительными глазками и

---

[1] Который превосходно вальсирует *(фр.)*.

несколько азиатским типом лица, которую большая часть ухабинских барынь не могла терпеть за способность подмечать их слабости и смешные стороны, другой, сидевшей около нее, довольно невзрачной, но, по мнению ухабинской публики, очень умной и ученой, читавшей даже «Фауста» на немецком языке.— Меня ангажировал на мазурку Пашинцев, а я должна была ему отказать, потому что танцую с этим вон юношей, с которым скука невыносимая, говорит все фразами из французских диалогов. Мне счастье нынче на кавалеров, нечего сказать! Первую кадриль дала милому *ротмистру* Амарантскому. Намедни я чуть не захохотала ему в лицо... играли кадриль на мотив *«барыни»;* а он говорит: как мне эта кадриль напоминает Бетховена!

— Вообще,— заметила ученая барыня,— наши кавалеры не имеют понятия, что значит *causerie* [1]. Один только Чижиков, молодой человек — tout á fait comme il faut... [2].

— Ну уж, Лизавета Семеновна, хорош и ваш Чижиков, помешался на какой-то аристократии казанского сочинения, толкует о связях, о знати, у которой и в передней-то не был. Он с своими аристократическими претензиями похож на Авдотью Васильевну, про которую он же сам рассказывает, будто она говорит, что ее род происходит от *Минина и Пожарского* и что у нее есть огромнейшая родословная, которою даже покрывали у родителей ее в кладовой кадку.

Ученая дама, читавшая «Фауста», продолжала отстаивать *комильфотство* Чижикова, лучше которого она действительно ничего не знала, потому что не выезжала из Ухабинска, где папа ее служил когда-то по откупам.

Разговор их прервал Чижиков, высокий, тонкий молодой человек с длинными зубами и выдающеюся нижнею челюстью, уже несколько лет безнадежно вздыхавший о камер-юнкерстве, которое не давалось ему, как клад. Он в самом деле бредил аристократизмом и беспрестанно восклицал ma foi [3], вероятно считая это высшим признаком *бонтона*, но, впрочем, был добрый малый, и еще один из лучших в Ухабинске. Он подошел к дамам и начал им говорить, что ему пишут из Казани о женитьбе графа З... на какой-то казанской барышне с пятьюдесятью тысячами годового дохода, но вовсе не аристократической фамилии, и при этом резко высказал нелюбовь свою к *мезальянсам.*

---

[1] Непринужденный разговор *(фр.)*.
[2] Совсем светский *(фр.)*.
[3] Ей-богу *(фр.)*.

— Что нам до вашего графа З..,— сказала дама с черными глазами,— ведь мы его не знаем, пускай себе женится на ком хочет; посмотрите, Лизавета Семеновна,— прибавила она вполголоса, обратясь к соседке,— как Карачеева нынче *мало* декольте.

И обе захохотали.

— Elle finira par ne plus s'habiller dutoit...[1]

— И друг ее, Миркайхилидзева, в том же роде,— заметила Лизавета Семеновна.

— J'aurais donné l'une pour ne pas voir l'autre[2],— отвечала дама с черными глазками.

Заиграли кадриль. К обеим дамам подошли кавалеры; ученую взял какой-то румяный, улыбающийся, плотный господин с плоским, как лопата, лицом; а ту — кавалерист Амарантский, говоривший как-то в нос и нараспев и считавший себя необыкновенно светским, потому что в Петербурге был раз на бале у какого-то графа Вертихвостова.

У Амарантского висели на мундире два креста и медаль, которые он так искусно носил, что казалось, будто вся грудь его увешана орденами. Танцуя, он то и дело играл цепочкой и рисовался; а в разговоре употреблял самые вычурные, изысканные фразы a la Марлинский.

Владимир Николаевич во время кадрили приютился один в конце залы и смотрел в лорнет на танцующих. Он успел уже познакомиться с некоторыми мужчинами, но более с молодыми, которые все танцевали, и потому ему было бы не к кому обратиться за сведениями относительно выплясывавшей перед ним публики, если бы судьба вскоре не послала ему словоохотливого соседа, вовсе ему не известного, но тем не менее вполне удовлетворившего его любознательности.

Это был господин довольно некрасивый, с желчным лицом, с тонкими сжатыми губами, одетый мешковато и остриженный под гребенку. Во взгляде небольших серых глаз его нельзя было не заметить ума; но взгляд этот не привлекал; напротив, что-то отталкивающее, холодное, злое выражалось в нем. Это был некто господин Выжлятников, проживавший в Ухабинске без всякого дела и неизвестно с какою целью. Он когда-то служил; но, не уживаясь ни с каким начальством, переходил из одного ведомства в другое, пока наконец не вышел вовсе в отставку. Говорили, что у него был капитал, достаточный для того, чтобы про-

[1] Кончится тем, что она в конце концов совсем перестанет одеваться *(фр.)*

[2] Я бы отдала одну, лишь бы не видеть другую *(фр.)*.

жить безбедно в провинции, но недостаточный для того, чтобы жить в Петербурге, куда, однако ж, стремились все его помыслы и куда он собирался уже несколько лет сряду.

Он жил скупо, не делал у себя ни вечеров, ни обедов; но любил хорошо поесть и попить на чужой счет, не упуская, однако ж, случая ругнуть за глаза тех, у кого ел и пил.

Многие боялись его за злой язык, некоторые считали его даже способным на доносы, но несмотря на это, а может быть, даже и потому именно, заискивали в нем. Сам его превосходительство побаивался господина Выжлятникова и косо поглядывал на него, что, однако, не мешало маститому старцу протягивать при встрече и при прощанье руку Выжлятникову.

«*Croyez moi que c'est un homme dangereux*[1],— говорил обыкновенно его превосходительство своим приближенным, когда речь заходила о Выжлятникове,— я знаю жизнь, я довольно видел на своем веку всяких людей: это неблагонамеренный человек». Господин Выжлятников редко чем оставался доволен; нечего говорить уже о распоряжениях местного начальства, находивших в нем всегда строгого судью и порицателя, но когда речь даже шла о литературе, о театре, о каком-нибудь обеде, о дамском туалете, он во всем находил что ругнуть и не любил при этом затрудняться в выражениях; цинизм вошел у него в плоть и кровь. Молодежи он нравился потому, что выходки его иногда были довольно забавны. Она думала о нем, что это человек с оскорбленным самолюбием, которому не повезло и который потому озлобился на все и всех; и, может быть, это мнение было самое справедливое. К приезжим Выжлятников как-то особенно льнул, навязывался на знакомство и старался навязать взгляд свой на ухабинскую публику. До него уже долетела весть о появлении нового лица: он тотчас же выскочил из бильярдной, где смотрел, как гусар с каким-то штатским играл a la guerre[2], и подсел к Владимиру Николаевичу.

— Вы, кажется, недавно к нам пожаловали? — заговорил он с Пашинцевым, повертевшись предварительно на стуле и раза два крякнув.

Пашинцев окинул беглым взглядом своего соседа и вежливо отвечал:

— Месяца два.

---

[1] Поверьте мне: это человек опасный *(фр.)*.
[2] Как на войне *(фр.)*.

— Уже! Как же это вы до сих пор не удостоивали своим присутствием наших общественных увеселений?

— Я никуда не хотел выезжать, у меня есть занятия...

— Занятия-с? Ученые, вероятно... Смею спросить — какою наукою изволите заниматься-с?

— Я?.. Я политическою экономией занимаюсь,— отпустил Владимир Николаевич, вероятно на том основании, что недавно прочел какую-то краткую историю политической экономии.

— Гм. Так-с.— Выжлятников пытливо взглянул на молодого человека и подумал: «Врет!» — Вы, однако же, на службу поступать изволите?

— Да, я сделан чиновником по особым поручениям при начальнике губернии.

— Стало быть, так сказать, и Фемиде и Аполлону в одно время намерены посвятить себя. Прекрасно! Не изволите ли также литературой заниматься?

— Нет.

— Жаль-с.

— Почему же жаль?

— *«Губернские очерки»* господина Щедрина, конечно, знакомы вам?

— Как же.

— Состоя при его превосходительстве в должности чиновника по особым поручениям, могли бы много интересных и поучительных материалов почерпнуть-с. Насчет замечательных личностей, я вам доложу, город наш не уступит Крутогорску.

— В самом деле?

— Так точно-с. Положительнейшим образом можно сказать, богатый рудник для писателя. Жаль, что не тронут.

— А вы старожил здешний?

— Да-с. Лет десяток здесь маюсь.

— Так вы здесь всех знаете?

— Решительно всех-с. Почти каждого из этих лиц, беснующихся перед вами. могу сообщить полнейшую биографию.

— Вот как! Даже биографию! Ну, это вот, например, это что за лицо: старик, почтенная наружность такая, и почему он один только в длинном сюртуке, когда все во фраках?

— Это-с Семен Власьич Загородин. Ему дозволяется нашим обществом эта вольность потому более, что он здесь, так сказать, по ошибке.

— То есть как это по ошибке?

— Да так-с. Его место не в Ухабинске, а подальше. Значит, несчастный человек. Как же ему не уважить?

— Я решительно не понимаю.

— Да оно для свежего человека действительно непонятно. А для нас так очень ясно. Мы люди сердобольные, сочувствуем несчастным. Он, изволите видеть, злостный банкрот и вообще всякие пакости в своей жизни выделывал, да, умный человек, всегда вывернуться умел. Имение вот заблаговременно на детей перевел. Вон энта барыня — это его дочка-с. Отличное образование получила-с: «*Фауста*» на немецком языке читает и о разных высоких чувствах рассуждать умеет. Я вам про него, если угодно, расскажу анекдотец, которым и сам господин Щедрин не побрезговал бы.

— Сделайте одолжение, это очень любопытно.

— Первоначальное служение его было в таможне-с. Ну, таможня, сами изволите знать, какое место. Питательнее, можно сказать, на свете ничего нет. Золотых приисков иметь не нужно. Кажется, самим богом устроено для поправления человеческих обстоятельств. Ну-с, вот наш Семен Власьич и приютился туда. С управляющим душа в душу жил, и вместе они всякие эдакия дела обделывали. Только вот раз понадобился Семену Власьичу куш значительный; думал он, думал, как бы это добыть, да и выкинул штуку. Возьми да и напиши на управляющего донос. Так, мол, и так, вот мы с ним какие дела обделывали. Восчувствовал я, говорит, грешный раб, что против присяги шел, и приношу мое чистосердечное покаяние. Следствия формального просит и все доказательства представить берется. Написавши, сударь мой, этот донос, марш с ним к губернатору. Губернатор тогда был человек смирный, незлобивый и с управляющим в дружбе состоял. Жаль ему стало управляющего. Начал умаливать Семена Власьича. Тот и руками и ногами. «Не хочу, говорит, ничего слышать; совесть меня терзает». Совесть совестью, а за управляющим гонца. Является. «Что прикажете, ваше превосходительство?» Губернатор ему и изъясняет все обстоятельства. Возопил управляющий гласом великим. «Что ты, говорит, Семен Власьич, бога не боишься или старую хлеб-соль забыл?» — «Нет, отвечает, помню, да присяга выше хлеба-соли». Ну, знаете, часа два его умасливали, наконец подался. Согласился взять серебром десять тысяч и слово честное дал, что изорвет донос.

— Молодец, однако ж, нечего сказать.

— Позвольте-с, сударь мой, здесь еще не конец исто-

рии; тут еще эдакой эпизод, или эпилог, как это называется там, будет-с. Взявши деньги и поуспокоившись, таким образом, насчет присяги, отправляется Семен Власьич к полицмейстеру. Друг его был закадычный полицмейстер: всех детей у него крестил; такая же ракалия, как и он. Бывало, краденую вещь сыщет, да у себя и оставит, а сам скажет — не нашел. С вора же между тем, конечно, благодарность жирнейшую слупит. Да не в том дело... Вот-с приезжает Семен Власьич к куманьку и говорит: «Ну, брат, послал бог на шапку. Эдакой штуки и ты, при всем своем, можно сказать, гениальном соображении, не удирал»,— и рассказал всю историю. Кум только руки растопырил. «А хочешь,— продолжает Семен Власьич,— и тебе такой же куш предоставлю? Только, чур, мне половину». Ударили по рукам. Семен Власьич вручил полицмейстеру свой донос и дал инструкцию ехать с ним к губернатору и сказать, что нашел, мол, ваше превосходительство, на базаре пакет запечатанный: раскрыл и увидел донос. По долгу присяги и службы не могу такого злоупотребления попустить. Обязан отправить бумагу по назначению. Сказано, сделано. Губернатор снова за управляющим. У полицмейстера, видно, совесть была посговорчивее, недолго ломался. Зато взял не десять, а двадцать тысяч, потому десять нужно было Семену Власьичу заплатить. После такого пассажа, конечно, Семен Власьич в таможне оставаться не заблагорассудил. В откупа пустился.

— Славная история,— сказал Владимир Николаевич.— И много вы еще таких знаете?

— Достаточно-с. Томика два можно составить. Истинно соболезную, что господь бог сочинителем меня не сотворил. А впрочем, советую вам с Семеном Власьичем познакомиться, обедами угощает отличными. Вино все из Санкт-Петербурга.

— Покорнейше благодарю! А скажите, вот эта хорошенькая барынька, что с кавалерийским полковником танцует, кто такая?

— Карачеева-с, чиновника жена, добродетельная супруга и примерная мать, как все утверждают. Сама детей кормит.

— Кажется, полковник-то за ней крепко приударяет?

— Да он, говорят, ловкий-с. Образованным человеком слывет, все более потому, что долгов не платит. У нас это признаком хорошего воспитания почитается. Видите, как лицо-то у него напружилось? Это все оттого, что уж затянулся слишком... Нельзя-с, из гвардии. На том стоим.

— А что такое муж ее?

— Муж ничего; славный муж. Тоже служил в военной, гастроном большой, трюфели любит и на этом основании, должно быть, почитает себя за аристократа. В сущности, тряпка, колпак, ничего больше. Толстеет только, другого от него пути никакого нет. К делу решительно способности не оказывает... больше по части иллюминаций его употребляют: если где пикник устроить, блины или катанье какое-нибудь — на это мастер. И ведь как ни брюхат, а кланяться любит. Черт его знает, как это он и делает, что у него спина так гнется! Уж где подлисить, поподличать, подмазаться нужно — сделайте одолжение, лицом в грязь не ударим!.. Без мыла в душу влезет. Хоть на брюхе ерзать заставьте его сейчас по паркету, если только вы генерал, не откажется. Радешенек из себя шута корчить. Я думаю, у него от поклонов когда-нибудь позвоночный столб лопнет. Хоть бы уж поскорей лопнул, а то смотреть противно. А вот не угодно ли на группу немцев полюбоваться,— народ достойный... Шток, Шванц и Фиш. Шток с Шванцем бароны, а Фиш просто немец; Шток рыцарем слывет, честнейших правил, говорят, а такой интриган, каких свет не производил, и руку вам будет чувствительно жать, а только что отвернется, напакостит! Вон его половина; белобрысая, с буклями. Тоже, говорят, добродетельная: да кто же с этакою рожей добродетелен не будет. Рада-радешенька, чай, что мужа сыскала. Зато, говорят, каждое утро любовные письма его перечитывает, которые он к ней двадцать лет назад написал, когда еще женихом был,— приятное занятие, а главное, трогательное. Фиш — это тонкий немец; с четырьмя губернаторами ладил и всех очаровывал. Посмотрите, как улыбается. Сладость неописанная; он всем друг, всем приятель, всех то и дело целует, словно двадцать лет не видал. Иезуит, даром, что Лютеру верует. А уж как делишки свои обделывает! Местечко, кажется, не ахти, а под городом и деревенька явилась, и сыновья в Петербурге воспитываются. Видно, немецкому богу хорошо молится. Шванц — этот из злых немцев будет.— Бирон в своем муравейнике. Норовит, как бы ближнего столкнуть да на его место сесть. Я где-то читал, что лучший из немцев — из людей лучший. Не знаю; а что сквернейший из немцев есть из людей сквернейший, так это верно.

— Вы, однако же, я вижу, всех хорошо расписываете.

— Куда мне, этого ли они стоят!

— Ну, а что вы скажете про эту даму с испанским личиком?

— Помилуйте, да где же вы тут Испанию-то нашли? Калмыцкая физиономия попросту, а вы говорите испанская. Это прероманическая дама-с. Это некоторым образом Мария-с. («Полтаву» изволили читать?) Как та в Мазепу втюрилась, так и эта в старца столетнего. Старец был добрый, всё ей брильянты дарил. Ну, как же его не любить было? Притом вельможа, значит, все перед ней ничком лежало. Как уехал отсюда, она вослед ему бежать хотела, да муж не пустил. Муж у ней крут попался. Образованнейшая дама-с! По-французски так и режет, и все о любви, о чувствах. И богомольная такая, ни одной обедни не пропустит; да все, знаете, на коленях молится. Видно, господа бога просит, не пошлет ей еще вельможного старца с брильянтами и разными *муар-антиками.*

Много еще разных разностей рассказывал Владимиру Николаевичу господин Выжлятников; сообщил ему, что какой-то провиантский чиновник отбил жену у другого провиантского чиновника, что один господин продал другому медную сигарочницу за золотую, что третий хотел поступить на театр, чтобы переменить свою фамилию, которая неблагопристойна; словом, понес такую ахинею, что Владимир Николаевич уже не знал, как от него избавиться. Кадриль давно кончилась, а желчный господин все расписывал ухабинскую публику. Наконец Пашинцев, воспользовавшись тем, что рассказчик, громко чихнув, начал сморкаться, скользнул в другую комнату.

В этой комнате шла игра в карты. Около столов несколько человек, по-видимому, с участием следили за игравшими. Два штаб-офицера с красными воротниками о чем-то горячо спорили. Владимир Николаевич прислушался.

— Так вы полагаете,— говорил один с бурбонскою физиономией,— что нужно произносить *вкус*, а не *скус?*

— Разумеется,— отвечал другой, довольно красивый мужчина, перешедший из гвардии и считавший себя светским человеком,— когда же вы услышите в порядочном обществе *скус?*

— Нет уж, позвольте, Андрей Федорович, как вам угодно, это не так; отчего же в уставе теперича сказано: скуси патрон, а не вкуси патрон?

Владимир Николаевич, боясь расхохотаться и кусая губы, отправился далее. В комнате, смежной с залой, отдыхали после танцев дамы; туда же явились несколько старух, усевшихся вдоль стены. Владимира Николаевича занимала провинциальная публика, и он с любопытством вслушивал-

ся в ее разговоры. Старуха в белом чепце с желчною, ядовитою физиономией говорила другой:

— Когда графиня здесь была губернаторшей, так она нас любила, так была с нами хороша, что даже девкам своим запретила, чтобы не смели ни с кем знаться, кроме наших девок. Можно сказать, что мы были ею обласканы.

— Прекрасная женщина была графиня,—отвечала другая старуха, вздохнувши,— и общество тогда было здесь несравненно лучше, Надежда Андреевна.

— Какое же сравнение, Степанида Яковлевна, тогда одних генеральских домов сколько было! А теперь что! Какая-нибудь капитанша роль разыгрывает; этот старичишка перед каждою смазливенькою рожицей так и тает; ведь удивление, в чем душа держится, а туда же к юбкам поближе, греховодник эдакой! Тьфу, пакость какая!

В дверях Пашинцев снова столкнулся с Выжлятниковым.

— Скучаете, молодой человек, в нашем обществе? — спросил он Владимира Николаевича.

— Нет, я ищу свою даму; кажется, начинают кадриль.

— А позвольте узнать, с кем изволите танцевать?

— Да с тою, как ее, с Карачеевой.

— Да вон она-с... под сенью плюща с полковником разговаривает-с.

Пашинцев бросился в тот угол, куда ему указал Выжлятников, желчно усмехнувшийся ему вослед.

Владимир Николаевич заметно развеселился во время кадрили, болтал без умолку с своею дамой и остался чрезвычайно доволен как ею, так и собой. В мазурке беспрестанно выбирали его, потому что он танцевал гораздо ловчее ухабинских франтов. После бала несколько человек молодежи стали уговаривать Карачееву остаться ужинать. Ей очень хотелось согласиться, тем более что в числе просивших находился и перетянутый в струнку полковник Но оставаться одной было неловко. Пашинцев взялся это устроить и убедил присоединиться к ней одну очень миленькую барыню с тонкими смуглыми чертами и чувствительным сердцем, очень любившую помогать влюбленным; фамилия этой дамы была Сидорова. Муж ее, постоянно ездивший по поручению губернатора на ловлю раскольничьих попов, и на этот раз был в отсутствии; стало быть, никто не мог стеснять свободы ее, и она даже очень обрадовалась приглашению Пашинцева, тем более что Карачеева состояла с ней в интимных отношениях.

Ужин прошел чрезвычайно весело. Карачеева, желая, вероятно, побесить полковника, принялась кокетничать с Пашинцевым, который, выпив стакана два шампанского, тоже не ударил в грязь лицом. Он острил, рассказывал уморительные анекдоты и, казалось, призвал на помощь всю свою развязность, чтобы очаровать свою собеседницу. Муж Карачеевой, потому ли, что был слишком уверен в жене, или потому, что был совершенный колпак, не обращал внимания на жену. Он сам врал более всех, врал довольно забавно и под конец запел даже французские гривуазные куплеты, заменяя только те строки, которые чересчур скоромны, припевом: *тра-ла, ла, ла, ла.* Эта вольность в обращении с дамами очень понравилась Пашинцеву; но еще более нравились ему плечи и руки Карачеевой, с которых он не спускал своих масляных глаз. Он возвратился домой очень поздно, и в голове его была совершенная ералашь. Он все напевал слышанную гривуазную песенку, коверкая текст и фальшивя.

— А что за милочка эта Карачеева,— бормотал он, закутываясь в одеяло и зажмуривая глаза, чтобы живее представить себе соблазнительные формы молоденькой ухабинской львицы.— Главное,— плечи, плечи, плечи! Впрочем, и ручки славные, и ножки такие маленькие, каких я еще не видывал.

VI

ЗНАКОМСТВА

На другой день после бала Лиза не замедлила расспросить Владимира Николаевича о впечатлении, сделанном на него обществом. Хотя оно понравилось ему, он не высказал этого сразу, потому что слыхал в доме Глыбина нападки на пустоту и пошлость ухабинской публики. Он как будто боялся, чтобы и его самого не заподозрили в пустоте и чтобы не сказали про него, что он удовлетворяется очень малым.

— Так себе,— отвечал Пашинцев на вопрос Лизы,— вся эта публика очень прилична, я не нашел в ней ничего особенно резкого, бросающегося в глаза. По одному разу, конечно, нельзя сделать верного заключения, но, сколько мне кажется, есть люди порядочные, я встретил довольно ласковый прием.

— Ну, это не удивительно, вас рекомендовал губернатор. Что ж, вы познакомились с дамами? Рассказывайте, с кем вы танцевали и кто больше других вам понравился.

— Я познакомился со многими, но особенно никто не понравился мне.

— Согласитесь, однако же, здесь есть очень хорошенькие.

— Очень хорошенькие не скажу, но есть действительно недурные, вот Карачеева, например, Сидорова.

— А madame S., madame D., madame Г.?

— Все они недурны, но в Карачеевой как-то более симпатического.

— Я с ней была некоторое время очень хороша, она на меня сделала именно то же впечатление, что и на вас.

— А потом разошлись?

— Да.

— Почему же? Вы нашли, что она хуже, чем вы думали?

— Может быть; впрочем, я не виню ее, мне всегда казалось, что, если бы не муж, из нее бы вышла гораздо лучшая женщина, в ней есть хорошее, или по крайней мере было, но муж, вместо того чтобы постараться развить ее, дал в ней заглохнуть всем добрым качествам и повел ее по другой дороге. Он корчит важного барина и хлопочет только о том, чтобы жить на широкую ногу.

— Неужели? А знаете, он мне показался очень милым господином

— Он врет иногда довольно мило, это правда, но и только. Меня постоянно отталкивало от него это искательство перед тем, кто посильнее, а потеряй этот сильный свое значение, свой вес, Карачеев первый обратится к нему спиной. Нет человека здесь, который бы заискивал больше у прежнего губернатора. Послушайте же, что он говорит теперь о нем и о жене его Это тем более гадко, что он им даже несколько обязан.

— А мадам Сидорова? Она, кажется, глуповата.

— Я не согласна; она действительно боится высказывать свое мнение о чем бы то ни было; но это следы воспитания. У ней была гувернантка говорят, очень злая, которая совсем запугала ее; гувернантка эта отвечала за нее на все вопросы и всегда прибавляла: «Это не по нашему уму, не спрашивайте нас, мы для этого слишком глупы». Согласитесь, что такая метода не придает храбрости.

— А муж ее?

— Муж ее честный человек, но мало образованный: занятый всегда службой или хозяйством, он не мог подвинуть ее ни на шаг, да и вообще здешняя атмосфера как-то не способствует женскому развитию, здесь никто ничего не чита-

ет, ничему не сочувствует, кроме сплетен, все друг на друга злословят или играют в карты.

— В злословии я уж успел удостовериться: мне встретился некто господин Выжлятников, рассказавший мне много кое-чего про здешнее общество.

— Этому господину не во всем верьте. Злость еще можно простить человеку, стоящему выше того кружка, который он бранит, человеку, приходящему в негодование от несправедливости и пошлости, с которыми он не способен помириться; но если он нападает на все и всех потому только, что его не позвали обедать к губернатору или обошли чином, то согласитесь, что он не заслуживает ни веры, ни уважения. Скажите мне, вы намерены делать визиты?

— Я думаю, нужно будет сделать некоторым, с кем меня познакомили.

— Уж если делать, то всем. Вы не знаете, как легко наживаются здесь враги. Визит еще ни к чему не обязывает; с некоторыми вы так и можете остаться на визитах: но по крайней мере вы не оскорбите ничьего самолюбия.

Владимир Николаевич так и сделал. Он поехал ко всем членам ухабинского общества, составлявшим тамошний высший круг. В Ухабинске, как и в Петербурге, как и во всех городах наших, было несколько кружков, и каждый кружок старался подражать другому, стоявшему выше его на ступенях общественной иерархии. Только один высший копировал Петербург. Выжлятников, никого не оставлявший в покое и вращавшийся во всех кружках без изъятия, в каждом кружке ругая все остальные, выражался про ухабинскую аристократию, что эта аристократия только до Трущобина (пограничный уездный город Ухабинской губернии), а чуть две версты от Трущобина отъехал, уж и не различишь, что аристократ, что холоп. Прежде всего Владимир Николаевич объездил генералов, потом дам, с которыми танцевал, а потом уж и остальных. Генералы, из которых иные едва волочили ноги от старости, приняли его очень радушно, толковали все боле о службе и о карьере и оказались все крайне недовольны разными нововведениями, проникнувшими, к их крайнему огорчению, даже и в такой отдаленный город, как Ухабинск, откуда действительно, говоря словами Гоголя, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Дамы показались Владимиру Николаевичу так же милы, как и на бале, хотя у некоторых лица были бледнее и под глазами от утомления образовались синеватые круги. Они еще не успели отдохнуть от бала. У Карачеевой он застал перетянутого полковника. Они сидели рядом на

маленьком диванчике. Она работала; он, живописно облокотясь на спинку дивана и запустив все пять коротких и красных пальцев своих в волоса, о чем-то ей рассказывал, по-видимому с большим чувством, потому что на лице madame Карачеевой, несмотря на обилие пудры, пробивался румянец. Полковник был маленький, коренастый, плотный человечек, с крупными, аляповатыми чертами лица, с красными огромными руками. Он считался в Ухабинске образцом светскости, потому что недурно говорил по-французски и с *шиком*, по выражению тамошней молодежи, полькировал. Он служил очень счастливо, потому что был еще молод, толковал обо всем с чувством собственного достоинства, хотя большею частью общими местами. Ума у полковника было именно настолько, насколько нужно, чтобы разыгрывать в каком-нибудь Ухабинске роль аристократа. Чтение серьезных книг не было его слабостью, он был того убеждения, что много читать — ум за разум зайдет. Вообще, после нескольких минут разговора с полковником как-то невольно приходили вам на ум эти меткие строки поэта:

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий,
Блистал он светскостью манер
И лоб имел высокий.
Был очень тонкого ума,
Воспитан превосходно,
Читал Фудраса и Дюма
И мыслил благородно.

Ко всему сказанному можно добавить еще, что, несмотря на молодые еще лета, он, подобно генералам, едва таскавшим ноги, строго порицал дух времени и отдавал преимущество той давно минувшей поре, когда подчиненный не смел рассуждать, а должен был знать только три слова: никак нет-с, точно так-с, слушаю-с.

По лицу полковника видно было, что он недоволен приходом Пашинцева, казалось, прервавшего его на очень интересном месте разговора. Но зато madame Карачеева с тонкостью и тактом, делавшими честь ее молодым летам, нисколько не подала виду, что Владимир Николаевич пришел некстати. Напротив, она была с ним любезна до чрезвычайности. Узнавши, что он остановился у Глыбиных, отозвалась о них с большою похвалой; только когда речь зашла о Заворском, сказала: «Да, я его знаю»,— и уже ничего больше не прибавила, из чего Пашинцев заключил, что она недолюбливает Якова Петровича, и потому, разделяя сам то же чувство к нему, позволил себе раза два кольнуть

его, назвав педантом, человеком с больною печенью и вследствие этого видящим все в мрачном свете. С этим madame Карачеева согласилась и даже присовокупила какое-то злое словцо от себя. Она имела в Ухабинске репутацию скромной, ни о ком дурно не говорящей женщины, но это была репутация узурпированная. Карачеева была только осторожна и ни о ком не говорила дурно с теми, которые могли перенесть ее отзыв по назначению, а исподтишка не прочь была ужалить. Вообще, когда было нужно, она умела прикинуться совершенно овечкой, готовой уступать во всем каждому, не задевающей ничьего самолюбия, заботящеюся только о том, чтобы ее любили. И ухабинская молодежь действительно называла ее ангелом. В сущности же она олицетворяла собою русскую пословицу: «В тихом омуте черти водятся». Полковник выразился о Заворском, что, может, это очень ученый человек, mais non pas un homme agrèable en société [1].

— Как вам понравился бал? — спросила Владимира Николаевича madame Карачеева.

— J'en suis fou, madame, что за прекрасные туалеты, et quelle quantité de jolies personnes! [2]

— Не правда ли, какая хорошенькая, например, madame Z.? — Карачеева в душе не терпела этой женщины, иногда очень метко на ее счет острившей, но ее метода была хвалить при незнакомых тех, которые ее бранят, чтобы уж вполне заслужить прозвание ангела. В интимных разговорах она говорила другое. Притом же ей теперь хотелось выпытать, не интересуется ли Пашинцев madame Z. и можно ли надеяться завербовать его в свои поклонники. Но Пашинцев был себе на уме и отозвался о madame Z. очень равнодушно. Поболтав у Карачеевой с полчаса и попросив позволения бывать у нее, отправился далее. У madame Z., дамы с черными глазками и восточным типом, он тоже просидел несколько минут с большим удовольствием, потому что она была умна и разговор ее отличался метким сарказмом. Она не следовала примеру Карачеевой — и осторожность не была ее правилом. Она высказывала свое мнение смело, *a qui veut l'entendre* [3]. Здесь Пашинцев, рассыпавшись опять в похвалах Ухабинску, довольно пренебрежительно отнесся к madame Карачеевой, узнавши из слов madame Z., что они между собой не ладят. Много еще сделал визитов Владимир Николаевич и заключил их одним

[1] Но в обществе человек неприятный *(фр.)*.
[2] Я поражен, сударыня, ...сколько хорошеньких женщин *(фр.)*.
[3] Во всеуслышание *(фр.)*.

очень скучным семейством, куда он решился положительно больше не ездить. Это была семья провиантского чиновника Тычкова. Сам господин Тычков был высокий мужчина с рыжими бакенбардами, до того тощий и болезненный, что казалось, если нечаянно задеть его пальцем, то он сейчас же упадет. Говорил он медленно, нараспев и по временам неприятно гнусил. Любимою темой для разговора служили ему воспоминания о поре студенчества его. Но, несмотря на то что подобные воспоминания придают часто свежий, поэтический оттенок словам даже зачерствевших под жизненным гнетом людей, переносят каждого из нас к счастливейшим, вечно дорогим нашему сердцу дням, рассказы господина Тычкова не навевали ничего, кроме скуки, потому что ни искры теплоты не было в этом господине, у которого на первом плане выступало всегда собственное я. Себя он считал какою-то высшею натурой, призванною к чему-то более прекрасному, чем служить по провиантской части, хотя решительно никаких данных не было к такому предположению. В сущности же это был пустейший фразер, говоривший книжным языком, языком ученых статей сороковых годов, без всякого убеждения, старавшийся примениться к образу мыслей своих слушателей, особливо если это были люди с весом и авторитетом, и к довершению всего страшный сплетник, сплетник из самых вредных, потому что, если только кто-нибудь задевал, хоть ненамеренно, его самолюбие, он готов был даже наклеветать на того самым бесстыдным образом. Биографии сотоварищей его, которые он то и дело рассказывал (замечая всегда предварительно, что это была замечательная натура или высокогуманная личность), биографии эти обыкновенно походили на его собственную и кончались тем, что гуманная личность делалась провиантским, или таможенным чиновником, или женилась на «камелии», или же наконец с кругу спивалась. В домашнем быту господин этот находился под башмаком тещи и супруги, молодой дамы иностранного происхождения, ужасно хлопотавшей о хорошем тоне, который как-то ей не давался, и любившей анализировать разные тонкие оттенки чувства, вроде Устиньки г. Островского, толкующей о том, что лучше — иметь да потерять или ждать да не дождаться. И не столько жена господина Тычкова держала в доме бразды правления, сколько теща, крикливая, вспыльчивая старуха, о которой, впрочем, гуманный господин Тычков говорил, что это чрезвычайно свежая, энергическая, хоть и непосредственная натура. Когда супруга и теща возвышали свои пронзитель-

ные голоса, то не только не было слышно самого господина Тычкова, забывавшего тогда весь *плутарх* знаменитых личностей, которыми набита была его плешивая голова, но даже не было слышно звонка, если приезжал гость Только одна жидовская синагога могла представить что-нибудь подобное. Пашинцев не знал, как ускользнуть из гостеприимных лап господина Тычкова, который, узнав, что Пашинцев был студент, да еще занимается политическою экономией, тотчас же пустился сообщать ему биографии замечательных натур, занимавшихся политическою экономией и кончивших провиантскою частью.

Битых два часа выдерживал Владимир Николаевич эту пытку, выслушал до двадцати тупых анекдотов и наконец, улучив-таки минуту, когда теща, не согласная с каким-то мнением господина Тычкова, громко на него прикрикнула, решился встать со своего места. Он вышел от господина Тычкова с головною болью и с потом на лбу.

Мало-помалу Владимир Николаевич стал незаметно втягиваться в общественную жизнь Ухабинска. Его звали на вечера и обеды, и он ни от одного из них не отказывался. Его вскоре посвятили во все ухабинские сплетни и дрязги; он узнал, что общество, как ни малочисленно оно было, делилось на бесконечные партии. Одна портия язвила другую; одна другую старалась затмить светскостью. Его превосходительство, имея от природы доброе сердце, не мог не соболезновать такому ходу дел; можно даже сказать утвердительно, что сплетни и дрязги занимали его гораздо более, чем административные соображения; не раз пытался его превосходительство примирить враждующие стороны, но неудачно; при нем все, казалось, живут душа в душу, а только что он исчезал за дверью, как начиналась опять *пикировка*. Владимир Николаевич тоже невольно как-то пристал к одной партии — именно карачеевской, что очень радовало самое madame Карачееву, во-первых, потому, что он был петербургский, а во-вторых, потому, что она любила, чтоб у нее была толпа *адоратеров*; и чем больше их было, тем веселее глядела madame Карачеева. Владимиру Николаевичу она решительно вскружила голову, хотя, как мы увидим, и ненадолго. Несмотря на ловкого полковника, стоявшего при ней настороже и не выпускавшего ее из виду, как собака кусок говядины, ей удавалось лавировать между обоими своими обожателями. С Пашинцевым она иногда втихомолку подшучивала над его соперником, что он самонадеянный фат, а при полковнике отзывалась о Пашинцеве как о мальчишке. Если я сказал, что Пашинцеву она вскру-

жила голову, то должен оговориться, что я отнюдь не разумею под этим серьезного чувства. Владимира Николаевича более всего увлекала пластика; относительно же ее ангельского характера он имел свое мнение, не совсем согласовавшееся с отзывами ухабинской молодежи. Он раскусил Карачееву очень скоро; но два-три ободрительных слова, брошенных ею как будто вскользь, пробудили в нем надежду на успех, а потому он начал, вопреки убеждению своему, отстаивать ее против всех дамских нападок. С полковником он не сошелся, они хотя и жали чувствительно друг другу руки, но косо посматривали один на другого В обществе Глыбиных Владимир Николаевич стал заметно скучать, и когда Заворский, по своему обыкновению, отпускал на его счет колкое словцо, он уже не огорчался по-прежнему, но говорил себе: «Это желчный педант, которого и все общество здесь не любит, не стоит обращать на него внимания»,— и уходил сидеть к Карачеевой. Естественно, что ему нравилось лучше бывать там, где он мог играть роль, где сознавал себя не ниже окружающего по развитию и образованию, чем между людьми, беспрестанно и волей и неволей дававшими щелчки его самолюбию, в котором у него не было недостатка. Пашинцев дошел до того, что если у Глыбина заводили речь о каком-нибудь научном или общественном вопросе, то он тотчас приписывал это намерению уколоть его невежество. «Они нарочно стараются выказать свои знания,— думал он,— чтобы унизить меня»,— и нарочно посреди разговора вставал с места и отправлялся к себе в комнату. Но в ухабинских гостиных он любил тотчас щегольнуть ученостью, ввернуть какой-нибудь научный термин и вообще придать себе вид занимающегося, серьезного человека. Это случалось с ним в особенности тогда, когда ему почему-нибудь не везло у Карачеевой. Чуть он замечал, что она внимательнее к полковнику, чем к нему, как делал скучающую, разочарованную мину и начинал вслух порицать себя, что так долго не принимался за свои занятия, что ведет праздную жизнь, и при этом прибавлял, что в наше время непростительно не иметь цели в жизни, убивать ее на сплетни и карты, ибо назначение человека — приносить пользу ближним. Потом, придравшись к чему-нибудь, начинал хвалить Лизу Глыбину, которая действительно в эти минуты, когда ему не удавалось у Карачеевой, влекла его к себе и казалась ему несравненно лучшим существом, чем все ухабинские дамы. Но когда мир с Карачеевой бывал опять заключен, когда она вклеивала в разговор новое ободрительное, обнадеживающее словцо, он забывал и Глыбиных, и занятия...

Между тем Глыбины, замечая его частые отсутствия и слыша от многих, что он записался в поклонники madame Карачеевой, стали опасаться, чтоб он опять не возобновил своего прежнего образа жизни.

— Это еще не беда,— говорил старик Глыбин,— если ему нравится хорошенькая женщина; он молод, не перебесился, нельзя же требовать, чтобы из него в эти лета вышел отшельник; но я боюсь, чтобы частые выезды и знакомство с здешнею молодежью не вовлекли его в издержки выше его средств. Пожалуй, по старой привычке долгов наделает, а это бог знает к чему может повести.

— Надо бы ему как-нибудь намекнуть, папа,— сказала Лиза, задумываясь.

— Теперь еще нет ничего, и потому намек мог бы оскорбить его; такие вещи говорить щекотливо, мой друг...

— По-моему, не стоит этот мальчишка, чтобы с ним нянчиться,— вмешался Заворский.

— А знаете ли, Яков Петрович,— возражала Лиза,— вы, может быть, всему виной. Вы оттолкнули Пашинцева от нас, потому что не пощадили его самолюбия, вы оскорбляли его часто, а мне кажется, если бы вы постарались иметь на него влияние, вы успели бы больше, чем кто-нибудь. Пашинцев сознает вас выше себя, поверьте, а участие людей, которые выше нас по своим нравственным и умственным качествам, глубоко на нас действует, оно поднимает нас в наших собственных глазах.

— Вы все идеализируете, Лизавета Павловна; я так думаю. это просто прежние привычки берут верх над этим мальчиком, да и меня он не считает таким, как вы говорите. Он производит в здешнем обществе эффект,— вот и причина, почему ему там нравится.

— Ну хорошо, положим. Но я прошу вас, не повторяйте ваших нападок на него. Сделайте это *для меня*. Когда-то вы называли меня своим другом и говорили, что готовы для меня на все; или и вы тоже пренебрегаете маленькими жертвами и ждете, не представится ли случай для какой-нибудь огромной жертвы?

— Чтобы доказать вам противное, я отныне не только не скажу ничего, что бы могло рассердить вашего protégé, но всеми силами постараюсь не дать ему завязнуть в ухабинской тине; а если не успею, не приписывайте этого недостатку доброй воли с моей стороны. Но, право, мне немножко смешна вся эта история. Господин Пашинцев играет в ней роль Роберта, Карачеева — Бертрама, а я — Алисы.

— Уж вы вечно найдете сравнение! Насмешка все подрывает у вас!

«Она не любит Пашинцева,— думал после этого разговора Заворский,— иначе ей было бы совестно просить меня, чтобы я образумил его. Она притворилась бы равнодушною, понимая, что ее легко заподозрить в ревности. Нет, в ней живет более святое, более широкое чувство; это тоже любовь, но не та. Если бы ей нравился Пашинцев, гордость ее возмутилась бы при мысли, что ей предпочитают Карачееву. Она скрыла бы от всех чувство, подавила бы его в себе. А теперь, стараясь отвлечь его от ухабинской публики, она действует с простодушием, с наивностью ребенка; эгоизм ни при чем здесь. Нет! Положительно, она к Пашинцеву равнодушна».

И при этой мысли Заворский почувствовал, что он сам полюбил Пашинцева. Действительно, с этой поры Владимир Николаевич не узнавал в нем прежнего Заворского, так он сделался с ним кроток, добр и любезен! Яков Петрович всеми силами старался заохотить Пашинцева к занятию; предложил ему прочесть вместе одну книгу и зная, что некоторые места могут казаться темны для него, не дожидаясь его расспросов, сам начинал объяснять их, но делал это так, что Пашинцеву не могло и в голову прийти, что его подозревают в непонимании. Яков Петрович, прерывая чтение, как будто высказывал мысли, на которые чтение наводит его, а между тем только развивал и пояснял прочитанное суждение. Пашинцев совершенно простил Заворскому его прежние нападки и сделался с ним откровенен. Он даже по свойственной всем влюбленным страстишке потолковать о предмете своей любви завел однажды с Яковом Петровичем речь о Карачеевой. Заворский не только не ответил ему насмешкой, но отплатил такою же откровенностью и рассказал, что до ее замужества сам некоторое время увлекался ею и чуть-чуть не сделал предложения. Но, к счастью, подвернулся Карачеев, который был гораздо богаче Заворского, и она, рассчитывая на выгодное замужество, тотчас же бросила своего прежнего обожателя, хотя и прикидывалась неравнодушною к нему. Надо признаться, что у Заворского сначала явилось было намерение подстрекнуть Пашинцева на более упорное волокитство за Карачеевой, для того чтобы отвлечь его от Лизы, но, вспомнив данное ей обещание, он тотчас же оттолкнул от себя такой нечестный помысел. Владимир Николаевич, слушая, как новый приятель его анализировал Карачееву, сознавал в душе, что он прав; но, однако же, решился добиться успеха, сколько из самолюбия, чтобы доко-

нать полковника, столько и потому, что Карачеева возбуждала в нем страсть.

Но вскоре он должен был отступиться. Карачеева пересказала все интимные его разговоры с ней, по секрету, мужу и полковнику, которые подняли его на смех, возвеличивая, конечно, добродетель madame Карачеевой. Когда Пашинцеву все это передали, он пришел в неописанную ярость и начал повсюду бранить свою пассию (как выражались ухабинские барыни), уверяя, что он ничего подобного не говорил ей и что она делает это для того, чтобы усыпить доверие мужа. После этой неудачной попытки над сердцем одной из ухабинских красавиц Пашинцев принял твердое, как ему казалось, решение опять засесть за политическую экономию, не отказываясь, однако же, при случае отомстить Карачеевой. Но в это время его послали в какой-то уезд Ухабинской губернии на следствие. «Нужно ему проветриться, зашалберничался»,— сказал правитель и прикомандировал его для узнания порядка следствий к одному опытному чиновнику. Пашинцев рад был этой поездке, она давала ему возможность рассеять неприятное впечатление, произведенное на него историей с madame Карачеевой, и отдохнуть от вихря ухабинской жизни.

«Это мое последнее увлечение,— говорил он себе, сидя в повозке подле опытного чиновника, покуривавшего из коротенького чубучка.— Я чувствую, что во мне совершился кризис! Ветхий человек умирает во мне и настает пора новой жизни».

Потом он вспоминал о Лизе, и никогда не казался ему таким привлекательным ее кроткий и ясный образ, как во время разлуки.

Лиза между тем тоже радовалась за Владимира Николаевича и стала гораздо нежнее и ласковее с Заворским, которого влиянию преимущественно приписывала перемену в Пашинцеве.

VII

НАДЯ ВАСИЛЬКОВА

Пашинцев никогда еще не живал в наших мирных, спокойных уездных городках; ему случалось в них останавливаться только проездом. Сначала его очень заинтересовала тихая уездная жизнь; заинтересовало его и следствие, все эти допросы, показания и прочее, но, однако же, все это заинтересовало его ненадолго. Скоро он начал позевывать,

слушая своего ментора, дававшего ему при каждом удобном случае наставления, как должно действовать, какая форма такой-то и такой-то бумаги, чего не надобно упускать из виду. Пашинцев, воображая, что изучение производства следствий поглотит все его время, привез с собой только одну книгу, которую в два вечера прочел от доски до доски. Следующие вечера он уже лежал на диване, задрав кверху ноги и мечтая то о Лизе, то о Карачеевой; о последней, однако ж, более, чем о первой. Правдивость требует, впрочем, заметить, что наконец и эта мысль ему надоела.

«Хоть бы знакомство какое завести,— говорил он себе.— Давеча, проходя мимо одного домика, я видел в окне прехорошенькую головку. Справиться бы, кто это».

Справка была на другой же день наведена. Оказалось, что домик, замеченный Владимиром Николаевичем, принадлежал отставному капитану Василькову, который уже более десяти лет проживал в уездном городке и почти никуда не показывался, потому что был человек больной С ним вместе жили сестра его покойной жены, старая девушка, и шестнадцатилетняя дочка Надя. Все эти подробности сообщил Пашинцеву опытный чиновник, который производил следствие и который, как оказалось, не только был знаком с Васильковым, но даже, когда позволяло время, навещал его. Услышав об этом, Владимир Николаевич тотчас попросил своего ментора отрекомендовать его капитану. Ментор изъявил согласие, но с условием, что он сначала предупредит Васильковых.

— Они люди простые, небогатые, не привыкли к таким гостям, как вы. Губернаторский чиновник, да еще из Петербурга!

— Да ведь и вы губернаторский,— возразил Пашинцев.

— Ну, я дело другое. Я с Васильковым девять лет знаком, да притом же человек не светский, старого покроя, при мне им церемониться нечего, а ваша братия, нынешняя молодежь, критиковать любите...

— Я вовсе не из таких, Парфен Иваныч, и если мое присутствие стеснит семейство капитана, я лучше вовсе не пойду.

— А вот я спрошу. Да как бы вам скучно там не показалось? Люди простые, необразованные...

— Вы ошибаетесь, мне вовсе не нужно их образование; я люблю простых, но добрых и честных людей.

— Ну, как знаете. А если за дочкой приволокнуться хотите, так это напрасно.

— Вот уж вы мне сейчас бог знает какие цели приписываете. Грешно вам, Парфен Иваныч.

— Чего грешно? Молодежь, известно, к молодежи льнет. Ведь не для старика же вы туда идете!

— Положим, что не для старика; но мне просто может быть приятно в обществе молоденькой и хорошенькой девушки; зачем же непременно предполагать волокитство?

— Да, видите, трудненько удержаться. Знаем мы, сами были молоды. Только опять-таки говорю, напрасно будет; потому девчонка-то, кажись, уж просватана.

— Ну вот видите, если просватана, так тем более мне странно было бы волочиться.

У ментора на этот аргумент не вылетело из уст ничего, кроме нескольких колец дыму, которые он пускал с большим искусством, сделавши предварительно самый маленький ротик, что придавало его рябоватой серьезной физиономии очень смешное выражение.

Капитан, услышав о желании Пашинцева познакомиться с ним, покрутил свои длинные седые усы и пробормотал себе под нос: «Пускай придет». Он вообще отличался невозмутимостью своего нрава, и никто из знакомых его не помнил, чтобы какое-нибудь известие, радостное или печальное, произвело на него особенное впечатление. Если ему говорили, что такой-то обитатель города умер, он спокойно произносил: «Царство ему небесное!» — хотя бы этот обитатель был его короткий приятель и бывал у него каждый день. Если он слышал, что кто-нибудь женится, то издавал такой какой-то неопределенный звук вроде «гм!», и можно наверное предположить, что если бы один из его повседневных посетителей, квартальный надзиратель Милозоров, или приходский священник отец Тихон, или молодой чиновник из уездного суда Сорочкин, вошли к нему в одно прекрасное утро с известием, что он получил миллион в наследство от какого-нибудь родственника, которого и существования он не подозревал, или что его произвели в главнокомандующие, он и тут бы не выпустил из рук своей пенковой трубки и не выразил бы удивления. Разве только усом седым моргнул бы, что он и без того беспрестанно делал. Очевидно, что весть о предстоящем визите Пашинцева и подавно не могла его расшевелить, как обстоятельство самое обыкновенное. Но зато женский пол эта весть совсем озадачила. Варвара Кузьминишна, капитанская свояченица, так и всплеснула руками. Она отроду петербург-

ских не видывала. Когда-то, еще в лета ее ранней молодости, приезжал к ее папеньке, купцу третьей гильдии, просить денег под залог часов один поручик из Петербурга, ехавший в отпуск в деревню и на дороге проигравшийся; но с тех пор она о петербуржцах только и слышала, что в разговорах или читала в повестях, до которых была большая охотница, хотя много в них не понимала. Она воображала себе, что каждый столичный житель должен быть непременно франт и пересмешник, и уж заранее дала себе обет не показываться, когда явится к ним Пашинцев, а сперва посмотреть на него в щелку. Надя, дочь капитана, тоже чего-то испугалась и, закрасневшись, потупила свои светлые, голубые глазки. Она знала, что гость станет с ней любезничать, начнет ее расспрашивать о разных вещах, а она такая застенчивая, робкая, притом же такая необразованная, не умеет и отвечать хорошенько. Надя раза два видела Пашинцева в окошко; он так щеголевато одевался, носил шляпу и светлые перчатки, тогда как туземные юноши ходили в самых залихватских фуражках с длинными-предлинными кистями, а перчаток вовсе никогда не надевали; он так пристально и дерзко смотрел в окно, у которого она сидела за пяльцами, тогда как молодые чиновники уездного суда, завидя ее, конфузились и терялись. У бедной Нади от страха и сердце замерло. И какое она наденет платье, когда он придет? Ведь в серенькой холстинковой блузе, в которой она всякий день ходит, не покажешься,— стыдно; а два ситцевых, как нарочно, только что в мытье отданы. Шелковое воскресное надеть? Не смешно ли будет? В будни так разрядиться! Он тотчас же догадается, что это для него.

Все эти мысли мгновенно осадили хорошенькую головку Нади; и, поспешно встав из-за пялец, девушка отправилась к себе в комнату, подмигнув тетке, чтобы и та шла туда же. Целые два часа продолжалось там совещание. Варвара Кузьминишна настаивала на шелковом платье, а Надя доказывала, что холостинковое приличнее. Так на холостинковом и решили.

— Пусть его думает, что хочет,— сказала Надя,— мы не имеем достатка, чтобы ходить каждый день в шелку. Зачем я буду перед ним рядиться? Обманывать, что ли, своим состоянием? Да зачем мне? Что он петербургский-то? А мне бог с ним! Я знакомиться с ним не навязывалась. Не понравится ему, что я в холстинковом платье, так не ходи к нам, плакать не будем.

— Нет, нет, нет, Надя, как хочешь,— возражала Варва-

ра Кузьминишна,— а шелковое лучше, ты барышня, а не какая-нибудь горничная, а барышни в больших городах всё в шелковых платьях ходят. Вот еще, чем мы угощать-то его будем? Я думаю, Наденька, кофею сварить; это всего приличнее будет. Он мужчина молодой, деликатный, с понятиями, не то что здешние чиновники; тем, конечно, что кофей! Им водочка чтоб была, главное дело.

— Что же, тетенька, не все и здешние одну водку тянут. Андрей Андреевич ее и в рот не берет.

— Да много ли таких, как Андрей Андреевич твой, наберется? Один, да и обчелся. Кто об нем говорит? Это красная девушка.

Андрей Андреевич Сорочкин, о котором шла речь, был чиновник лет двадцати трех, без памяти влюбленный в Надю и пользовавшийся ее расположением. Он каждый день приходил к Васильковым, и его считали у них в доме своим. В городе давно уже было слышно, что капитан просватал за Сорочкина свою дочку, но неизвестно почему не объявляет этого. Одни говорили, что Сорочкин ждет повышения, с которым сопряжено большее жалованье, другие — что старик Васильков нарочно отложил свадьбу на год, чтобы испытать своего будущего зятя, не ветрогон ли он и постоянен ли в своих привязанностях. Но ни те, ни другие не были правы. Андрей Андреевич, хоть и получал довольно скромное жалованье, но зная, что Надя неприхотлива, не избалована, готов был хоть сейчас же жениться; капитану тоже не приходило на ум испытывать его, он далеко не смотрел, лишь бы был человек непьющий, а до остального ему дела не было. Коли дочка сама его полюбила, так сама за него и отвечай: хорошая жена, думал капитан, должна уметь мужа к себе привязать. Коли муж с другими бабенками знается — значит, жена виновата. Следовательно, помеха шла не отсюда. Она заключалась в характере самого Сорочкина. Он никак не мог решиться высказать Наде свою любовь, хотя и был почти уверен, что она его не отвергнет. Сколько раз собирался он объясниться! Бывало, все слова дома заранее придумает, а как придет, язык точно к нёбу присох. Немало стыдил его учитель уездного училища Горностаев, которому он как задушевному другу поверял все свои сокровенные тайны; Горностаев даже учил его, как должно объясниться, советуя при этом вклеить в объяснение какие-то бенедиктовские стихи; Андрей Андреевич все откладывал со дня на день. Как только свидится с Надей, вся твердость его неизвестно куда и исчезнет. Раза два даже он для куражу выпивал по рюмке мадеры, но и мадера ока-

зывалась недействительною. Надя тоже была, как я уж сказал, нрава застенчивого и всякого разговора о любви избегала. Но ей очень хотелось, чтобы Андрей Андреевич наконец попросил руки ее. Она очень любила его и не одну ночь провела, мечтая о том, как бы они славно зажили, как бы она стала хозяйничать в своем доме и как бы крепко целовала своего мужа каждый день, по возвращении из должности. Подстрекаемый Горностаевым, а еще более своею собственной страстью, Андрей Андреевич решился наконец написать к Наде письмо и изложить подробно горестное состояние своего сердца. Приняв такое решение, он все утро не мог составить в уездном суде ни одной бумаги. Мечты его были далеко. Он двадцать раз обдумывал фразу, которой начнет письмо, и очень соболезновал, что не выписал себе письмовника, о котором недавно объявляли в газетах. В этом письмовнике находились письма на все возможные и даже невозможные случаи. Хотя Горностаев обещал помочь своему другу в сочинении рокового письма, но в этом случае Андрей Андреевич мало на него полагался, зная, что учитель слишком витиеват и, пожалуй, такое нагородит, что Надя и в толк не возьмет. Может быть, несчастный любовник подумал бы о письме еще с неделю, если бы не весть о том, что Пашинцев собирается сделать визит Васильковым. Эта весть произвела на Сорочкина самое дурное впечатление. В сердце его закипела ревность. «Зачем,— подумал он,—этот фертик хочет познакомиться с капитаном? Верно, прослышал о красоте Нади или сам где-нибудь увидел ее. Ну как вздумает за ней ухаживать!» Андрей Андреевич считал себя в таком случае заранее погибшим. Как он ни был уверен в любви Нади, но петербургский франт с модными воротничками, в накрахмаленной рубашке, с стеклышком в глазу казался ему до того страшным соперником, что бороться с ним не было никакой возможности. Уж он, верно, найдет средство понравиться неопытной девушке и оттереть бедного, смирного чиновника.

— Господи! — кричал Сорочкин, шагая по своей комнате в малиновом бумажном халате и сопровождая свои восклицания выразительными жестами.— Господи! За что наказуешь? И все сам, сам, глупая башка, виноват, уже давно бы мог мужем Наденькиным быть! Теперь сидел бы с ней, с моей душечкой, на диванчике, читал бы ей разные книжки или песни бы пел и никакого бонтона столичного к себе не пустил бы.

Сетования эти были прерваны приходом Горностаева. Наружность учителя была чрезвычайно комическая. Ни-

зенький, с огромнейшею взъерошенною головой, с короткими ногами, с руками, вечно заложенными в карманы пестрых, клетчатых шаровар, он в самом серьезном человеке вызвал бы непременно улыбку. Нужно еще прибавить, что он беспрестанно хмурил брови, желая придать своей физиономии значительное выражение, и как-то дико вращал зрачками, особенно же когда декламировал стихи, а декламировал он их то и дело. Он был малый очень добрый и от природы неглупый; но безобразная жизнь и страсть к вину совершенно испортили ему дорогу. Начальство часто делало ему строгие выговоры и внушения. Он обижался, огрызался и переходил из одного города в другой. В городе Грязнухине, где происходил описываемый мной эпизод, ему как-то удалось просидеть долее, чем во всех других городах, на своем месте. С Андреем Андреевичем их сблизила страсть к стихам и еще то обстоятельство, что Горностаев, во всю жизнь свою не умевший понравиться ни одной женщине, хотя был до них большой охотник, ужасно симпатизировал всем влюбленным и ничем не был так доволен, как ежели кто-нибудь выбирал его в поверенные своих сердечных тайн. С того дня, как Сорочкин признался ему в любви к Наде, он имел в нем преданнейшего друга.

— Скажи, о чем задумался, Алонзо? — продекламировал из какой-то драмы, напечатанной в покойном *«Пантеоне»*, Горностаев, входя в комнату и не снимая шляпы. Сорочкин тотчас сообщил ему свои опасения.

Горностаев выслушал, глубокомысленно сдвинув брови, и потом, покачав головой, отвечал:

Оставь сомнения свои
В душе болезненно-пугливой,
Гнетущей мысли не таи;
Грустя напрасно и бесплодно,
Не призревай змею в груди.
И к Васильковым в дом свободно
С челом... С челом... С челом...
С челом бестрепетным иди.

Насилу подобрал эпитет! Полно, полно, Андрюша! Как не стыдно горевать по-пустому, это трусость! Ужели ты не имеешь доверия к девушке, которая любит тебя так нежно и пламенно своею первою любовью? Неужели она способна предпочесть тебе, человеку с душой, с сердцем, какого-нибудь петербургского прощелыгу единственно потому, что у него модный фрак и золотые часы, а у тебя вицмундир и часы томпаковые? Нет, я не верю, не должен, не хочу верить этому. Она неиспорченная, чистая, благородная натура.

Такие души я любил давно,
Отыскивать по миру на свободе,
Твоя Надежда, друг мой, в этом роде.

— Да полно тебе чепуху городить,— сказал обиженным голосом Сорочкин.— Я ему дело говорю, а он все стихи да стихи! Теперь мне не до стихов; ты вот лучше помоги мне письмо написать.

— Письмо? А ты еще все не написал его?

— То-то и есть, что не написал.

— Ну так давай перо и бумаги.

— Ты мне скажи, Горностаев, свое мнение: как ты думаешь, зачем этот франт знакомиться хочет с Васильковыми?

— Зачем? — Горностаев опять сдвинул брови и, помолчав, сказал: — Я думаю, что ему просто скучно здесь, привык блистать на паркетах. Может, и поволочится, что за беда! Ведь не женится... Она ему не пара...

— Знаю, что не женится. Да это-то и худо, что он будет только так, для препровождения времени, а она, пожалуй, его полюбит. Уж кабы человек, который жениться может, ну другое дело! Как мне ни больно, да уж я скрепил бы сердце, лишь бы только она счастлива была. А он поступит так, как этот господин порядочный человек, помнишь, что мы недавно читали; только несчастие ее и мое сделает.

— Она не полюбит его!

— А как полюбит?

— Не полюбит. Она знает, что,—

ты любил ее,
Как сорок тысяч *франтов*
Любить не могут...

— И что это капитан пускает его к себе! Сказал бы: я человек больной, куда мне новые знакомства! А то, ничего, сидит в своих валенках да усами поводит, как прусак. Еще рад небось, что честь ему делают.

— Ха-ха-ха! Ты юмористом делаешься, Андрюша. Как прусак — это метко сказано. Но послушай, мой друг, повторяю тебе, унывать не следует. Должно принять борьбу. Скажи себе, как Алеко:

Нет! Я, не споря,
От прав своих не откажусь.

Какая же это любовь, коли уж ты, ничего не видя, хныкать принялся? Если ты эдак упадешь духом при ней, она, конечно, тебя разлюбит: женщины не любят слабых характеров. Они любят энергию, силу...

— Хорошо тебе говорить.

Сорочкин продолжал молча ходить по комнате и наконец, махнув рукой, воскликнул:

— Будь что будет... Ты прав, нечего прежде времени убиваться. Сядем-ка за письмо. Уж коли она будет моя невеста, тогда я его близко не подпущу, тогда уж дело-то кончено. Настою, чтобы через неделю и свадьба была. Давай писать.

И друзья принялись сочинять любовную эпистолу, долженствовавшую решить участь Сорочкина.

В то самое утро, как Пашинцев явился к капитану с первым визитом, Надя получила письмо от Сорочкина. Письмо было написано очень трогательно, так что Надя чуть не прослезилась. Она тотчас же прочла его вслух своей тетке, с которою жила в большой дружбе. Варваре Кузьминишне послание влюбленного чиновника еще более пришлось по сердцу; она вспомнила, как во времена оны один юный полковой лекарь, пылавший к ней долгою и безнадежною страстью, говорил ей почти то же самое изустно в тенистой, густой аллее старого сада, при свете луны. Глубокий вздох вырвался из груди старой девицы. Она всплакнула втихомолку от Нади и внутренно пожелала, чтобы роман племянницы развязался счастливее, нежели ее собственный, потому что полковой лекарь вскоре после объяснения ушел с полком в другую губернию и там, неверный, женился на другой девице, за которою взял что-то очень много денег и каменный дом. С тех пор никто уже не признавался в любви Варваре Кузьминишне; быстро отцвела красота ее, а с нею исчезли и мечты о замужестве. К тому же и папенька обанкротился, едва успев выдать за капитана свою младшую дочку, к которой Варвара Кузьминишна, осиротевши, и переехала на житье. Но роман с лекарем оставил неизгладимый след в мягкой душе ее. Он, во-первых, поселил в ней недоверие к неверным мужчинам, а во-вторых, пристрастил Варвару Кузьминишну к чтению романов и повестей, преимущественно же тех, где описывались любовные приключения. Так как и Надя имела к ним слабость, то иногда по целым ночам читала их тетке вслух. И обе они немало тужили и даже плакали, если повесть кончалась несчастливо и любовники не соединялись в ней законными узами.

— Ну что это, право, какая жалость! — говорила обыкновенно Варвара Кузьминишна, утирая слезы белым бумажным платком.— Как это можно, чтобы такой прелестный мужчина, как Лидин, погиб через этого злодея Ножова!

— А мне так всего более жаль Зинаиду,— возражала Наденька. И обе они начинали толковать, как бы они устроили судьбу героя и героини, если бы были на месте сочинителя.

Надя, уже боявшаяся, как мы видели, Пашинцева, еще более растерялась при нем по причине получения от Сорочкина письма. Мысли ее так были заняты этим письмом, что она почти ничего не слышала, что говорил Пашинцев, и на все его вопросы отвечала как-то невпопад. Владимир Николаевич, видя, что молодая девушка перед ним конфузится, оставил ее в покое, намереваясь в один из следующих визитов познакомиться с ней покороче, и исключительно занялся с капитаном. Он навел разговор на Кавказ, начал описывать тамошнюю природу и боевые стычки с такою живостью, как будто видел эту природу и участвовал в этих стычках. Капитан был совершенно очарован своим гостем и как-то особенно моргал усами, выкуривая трубку за трубкой. Надя воспользовалась разговором отца с Владимиром Николаевичем и, не дождавшись окончания визита последнего, ушла к себе в комнату, чтобы еще раз перечесть письмо Сорочкина и хорошенько обдумать, как лучше сообщить о нем капитану. Хотя она была вполне убеждена, что со стороны его не будет препятствий, но все-таки сцена могла выйти довольно патетическая. Варвара Кузьминишна советовала племяннице, ничего не говоря, отдать роковое письмо отцу и тотчас же припасть к ногам его. Пашинцев между тем, толкуя с капитаном о неустрашимости русских воинов и хитрости горцев, все посматривал на дверь, куда вышла Надя, не покажется ли она снова; но она не показывалась, и он, допив поданную ему чашку кофе, начал раскланиваться. Перед уходом он попросил у капитана позволения зайти иногда вечерком, на что капитан, конечно, изъявил полное согласие и даже так крепко жал при этом руку гостя в своих воинских лапах, что тот чуть не вскрикнул от боли.

— Славный молодой человек,— бормотал капитан по уходе Пашинцева, шагая по комнате,— славный, славный, славный. И вечерком обещался зайти. Не играет ли в три листика? (Три листика была любимая игра капитана.)

«Хорошенькая девочка эта Надя,— думал, возвращаясь домой, Пашинцев,— от нечего делать можно за ней приволокнуться. Конечно, без особенных целей, а так... Но какая она робкая, застенчивая; все краснеет, конфузится. Должно быть, совсем еще не развитое существо. Вот бы потрудиться над ее развитием! И занятие будет, да и доброе дело сделаю.

Ведь жених ее, верно, тоже не из далеких... Право, славная мысль мне пришла в голову».

И Владимир Николаевич не шутя стал раздумывать о том, как приняться за развитие Нади. Он вспомнил о Глыбиных, о Лизе. Ему казалось, что это будет заслугой в глазах Лизы. Он уже заранее воображал, как, возвратясь в Ухабинск, он с гордостью даст отчет и ей и Заворскому о своей деятельности в уездном городе. По крайней мере его не упрекнут, что он проводил время в праздности. Кроме пользы служебной, извлеченной им для себя из этой поездки, он и сам еще принесет пользу. Мысль о развитии Нади так наэлектризовала Владимира Николаевича, что он воротился к себе домой в каком-то энтузиазме... Между тем у капитана вечером того же дня произошла помолвка. Письмо Сорочкина вручено было старику Варварой Кузьминишной. Он надел очки и принялся его читать; но, не дойдя и до половины, бросил, сказав:

— Черт его знает, какую чушь нагородил. Чего ему там надо? — Свояченица тут же объяснила чего.— Ну, так бы просто и сказал, хочу, мол, жениться, а то понес ахинею!

— Что ж, вы согласны будете, братец, отдать Андрею Андреевичу руку Нади? — спросила Варвара Кузьминишна.

— Чего ж тут не соглашаться? Девка в поре. Пускай берет. Он непьющий.

Оказалось, что Наде «припадать» было незачем. Вечером явился Сорочкин, явился отец Тихон поиграть с капитаном в три листика, да заодно уж и обручил влюбленных. На вопрос Андрея Андреевича, был ли губернаторский чиновник и как Надя нашла его, она отвечала, что не сказала с ним и двух слов и даже в лицо его хорошенько не рассмотрела. Такой ответ как маслом помазал по сердцу Сорочкина.

Спустя два дня в уездном городе уж ни для кого не было тайной, что Надя помолвлена. Сорочкина поздравляли его товарищи в уездном суде и требовали непременно, чтобы он, на радостях, угостил их. Горностаев чуть не задушил его в своих объятиях и прочел ему с большим чувством длинные стихи, где говорилось о сладостных цепях Гименея. К Наде тоже собрались вечером ее подруги и нажелали ей с три короба всяких благ. Она, по обыкновению, конфузилась и краснела, но хорошенькие глазки ее блистали радостью, а на губках то и дело появлялась улыбка. Надя никогда не была так мила, как в этот вечер. Счастье сообщает и безобразному лицу какое-то привлекательное выражение,

не только хорошенькому. Это, может быть, оттого, что человек в минуты счастья становится добрее.

Когда девушки наболтались вдоволь о предстоящей свадьбе, о том, кто будет шить невесте венчальное платье, откуда она возьмет цветы на голову, какую наймет жених квартиру и куда молодые поедут с визитами, начались игры. Андрей Андреевич привел с собой Горностаева, который до той поры не бывал в доме капитана, и еще двух молодых чиновников, Кошкина и Животикова, страшно напомаженных и еще более страшно занятых своею физиономией, но добрых и веселых малых. Кошкин слыл в городе ловеласом и носил на пальцах пропасть колечек с бирюзой и без бирюзы, серебряных и томпаковых, но более всего волосяных. Животиков не имел такого успеха у женщин, но зато был в городе первым танцором и отлично играл на гармонике. Без него не обходилась ни одна вечеринка, и после ужина он обыкновенно входил в такой азарт, что пускался один плясать казачка и при этом выкидывал руками и ногами самые забавные штуки, от которых все гости помирали со смеху. Подруги Нади были тоже славные девушки, особенно одна, Маничка Рукавишникова. Живая, быстроглазая, смуглая, настоящая цыганка; где была она, там непременно песни, визг, хохот, с ней никогда не скучали. Не один чиновник уездного суда, не один проезжий офицер заглядывались на ее черные огненные глаза и прекрасный бюст, не одну любовную записочку случалось ей получать. Но не трогали как-то эти записочки ее сердца, она ими обыкновенно обвертывала свечи или делала из них папильотки. Над обожателями своими Маничка очень любила подтрунить и всегда хвасталась подругам, что ни разу еще не была влюблена, чему, впрочем, подруги никак не хотели верить, особенно с тех пор, как одна из них случайно нашла у нее в комоде между бельем портрет какого-то господина с закрученными кверху усиками. Подруги не решались спросить у нее, кто был оригинал, а Маничка никогда о нем и не заикалась. Знали только, что он не из этого города, а, вероятно, из того, где ее отец был года четыре назад исправником. Другая девушка, Катенька Бульбенко, уступала Маничке в красоте и в живости, но имела необыкновенно доброе, нежное сердце и была очень влюбчива и мечтательна. К ней не писали записочек, но нескромные болтуны уверяли, будто она сама иногда писала их. Впрочем, известно, что уездные города ничем так не изобилуют, как пустыми сплетнями. И за сплетнями всегда за первыми водятся разного рода грешки.

Фанты были в самом разгаре, и Маничке Рукавишниковой второй раз приходилось целоваться с Горностаевым, который сначала не знал, куда деться от стыда, а потом вдруг расхрабрился и, ко всеобщему удовольствию, произнес самым страстным голосом:

Лобзай меня, твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина! —

как дверь в переднюю отворилась, и вошел Пашинцев. Веселая компания вдруг присмирела и смутилась. Особенно екнуло сердце у Андрея Андреевича. Пашинцев очень ловко и вежливо со всеми раскланялся и произнес:

— Мой приход, кажется, расстроил вашу игру.

Бойкая Маничка, прежде всех оправившаяся от смущения, видя, что у Нади язык прильнул к нёбу, тотчас же ответила за нее:

— Ничего, давайте играть с нами вместе.

Пашинцев принял это предложение с видимым удовольствием. Но Андрею Андреевичу было оно крепко не по душе.

«Ну, как ему придется с Наденькой целоваться,— подумал он.— Я ему не позволю».

Надя тоже порядком испугалась и во время ответа Манички все дергала ее сзади за платье. Но зато Катенька Бульбенко очень обрадовалась, что Пашинцев будет участвовать в игре, и внутренно пожелала, чтобы ей пришлось с ним целоваться. Пашинцев показался ей очень хорошеньким, и она предчувствовала, что непременно в него влюбится к концу вечера.

— Давайте в другую игру играть,— сказал Сорочкин.— Эти фанты уже надоели, давайте в соседи.

— Ну вот еще, какая скука! — возразила Маничка.— Вздор, вздор, давайте свое кольцо, Архип Авдеевич,— прибавила она, обратясь к Кошкину и протягивая ему платок, в который собирались фанты.

Делать было нечего. Стали продолжать игру в фанты. На этот раз пришлось Маничке целоваться с женихом Нади, а потом самой Наде с Пашинцевым. Когда он подошел к ней, она сидела ни жива, ни мертва. Катенька Бульбенко с завистью на нее посмотрела. Сорочкин, хотя и говорил себе, что не позволит, но, однако же, не сделал ни одного движения и будто прирос к месту, только губу нижнюю себе укусил крепко. Но Пашинцев скоро успокоил его; вместо того, чтобы целовать Надю в губы, на что, по условиям игры, имел полное право, он поцеловал ее руку. Андрей

Андреевич был очень доволен. У Нади тоже отлегло от сердца. После фантов Владимир Николаевич предложил какую-то свою игру, очень веселую, где, однако, не нужно было целоваться. Он показал в этот вечер очень много такта, стараясь всеми силами победить в обществе, в которое попал, всякое недоверие к себе; ни малейшей принужденности, ни малейшей церемонии не проглядывало в его обращении: он дурачился и смешил девушек, но в известных границах, соблюдая приличие и деликатность; с мужчинами поставил себя на товарищескую ногу, так что постороннему никак бы не пришло в голову, что Пашинцев видит их в первый раз. Скоро вся эта компания совершенно перестала дичиться его и забыла, что перед ней петербургский франт и губернаторский чиновник.

Пашинцев сразу заметил, что, когда он подходит к Наде, Сорочкина как будто начинает коробить, и потому старался не оказывать ей особенного внимания перед прочими девушками, хотя она нравилась ему гораздо более всех. Он даже прикинулся слегка заинтересованным Маничкой, которая как ни догадлива была на все такие проделки, но на этот раз не заметила его хитрости и была очень довольна. Она тотчас же откинула с ним всякие церемонии и, когда играли в веревочку, раза два так ударила его по рукам, что они покраснели у него, как у гуся. «У этой,— подумал он,— рука еще потяжелее капитанской будет». Андрей Андреевич, видя, что Пашинцев ухаживает за Маничкой, возблагодарил небо и во весь остальной вечер был чрезвычайно весел. Раза два или три он совершенно незаметно для общества прикоснулся губами к волосам и платью Нади, что еще более усилило его радостное настроение и заставило его считать себя каким-то отчаянным смельчаком, совершившим великий подвиг. Поздно разошлись гости от капитана. Все остались весьма довольны Пашинцевым, и Горностаев сказал своему другу:

— Он, брат, как видно, отличный парень и носа вовсе не задирает. Ты напрасно его подозревал. Он, кажется, за Маничкой приволокнулся, а?

— Кажется,— отвечал Андрей Андреевич, который шел, погруженный в сладостные мечты о будущем блаженстве с Надей.

— Ну, уж только эта Манька,— продолжал Горностаев,— настоящая полежаевская цыганка:

Кто идет перед толпою,
По широкой площади,
С загорелой красотою,

На щеках и на груди?
Узнаю тебя, вакханка
Незабвенной старины.

Что это за поэтище, этот Полежаев, черт побери! Вот душа-то была, Везувий! Только жаль:

Не расцвел и отцвел,
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей!

А уж именно, я думаю, кто полюбит эту Маню, погибнет, беспременно погибнет, потому — бес, не девчонка!

Волшебный демон, лживый, но прекрасный.

Всех менее остался доволен Пашинцевым сам хозяин, с которым он отказался играть в три листика. Но, однако же, капитан скоро утешился, потому что пришел квартальный офицер Миловзоров, никогда не отговаривавшийся и постоянно проигрывавший то гривенник, то двугривенный.

На другой день Пашинцев зашел к капитану утром, нарочно, чтобы не застать там Сорочкина, который до трех часов бывал всегда в должности. Поздоровавшись с хозяином и сказав с ним несколько слов о погоде, он осведомился, где Надя. Ему отвечали, что, верно, она в угловой, вышивает. Владимир Николаевич пошел в угловую. Он действительно застал Надю за пяльцами. Услышав в другой комнате шаги, она подумала, что Андрей Андреевич как-нибудь вырвался из присутствия, чтобы поболтать с невестой, но, увидев губернаторского чиновника, удивилась, однако же сконфузилась менее обыкновенного. Со вчерашнего дня она уже несколько иначе смотрела на Пашинцева.

— Здравствуйте, Надежда Львовна,— произнес Пашинцев и протянул ей руку. Она не знала, подать ли ему свою или нет; но подумав, что это, верно, так делается между знатными, решилась подать и покраснела.— Я не помешаю вам работать, если посижу у вас несколько минут? — продолжал Владимир Николаевич.

— Чем же? помилуйте,— отвечала Надя.

— Может, вы хотите быть одни, так скажите мне откровенно, не церемонясь, я уйду и приду в другой раз.

— Нет-с; я одна не люблю быть. Я и теперь Андрея Андреевича поджидала...

— Ну, Андрей Андреевич — это другое дело. Он помешать не может... Позвольте мне закурить папироску.

— Извольте-с. Я сейчас вам спичек принесу.— Она под-

нялась было с своего места, но Пашинцев, слегка коснувшись руки Нади, усадил ее.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, у меня есть свои. А скажите,— продолжал он, поместившись против нее и закинув голову назад,— ведь бывают же иногда у вас минуты, когда присутствие посторонних вам в тягость?

— Если что-нибудь такое особенное на сердце лежит, так правда, что иногда не до разговора.

— Вы были именно в таком расположении духа, когда я в первый раз приходил к вам. Не правда ли?

— Это поутру-то? Да, точно.

— Видите, как я угадал. Не будет с моей стороны нескромностью, если я спрошу вас, что вас тогда встревожило?

— Я от Андрея Андреевича письмо получила.

— А! С предложением?

— Ну да.

— Что, вы очень любите Андрея Андреевича?

— Уж, конечно, люблю. Разве я без этого пошла бы за него замуж?

— А за что вы его любите?

— Как за что? Да за все, он тихий, добрый, такой солидный. И меня любит.

— Вы прекрасная девушка, Надежда Львовна. Не ищете богатства, как большая часть барышень. Нашли доброго человека, который вас любит, и идете за него.

— Что в богатстве-то?.. Не с деньгами жить, с человеком. Да кто еще богатый-то нашу сестру за себя возьмет,— богатый найдет себе получше.

— Чем же получше?

— И красотой, и образованием, всем.

— Ну, красотой-то вас бог не обидел, а насчет образования — вы еще очень молоды, перед вами целая жизнь. Была бы только охота. Скажите мне, вы любите читать?

— Очень люблю, да книжек здесь мало.

— Что ж вы читаете?

— А что попадется...

— Повести, я думаю, большею частью?

— Повести, романы. *«Путешествие ко святым местам»* читала.

— Откуда вы достаете книги?

— Андрей Андреевич носит. Здесь городничий получает журнал. Окружной тоже.

— Какие же журналы?

— *«Библиотеку для чтения»* и еще *«Собрание иностранных романов»*.

— Ну, а статьи ученые в «*Библиотеке*» вы не читаете?

— Нет. Раз попробовала, да что-то не понимаю... где уж нам ученостью заниматься.

— Вы бы попросили Андрея Андреевича пояснить вам.

— Ему самому некогда читать. Целый день в должности, вечером тоже отдохнуть хочется. Вот стишков он мне читал много.

— Каких же?

— Да разных. И Пушкина и других сочинителей.

— Что ж, вам Пушкин нравится?

— Иное нравится, а иное тоже не совсем понятно. Вот мне Татьяна очень понравилась, я об ней раза три читала. Еще «Кавказский пленник» очень хорошо.

— Знаете ли, что я вам предложу, Надежда Львовна? Хотите, я буду вам вслух читать? Вы любите слушать?

— Ах! Ужасно люблю; особенно когда кто хорошо читает.

— Я хоть не особенно хорошо, но все же порядочно читаю; и если вам угодно, буду приходить к вам. У меня нет с собой книг, но я выпишу из Ухабинска, дня через четыре придут. Вечером, я думаю, вам некогда слушать, а по утрам, когда вы одни, скучаете без Андрея Андреевича, я буду вас развлекать. Хотите?

— Я буду очень рада. Только отчего же вечером не читать? Андрей Андреевич тоже любит слушать.

— Ну, и вечером, пожалуй. Но я буду просить вас об одном, Надежда Львовна: если что покажется вам непонятно, не конфузьтесь, спросите меня прямо. Я постараюсь объяснить вам. Смотрите на меня как на друга, на брата; откиньте всякие церемонии. Я человек простой; верьте мне. Может быть, вы совсем иначе думаете обо мне и считаете меня столичным франтом, который занят собой и желает блистать в свете. Вы крепко ошибаетесь, если так, Надежда Львовна. Я постараюсь вам это доказать. Я буду очень, очень счастлив, если хоть чем-нибудь успею угодить вам и оставлю в вас о себе доброе воспоминание.

Пашинцев говорил таким убедительным, искренним и ласковым тоном, что нельзя было ему не поверить. Наде эти слова были очень по сердцу, и она так же искренно отвечала, подняв на Пашинцева свои спокойные ясные глазки:

— Я вам буду очень благодарна, Владимир Николаевич. Только вот что жаль, вы ведь к нам ненадолго приехали?

— Я спрашивал нынче Парфена Ивановича, он мне сказал, что следствие еще продолжится с месяц, а может,

и больше, нужны какие-то справки. Да наконец я могу подать рапорт о болезни и прожить здесь еще несколько времени.

— Вот это славно бы, если бы вы у нас подольше пожили и на свадьбу мою остались бы.

— А ваша свадьба скоро?

— Андрей Андреевич просил, чтобы поскорее, да нельзя; много еще нужно сделать из гардероба, да и квартира, которую он нанял, не опросталась. Жильцы через месяц только съедут; деньги вперед отдали. А там ее красить будут. Андрей Андреевич одну комнату еще бумажками оклеить хочет.

В эту минуту кукушка на старинных часах в капитанском кабинете прокуковала два раза.

— Однако же скоро Андрей Андреевич должен прийти,— сказал Пашинцев, вставая.— Тогда уж я буду лишний. Прощайте, Надежда Львовна. Помните же наше условие.

Он опять протянул ей руку, и на этот раз она уже смелее подала ему свою. Дойдя до дверей, Пашинцев остановился, как будто припомнив что-то, и произнес:

— Да! Я хотел еще спросить вас: кто эта Маничка, которую я вчера у вас видел?

— Это исправникова дочка. А что, она вам понравилась?

— Так себе, она миленькая. Часто она у вас бывает?

— Довольно часто.

— Гм! Прощайте.

— Прощайте, Владимир Николаевич.

По приходе Андрея Андреевича Надя тотчас ему рассказала о своем разговоре с Пашинцевым. Жених сначала нахмурился; но потом, услыхав, что Владимир Николаевич осведомлялся о Маничке, успокоился и остался вполне убежден, что он нарочно приходил для того, чтобы расспросить о ней и узнать, часто ли она ходит в дом капитана.

Сорочкин еще более повеселел, когда Надя позволила ему поцеловать в левый глаз.

Через несколько дней книги пришли, и Пашинцев начал свои чтения. Он не только выбирал статьи из русских журналов, но даже переводил разные отрывки из французских книг, которые, по его мнению, могли способствовать развитию Нади. Так, например, было у него сочинение, рекомендованное ему Лизой: «*Histoire morale des femmes*»[1] Легуве, где действительно есть несколько недурных глав о воспитании, о супружеской жизни, об обязанностях матери и жены

---

[1] «История женской морали» *(фр.)*.

и о положении женщины в современном обществе. Пашинцев несколько вечеров трудился над этими главами и хоть не совсем гладко и литературным языком, но по крайней мере понятно для своих слушателей сумел передать их. Много нового открылось для Нади во всем, что читал и говорил Владимир Николаевич Часто, прослушав его несколько часов с напряженным вниманием, она просила его оставить ей рукопись и по уходе его перечитывала опять те места, которые сделали на нее особенное впечатление, стараясь вникнуть в каждое выражение, усвоить себе каждую мысль.

Андрей Андреевич и Горностаев тоже присутствовали при чтениях Пашинцева. Первый большею частью молчал, хотя ему и хотелось подчас вклеить какое-нибудь словечко, выразить какое-нибудь суждение, но природная робость и недоверие к своим умственным способностям удерживали его. Он боялся обмолвиться, сказать что-нибудь невпопад и только кряхтел да посматривал исподлобья на Пашинцева, не скользит ли у него на губах насмешливая улыбка. Эта улыбка ужасно пугала бедного Сорочкина. Горностаев был смелее своего друга и хоть не часто, но возражал Пашинцеву. Споров, однако же, между ними не происходило, потому что оба они, и Горностаев и Пашинцев, не способны были бы поддерживать споры: Пашинцев сам не шел далее прочитанного; развить какую-нибудь мысль в своей голове было ему не под силу; иногда только, припомнив что-нибудь слышанное им от Заворского или от Мекешина, он повторял это слово в слово и приобретал, таким образом, весьма дешево репутацию умного человека в мнении своей невзыскательной аудитории.

Капитан тоже попробовал было слушать, но с первого же разу вздремнул и потом не отрывался более от трех листиков. Раз как-то Сорочкин, победив свою робость, рискнул наконец вымолвить свое слово, но — увы! — лучше бы ему было не рисковать. Надобно сказать правду, что он не совсем понял то, на что ему вздумалось возразить, но все-таки он не заслуживал такого страшного нагоняя, такого сильного щелчка своему самолюбию, какой заблагорассудил дать ему Владимир Николаевич. Между Пашинцевым и Сорочкиным повторилась та же история, которая происходила некогда между Заворским и Пашинцевым. Забыл ли наш юноша то неприятное положение, в которое ставили его резкие выходки Заворского, те глубокие раны, которые они наносили душе его, или обрадовался он случаю выместить на невинном существе свою еще не совсем зажившую боль; но только он не пощадил Сорочкина. Казалось, он

выжидал только удобного времени, выжидал предлога, чтобы начать нападки на бедного чиновника. Действительно, с той поры он не переставал колоть и язвить его, намекая на его тупоумие и всеми силами старался унизить его в глазах Нади. Заворскому могло до некоторой степени служить извинением то обстоятельство, что он без памяти был влюблен в Лизу. Что же извиняло Пашинцева и для чего он старался расстроить доброе согласие между женихом и невестой? Заворский хорошо понимал, что, унижая перед Лизой человека, которого она взяла под свою нравственную опеку, он нисколько не ослабляет ее участия к нему и что только сам теряет этим в ее глазах, и потому вскоре победил дурное чувство, говорившее в нем, и сблизился с Пашинцевым. Пашинцев действовал иначе. Надя нравилась ему, но не до такой степени, чтобы Сорочкин мог возбудить в нем ревность. Он унижал его единственно из своего самолюбия. Гаденькое, эгоистическое, тщеславное побуждение руководило им. Ему было весело пустить пыль в глаза этому обществу, стоявшему ниже его по образованию (а по правде сказать, так мало ниже!); он хотел, чтоб ему удивлялись, поклонялись и, главное, чтоб его боялись. Если он хотел нравиться, то разве только одной Наде; если хотел заслужить чью-нибудь любовь, то разве ее. На других он взирал с высоты своего светского величия, и если в первый раз обошелся с ними ласково, то только с той целью, чтобы иметь доступ к Наде и не слишком запугать ее. Он думал, что он уже подвиг совершает, развивая и просвещая эту девушку. Ни разу не пришла ему в голову мысль о том, что сталось бы с Надей, если бы удалось ему унизить в глазах ее Сорочкина, вселить к нему отвращение в ее сердце. Согласился ли бы Пашинцев заменить ей Сорочкина, жениться на ней? Жениться на бедной, ничтожной, необразованной девочке, не имеющей никакого понятия о светских приличиях, в которых он воспитан. И что сказал бы Ухабинск, что сказала бы madame Карачеева, если бы он вывез из захолустья такую жену? Обольстить девушку он считал бесчестным, низким. А назвать ее женой не хватило бы у него смелости. И потому, стараясь понравиться ей, возбудить в ней к себе привязанность, Пашинцев поступил бы как школьник, несмотря на роль ментора, которую он взял на себя. Он не мог не сознаться себе в этом. А между тем он не упускал случая сближаться с ней и, стараясь себя уверить, что действует исключительно в видах ее пользы, ее развития, поступал, однако же, не совсем чисто. Толкуя ей беспрестанно о ее прекрасной натуре, осужденной заглохнуть в душной

и грязной среде, в которую бросила ее судьба, намекая ей то и дело, что Сорочкин не стоит ее мизинца, он не мог не вскружить ее голову.

Так и случилось.

Надя начала заметно охладевать к жениху; все, что он говорил, стало казаться ей как-то странным, смешным, она уже не с таким нетерпением, как бывало, ждала его прихода, а зато без Пашинцева ей становилось скучно. Когда заходила о нем речь, ее бросало в краску; то же самое бывало, если она слышала шаги его или вдруг замечала его в дверях комнаты, где сидела. Конечно, все это не могло не укрыться от Андрея Андреевича, который любил ее так, как только способен был любить. С тех пор как он сделал предложение и получил согласие, прошла его робость; он сблизился с Надей и привязался к ней еще сильнее. В огонь и в воду, казалось, готов он был за свою невесту. Ее ласковым взглядом, ее улыбкой, пожатием руки он был счастлив на целый день. Ни начальничья распеканка, ни проигрыш, ни сплетня — словом никакая неудача не в силах была возмутить то ясное настроение, в которое приводила его уверенность в любви Нади. И вот, вдруг, она изменяется к нему, начинает от него отдаляться. Его присутствие как будто тяготит ее. Когда он заговорит в присутствии Пашинцева, ей как будто стыдно и совестно за него: она с робостью смотрит на Владимира Николаевича и, кажется, ждет, что вот он напустится на него с своею гладкою, увлекательною речью. Пашинцев в этом кружке ощущал какую-то особенную смелость; у него бог весть откуда взялся апломб; каждое слово дышало самоуверенностью, чего нельзя было вовсе заметить в нем в обществе Глыбиных. Надя смотрела на него как на необыкновенного человека, как на одного из героев тех повестей, которые она, бывало, читает по ночам вслух Варваре Кузьминишне. Ее самолюбию так льстило, что Владимир Николаевич отличил ее перед всеми подругами, что он ставит ее выше всех окружающих. И самая наружность его все больше и больше ей нравилась. Когда он читал, она украдкой взглядывала на его лицо, что-то неотразимо влекло ее к этому лицу и, взглянувши на него раз, хотелось взглянуть в другой и в третий, хотелось вовсе не отрывать взора от этих карих глаз, от этой насмешливой улыбки, от этого бледного чистого лба и смотреть и смотреть на них целые дни, целую жизнь.

И одевался он так хорошо, так просто; не носил пестрых жилетов, не повязывал цветных галстуков, не выставлял напоказ позолоченной цепочки. Рубашка на груди его была такая белая, так хорошо накрахмалена и выглажена; каждая

складочка отделялась на ней так рельефно; и сзади не торчали из-за воротничка тесемочки, обличавшие присутствие манишки. Манеры Пашинцева были так небрежны и вместе так милы. Он не садился на кончик стула, поджав под него ноги; когда смеялся или был чем-нибудь удивлен, не хлопал себя по ляжкам и не приседал; никогда не хихикал, закрывши себе рот рукой; никогда не торчал из его кармана кончик клетчатого бумажного платка и никогда не свертывал он своих батистовых платков в клубочек. Что бы ни говорили, а нет такой женщины в мире, для которой внешность не имела бы ровно никакого значения. Положим, что умная женщина не увлечется одною внешностью; положим даже, что она может полюбить человека довольно не эстетической внешности, но тогда она постарается переделать его на свой лад. Она, верно, не раз во время своего увлечения скажет про себя: «Как жаль, что он так дурно одевается» или «что у него такие дурные манеры!» Человек, не вполне достойный любви, но вполне приличный, всегда скорее нравится ей, нежели тот, у кого эти свойства наоборот.

Горько, очень горько было видеть бедняге Сорочкину эту перемену к нему Нади. Много жалоб на судьбу свою вырывалось у него из сердца во время дружеских бесед с Горностаевым; много проклятий Пашинцеву, которого Андрей Андреевич возненавидел. И чего бы он не дал за то, чтобы Пашинцев поскорее отправился восвояси, в Ухабинск! Не проходило дня, чтобы он не наведался о ходе следствия, производимого ментором Владимира Николаевича. А Пашинцев между тем каждое утро являлся к Наде и сидел с нею до той минуты, пока жених возвращался из должности. Он дочитывал ей историю любви Бельтова с Круциферской.

Нечего говорить, что она воображала Андрея Андреевича Круциферским, Пашинцева Бельтовым, а себя героиней романа. Нечего и говорить, что оба они, и Надя и Пашинцев, задавая себе вопрос: «Кто виноват?» — решали, что виновата судьба. И не в самом ли деле судьба, которой Владимир Николаевич был только олицетворением.

Когда Пашинцев дошел до того места, где Круциферская говорит Бельтову: «Но, знайте, Вольдемар, что вы любимы, бесконечно любимы», Надя, слушавшая его с напряженным вниманием и давно уже сдерживавшая слезы, не могла вытерпеть дольше и зарыдала.

Пашинцев бросил книгу и, подойдя к Наде, стал перед нею на колени.

— Надя, Надя, любишь ли ты своего Вольдемара, как любила Бельтова эта женщина? — спрашивал он, восторженно целуя руки молодой девушки.

Она, не отвечая ни слова, обвила шею его руками и, приложив свои горячие щеки к лицу его, крепко сжимала его в объятиях.

В столовой раздались шаги Андрея Андреевича. Надя быстро выпустила из рук голову Пашинцева и, вскочив со своего места, убежала в смежную комнату. Владимир Николаевич уселся на стул и притворился читающим.

Вошел Сорочкин. Он робко поклонился Пашинцеву и хотел спросить, где Надежда Львовна; но Пашинцев, не дождавшись его вопроса, сказал:

— Надежда Львовна нездорова и нынче никого не может принять.

У Сорочкина при слове «нездорова» вытянулась физиономия.

— Не тревожьтесь. Ничего нет важного,— успокоил его Пашинцев, улыбнувшись, и потом, взяв шляпу, направился к передней.

Андрей Андреевич, осведомившись еще у Варвары Кузьминишны о здоровье своей невесты и получив ответ, что у ней сильная головная боль, побрел домой опечаленный и задумчивый. Ему что-то подозрительна казалась болезнь Нади.

С этого дня Надя стала еще более чуждаться Сорочкина и всячески избегала случая оставаться с ним наедине. Ей тяжело было, казалось, взглянуть ему прямо в лицо.

— Я не могу идти за него,— сказала она однажды Пашинцеву, когда они были вдвоем.— Зачем мне его обманывать? Я ему прямо скажу, что не люблю его.

— Конечно, это благородно, Надя,— отвечал Пашинцев.— Такая девушка, как ты, не может поступить иначе. Связать себя с ним на всю жизнь, не любя его, значило бы погубить и его и себя. Правда, он человек добрый, но он не стоит тебя. Ах, Надя, Надя! Зачем я узнал тебя, зачем приехал в этот город? Может быть, я буду причиной твоего несчастья. Если бы я мог не расставаться с тобой, посвятить тебе всю жизнь... Но ты не знаешь моих обстоятельств, моего прошлого.

— Я знаю, Володя, что тебе нельзя жениться на мне, тебе не такую жену надобно, куда я гожусь! У тебя, верно, знатные, богатые родные; они не захотят и принять меня в семью свою. Нет, Володя. Я не хочу сама ссорить тебя с ними. Ты сам после раскаешься: у других твоих знакомых

жены образованные, умные, а у тебя будет простая, невоспитанная девчонка, которая ни войти-то в общество не умеет, ни поклониться-то хорошенько, не только что разговор какой умный вести... Нет, нет, Володя, пускай я здесь так и останусь, так и заглохну. Я лучше здешнего города и не стою. Мне хотелось бы только, чтобы ты еще побыл со мной, не уезжал так скоро. Я не знаю, что станется со мной, когда ты уедешь.

И слезы лились, лились по щекам Нади.

— Надя, Надя, друг мой! Прости мне,— говорил Пашинцев, обнимая ее и целуя ей голову, руки, шею.

— Мне так хорошо, так хорошо с тобой. Всю бы жизнь, кажется, просидела вот так, глядя на тебя, на мое сокровище...

— Я останусь, останусь, Надя, сколько ты хочешь, только не проклинай меня, что я испортил жизнь твою.

— Что ты, господь с тобой, Володя! За что проклинать? Разве я не узнала счастья с тобой? Да я бы всю жизнь прожила с Сорочкиным — и ни одной минуты не была бы так счастлива, как теперь. Люби меня, люби, Володя, и я, кажется, до самой смерти все буду жить тобой, и уедешь ты, оставишь меня, а я все буду любить тебя, все буду и день и ночь о тебе только думать.

Владимиру Николаевичу не совсем легко было слушать эти признания наивной девочки, в которую он заронил искру любви, сам оставаясь почти равнодушным. «Великий совершил подвиг,— думал он,— будет чем похвастаться перед Лизой». Если бы он еще не старался внушить Наде привязанность к себе, если бы все это само собою случилось, некого было бы и винить. Но совесть Владимира Николаевича была далеко не чиста в этом случае.

Надя исполнила свое намерение и в первый же раз, как Андрей Андреевич пришел к ней, сказала ему дрожащим от волнения голосом:

— Андрей Андреевич, я давно хотела поговорить с вами, да все не хватало духу, но теперь пора, я больше не могу притворяться, не могу вас обманывать.

У Андрея Андреевича замерло сердце, он предвидел, к чему это клонится.

— Не сердитесь на меня, Андрей Андреевич. Я не виновата; видит бог, не виновата, что это так случилось. Я не могу быть вам женой, Андрей Андреевич.

— Как же это, Надежда Львовна,— пробормотал Сорочкин.— Стало быть, вы уже не любите меня, стало быть, я теперича и надежды никакой иметь не могу.

— Не браните меня, не упрекайте. Я вас любила, когда согласилась выйти за вас, но ведь с сердцем не совладаешь; что ж делать, Андрей Андреевич! Вы найдете себе другую девушку, которая будет любить вас, а меня оставьте.

— Не надо мне никакой другой, Надежда Львовна; это я знаю вы почему, только ведь он не будет вас так любить, он не женится на вас, увидите.

— Да кто ж вам говорит, что я хочу за него выйти? Не трогайте его, он не виноват; он и не обнадеживал меня.

— Так как же это, Надежда Львовна, неужели так-таки и все кончено теперича?

— Все! Если вы боитесь, что в городе говорить будут про вас дурно, что вот, мол, невеста вам отказала, так вы не беспокойтесь. Пускай на меня все падет. Я сама всем сказать готова, что вы от меня отказались, и вы так говорите, вам поверят: все знают, что Владимир Николаевич часто бывает у нас: многие уж заметили, может быть, что я при нем сама не своя.

— Нет, этого я не скажу, Надежда Львовна, вы не так обо мне понимаете, нет! Уж если так богу угодно, так пусть же я... пусть же вы мне откажете.

Сорочкин не мог долее продолжать. В горле у него стояли слезы, и, схватив фуражку, он опрометью пустился вон из комнаты.

Прибежав к другу своему Горностаеву, Андрей Андреевич дал волю своему отчаянию. Он кинулся на кровать и, уткнув голову в подушку, плакал как малый ребенок целые четверть часа.

Горностаев долго не мог добиться от него, что с ним сделалось, и когда наконец Сорочкин, всхлипывая, выговорил, что Надя ему отказала, учитель, по обыкновению, насупил брови и, зашагав по комнате, продекламировал:

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя!

Вечером того же дня Андрей Андреевич, запершись в своей комнате, опорожнил целые две бутылки сквернейшего лиссабонского, вследствие чего и проспал всю ночь на полу как был, в вицмундире, не раздеваясь. То же самое повторил он и на другой и на третий день, уже в обществе Горностаева, а когда в кармане у него значительно поубавилось денег и лиссабонского купить было не на что, прибег к простячку.

VIII

СТАРАЯ ЗНАКОМАЯ

Следствие опытного чиновника приходило к концу. Нужно было собираться в дорогу. Владимиру Николаевичу было жаль Нади, которой привязанность к нему росла не по дням, а по часам; и он несколько раз подумывал, не подать ли рапорт о болезни; но потом, обсудив хорошенько свое положение, приходил к заключению, что ведь это ровно ни к чему не поведет, что надо же когда-нибудь расстаться и что даже чем скорее, тем лучше. Ему стоило сказать одно слово, и Надя готова была ему отдаться вполне, беззаветно, но он удерживался произносить это слово, не желая иметь лишний проступок на совести, или, может быть, просто потому, что у него не хватало на это смелости. Он уж и без того боялся, чтобы слух об его отношениях к Наде не дошел до Глыбиных. В уездном городе уже ходили разные толки, не совсем благоприятные для Нади. Никто не мог довольно надивиться, что Андрей Андреевич, такой смирный и трезвый, вдруг начал пьянствовать и буянить, и когда Варвара Кузьминишна по секрету рассказала гостям, что Наденькиному жениху отказали, узнавши о его дурном поведении, гости молчали и как-то недоверчиво покачивали головой, а потом, возвратясь домой, задавали себе вопрос, не от того ли жених и с пути-то сбился, что ему отказали?

Однажды утром, гуляя и проходя мимо почтовой станции, находившейся в полуверсте от города, Владимир Николаевич увидел у крыльца ее великолепную дорожную карету, в которую впрягали шестерку лошадей. Станционный смотритель в форменном сюртуке и без шапки суетился около экипажа, понукал ямщиков и даже сам перелаживал постромки.

— Кто это проезжает? — обратился к нему с вопросом Пашинцев.

— Отставной ротмистр Гагин, губернатору родственник доводится, на службу в Ухабинск едет.

— А вы почему знаете, что родственник?

— Люди сказывали-с.

— Что ж, семейный?

— С супругой.

В эту минуту из почтовой станции кто-то сильно застучал в окно. Пашинцев оглянулся и увидел молодую красивую женщину в изящной дорожной шубке.

— Господи! — воскликнул Владимир Николаевич,— Софья Михайловна! — и бросился в станционный дом.

Дама, стучавшая ему в окно, встретила его на пороге.

— Вас ли я вижу, Софья Михайловна? — с удивлением спросил Владимир Николаевич.

— Вас ли я вижу, Владимир Николаевич? — смеясь, повторила проезжая.— Что вы тут делаете в этом захолустье? Неужели служите?

— Нет, я служу в Ухабинске, а здесь на время по поручению; но вы, вы как сюда попали?

— А вот я вам все сейчас расскажу. Но сначала пойдемте, я вас представлю мужу.

— Мужу?

— Да, мужу, я опять замужем. Наскучило вдоветь. George, George! — кричала мужу Софья Михайловна.— Поди сюда, я тебе отрекомендую старого знакомого, un ancien ami à moi [1], monsieur Пашинцева.

Из-за перегородки, разделявшей комнату на две части, показалась толстая фигура с головой, обстриженной под гребенку, с круглым, добродушным лицом и густыми бакенбардами.

— Charme [2],— произнес сиплым голосом отставной ротмистр, протягивая Пашинцеву руку.

— Он тоже служит в Ухабинске,— сказала Софья Михайловна, движением головы показывая на Пашинцева,— chez votre oncle [3].

— Да, я чиновником по особым поручениям при Федоре Федоровиче,— подтвердил Пашинцев.— И вы хотите тоже к нему?

— Да, он звал меня, но не знаю, есть ли вакантное место. Покуда поживу так, ознакомлюсь с городом. Вот боюсь за Софи, она у меня к провинции не привыкла. Мне-то все равно. Я пошлялся по свету довольно.

— Расскажите, monsieur Пашинцев, что такое Ухабинск? Что там за люди? Есть ли общество?

— Как вам сказать. Можно найти дома два-три порядочных.

— Что там, веселятся, танцуют, есть балы, маскарады, театр?

— Театр плох, маскарадов и в заводе нет, а танцевать любят.

---

[1] Моего старого друга *(фр.)*.
[2] Очень приятно *(фр.)*.
[3] У вашего дядюшки *(фр.)*.

— Ну, что ж, есть хорошенькие женщины? Уж вы, верно, тут разные *конкеты* делаете.

— Пока еще ни одной не сделал. Вы слишком много мне приписываете. Женщины есть недурные, но с страшными претензиями на *комильфо*, которого они в глаза не видали. Одеваются сносно.

— Ну, послушайте, вы мой кавалер на первую мазурку, которую я танцую в Ухабинске.

Пашинцев поблагодарил Софью Михайловну поклоном.

— Я думаю, какие вы туалеты везете с собой, Софья Михайловна! Вы ведь всегда славились искусством одеваться, как и многим другим.

— Ну, ну, ну, без комплиментов.

— Что ж, разве это неправда? Воображаю, как наши барыни взволнуются, узнав о вашем приезде. А что с ними будет, когда вы затмите их и красотой и туалетом! Они все перебесятся. Особенно есть там одна, Карачеева, qui fait la pluie et le beau temps [1] в Ухабинске, презавистливая персона! Нетерпеливо желаю быть свидетелем ваших дебютов в этом милом обществе.

И Владимир Николаевич начал подробно описывать всех ухабинских дам, почти в таких же чертах, в каких ему описывал ухабинских мужчин Выжлятников. Софья Михайловна заливалась самым искренним и веселым смехом, слушая его болтовню, от которой у ней вдруг возгорелось живейшее желание поскорее явиться в ухабинском обществе и возбудить зависть тамошних дам.

— Вы еще долго останетесь в этом городишке? — спросила она Пашинцева, когда он кончил.— Вы, я думаю, здесь умирали с тоски? — прибавила она, прежде чем он успел ответить.

— Да, скучал-таки порядком. Сначала мне все это было ново, но потом опротивело страшно. Теперь мое поручение кончено, и я могу ехать.

— Ах, боже мой, Жорж! Так возьмем его с собой в карете. Ведь у нас места много. Вы не в своем экипаже?

— С удовольствием,— отвечал ротмистр.

— Нет, я на перекладных. Mersi за вашу внимательность,— сказал Пашинцев,— но только вам бы пришлось долго ждать меня, я не собирался.

— Ну, что ж такое? Мы, пожалуй, подождем час-два, сколько хотите. Жорж еще будет очень рад. Он хотел непре-

---

[1] Которая задает тон (*фр.*).

менно пить чай, но я его торопила ехать. Мне, признаюсь, ужасно наскучила дорога.

— Я, право, не знаю...

— Да что не знаете? Allez chercher vos éffets [1], и дело с концом.

Владимир Николаевич колебался еще несколько секунд. Ему жаль стало Нади, которая была не приготовлена к такой скорой разлуке с ним. Но потом он подумал, что оно и лучше, коли поскорее уехать: во-первых, сцен разных избежишь, да притом и наскучило, по правде, играть добровольную роль платонического вздыхателя; пожалуй, еще как-нибудь увлечешься. И наконец ехать в великолепном дормезе с хорошенькой женщиною лучше, чем трястись на перекладных, рядом с опытным чиновником, от которого всегда несет гадчайшим табаком и водкой. И он решился.

Возвратясь домой, он тотчас велел укладывать свои пожитки, которые, впрочем, все заключались в одном чемодане. Ментор его, поглядев на него с удивлением, спросил:

— Разве вы одни уехать хотите?

— Нет, меня приглашает с собой племянник губернатора. Он тоже на службу в Ухабинск едет.

— А! Так-с. Ну, а как же, проститься разве к капитану-то не забежите?

— Не знаю, право, успею ли, ведь меня ждут... невежливо. Если уж не удастся, так вот что я вас попрошу, добрейший мой Парфен Иванович, окажите дружбу.

— Ну-с, что такое?

— Извинитесь, пожалуйста, за меня; скажите, мол, что Пашинцев бумагу получил и что немедленно его вызывают в город. Скажете?

— Сказать, пожалуй, скажу. Да вы бы забежали лучше. Ну, что вам стоит? Одну минуточку; попрощайтесь только.

— Ах, какой вы, Парфен Иванович! Я бы и рад, ей-богу, да ведь опоздаю!

— Ну, как знаете!

«А что, в самом деле,— подумал Пашинцев,— не зайти ли? Боюсь только, как бы с девочкой обморока не случилось. Ну! Была не была — зайду. А то жаль ее, в самом деле, бедненькую. Мой внезапный отъезд оскорбит ее. Не написать ли разве письмо? Нет, уж лучше схожу. Так и быть».

— Я зайду, коли так, Парфен Иванович.

— Ну, ладно.

---

[1] Идите за своими вещами *(фр.)*.

Пашинцев простился с опытным чиновником и вышел. Парфен Иванович посмотрел ему вслед и, затянувшись, флегматически произнес:

— Ветрогон мальчишка! Только сбил девку с толку.

Надя сидела, по обыкновению, у окна с книгой, когда вошел Владимир Николаевич. Она не ждала его и вздрогнула.

— Надя,— решительно произнес Владимир Николаевич, делая над собой усилие.— Я еду сейчас же.

Надя побледнела, как лист бумаги.

—Что ты говоришь, Владимир? — прошептала она чуть внятно.

— Я получил бумагу. Меня требуют безотлагательно по делам службы в Ухабинск.

Надя закрыла лицо руками и откинулась в кресло.

— Я зашел проститься, Надя,— несмело произнес Владимир Николаевич.— Лошади готовы.

Надя сидела неподвижно, только грудь ее тяжело дышала.

— Надя, Надя! Полно, друг мой,— говорил Владимир Николаевич, между тем как глаза его невольно взглянули в угол, где стояли на деревянной тумбочке старинного фасона бронзовые часы.

Он подошел ближе к Наде и отвел руки от лица ее. Оно было все мокро от слез.

— Надо проститься,— сказал он.— Я приеду, Надя, верь мне.

— Когда? — спросила она, остановив на нем свои заплаканные глаза.

— Скоро. Губернатор должен ехать на ревизию. Он возьмет и меня с собой.

— Правда ли это, Володя? Ты только хочешь утешить меня.

— Клянусь тебе.

— Господи, как я буду ждать тебя! Володя! Володя! Если бы ты только знал, как я тебя люблю!..

И, снова залившись слезами, она повисла у него на шее. Пашинцеву самому сделалось грустно. И у него готовы были выступить на глазах слезы. «Что бы, право, жениться на ней! — подумал он.— Едва ли кто-нибудь будет любить меня больше».

Видя, что Пашинцев плачет, Надя сделала над собой усилие и в свой черед принялась утешать его, потом перекрестила и произнесла твердо:

— Поезжай с богом, будь счастлив!

Пашинцев еще раз крепко обнял ее, поцеловал и выбежал из комнаты. Надя без чувств опустилась в кресло.

— Ну что, совсем? — встретила Владимира Николаевича вопросом Софья Михайловна, сидевшая с мужем за чаем.— А мы еще не готовы. Не налить ли и вам чаю?

— Нет, благодарю вас,— отвечал Пашинцев и молча придвинулся к столу. Наденька еще не вышла у него из головы, и он думал о своем романе с ней. Он не мог не сознаться, что поступал ребячески, глупо, нечестно, хотя и старался оправдать себя тем, что заронил в нее *зерно сознания*.

Но, впрочем, задумчивость его скоро прошла. Он опять сделался говорлив и весел. Он ощущал даже какое-то довольство при мысли, что вырвался из этого захолустья и что кончились все эти тяжелые, слезливые сцены. Несколько минут спустя все трое уже ехали по дороге в Ухабинск. Чем ближе подъезжал к нему Пашинцев, тем менее думал о Наде. Она начинала испаряться из его памяти, и вся эта история стала казаться ему каким-то сном, смутным и безобразным, но в котором были, однако же, два-три отрадных мгновения. Ухабинск с его дамами, сплетнями и балами наконец овладел исключительно его мыслями. Ему припомнилась нелепая история с Карачеевой; и он, сидя против хорошенькой, ласковой и смеющейся Софьи Михайловны, преисполнился таким презрением, такою ненавистью к предмету своей бывшей страсти, что решился непременно отомстить ей за свое унижение. А чем же лучше отомстить, как не полным и совершенным невниманием и ухаживанием за другой? Он уже заранее воображал себе, как, идя визави с Карачеевой в кадриле, будет бросать на нее насмешливые взгляды и острить на ее счет с своею дамой, с милою и элегантной Софьей Михайловной; как Софья Михайловна будет смеяться его остротам и как Карачеева, догадываясь, что смеются над ней, будет краснеть и кусать себе губы с досады. Пашинцеву очень льстило, что Софья Михайловна, которая должна занять в Ухабинске et par droit de conquête et par droit de naissance[1] (т. е. как родственница губернатора и как петербургская дама) первое место, будет иметь его своим постоянным, неизменным чичероне и что он возбудит зависть во всех ухабинских кавалерах.

«Карачеева думает,— говорил себе Владимир Николаевич,— что я ужасно огорчен предпочтением, которое она оказывает передо мной полковнику; так пускай же посмот-

[1] По праву власти и по праву происхождения (*фр.*).

рит, как я огорчен!» О, если бы она могла видеть его теперь, едущего в одной карете с Софьей Михайловной!

Приятные мечтания его расстраивало только порой опасение, чтобы Глыбины не проведали о его проделке с Надей и Сорочкиным. Впрочем, что ж? Разве он поступил бесчестно? Надя готова была все принести ему в жертву, но он не воспользовался этим, хотя был уверен, что одно слово его могло подвинуть ее на такой шаг, который бы погубил ее репутацию, ее честь. Она, наверное, сохранит о нем воспоминание как о благородном человеке. Она может повторить ему слова Татьяны Онегину: «Вы поступили благородно». Но он был милостивее Онегина. Он не прочел Наде морали; Владимиру Николаевичу как-то уже не приходило теперь в голову, что разбить сердце бедной, неопытной, не знающей людей девушки тоже не совсем честное дело и что как-то странно человеку превозносить себя, например, хотя бы за то, что, оставшись один в комнате, он не украл часов, имея полную возможность украсть их.

По приезде в Ухабинск Пашинцев нашел некоторую перемену в семействе Глыбиных. Перемена эта состояла в том, что в отсутствие его Лиза и Заворский еще более сблизились. Заворский почти не выходил от Глыбиных, и так как это возбуждало в городе толки, на которые, однако же, Яков Петрович не обращал внимания, то Пашинцев и заключил, что, вероятно, дело близко к свадьбе. Его приняли по-прежнему ласково и радушно; но расспросы Лизы об уездном городе и о том, как Пашинцев проводил там время, возбудили в нем подозрение, не знает ли она чего об отношениях его к Наде. Подозрения его превратились в уверенность, когда Лиза осведомилась, не встречал ли он некоего Горностаева, который был товарищем Мекешина и даже изредка с ним переписывался.

«Горностаев писал обо всем Мекешину,— подумал Пашинцев,— а этот передал Глыбиным».

И он положил при первом удобном случае оправдаться перед Лизой. Не знаю почему, он сам не мог дать себе в этом отчета, но только мнением Лизы он дорожил более, нежели чьим-либо из всего кружка Глыбиных. Что бы он ни делал, она беспрестанно стояла у него перед глазами с своим испытующим взглядом. Она была чем-то вроде совести, не дававшей ему покоя. Перед другими он еще вывертывался, лгал подчас, но перед ней до сих пор приходил в подобных случаях в совершенное смущение. Может быть, в этом заключалась причина, почему он не мог влюбиться в Лизу, хотя был по природе влюбчив и хотя наружность

Лизы ему с первой же встречи очень понравилась. Он чувствовал, что она была бы к нему очень строга и что он всегда находился бы у ней в нравственном подчинении. А это было бы оскорбительно для его самолюбия. Ему хотелось бы самому подчинять.

На другой день, выбрав минуту, когда Заворского не было, он пришел к Лизе.

— Как вы провели эти два месяца, Лизавета Павловна? — спросил он.

— Так же, как проводила и прежние.

— Много читали?

— Нет, меньше обыкновенного. Зато музыкой занималась много. Ужо сыграю вам бетховенскую сонату, которую без вас разучила.

— Merci. Я тоже много занимался, только не музыкой.

— Службой?

— Нет, и не службой.

— Чем же?..

— Сказать вам, смеяться будете.

— Вы знаете, что насмешливость не в моем характере.

— Целые вечера я сидел за переводами...

— Что это? Уж не хотите ли вы работать для журналов?

— Нет. Мне хотелось прочесть кое-что людям, которые не знают французского языка.

— Это доброе дело.

— Вам не смешно, что я брался за роль учителя, тогда как мне и самому еще нужно так много учиться?

— Вы, верно, брались за то, что сами хорошо усвоили себе?

— Мне казалось так.

— Ну, что же, вам, вероятно, были благодарны?

— Более чем сколько я мог ждать! Лизавета Павловна! Вы когда-то желали, чтобы мы были друзьями и позволили мне быть с вами откровенным... В отсутствие мое вы не изменились ко мне?

— Разве можно измениться без причины только потому, что человек не подле нас?

— Так согласитесь выслушать меня. Может быть, вы уже что-нибудь знаете о том, что я хочу рассказать вам. Может быть, Мекешину писали...

— Я решительно ничего не слыхала, Владимир Николаевич, и не знаю, что вы хотите рассказать мне.

Лиза говорила так искренно, что нельзя было усомниться в справедливости слов ее. «Напрасно же я начал»,— по-

думал Пашинцев. И, пользуясь тем, что Лиза ничего не знала, он рассказал ей историю свою с Надей не совсем так, как она была. Если бы Лизе заранее было все известно, он покаялся бы чистосердечно, обвинил бы себя в легкомыслии и мог быть уверен, что Лиза по своей доброте не осталась бы равнодушною к его раскаянию, которое сочла бы за половину исправления; даже приписала бы его поступок неопытности, незнанию женского сердца, увлечению и бог знает еще чему — словом, постаралась бы оправдать его в своих глазах. Но теперь, когда она ничего не знала, у Владимира Николаевича явилось непреодолимое желание похвастаться, порисоваться, и он рассказал, что, встретив девушку, способную к развитию, старался убедить ее в необходимости учиться и читать, старался изменить ее взгляд на жизнь, на отношение к людям; но когда заметил в этой девушке маленькое расположение к себе, то тотчас же удалился, чувствуя, что не может платить взаимностью, и чтобы не расстроить ее с человеком, которого она уже называла женихом своим. Словом, он изобразил себя таким, каким бы ему следовало быть в этом случае, а не таким, каким он, к сожалению, оказался.

Он еще в первый раз солгал перед Лизой, и ему стало страшно после своего рассказа, особенно когда Лиза протянула ему руку и сказала, что отныне они более друзья, чем когда-либо.

— Не всякий бы сделал это на вашем месте, Владимир Николаевич,— прибавила Лиза.— Мне случалось видеть, как молодой человек, единственно потому, что замечал расположение к нему женщины, сам начинал прикидываться влюбленным в нее, хотя этого вовсе не было на деле. Нужно много честности и чистоты душевной, чтобы не поддаться самолюбию, которое обыкновенно сильнее всего над нами. Женщин, которые стараются завлечь мужчину, не любя, чтобы потом, поиграв со страстью, бросить его, называют кокетками. Для мужчин, делающих то же самое, еще не придумано названия. Впрочем, нет! Женщины называют их низкими, бесчестными, сухими эгоистами. Если вы, вместо того чтобы стараться завлечь эту девушку и унизить ее жениха (что было бы вам очень легко, потому что он уступает вам, конечно, во всем), внушили ей, напротив, что истинное назначение женщины делать счастливыми окружающих ее, быть хорошею женой, умною матерью, способною хорошо воспитать детей своих, сделать из них детей в истинном смысле этого слова; если вы, вместо того чтобы развить в ней гордое презрение к окружающим ее людям, кото-

рым обстоятельства мешали развиться или которых бог создал менее способными и восприимчивыми, чем ее, пробудили, напротив, в ее сердце участие, сострадание, любовь к ним, словом, заставили ее взглянуть, *по христиански*, на ее отношения к ближним,— вы сделали благое дело, и влияние ваше навсегда оставило в этой девушке глубокий, благотворный, неизгладимый след. Она вспомнит о вас, вспомнит не раз и с благодарностью, хотя бы вы больше никогда не встретили ее!

Пашинцев, слушая эту восторженную тираду Лизы, не спускал с нее глаз. Ему хотелось подметить, не выражает ли лицо ее тонкой иронии; но ни в чертах, ни в голосе Лизы не было ни тени ее. Лиза говорила от полноты души и без всякой затаенной мысли. Но ненадолго удалось Пашинцеву обмануть Лизу. На другой день Заворский, который, если помнит читатель, незадолго до отъезда Владимира Николаевича довольно близко сошелся с ним, войдя к нему в комнату, сказал:

— Скажите мне, пожалуйста, Пашинцев, если только этот вопрос не слишком нескромен с моей стороны, что у вас была за история в N... с какою-то молоденькой девочкой? Вы рассказывали Лизе Глыбиной дело совсем иначе; Мекешину пишут черт знает что... будто вы завлекли эту девочку, рассорили ее с женихом, который спился с горя, и что вообще погубили ее репутацию.

Пашинцев покраснел, как малина.

— Если какая-нибудь сплетня заслуживает в ваших глазах больше доверия, чем мои слова, так что же я буду отвечать вам?

— Да вы не горячитесь, а толком скажите. Если бы я больше доверял сплетням, так не стал бы вас и спрашивать. Я именно хочу, чтобы *вы* объяснили мне дело; потому что мне грустно, что о вас распускают подобные слухи.

— Я даю вам мое честное слово, Яков Петрович,— смягчившись, произнес Пашинцев,— что я не обольщал этой девушки. Это не в моих правилах.

— Не обольщали... это еще не все. И не обольщая, вы могли запятнать ее репутацию в мнении того общества, где она живет. Ну, а жених-то — правда это?

— Что за инквизиторство, Яков Петрович? Я даю отчет в моих действиях только совести.

— Желаю от всего сердца, чтобы она всегда оставалась чиста,— отвечал Заворский и переменил разговор. Однако же подумал про себя: «Что-нибудь да напроказил молодец».

Опытный чиновник и бывший ментор Владимира Нико-

лаевича тоже распускал под рукой слухи, совершенно тождественные с теми, которые дошли до Мекешина. Все это заставило Заворского и Лизу усомниться в справедливости рассказа Владимира Николаевича. Лиза была огорчена этим; но, не зная, однако же, подробностей всей истории, она не подавала Пашинцеву и виду, что не верит ему. Но всего более поколебало в ней доверие к словам его то обстоятельство, что Пашинцев вдруг начал избегать их общества. Чувствуя себя виноватым перед Лизой, он действительно как-то стеснялся ее присутствием; все казалось ему, что она смотрит уж на него иначе, считает его хвастунишкой, лгуном; и в словах, сказанных ею без всякого особенного намерения, начал видеть намеки на себя. Вскоре он почти совсем отшатнулся от Глыбиных и целые дни проводил у Софьи Михайловны.

Приезд петербургской дамы действительно взбаламутил всю ухабинскую публику. Прежде чем Софья Михайловна успела появиться в обществе, Пашинцев уже распустил слух о ее красоте, любезности и необыкновенном умении одеваться, прибавляя, конечно, к ее описанию в виде *«нотабене»:* «Я ее давно знаю: мы в Петербурге были с ней друзьями, когда она еще не выходила за Гагина». Ухабинские львицы, чтобы не ударить перед ней лицом в грязь, тотчас же пустились заказывать себе новые платья, так что единственная в городе модистка madame Лавиа едва успевала шить. Некоторые дамы выписали себе куафюры из Казани, куда моды достигали ранее, чем в Ухабинск. Одна дама, не отличавшаяся особенною образованностью, хотя имела мужем астронома и химика и читала обыкновенно русские повести с карандашом в руках для каких-то заметок, изъявила искреннее сожаление, что между Ухабинском и Казанью не существует телеграфа, ибо по телеграфу могли бы скорее прислать кауфюру; и при этом с большою язвительностью отозвалась о варварстве, в котором до сей поры находится Россия. Madame Карачеева прежде всего осведомилась: умна ли Софья Михайловна? Красота и туалет не пугали ее, но ума в соперницах своих она почему-то страшно боялась. Независимая барынька с азиатским типом лица спросила: не важничает ли эта петербургская львица? И если важничает, то дала себе слово держаться от нее как можно дальше. Одна полковница, в молодости сильно пошаливвшая, и когда-то жившая в Крутогорске, где она была генеральшей (потому что теперь вторично вступила в супружество), полюбопытствовала узнать — не слишком ли строгих правил приезжая дама и

можно ли при ней рассказывать скандалезные анекдоты; одна старуха ехидного свойства заранее очень обиделась, что какая-то капитанша будет в Ухабинске играть роль, по родству с губернатором, тогда как первою дамой должна быть непременно генеральша. Мужчины были заинтересованы не меньше дам. Хорошенькое личико, как известно, не только в Ухабинске, но и повсюду, не исключая Чукотского носа, заставляет сладостно трепетать мужские сердца, как холостые, так и женатые. Ухабинский лев, платонически вздыхавший о камер-юнкерстве, Чижиков, тотчас же купил себе стклянку крепчайших духов и полдюжины разноцветных перчаток и сшил восхитительные панталоны неопределенного цвета, со штрипками, сидевшие в обтяжку, намереваясь пленить этими вещами приезжую даму. Высокий и тощий корнет Серебрицкий, вечно рассказывавший о своих бывших связях и знакомствах с польскими графами и графинями и имевший страшную претензию на репутацию «*mauvaise langue*»[1], готовился при первом же свидании с Софьей Михайловной страшно отбрить ей все ухабинское общество. Двое юношей, служивших в губернской канцелярии, белокурый в очках и черноволосый без очков, но с pince-nez, тоже хоть были не из самых любезных, но не отчаивались в возможности понравиться. Адъютант бригадного командира, распоряжавшийся на балах всеми танцами и кричавший при этом как на плацу во всю глотку: «Chaine, grand rond, promenade, saluez-vous dames»[2], имел всех более надежды сделаться постоянным кавалером губернаторской родственницы. Надежды свои он основывал, во-первых, на том, что сам когда-то служил в Петербурге, что говорит по-французски с особенным шиком (любимое выражение ухабинских франтов) и что, наконец, носил единственные в Ухабинске аксельбанты. Он уж заранее косо поглядывал на штафирку Пашинцева и давал себе слово уничтожить его в глазах Софьи Михайловны. Адъютант был довольно богат и не щадил денег на маленькие угождения дамам. Его самоуверенность чрезвычайно как обижала одного офицера с серебряными эполетами и с чрезвычайно узеньким воротником у мундира, господина чистенького, тоненького, приличного до бесцветности. Офицер этот был постоянным прихвостнем ухабинской аристократии и задирал нос перед всеми, кто к ней не принадлежал. Желчный, самолюбивый, обидчивый, он не мог терпеть ничьего пер-

[1] Злоязычник (*фр.*).
[2] Цепочка, большой круг, прогулка, поклон дамам (*фр.*— фигуры бальных танцев).

венства в обществе; во всем видел себе оскорбление, намек на его личность и тому, кто намеренно или случайно задевал его самолюбие, готов был напакостить самым подлейшим образом. Распустить самую низкую сплетню, оклеветать даже человека было ему нипочем. Он пресмыкался перед сильными мира сего, подобно гаду; но если сильные теряли вдруг, вследствие игры случая, свою силу, он первый оборачивался к ним спиной и лягал их, как известное животное в известной басне умирающего льва. Про него рассказывали, что однажды он, как-то по ошибке, не попал в список приглашенных на генерал-губернаторский бал. Это так глубоко взволновало его, что он тотчас же бросился к генерал-губернатору и со слезами спрашивал, чем он успел заслужить такую немилость его высокопревосходительства, что не удостоился приглашения. Его высокопревосходительство поспешил успокоить его, объяснив, что тут произошло недоразумение; но, желая вознаградить бедняжку за этот неумышленный афронт и поощрить его патриотические чувствования, приказал представить его немедленно к Станиславу четвертой степени. Даже полковник, ухаживавший за madame Карачеевой, и тот в душе питал злое намерение перебежать под чужое знамя, хотя весьма искусно таил это намерение от всех и преимущественно от Карачеевой. Итак, появление Софьи Михайловны произвело в Ухабинске сильную ферментацию, как появление французского войска в Италии. Общие ожидания не обманулись. Она в две недели покорила себе сердца всей мужской половины Ухабинска, не исключая двух юных чиновников губернаторской канцелярии и солидного офицера с серебряными эполетами, и успела заслужить самое строгое осуждение половины женской. Эта последняя громко начала поговаривать, что обращение Софьи Михайловны с мужчинами слишком вольно, что платья у ней чересчур декольте, нога до безобразия велика, что даже в чертах ее ничего нет особенного и бог знает чем она привлекает к себе мужчин, разве только одною беззастенчивостью да тем, что она новое лицо в городе.

Пашинцев, как и следовало ожидать, был ее безотлучным спутником. Потому ли, что она прежде была с ним знакома, или что он ей нравился более прочей ухабинской молодежи, но только она отдавала ему перед ней заметное предпочтение, которое чрезвычайно льстило Владимиру Николаевичу и бесило его соперников, в особенности адъютанта Бычкова. Адъютант всеми силами старался затмить Пашинцева и французским акцентом, и неистовым криком

grand rond, и тысячею разных услуг, которые он вызывался оказывать не только Софье Михайловне, но и ее мужу. Отставной ротмистр принадлежал к числу самых снисходительных и добрых мужей. Он предоставлял жене полнейшую свободу действий и даже был очень доволен, что у нее столько поклонников. Сам же он проводил все вечера свои в клубе за картами, играя, впрочем, по маленькой, потому что приехал в Ухабинск для поправления обстоятельств, сильно порасстроенных поездкой с молодою женой за границу и зимой, проведенной в вихре петербургских удовольствий. Он ожидал места, которое должно было скоро открыться, и надеялся, что, просидев на этом месте годика три-четыре, будет опять в состоянии катнуть если не в чужие края, так в Петербург. Софья Михайловна, как благоразумная женщина, покорилась своей участи и в чаянии грядущих благ старалась по крайней мере извлечь из жизни в Ухабинске все, что она может дать. Она была очень веселого нрава: сидеть дома и скучать за работой или за книгой куда не любила и положила себе во что бы то ни стало расшевелить ухабинскую публику. Балы, вечера, folles journées [1], пикники должны были следовать в ее предположениях одни за другими. Она заставила его превосходительство, своего сановного родственника, дать два бала; подстрекнула Карачеева, подстрекнула еще двух-трех господ не отставать от губернатора и наконец затеяла маскарад. Но это нововведение не имело успеха в Ухабинске. Дамы ухабинские совсем не умели *интриговать* (в маскарадном смысле) и даже голоса своего никак не могли изменить. Все узнавали их с первого слова. Но, кроме того, маскарад кончился очень забавною историей. В числе масок явились актрисы тамошней труппы. Дамы это пронюхали и пришли в такое благородное негодование, что начали требовать, чтобы все сняли маски, и ежели между присутствующими действительно окажутся актрисы, то чтобы они были с позором изгнаны. Мужчины вследствие этого разделились на партии. Одни соглашались исполнить требование дам, другие утверждали, что в маскарад имеет право явиться каждый. Решились обратиться за советом к Софье Михайловне. Она, разумеется, оказалась на стороне последних. Тогда дамы покорились ее авторитету и остались; но некоторые отстояли независимость своих мнений и тотчас же уехали. Две дамы, узнав о присутствии актрис, даже упали в обморок, и мужья должны были отливать их водой.

[1] Увеселения *(фр.)*.

Маскарад этот долго составлял предмет разговоров в Ухабинске. Софья Михайловна нажила им себе много врагов. К числу самых горячих ее защитников, конечно, принадлежали Пашинцев и Бычков. Оба лезли из кожи, чтобы доказать, что она была права. Пашинцев горячился в особенности потому, что против Софьи Михайловны высказалась Карачеева, которую он не упускал случая язвить и колоть; а так как ей все пересказывали специалисты по части сплетен (каждая (?) изобилует подобными господами, но Ухабинск в особенности), то она сделалась первым его врагом.

Но еще более криков поднялось на разбитную Софью Михайловну, когда она однажды зимнею ночью, забрав с собой всю молодежь, отправилась с нею на тройках куда-то за город и возвратилась к рассвету. Мужчины были все сильно навеселе и, громко распевая песни, разбудили некоторых дам, имевших слишком чуткий сон. Такой скандал был делом непривычным в мирном Ухабинске, где если и пошаливали, то келейно, семейным образом. Забавнее всего в этой истории казалось ухабинской публике то обстоятельство, что муж Софьи Михайловны во время ее ночной прогулки за город спал у себя дома весьма спокойно, и, вероятно, сон его не был так чуток, как сон тех дам, которых разбудили песни, потому что ротмистр ничего не слыхал. Даже его превосходительство, узнав об этой истории, сделал племяннице своей замечание, впрочем, очень легкое, полушутливое. Он не мог быть строг ни с кем вообще, а с хорошеньким женским личиком и подавно.

После этого катанья дамы даже съезжались на совещание, на котором был серьезно предложен вопрос, можно ли ездить к Софье Михайловне и принимать ее у себя? Голоса, по обыкновению, разделились. К баллотировке же не прибегли, за неимением шаров, ибо бильярдные оказались слишком велики, да и число их было недостаточно; так дело ничем и покончилось или покончилось вот чем: Софья Михайловна три дня спустя сделала вечер, и дамы были на нем в полном сборе. Это последнее обстоятельство подало Пашинцеву повод не без основания заметить, что ежели дамы и горячились, то единственно потому, что Софья Михайловна не пригласила их участвовать в катанье. Карачеева же утверждала, что она без мужа ни за что на свете не поехала бы и что это катанье — c'est une horreur! ça n'a pas de nom! [1]

---

[1] Это ужас, этому нет названия *(фр.)*.

Посреди этих удовольствий Пашинцев вовсе забыл о Глыбиных. Он не видал их иногда по два и по три дня, и когда являлся к ним, то не более как на четверть часа. Казалось, он только хотел, чтобы на совести у него не лежал визит к ним. Живя в одном доме, нельзя же было совсем прекратить посещения. Но потребности видеть Глыбиных, говорить с ними он не ощущал. Софья Михайловна совсем вскружила ему голову. Он был совершенно счастлив в ее присутствии и вполне доволен тем, что отомстил Карачеевой за свое унижение. За дело, разумеется, Владимир Николаевич ни за какое не принимался.

Но всего хуже было, конечно, то, что он вел жизнь не по средствам, втягивался в издержки, начинал делать долги. Желая ни в чем не уступать Бычкову, он покупал Софье Михайловне дорогие букеты, устраивал на свой счет пикники, проигрывал в пари разные дорогие безделушки, которые приходилось иногда выписывать из Москвы или Петербурга. Он начал сперва занимать небольшие деньги у знакомых, с обещанием возвратить их в первых числах месяца; потом прибегнул к ростовщикам и стал давать векселя. Очень часто обедал он с веселою компанией в клубе, и если кто ставил бутылку шампанского, он ставил их три; обеды писались на счет, который в три-четыре месяца вырос до колоссальных, по-тамошнему, размеров. В театре он потчевал дам конфетами, платя за красивые бонбоньерки втрое против их настоящей ценности. Иногда он нанимал на целый день щегольскую коляску или пролетки, чтобы сопровождать Софью Михайловну за город, и платил за это удовольствие чуть не половину своего месячного жалованья. По необширности Ухабинска Пашинцев легко мог бы сделать свои визиты пешком; но он совестился отстать в этом случае, как и во всех других, от Бычкова, подъезжавшего всегда к крыльцу ухабинских аристократов в отличном экипаже. В нем проснулась старая жизнь. Тщеславие заговорило с прежнею силой. Купцы, извозчики, эконом клуба — все верили Пашинцеву в кредит, потому что не знали его состояния, но, видя его близкие отношения с племянником губернатора и со всею аристократией города, считали его человеком достаточным. Во-вторых, он жил у Глыбина; многие принимали его за родственника их, что он очень хорошо знал и в чем не старался разуверять; а Глыбин пользовался таким доверием в городе, что каждый купец готов был ему дать по первому его спросу любую сумму под одну только расписку или даже на честное слово. До Глыбина начали доходить слухи о мотовстве его *проте-*

же; он даже встретил однажды у себя на дворе двух кредиторов Пашинцева и заплатил им по счетам, запретив, однако же, говорить ему об этом. При первой же встрече с Владимиром Николаевичем старик решился подать ему совет не тратить так много денег. Пашинцев выслушал доброе, ласковое увещание Павла Сергеевича и сконфузился. При всем желании обидеться, обидеться было невозможно, потому что увещание не имело в себе и тени упрека и вовсе не отзывалось нравоучением. Поблагодарив Глыбина за совет и за уплату кредиторам, Пашинцев обещал воздержаться и при первой возможности возвратить деньги. Придя в свою комнату, он сел к столу, взял карандаш и клочок бумаги и стал считать долги свои. Их оказалось гораздо больше, чем он ожидал. Он призадумался. Жалованье маленькое, надежд никаких: ждать неоткуда. У него защемило сердце. Он машинально раскрыл первую попавшуюся книгу; это были «Записки охотника», и случайно наткнулся на следующие слова Радилова: «Нет такого положения, из которого бы нельзя было выйти». Пашинцев закрыл книгу и, встав с места, произнес решительно: «Конечно, нет. Надо попробовать все средства. Поищу счастья в игре!» Вечером он пошел в клуб, после ужина начался ланскнехт. Пашинцев пустил свои последние пятьдесят рублей. Ему повезло. Он выиграл около пятисот. В другой раз он выиграл тысячу и повеселел. Он тотчас же уплатил часть долгов, чтобы снова иметь кредит. Несмотря на обещание быть воздержнее, несмотря на собственное желание не входить больше в долги, он не в силах был сладить с своею вечною страстишкой блеснуть, пустить пыль в глаза. Выигрыш был для него пагубен. Он дал ему легкомысленную веру в счастье. У Пашинцева начало возникать убеждение, что судьба всегда выручит его из самых трудных положений. Он с каждым днем все больше и больше пристращался к игре.

Между тем правитель канцелярии, которому Глыбин рекомендовал Пашинцева, видя его беспорядочную, рассеянную жизнь, возымел намерение занять его чем-нибудь, отвлечь от этой траты времени, сил и денег в пустых удовольствиях. К тому же и его превосходительство, наслышавшись от Софьи Михайловны о редких качествах молодого человека, захотел повысить его, дать ему средства отличиться на поприще служебном и сообщил об этом правителю. Правитель, призвав Пашинцева, сказал ему, что, может быть, скоро ему дадут довольно важное поручение и что он должен постараться оправдать доверие началь-

ства. Пашинцев поблагодарил, но в душе не совсем был этим доволен. Он боялся, чтобы Бычков без него не втерся в интимность к Софье Михайловне, которая уж начала благоволить к адъютанту и не раз говорила Пашинцеву, что он не отдает должной справедливости этому господину. Неделю спустя после разговора с правителем канцелярии Владимир Николаевич отправился вечером к Бычкову, справлявшему именины. Он застал там всех ухабинских мужчин высшего круга, женатых и холостых, служащих и неслужащих, военных и статских. После ералаши и толков о городских сплетнях сели за ужин. Вина было вдоволь. Хозяин в военном сюртуке, нараспашку, без эполет то и дело бегал с откупоренными бутылками и подливал гостям. Пашинцев порядком-таки выпил, и в голове у него зашумело.

— А что, господа,— сказал он,— будет после ужина банчик?

— Еще бы нет,— отвечал хозяин.— Непременно.

— Кто заложит, вы?

— Пожалуй, хоть я, или вы не хотите ли?

— Нет, уж я стану понтировать.

После ужина раскрыли ломберные столы — и банк начался.

В нем приняли участие очень многие; хозяин заложил банк, который с тысячи целковых скоро вырос до десяти. Те, у кого в голове играл хмель от шампанского, горячились и много спустили. К ним принадлежал и Пашинцев. Он яростно гнул углы, устраивал куши вовсе некстати, держал мазу ко всем картам других понтеров; и после каждого проигрыша все более и более выходил из себя. Вдруг отворилась дверь, и совсем неожиданно для него явился Глыбин. Появление его на холостой вечеринке требует пояснения. Незадолго до того дня он имел с Бычковым сделку, а именно: купил у него несколько десятин земли около Ухабинска. Это было для Бычкова поводом к знакомству. Он на другой же день поехал с визитом к Глыбину, пролюбезничал целых два часа с Лизой и возвратился в восхищении от всего семейства. Потом два раза приглашал старика Глыбина к себе на именины, раз через посланного, а другой раз сам. Но Глыбин, несмотря на все это, едва ли бы отправился к нему, если бы не проведал, что у него также Пашинцев. Старик знал, что у Бычкова бывает всегда сильная игра; предвидел, что все общество подопьет, и боялся за Владимира Николаевича. До него уже дошли слухи о его счастливой игре в клубе. Зная по опыту, как

завлекает выигрыш, он желал предостеречь Пашинцева и заехал именно потому так поздно, чтобы попасть на банк, который обыкновенно происходил в конце вечера.

Хозяин, увидев Глыбина, встал с места и, держа в руке колоду, хотел было идти навстречу гостю, но тот взял его за плечи и усадил.

— Не беспокойтесь, ради бога, я присяду и посмотрю, как молодежь сражается. Извините, что я так поздно, были дела, а не хотелось изменить обещанию.

— Vaut mieux tard que jamais [1], Павел Сергеевич,— любезно сказал адъютант.— Prenez place isi [2]. На диване покойнее.

— Merci, merci,— отвечал Глыбин,— мне здесь прекрасно,— и поместился около Пашинцева.

Владимир Николаевич дорого бы дал, чтобы избавиться от этого соседства. Сначала он хотел было уменьшить куши вообще и играть осторожнее, но ему пришло в голову, что присутствующие могут это заметить и приписать трусости перед Глыбиным, на которого и без того глядели, как на какого-то опекуна Пашинцева. Он продолжал прежнюю игру. В этот вечер несчастье решительно преследовало бедного молодого человека.

Видя, что он страшно проигрывается и воспользовавшись минутой, когда карта его была бита, Глыбин спросил его:

— Вы не будете ставить другой карты в эту талию?

— Нет.

— А до новой талии еще далеко; пойдемте, мне нужно сказать вам два словечка.

Пашинцев встал из-за стола. Глыбин взял его под руку и пошел в другую комнату.

— Поедемте домой, Владимир Николаевич, вы проиграетесь в пух. Расплатитесь и поедемте.

— Нет, я хочу отыграться.

— Знаете поговорку: «Играй, да не отыгрывайся»? Вам не везет нынче, поедемте лучше.

— А может, еще повезет, почему вы знаете?

— Послушайтесь дружеского совета. Ну, если вы проиграете большой куш, что тогда?

— Я найду средство заплатить, будьте уверены.

— Займете опять? Остерегитесь, Владимир Николаевич. Подумайте о себе. Может дурно кончиться.

Пашинцев был в раздражительном состоянии вследст-

---

[1] Лучше поздно, чем никогда (*фр.*).

[2] Садитесь здесь (*фр.*).

вие своего проигрыша; да и пары шампанского тяжело легли на мозг его, и ему показались оскорбительными слова старика, несмотря на кроткий тон, каким они были сказаны.

— Увольте меня, прошу вас, от этой опеки,— ответил Пашинцев довольно громко.— Если я вам обязан, то это еще не дает вам права стеснять меня в своих действиях. Я не мальчик и знаю, что делаю. Сделайте одолжение, оставьте меня!

И, повернувшись к Глыбину спиной, он возвратился к своему месту. Глыбин побыл еще несколько минут и потихоньку вышел, не замеченный хозяином. Он был глубоко опечален выходкой Пашинцева. Игра продолжалась до света. Пашинцев проиграл пять тысяч серебром. Он подождал, пока разошлись все гости, и стал просить Бычкова рассрочить эту уплату денег. Бычков согласился взять с него вексель и ждать два месяца, но не более, сказав, что деньги ему крайне нужны.

Пашинцев возвратился домой убитый. Не раздеваясь, кинулся он на постель, но не мог ни на минуту сомкнуть глаз. Как ни думал он о средствах выпутаться из беды, а их не предвиделось. Немало досадовал он также на себя за грубый ответ Глыбину, у которого ему теперь неловким казалось оставаться жить. Была минута, когда он готов был на другой день пойти к Глыбину и извиниться. Но ложный стыд и мелкое самолюбие удержали его, он счел это для себя унизительным.

Два дня он ходил повеся голову. Попробовал еще поиграть в клубе и опять проиграл Бычкову, и тоже не заплатил. Через неделю правитель дел, призвав его к себе, сказал, что ему готово предписание ехать в Глиновецкий уезд для производства следствия по жалобе рабочих и заводчика Мытарева, делающего им притеснения и не удовлетворяющего их заработною платой.

Пашинцев рад был освежиться на время, вырваться из Ухабинска. Он надеялся, что новые впечатления хоть несколько рассеют тоску его.

Перед отъездом ему захотелось проститься с Лизой. Он знал, что по возвращении, может быть, уже не найдет ее в Ухабинске, потому что если она выйдет за Заворского, то поедет с ним сначала в его деревню, а потом на зиму за границу.

Пашинцев боялся встретиться с стариком Глыбиным. К счастью, он отлучился дня на два в деревню; и, пользуясь его отсутствием, Владимир Николаевич исполнил свое намерение; но у Лизы в этот день сильно болела голова,

и она не встала с постели. Пашинцева не приняли. Он приписал это своей размолвке с Глыбиным; но все-таки велел сказать, что заходил проститься.

Вечер он просидел у Софьи Михайловны, которая, узнав, что он рано утром на другой день уезжает, с соболезнованием воскликнула: «Неужели так скоро!» и, пожелав ему как можно меньше скучать, заговорила о постороннем, кажется, о том, с кем она должна в следующем клубе танцевать мазурку.

Возвратясь домой, Владимир Николаевич нашел у себя записку Лизы. Он быстро распечатал ее и прочел:

«Вы заходили проститься, Владимир Николаевич, и мне очень грустно, что я не могу вас видеть. Сильная головная боль и жар заставляют меня не выходить из комнаты. Но я хочу хоть в письме пожелать вам доброго пути и успеха в вашей деятельности. Мне говорили, что вам дали важное поручение: что от вас будет зависеть участь многих бедных людей, угнетенных и задавленных неправдой. Завидую вам. Вы явитесь к ним утешителем, вы облегчите их страдания. Благослови вас бог. От полноты сердца, дружески протягиваю вам руку. Возвращайтесь скорее к нам и не забывайте искренно уважающую Вас Л. Г.».

— А славная эта Лиза! — произнес Пашинцев.— Дай бог ей счастья! — и спрятал ее записку в бумажник.

В дороге Владимир Николаевич действительно несколько позабыл о своем положении; но по приезде на место следствия снова напала на него страшная тоска. Тоска эта парализовала его деятельность, подтачивала его энергию. Вместе с ним производил следствие чиновник постороннего ведомства. Но, будучи по природе ленив и с первых же дней захворав лихорадкой и притом находясь в приязненных отношениях с ухабинским губернатором, он не хотел мешать его чиновнику и предоставил все делать ему одному, а сам только подписывал, где нужно. Присутствовал также при следствии и жандармский офицер, молодой человек, но он еще менее вступался в дела и очень сошелся с Владимиром Николаевичем. Заводчик оказался действительно отъявленным разбойником, но так умел хоронить концы, что уже несколько лет безнаказанно поступал самым противозаконным образом. Сначала Пашинцев повел дело как следует, и бедные рабочие ожили. У них явилась надежда избавиться от своего притеснителя. Но когда однажды Владимир Николаевич получил от Бычкова письмо, напоминавшее ему об уплате денег и в котором адъютант угрожал ему подать вексель ко взысканию, а за клубный долг выставить его на

черную доску, он пришел в решительное отчаяние и почувствовал себя совершенно неспособным ни к какому делу. Скорыми шагами ходил он по своей просторной, но грязной и сырой комнате, кусая губы. Он не заметил, как нагорела сальная свеча и в комнате становилось все темней и темней. В трубе завывал ветер; собака где-то вдали жалобно и пронзительно выла. Все располагало к унынию, и сердце Пашинцева сжималось болезненно. «Ну, что ж,— думал он,— коли нет другого исхода, так пулю в лоб, да и дело с концом. Выставит, мерзавец, на черную доску, опозорит. Что скажет Софи, Карачеева как обрадуется с своим безмозглым полковником. Гнусная вся эта публика... не стоит она тех страданий, которые я теперь выношу единственно потому, что имел глупость дорожить ею, ее мнением, что принимал к сердцу ее пошленькие интересы. Если бы можно было не возвращаться больше в Ухабинск!»

Вдруг скрипнула дверь, и в ней показалась длинная фигура, в длиннополом сюртуке, обстриженная в скобу, с красным лицом, на котором выражалось лукавство и вместе подобострастие.

— Кто ты такой? Кого тебе? —быстро спросил Пашинцев.

— От Трофима Савельича, ваше благородие, к вашей милости-с.

— От какого Трофима Савельича?

— О Мытарева-с; приказчик ихний.

Пашинцев нахмурился.

— Что ему от меня нужно?

Длинная фигура робко осмотрелась кругом и, подойдя к Пашинцеву, произнесла вкрадчиво:

— Трофим Савельич наказывали попросить ваше благородие...

— Что такое, о чем попросить?..

— Да нельзя ли как, то ись насчет ихнего дельца порадеть, а что уж от них благодарность какая угодно будет вашему благородию.

— Вон! — крикнул Пашинцев.— Не то я кликну людей и тебя обыщут.

Длинная фигура юркнула в дверь.

Владимир Николаевич снова зашагал из угла в угол. «Судьба искушает меня!» — сказал он про себя и, задумавшись, остановился посреди комнаты.

Между тем длинная фигура, притаившись в передней, все чего-то ждала.

Владимир Николаевич лег на жесткий диван и пролежал битый час. Чье-то покашливанье вывело его из задумчивости. Он встал и пошел в переднюю.

— Что же, ваше благородие? — начала было опять длинная фигура.

— Так ты еще не ушел, каналья? — крикнул Пашинцев.

Длинная фигура мгновенно исчезла.

Пашинцев беспокойно провел эту ночь; он то ложился на диван, то опять вставал и ходил, несколько раз вынимал из бумажника записку Лизы и перечитывал ее.

Через неделю пришло новое письмо от Бычкова, довольно наглое, где он говорил, что напоминает в последний раз и что ежели не получит удовлетворительного ответа, то ему будет ясно, с кем он имеет дело, и он тогда отбросит всякую деликатность, могущую существовать только в отношениях с порядочным человеком.

На другой день по получении Пашинцевым этого письма длинная фигура снова появилась у него в комнате и уже не так быстро исчезла. А заводчик Мытарев после этой аудиенции своего приказчика с чиновником губернатора вдруг, неизвестно отчего, поднял голову, которую было повесил в последнее время, и снова заговорил с рабочими на два тона выше.

«А, видно, славное поручение дали Пашинцеву,— рассказывал ухабинской публике Бычков.— Я от него получил шесть тысяч, которые он мне оставался должен; а ведь малый-то был гол как сокол». Между тем правитель канцелярии получил из Глиновецка письмо от своего приятеля, уездного лекаря, очень честного и почтенного человека. Он, между прочим, пенял ему, что прислали на следствие чиновника, который повел дело лицеприятно и, как кажется, взял с заводчика, потому что отправил через уездную почтовую контору, вероятно по неопытности, в Ухабинск шесть тысяч серебром. Оправдать, прибавлял лекарь, он никоим образом не может заводчика, но, вероятно, постарается выставить его проделки в более мягком свете, а это будет тяжкий грех, потому что бедный народ терпел от него самые страшные, невероятные утеснения. Вслед за этим письмом пришел о том же самом предмете и формальный донос на имя губернатора.

Правитель канцелярии тотчас приехал к Глыбину и передал ему все эти сведения.

— Если это окажется справедливым, его нужно будет предать суду,— прибавил правитель.

— Хотя я не должен бы просить за него, потому что он поступил бесчестно,— отвечал Глыбин,— но если это возможно, пощадите его молодость. Пускай он будет уволен от службы по прошению. В общественном мнении он уже опозорен. Может быть, это заставит его опомниться и исправит. Ведь он еще очень молод, ему двадцать семь лет, не больше.

Правитель, не давая слова, обещал, однако же, сделать все, что от него будет зависеть.

IX

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представьте себе хорошенький, уютный дамский кабинет, обитый голубыми обоями, с голубыми портьерами и занавесями на окнах, уставленный цветами и устланный мягким, дорогим ковром. Над диваном висит прекрасная копия с одной из мадонн Мурильо, две этажерки сверху донизу наполнены сочинениями лучших русских и иностранных писателей. В углу покойный диванчик и перед ним на круглом столе, покрытом ковровою салфеткой, фарфоровая лампа, которая ярко и весело освещает комнату. Каждая безделка, каждый уголок в этой комнате говорят вам, что в устройстве ее участвовала не пустая прихоть, но нежная внимательность человека, старающегося окружить любимое существо спокойствием и довольством. Убрать так комнату может только тот, кто в награду за свои хлопоты и заботы надеется увидеть на дорогом ему лице светлую, ласковую, благодарную улыбку, проливающую в его сердце бесконечное, глубокое счастье. Не удивляйтесь, если, введя вас в этот кабинет, я скажу вам, что вы находитесь в деревенском доме Якова Петровича Заворского. Вот и сам он, довольный, веселый, радостный, сидит на угловом диване подле жены своей, которая положила ему руку на плечо и, устремив на него любящий, ясный, как весеннее небо, взгляд, о чем-то спрашивает его. Поодаль старики, его тесть и теща, глядят на молодую чету, счастливые ее счастьем. Но на их лицах в то же время вы прочли бы и какую-то тихую, затаенную грусть. Не мудрено, хотя они теперь все вместе, но старики уже знают, что завтра, или послезавтра, или через неделю они возвратятся в свой дом одни, и та, которая веселила их старческие дни, как иногда веселят на мгновение

блеснувшие лучи солнца суровый ландшафт северной природы, та, при которой они сами становились моложе, расцветая отживающим сердцем, не будет уже с ними, что не на них одних сосредоточена теперь ее привязанность, но есть уже существо, которое, может быть, стало дороже их, и дом их для нее уже не свой дом. Она сама жена, сама хозяйка. А потом и надолго придется расстаться. Молодые сбираются за границу. Возвратясь, застанут ли они стариков в живых? Ведь старческие дни сочтены. Вот что, глядя на детей своих, думали Глыбины и что нагоняло облако грусти на их лица.

В комнату вошел человек и подал Лизе письмо.

— Ко мне? — спросила Лиза, удивясь.— От кого бы это! рука незнакомая.

Муж, смотревший все время, пока читала, на лицо ее, как бы опасаясь, чтобы какая-нибудь грустная, тревожная весть не смутила их молодого счастья, заметил, что при последних строках письма у Лизы выступили слезы.

— Что такое, ради бога, Лиза? — с беспокойством спросил Заворский.

— Я прочту вам вслух это письмо,— тронутым голосом произнесла Лиза и прочла следующее: — «Взглянувши на подпись этого письма, вы, может быть, бросите его и не станете читать. Знакомое имя не вызовет в вас ничего, кроме глубокого презрения. Я бы и не смел писать к вам, Лизавета Павловна, если бы не знал наверное, что через два дня, а может, и через день, меня не будет в живых. Вам пишет умирающий; и вы не можете его не выслушать, вы, ангел доброты, более чем кто-нибудь способный прощать. Да! Я умираю; умираю в тесной, душной, грязной каморке на станции, окруженный чужими, равнодушными лицами, на которых я читаю только желание избавиться поскорее от больного, что им накачала на шею судьба. Поблизости нет и лекаря. Какой-то лекарь проезжал вчера и, посмотрев меня, ничего не сказал, только покачал головой. А после его отъезда мне предложили, не хочу ли я причаститься. Я собрал последний остаток сил, чтобы написать к вам. После отрешения моего от должности, убитый и опозоренный, отправился я куда глаза глядят, не имея ничего в виду, не зная, чего мне искать, чего желать. Сначала я хотел пустить себе пулю в лоб; но и на это не хватило сил. Я стал утешать себя какими-то несбыточными надеждами. Я говорил себе, что я еще способен к перерождению, могу еще сделаться

честным человеком и долгими годами покаяния и труда искупить свой поступок, свое падение. Вздор! Никогда бы из меня ничего не вышло. Я бесхарактерное, слабодушное существо. Если вы своим теплым участием, своею чистою дружбой не могли восстановить меня, чего же я мог надеяться! Хорошо сделала судьба, что послала мне болезнь, которая должна свести меня в землю. Но перед смертью я хочу вымолить у вас прощение. Чего бы я не дал, о, боже мой, чтобы услышать его из уст ваших, чтоб еще раз взглянуть на вас, чтобы ваша рука закрыла мне глаза! Но я не стою этого счастья, как не стоил дружбы вашей при жизни. Храни вас господь! Да не помрачит ни одно облачко вашей жизни; да найдете вы полное, беспредельное счастье, которого вы заслуживаете! Благодарю вас за светлые мгновения, подаренные мне вашею дружбой, за ваше желание поднять меня из этой грязи, куда втолкнули меня и моя слабость, и мое нелепое воспитание. Ведь оно тоже отчасти виной моего падения, не так ли? Как ни много я виноват, но все же мне кажется, что если бы с детства повели меня иначе, я бы еще мог быть порядочным человеком. Не всех же создает бог сильными, и не все же слабые так падают. Не знаю почему — но мне верится, что вы простите меня, что вы будете заступницей моею и перед окружающими вас, которых суровый упрек я так заслужил, и перед всеми, кто захочет бросать камень осуждения в мою память. Мне верится также, что вы исполните и еще последнюю просьбу умирающего. Вот она: в уездном городе *** есть девушка, перед которою я тоже много виноват, которой существование я, может быть, навсегда отравил. Повидайтесь с ней, скажите ей слово утешения и передайте ей о моем раскаянии, попросите, чтобы и она и жених ее простили меня. Я знаю, как много значит слово утешения, сказанное вами! Прощайте, моя добрая, мой светлый гений, мой *бывший*, несравненный друг! Навсегда прощайте.

Владимир Пашинцев».

Лиза едва могла дочесть это письмо и глотала слезы.

— Мне жаль его, Яков, — сказала она, обратясь к мужу, спрятав на груди его свою хорошенькую головку.— Если бы не его прошедшее...

— И если бы не эта подлая среда,— отвечал Заворский с раздражительностью, ясно показывавшею, что письмо Пашинцева задело за живое и его,— которая вместо того, что-

бы поддержать человека, вывести его на честный путь, сама толкает его в бездну. Если бы ухабинские женщины были похожи на тебя, Лиза, если бы благородное ухабинское общество, вместо того чтобы сплетничать, плясать и обыгрывать друг друга в карты, занималось делом и руководилось не дюжинною, пошлою моралью, он, конечно, не пал бы.

Лиза исполнила просьбу Пашинцева и виделась с Надей. Во все время отсутствия Пашинцева у ней не вырвалось ему ни одного упрека; а смерть его глубоко ее опечалила. Красота Нади начинает блекнуть, и, кажется, ей суждена та же доля, что и ее тетке, то есть остаться старой девушкой.



КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание включены оригинальные поэтические произведения А. Н. Плещеева, его стихотворные переводы и повести В основу положен принцип издания «Стихотворения А. Н. Плещеева (1846—1886)», подготовленного самим поэтом (М., 1887). В книгу вошли стихотворения, принадлежность которых Плещееву установлена в последние годы, а также не входившие до сих пор ни в один сборник его произведений. Многие стихотворения Плещеева подвергались цензурным искажениям. В настоящем сборнике они даются с учетом авторской правки в двух книжках стихотворений 1846 года и писем поэта к библиографу П. А. Ефремову.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Б — журнал «Беседа».
БДЧ — журнал «Библиотека для чтения».
ВЕ — журнал «Вестник Европы».
Вр — журнал «Время».
ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
И — журнал «Иллюстрация».
ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).
ЛА — Литературный архив. М.; Л. 1961, вып. 6.
МВ — газета «Московский вестник».
МВед — газета «Московские ведомости».
МГ — журнал «Минувшие годы».
Нчт — журнал «Народное чтение».
ОЗ — журнал «Отечественные записки».
РВ — журнал «Русский вестник».
РМ — журнал «Русская мысль».
РП — журнал «Репертуар и Пантеон».
РС — журнал «Русское слово».
С — журнал «Современник».
СВ — журнал «Северный вестник».
Ст46 — «Стихотворения А. Плещеева (1845—1846)».— СПб., 1846.
Ст58 — «Стихотворения А. Н. Плещеева».— СПб., 1858.
Ст61 — «Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное».— М., 1861.
Ст63 — «Новые стихотворения А. Н. Плещеева». М., 1863.
Ст87 — «Стихотворения А. Н. Плещеева (1846—1886)».— М., 1887.
Ст94 — «Стихотворения А. Н. Плещеева (1846—1891)». Второе издание под редакцией П. И. Вейнберга.— СПб., 1894.
Ст98 — «Стихотворения А. Н. Плещеева (1844—1891)». Третье дополненное издание под редакцией П. В. Быкова.— СПб., 1898.

Ст1905 — «Стихотворения А. Н. Плещеева (1844—1891)». Четвертое дополненное издание под редакцией П. В. Быкова — СПб., 1905.

СШ — журнал «Семья и школа».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГТМ — Центральный государственный театральный музей им. А. А. Бахрушина.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения 40-х годов

С. 21. «Вперед! Без страха и сомненья...» — Впервые: Ст46, с. 18—19. Цензура не пропустила строки:

Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Стихотворение приобрело сразу же широкую популярность, товарищи по кружку Петрашевского считали его своим гимном. По свидетельству Н. Кашкина, они «с удовольствием заучивали... прекрасное стихотворение Плещеева» (Петрашевцы в воспоминаниях современников М.; Л., 1926. С. 195) Эти «дерзкие и смелые стихи» читали позднее на революционных сходках, в тюрьмах пели «возмутительную» песню «Вперед!» (ЦГАОР, ф 109, д. 26, 1860, ч. 7, л. 40). «С особенным удовольствием перечитали мы прекрасный гимн, известный нам наизусть...» — писал М Л. Михайлов в 1861 году. Ставшее своего рода Марсельезой, «Вперед!» вдохновляло во многих революционных начинаниях, звало к «определенному делу»:

Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья,
Давно уж жаждет единенья
Рабочих дружная семья...

(Коллекция нелегальных изданий ЦГАОР, ф. 1741, д. 12876.)

Стихотворение оказало воздействие на последующую литературу, которая была «заражена» стремлением к плещеевскому «подвигу доблестному» (Венгеров С. А. Героический характер русской литературы. СПб: Прометей, 1911 С. 130—132); см. также нашу статью «Русская марсельеза» и ее автор» (Вопросы истории, 1966, № 11, с. 206—210). Плещеев поместил «Вперед!» первым в своем собрании стихотворений 1887 г.

С. 22. Сон (Отрывок из неоконченной поэмы). Впервые: Ст46, с. 1—4; открывал первую книжку стихотворений Плещеева 1846 г. Цензура не пропустила часть предпоследней и последней строки. «Сон»

получил высокую оценку талантливого критика Валериана Майкова (См.: Стихотворения А. Плещеева. 1845—1846 / В кн.: Майков В. Н. Литературная критика. Л.: Художественная литература, 1980. С. 273—275).

Эпиграф взят из памфлета французского политического деятеля и публициста Ф. Робера Ламенне (1782—1854) «Слова верующего» (1834). Являясь приверженцем католичества, аббатом, защитником монархии, Ламенне отрекся от прежних убеждений, обратившись к пропаганде идей утопического социализма Плещеев перевел из книги Ламенне 23 главы, которые использовал в своей пропаганде, выступая в марте 1849 года перед студентами Московского университета. Говоря о необходимости пробуждения самосознания в народе, он указал на необходимость переводов иностранных сочинений и распространения их в рукописи, обратив при этом внимание на «Слова верующего» (Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. Л., 1929. С. 164—165)

Левит — у древних евреев священнослужитель, прорицатель.

С. 24. Поэту.— Впервые: Ст46, с. 14—16; с пропуском стихов 11, 12, 31, 32; в сб. Ст46 строка 14 звучала иначе: «Готов был их всегда носить», а в сб. Ст61 и Ст87 изменена: «Готов оковы был всегда носить».

Эпиграф взят из стихотворения любимого петрашевцами французского поэта Огюста Барбье (1805—1882) «Все музы знамениты», которое открывало его сборник «Ямбы и поэмы» (1842). Плещеев,— писали современники,— «понял свое назначение как поэта... лучше многих из его собратий по ремеслу» (Литературная газета, Пб., 1847, № 7, 13 февраля, с. 105).

Фарисей — человек, отличающийся ханжеством.

С. 25. На зов друзей.— Впервые: РП, 1845, № 3, с. 850—851; с подзаголовком «Из А. Барбье»; подпись — А. Пл-ъ.

Чтобы ослабить в глазах цензуры политический характер стихотворения, Плещеев вынужден печатать его и в последующих изданиях как переводное с французского, с цензурными пропусками. Публикуется по тексту: Ст87 с восстановлением текста 22—23 строк по первой публикации. Снят подзаголовок, и в строке 24 дается не журнальный вариант, где было: «Распятый на кресте Великий Назарей!», а с рукописной поправкой Плещеева: «Распятый на кресте божественный плебей». Современники знали о фиктивности (См.: Наблюдатель, 1887, № 5, с. 44).

С. 26. Странник.— Впервые: И, 1845, № 20, с. 318.

Эпиграф взят из стихотворения «L'hiver» («Зима») французского поэта Эжезиппа Моро (1810—1838), автора сб. стихов «Le Mygotis» («Незабудка»). У Моро, писал Плещеев, «есть песни, не уступающие... беранжеровским». Они «замечательны, как и его биография» (См.:

«Петербургская хроника», РИ, 1847, № 100). Образ странника приобрел у Плещеева, как и у других поэтов-петрашевцев, черты пропагандиста революционных идей.

С. 28. Ее мне жаль.— Впервые: И, 1845, № 24, с. 383. Имело посвящение Д. А. Толстому (1823—1889). Впоследствии Плещеев разошелся с ним из-за его реакционных взглядов. Поэт относился резко отрицательно к его деятельности на посту министра просвещения. Толстой позднее занял пост шефа корпуса жандармов Характерно, что Толстой считал литературную деятельность Плещеева «зловредной» и помешал поэту стать «хранителем книг» в Публичной библиотеке (см. неопубл. письмо Плещеева А. И. Урусову, 1867, ГБЛ, ф. 311, п. 16, ед. хр 11). Сын поэта, А. А. Плещеев. писал о Д. А. Толстом составителю готовившегося в 1904 г. собрания стихотворений П. В. Быкову: «Отец мой совсем и навсегда... разошелся. Поэтому, помня разговор мой с отцом, прошу вас или выкинуть это стихотворение, или вычеркнуть посвящение, что тоже неудобно, или же лучше всего поставить сокращенно «Гр. Д. А. Т-у...» (ИРЛИ, ф. 273, оп. 1, ед. хр. 470). Плещеев после 1846 г. ни разу не помещал это стихотворение в своих сборниках.

С. 28. Любовь певца.— Впервые: С, 1845, № 8, с. 213—214; с датой «1845»; подпись — NN С. Ф. Дуров обратил внимание на то, что в этом «чисто субъективном» стихотворении имеются строки, которые «лучше вставить... в более идейную пьесу». (Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М.: Л., 1930. С. 136):

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил,—
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Они и вошли во «Вперед! Без страха и сомненья...».

Жрецы Ваала — Ваал — название языческого божества почв и плодородия у древних семитов. Служить Ваалу — здесь. в переносном смысле — стремиться к материальным благам, наживе.

С. 29. Бал (отрывок).— Впервые: РП, 1846, № 1, с. 3—4; с датой «1845».

Ланнер Иозеф Франц Карл (1801—1843) — австрийский композитор, скрипач, дирижер. автор популярных в России вальсов.

С. 31. «К чему мечтать о том что *после* будет с нами...».— Впервые: Ст46, с. 81—82 Опубликовано с цензурным пропуском последних двух стихов. впервые восстановленных в сб. Поэты-петрашевцы. Л., 1940. С. 176.

С. 32. «По чувствам братья мы с тобой...».— Впервые: Аристов А. П. Песни Казанских студентов СПб., 1904. С. 93. С искажениями Под именем Плещеева, полностью в кн.: Гофман М. Л. Поэзия К. Ф. Рылеева. Чернигов, 1917. С. 7. Приписы-

валось Рылееву и Добролюбову. См.: Мнимое стихотворение Рылеева. ЛН. М., 1954. Т. 59. С. 285—288. Распространялось в списках. Обращено к В. А. Милютину — близкому товарищу по кружку Петрашевского, ставшему к середине 40-х годов выдающимся экономистом, чьи статьи привлекли внимание Белинского (См.: Белинский В. Г. Письма. Т. III. СПб., 1914, С. 272). Н. Г. Чернышевский характеризовал Милютина как даровитого человека молодого поколения (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М.: Художественная литература, 1947. Т. 3. С. 223). Стихотворение сыграло большую роль в революционном движении, его любили в семье Ульяновых, где пели «положенное на музыку студентами его времени запрещенное стихотворение Рылеева: «По духу братья мы с тобой...» (Елизарова-Ульянова А. И. Александр Ильич Ульянов и дело 1-го марта, 1887 года. М.; Л., 1927. С. 54); изменены были и другие строки, и 7 декабря 1889 г. Плещеев писал А. С. Гацисскому: «Вы спрашиваете меня относительно приведенных в Вашем письме стихов. Эти стихи, действительно, мои, и написаны мною в 1846 году» (Русская мысль, 1912, № 4, с. 124—125). Плещеев сообщил адресату о поправках к некоторым строкам; «в стихотворении, действительно, коечто изменено: вместо «настанет страшный час», было «пробьет желанный час» и вместо «грозные» было «спящие» народы».

С. 32. Н. Мордвинову.— Впервые: Русская литература, 1965, № 4, с. 155—156; автограф — ЦГАОР. ф 109, III отд., дата — «19 февраля 1846 г.». В собр. стих. Плещеева публикуется впервые. Николай Александрович Мордвинов — товарищ Плещеева по Петербургскому университету и кружку Петрашевского, избежав расправы в 1849 г., что обусловлено, очевидно, связями отца-сенатора и тем, что во время арестов он находился в Тамбовской губернии, позднее стал видным общественным деятелем, был связан с Герценом, распространял его сочинения, писал в «Колоколе», был знаком с Чернышевским, членами «Земли и воли». В 1855 г. при аресте Мордвинова Дубельт — шеф жандармов особенно заинтересовался четверостишием, выделенным нами курсивом (См.. Порох И В. История в человеке. Саратов, 1971. С. 10—11. Пустильник Л. С. Жизнь и творчество А. Н. Плещеева М.: Наука, 1981. С. 31—33).

С. 33. Старик за фортепьяно.— Впервые: С, 1844, № 4, с. 79, с тремя эпиграфами: 1) из стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет...», 2) афоризм немецкого писателя Жана Поля Фридриха Рихтера (1763—1825)...; 3) из стихотворения Альфреда де Мюссе «Lucie» — «Люси».

С. 34. Звуки.— Впервые: Ст46, с. 76—77.

С. 35. «Случайно мы сошлися с вами...».— Впервые: Ст46, с. 41—44.

С. 37. Могила.— Впервые: С, 1844, № 7, с. 99.

С. 37. На память.— Впервые: С, 1846, № 2, с. 279.

С. 38. Сосед.— Впервые: РП, 1845, № 9, с. 553—554.

С. 39. Прости.— Впервые: Ст46, с. 28.

С. 39. Ответ.— Впервые: Ст46, с. 26.

С. 40. Нанев.— Впервые: Ст46, с. 22.

Критика 40-х гг. выделила оба последние стихотворения как «превосходные», которые «довершили победу поэта» (В. Майков).

С. 40. Прощальная песня.— Впервые: С, 1844. № 6, с. 338—339.

С. 41. «Люблю стремиться я мечтою...».— Впервые: БДЧ, 1844, № 8. Адресат посвящения не выявлен.

Из уст Торкватовых лились...— Тассо Торквато (1544—1595) — знаменитый итальянский поэт, автор стихотворений, написанных октавами — восьмистишиями.

К стопам Лауры...— Лаура — героиня «Книги песен» выдающегося итальянского поэта Петрарки (1304—1374).

Кановы мощный перст...— Канова Антонио (1737—1842) — итальянский скульптор.

С. 42. Notturno («Ночь тиха... Едва колышет...»).— Впервые: С, 1844, № 10, с. 110; подпись: А. П-въ.

Notturno — ночное (и т.).

С. 43. Notturno («Я слышу знакомые звуки...»).— Впервые: РП, 1845, № 7, с. 128.

С. 43. «Снова я, раздумья полный...».— Впервые: И. 1845, № 30, с. 478—479. Под общим названием «Две песни» — в Ст46.

С. 44. Песня («Доброй ночи!» ты сказала»).— Впервые: И. 1845, № 30, с. 479.

С. 45. Песня («Выйдем на берег, там волны...»).— Впервые: РП, 1845, № 12, с. 333—334. Стихи 13—16 — перевод-вариация первой строфы стихотворения Гейне «Sie haben mich gequälet...», переведенного Плещеевым в 40-е гг.— под названием «Они меня много терзали».

С. 46. Гидальго.— Впервые: РП, 1846, № 6, с. 615—616; с датой «1845».

С. 47. «Когда я в зале многолюдном...».— Впервые: Ст46, с. 20—21; перепечатано БДЧ. 1846, № 9; с датой «1845».

С. 47. «Когда увижу я нежданно погребенье...».— Впервые: Литературная газета, Пб., 1847, № 48, с. 758; подпись — А. П-въ.

С. 48. Певице.— Впервые: Ст46, с. 34. В экз. библиографа Геннади имелось посвящение — «Виардо Гарсиа».

Эпиграф взят из стихотворения «Lucie» («Люси») французского поэта Альфреда де Мюссе (1810—1857).

Розина — одно из действующих лиц комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и оперы Россини на ее основе; партию ее пела Виардо.

С. 49. Элегия.— Впервые: БДЧ, 1846, № 4, с. 109—110; с подзаголовком «Из Полониуса»; в др. изд. с подзаголовком «На мотив одного французского поэта». В Ст87 Плещеев поместил его среди оригинальных, подчеркнув фиктивность подзаголовка.

С. 50. Ночные думы (1. Дездемоне. 2. Безотчетная грусть. 3. Дачи).— Впервые: С, 1844, № 2, с. 241—244; подпись — А. П-въ.

1. Посвящено Полине Виардо Гарсиа (1821—1910), исполнявшей в Петербурге в 1843 г. партию Дездемоны в опере Россини «Отелло».

2. Эпиграф взят из стихотворения немецкого поэта-романтика Ф. Рюккерта «Вечерняя песня странника», переведенного Плещеевым.

С. 52. Челнок.— Впервые: С, 1844, № 5, с. 232; подпись — А. П-въ. Посвящено П. В. Веревкину: Плещеев назвал его среди тех, с кем был «в наиболее коротких отношениях» (Дело петрашевцев. М.: Л., 1951. Т. 3. С. 308). Их связывало и увлечение поэзией, музыкой.

Эпиграф взят из стихотворения Гейне «Ты прекрасная рыбачка».

С. 53. Дума (Как дети иль рабы, преданию послушны...).— Впервые: С, 1844, № 5, с. 229—230; подпись — А. П-въ; с датой «1844». Стихотворению было предпослано два эпиграфа, придававшие ему особый смысл: 1) «Да помилуйте: наши предки так делали, а разве они были глупее нас?» (Подслушанная фраза); 2. Из стихотворения Беранже «Безумцы»: «Мы, старые оловянные солдатики, всех выстраиваем в ряды по шнурку. Если кто-нибудь выходит из рядов, мы все кричим: «Долой безумцев!». В нем прославлялись идеологи утопического социализма — Сен-Симон, Фурье. Русский перевод стихотворения был прочитан петрашевцем Н. Кашкиным 7.IV.1849 г. на обеде в честь Фурье.

С. 53. «Страдал он в жизни много, много...».— Впервые: Ст46, с. 36.

С. 55. Новый год (Кантата с итальянского).— Впервые: Ст61, с. 20—21. Стихотворение создано в 1848 г. Это один из первых откликов на французскую революцию 1848 года, за которой Плещеев и его товарищи-петрашевцы следили с «лихорадочным интересом» (см. письмо Плещеева А. П. Чехову 12 сентября 1889 г., опубл. нами — ЛН, М., 1960. Т. 68, с. 348). Несмотря на фиктивные заголовки «Кантата с итальянского», «Пуританская песня», цензурой запрещено в 1848 и в 1860 году для «Современника», хотя, стремясь напечатать его там, Плещеев, как он писал Н. А. Добролюбову 25 ноября 1859 г., озаглавил его «С итальянского» (Русская мысль, 1913, № 1, с. 138).

Стихотворения, созданные Плещеевым в ссылке и в первые годы по окончании ее, собраны в книге «Стихотворения, СПб, 1858». Часть из них публиковалась в журналах, начиная с 1856 года. Перерыв в его творчестве длился почти десятилетие. О том свидетельствует и эпиграф к сборнику 1858 года из стихотворения Гейне: «Я не в силах был петь и был подавлен; теперь я снова творю; как слезы, что внезапно нахлынут, так внезапно возникают и песни».

С. 56. Посвящение.— Впервые: Ст58, ненумер. стр. Стихотворение открывало сб. 1858 года. Обращено к друзьям-петрашевцам, тепло принято ими (см. письмо Н. С. Кашкина к Плещееву 12 апреля 1886 г. и его ответные стихи (ЦГТМ им. А. А. Бахрушина).

С. 56. Раздумье.— Впервые: РВ, 1856, № 24, с. 648, с датой «1856». Подпись — А. П-въ.

С. 57. С. Ф. Дурову.— Впервые: Ст58, с. 66—67, под заглавием: «С. Ф. Д...ву», с датой «18.VII.1857» Посвящено Сергею Федоровичу Дурову (1816—1869)—товарищу по кружку Петрашевского — талантливому поэту, прозаику, переводчику, с которым Плещеев был особенно близок. Написано в пору возвращения Дурова из Сибири, где он находился вместе с Ф. М. Достоевским в Омском каторжном остроге. Пребывание на каторге превратило Дурова в калеку. Еще находясь в ссылке в Оренбурге, Плещеев напутствовал больного друга, уезжавшего в Одессу, выражал уверенность, что теплый климат, жизнь среди близких людей (в семье петрашевца А. И. Пальма) вернут ему силы и он возобновит литературную деятельность. В 60-е годы Дуров создал лишь несколько оригинальных стихотворений и переводов из Барбье и Гюго.

С. 58. «Тобой лишь ясны дни мои...».— Впервые: РВ, 1858, № 2, с. 396. Подпись — А. П-въ. Обращено к Е. А. Рудневой, ставшей женой поэта в октябре 1857 г. В первой публикации перед последним четверостишием были строки, исключенные в последующих сборниках:

Молю, чтоб в сердце не погас
Огонь вражды к неправде черной;
Чтобы к борьбе со злом упорной
Готов был друг твой каждый час.

С. 58. «Ты мне мила, пора заката!..» — Впервые: Ст58, с. 44.

С. 59. «Еще один великий голос смолк...» — Впервые, Ст58, с. 72—73, с датой «185...». Об адресате стихотворения высказывались разные предположения — отклик на смерть чтимого Плещеевым и петрашевцами Ламенне, на кончину Гоголя, пятилетие со дня смерти Белинского.

С. 60. При посылке Рафаэлевой Мадонны.—Впервые: МВ, 1908, № 7, с. 300. Автограф от 17 февраля 1853 г. Адресовано Дандевиль (урожденной Балк), жене подполковника, знатока Средней Азии В. Д. Дандевиля, который стремился облегчить поэту тяготы ссылки, доверенного лица всесильного начальника Оренбургского края В. А. Перовского. Было послано ей вместе с гравюрой с картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна», которую привезла поэту мать, приезжавшая к нему в Оренбург.

Эпиграф взят из стихотворения Лермонтова «Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с молитвою»).

С. 60. Перед отъездом.— Впервые: там же. Обращено к Л. З. Дандевиль и послано ей весной 1853 г. перед отправлением в поход в «степь» для взятия кокандской крепости Ак-Мечеть — оплота ханов и беков, теснивших в Кзыл-Ординской области мирные аулы казахов и киргизов. Плещеев пошел в этот опасный поход, надеясь на освобождение из солдатчины. За участие в штурме (18 июля) Плещеев из рядовых был произведен в унтерофицеры.

С. 61. После чтения газет.— Впервые: РВ, 1856, № 20, с. 720; с датой «1854». Создано под впечатлением Крымской войны 1854—1856 гг. (см. письмо В. Д. Дандевилю, 1854 — Минувшие годы, 1908, № 10, с. 118).

Кровавые страницы — сообщения в печати об осаде Севастополя.

С. 62. Молитва.— Впервые: РВ, 1857, т. X, № 15, с. 582; подпись — А. П-въ.

С. 62. С. . . . . .у («Перед тобой лежит широкий новый путь...»).— Впервые: РВ, 1856, № 24, с. 650—651. В первой публикации с подзаголовком «При вступлении на поприще». Адресовано М. Е. Салтыкову-Щедрину в связи с его возвращением из ссылки и вступлением в «большую литературу». В Москве стали печататься его «Губернские очерки» (см.: Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 гг. М.: Художественная литература, 1972. С. 106, 523, 524).

С. 63. В степи.— Впервые: РВ, 1856, № 24, с. 647—648. Написано перед отъездом из форта Перовского (Ак-Мечеть) в Оренбург. Плещеев пробыл здесь с весны 1854 до 1856 г.

С. 64. «Не говорите, что напрасно...».— Впервые: РВ, 1856, № 24, с. 651. Имело заглавие «В альбом»; перед последней строфой находилось четверостишие, исключенное из последующих изданий:

И перед вашими очами
Иной, прекрасный ляжет путь;
И счастье теплыми лучами
Не раз согреет вашу грудь.

С. 65. «О, если б знали вы, друзья моей весны...».— Впервые: РВ, 1857, № 9, с. 140. В первой публикации четвертая строфа звучит иначе:

Нет! С пошлостью людской, со злом постыдный мир
Я заключал не раз, страданья избегая,
И в жизни видел я лишь праздный шумный пир,
Труда спасительным путем пренебрегая.

С. 65. Когда мне встретится истерзанный борьбою.— Впервые: Ст58, с. 38.

С. 66. «Что за детская головка...».— Впервые: Ст58, с. 46.

С. 67. Странник («Томит меня мой страннический путь...»).— Впервые: Ст58, с. 47—48.

С. 67. Зимнее катанье.— Впервые: РВ, 1957, № 9, с. 140.

С. 69. Листок из дневника.— Впервые: Ст58, с. 50—55, с датой «1856». Как следует из письма Плещеева М. Л. Михайлову (письмо датировано и опубликовано нами, ЛА, М.; Л, 1961, вып. 6, с. 241, 244), является, видимо, откликом на смерть Л. З. Дандевиль.

Эпиграф взят из стихотворения французского поэта Ф. Малерба (1555—1628) «В утешение Дю Перье — на смерть молодой дочери».

Стих 23, выделенный Плещеевым курсивом,— перефразировка строки из стихотворения Лермонтова «К портрету» — «Как мальчик кудрявый, резва, нарядна, как бабочка летом...».

С. 72. «Когда твой кроткий, ясный взор...».— Впервые: РВ, 1857, № 9, с. 141. В первой публикации после третьей строфы были строки:

Я знаю, что назвать тебя
Своей я б недостоин был,
Что бесполезной жизнью я
На счастье право не купил.

Обращено к Е. А. Рудневой.

С. 73. Весна («В старый сад выхожу я, росинки...»).— Впервые: РВ, 1856, № 24, с. 649—650; с датой «1853»; в цикле «Старые песни на новый лад».

Эпиграф взят из стихотворения Гете «Mailied» («Майская песня»).

С. 74. «Знакомые звуки, чудесные звуки!» — Впервые: Ст58, с. 61—62; под заглавием «Звуки».

С. 74. Мой садик.— Впервые: Ст58, с. 63. Начиная со сб. «Подснежник» (1878), печаталось до 1887 г. без последних шести строф.

С. 76. «О нет, не всякому дано...».— Впервые: РВ, 1858, № 2, с. 395.

С. 76. «Трудились, бедные, вы, отдыху не зная...» — Впервые: Ст58, с. 78. Цензурный комитет выразил недовольство по-

явлением стихотворения в печати, т. к. в нем «резко выражается тягость трудов крестьян и надежды на лучшее будущее». К тому же в нем содержится «язвительный отзыв об отношениях господ и помещиков к их служителям крестьянам» (опубл. нами — ЛА, вып. 6, М.; Л., 1961, с. 417).

С. 77. «Ты помнишь: поникшие ивы...» — Впервые: Ст58, с. 68—69.

С. 78. «Когда возвратился я в город родной...».— Впервые: Ст58, с. 77.

С. 78. «Была пора: своих сынов...».— Впервые: Ст58, с. 79—80.

Эпиграф взят из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы».

«...в иную славную войну».— Речь идет об Отечественной войне 1812 г.

С. 79. Счастливец («Я здоров, румян и весел...»).— Впервые: РВ, 1858, № 22, с. 297—298; без заглавия текст имеет разночтения по сравнению с последующими изданиями.

С. 80. Опустевший дом.— Впервые: С, 1859, № 10, с. 355.

С. 81. Призраки.— Впервые: МВ, 1859, № 46, с. 572—573.

С. 82. На улице.— Впервые: С, 1860, № 3, с. 4—5. Плещеев открыл им Сб61 г., с. 7—10. Оно вызвало резко отрицательную оценку реакционной критики. В изданном под грифом «секретно» «Собрании материалов о направлении различных отраслей русской словесности», в «Очерке о направлении русской лирической поэзии с 1854 по 1864 гг.» (СПб., 1865) подчеркивалось, что Плещеев здесь «противополагает голодную нищету ленивому и *тунеядствующему* богатству» (с. 56—58).

С. 84. «Скучная картина!..» — Впервые: Нчт, 1860, кн. IV, с. 79—80.

С. 85. «Он шел безропотно тернистою дорогой...».— Впервые: РВ, 1858, № 7, с. 440; подпись — А. П-въ. В первой публикации строка 6: «Народам возвещал свободу и любовь».

С. 86. Былое.— Впервые: РВ. 1858, № 8, с. 607; подпись — А. П-въ. Посвящено С. Н. Федорову (ум. в 1868 г.), автору повестей, драматических сцен, очерков. Плещеев, по его словам, «открыл это дарование в Оренбурге» (см. его письмо Ф. М. Достоевскому 27.X.1859 г., опубл. нами — ЛА, вып. 6, М.; Л., 1961, с. 261).

С. 87. Птичка.— Впервые: РВ, 1858, № 8, с. 606. Оно пользовалось популярностью. «Заучиваемое много лет назад,— писали поэту петербургские студенты,— стихотворение «Птичка» и сейчас не потеряло своего значения для нас» (неопубл. письмо 1886 г.— ЦГТМ, собр. Плещеева).

С. 88. Мой знакомый.— Впервые: С, 1858, № 9, с. 291—293. Стихотворение «затруднило», по словам Н. А. Добролюбова, цен-

зора, поэт вынужден был внести в него ряд изменений, чтобы напечатать его в «Современнике» (см. письмо Добролюбова Плещееву от 31.VIII.1858 г., опубл. нами, ЛА, вып. 6, М.: Л., 1961, с. 415).

Жорж Занд (псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876) — французская романистка, чье творчество имело большое влияние на формирование воззрений Плещеева (ИРЛИ, PIII, оп. 1, № 1624, л. 1).

Леру Пьер (1797—1871) — французский социалист-утопист, популярный среди петрашевцев.

С. 91. «Есть дни: ни злоба, ни любовь...».— Впервые: РВ, 1857, № 9, с. 142.

С. 91. «Ты хочешь песен,— не пою...».— Впервые: Ст58, с. 18—19.

С. 92. Сердцу.— Впервые: Ст58, с. 20—21.

С. 93. Цветок.— Впервые: Ст58, с. 22—23. В Сб. «Избранные стихотворения» (М. 1893) — под заголовком «Цветок в пустыне».

С. 94. «Дети века все больные...».— Впервые: Ст58, с. 34—36.

С. 95. Поэту («Пускай заманчив гладкий путь...»).— Впервые: С, 1861, № 8, с. 443—444.

С. 96. Летние песни.— Впервые: С, 1861, № 8, с. 443 — стихотворения 3—4; Вр. 1862, № 3, март, с. 352 — стих. 2; Вр. 1862, № 2, февраль, с. 598 — стих. 1 — под загл. «Ночь», с посвящением Ф. Н. Бергу. Посвящение нами снято, т. к. поэт подчеркивал подлую, неблаговидную его роль как клеветника. Берг, как это видно из документов III отделения, клеветой на Плещеева о хранении им революционных изданий спровоцировал обыск у поэта при попытке привлечь его к «Делу Н. Г. Чернышевского» (ЦГАОР, ф 109, 1 эксп., 1863 г., д. 97). Вр, 1862, № 10, октябрь №№ 5, 6, 7, стих. 8. БДЧ, 1863, № 6. В одном цикле: НС, с. 9—22 и Ст. 87.

С. 100. Мольба.— Впервые: С, 1861, № 12, с. 487—488.

С. 101. Облака.— Впервые: Вр, 1871, № 1, с. 260.

С. 102. «Нет отдыха, мой друг, на жизненном пути...».— Впервые: Светоч, 1860, № 5, с. 12.

С. 102. «Если в час, когда зажгутся звезды...».— Впервые: Современность, 1860, № 1, с. 12.

С. 103. «Я у матушки выросла в холе...».— Впервые: Светоч, 1860, кн. 2, с. 13—14.

С. 105. Нищие.— Впервые: С, 1861, № 2, с. 409—410.

С. 106. «Природа-мать! К тебе иду...».— Впервые: День, 1862, № 18, с. 3.

С. 107. Декабрист.— Впервые: С, 1860, № 8, с. 475—476. Опасаясь цензурного запрета, Плещеев озаглавил его «Старик». Добролюбов распознал в нем образ декабриста; Плещеев писал ему 16.X.1859 г., что стремился воплотить лучшие черты этих людей,

«сохранивших, несмотря на долгие испытания, бодрость духа и любовь к правде» (РМ, 1913, № 1, с. 137).

С. 108. «Нет! лучше гибель без возврата...».— Впервые: РС, 1861, № 11, с. 24; с датой «июнь 1861» (с пропуском третьей строфы).

С. 109. «Блажен, не ведавший труда...».— Впервые: С, 1861, № 8, с. 445—446; с датой «июль 1861».

С. 109. «Друзья свободного искусства...».— Впервые: М.Вед., 1861, № 14; с заглавием «11 января 1861 г.».

С. 110. «Завидно мне смотреть на мудрецов...».— Впервые: РС, 1862, № 1, с. 46; с датой «декабрь 1861».

С. 111. Дети.— Впервые: День, 1861, № 9, с. 2—3.

С. 112. Новый год (Н. А. Некрасову).— Впервые: С, 1862, № 1, с. 320—322; объединяет три стихотворения под общим заглавием «Вариации»; с датой «31.XII.1861».

С. 113. «О, не забудь, что ты должник...».— Впервые: там же.

С. 114. «На сердце злоба накипела...».— Впервые: РС, 1862, № 2, с. 52.

С. 115. Родное.— Впервые: Вр, 1862, № 8, с. 222.

С. 115. Отчизна.— Впервые: С, 1862, № 3, с. 321.

С. 117. К юности.— Впервые: С, 1862, № 4, с. 563—564; с датой «март 1862, М». Автограф с датой «1862 г., февраля 25 дня»; с заглавием «К юности», с подзаголовком «Посвящается молодому поколению». Плещеев неоднократно читал эти стихи, и они пользовались успехом (см. неопубл. письма поэта к М. Н. Лонгинову, начала 60-х гг., ИРЛИ). Им открывается сб. Новые стихотворения 1863 г.

С. 118. Она и он.— Впервые: Вр, 1862, № 9, с. 119—129. «Это стихотворение... как и «Мой знакомый», «На сердце злоба накипела...», «Нищие», «Советы мудрецов», «Если хочешь ты, чтоб мирно...»,— писал В. П. Острогорский,— отзывается несвойственным автору юмором, тенденциозностью и обличительным характером» (Мир божий, 1893, № 11, с. 96).

Эпиграф взят из стихотворения Гейне «Юноша любит девушку».

С. 127. Памяти К. С. Аксакова.— Впервые: Поэты-петрашевцы. М., 1940. На автографе ЦГАЛИ — дата «февраль, 1861, М.». К. Аксаков скончался 7.XII.1860 г. Плещеев ценил «горячую непритворную любовь к народу русскому, которой было проникнуто все, что выходило из-под пера г. Аксакова» («Заметки кое о чем», МВ, 1860).

Эпиграф— слова Гамлета из второй сцены первого акта трагедии В. Шекспира «Гамлет».

С. 128. Две дороги.— Впервые: День, 1862, № 38, с. 6—7. Посвящено И. С. Аксакову (1823—1888), в ком Плещеев видел «даро-

витого поэта». Особенно высоко оценил он его «Ожидание», отличающееся «мужественным, энергичным стихом» («Заметки кое о чем», МВ, 1860, № 13, с. 208). «Две дороги» было популярно среди современников: «Кто же из нас... не прочувствовал в жизни своей всего, что выразил Плещеев в своих... стихотворениях? Перед кем не раскрывалось двух путей, которые описывает поэт?» (Скабичевский А. И. «Литературная хроника». Новости и Биржевая газета, 1898, № 276).

С. 129. Лжеучителям.— Впервые: День, 1862, № 23; с датой «февр. 27-го». Написано под тяжелым впечатлением от расправы со студентами в 1861 г.

«Как древле брат, убивший брата...».— Речь идет о библейской легенде — убийстве Каином Авеля.

С. 130. «Всю-то, всю мою дорожку...».— Впервые: С, 1863, № 1—2, с. 351.

С. 131. Тучи.— Впервые: С, 1863, № 8, с. 439; с датой «июль, 1863», с. 439.

С. 132. Лунной ночью.— Впервые: С, 1859, № 10, с. 356.

С. 133. В лесу.— Впервые: С, 1863, № 1—2, с. 155.

С. 134. Советы мудрецов.— Впервые: там же, с. 121.

С. 136. «Честные люди, дорогой тернистою...».— Впервые: Ст1905, с. 138; с датой «1863». Написанное в дни суда над Н. Г. Чернышевским, было опубликовано лишь через 40 лет, в 1905 г.

С. 136. Умирающий.— Впервые: БДЧ, 1863, № 6, с. 40.

С. 137. Осень.— Впервые: БДЧ, 1863, № 9, с. 54.

С. 137. Весна.— Впервые: Развлечение, 1863, № 17, с. 257

С. 138. «Что год, то новая утрата...».— Впервые: БДЧ, 1863, № 9, с. 55. Посвящено памяти писателя-демократа Н. Г. Помяловского, скончавшегося 5 октября 1863 г. Написано в день похорон, 9 октября.

С. 138. Памяти Е. А. Плещеевой.— Впервые: С., 1865, № 5, с. 122—124; с датой «январь, 1865. М.». Посвящено жене поэта.

С. 140. Apostaten Marsch.— Впервые: С, 1865, № 10, с. 362; с датой «октябрь 1865»; под заглавием «Песня отступников»; с фиктивным подзаголовком: «На мотив одного немецкого поэта», к которому поэт вынужден был прибегнуть из-за цензуры.

С. 141. «Блажен, кто мирно без начальства...».— Впервые: Искра, 1867, № 29, с. 360; под инициалами А. П. Не входило ни в один сборник стихотворений Плещеева. Сугубо автобиографично: Плещеев служил в ту пору младшим ревизором Контрольной палаты Московского почтамта, служба его «просто убивала...», как он писал 15 июля 1867 г. А. М. Жемчужникову (РМ, 1913, № 7, с. 112).

С. 141. «Где ты, пора веселых встреч...».— Впервые: Модный магазин, 1868. Октябрь, № 20, с. 346.

С. 142. «Быстро тают снега, побежали ручьи...».— Впервые: Дело, 1867, № 6, с. 256.

С. 143. «Тяжелая, мучительная дума...».— Впервые: ОЗ, 1869, № 2, февраль, с. 404.

С. 144. Слова для музыки.— Впервые: Ст98. В Ст1905 помещено в отделе «Стихотворения 60-х гг.».

С. 144. «Иль те дни еще далеки...».— Впервые: ОЗ, 1870, № 7, с. 64. Автограф — ЦГАЛИ, в так называемой «тетради соусов», записано среди гастрономических соусов к рыбе, мясу как «соус № 41». На обложке тетради надпись: «...в августе 1867 г. от А. Н. Плещеева, Гр. Данилевскому». Он просил у Плещеева полный текст стихотворения, т. к. оно распространялось в списках. Зная, что его корреспонденция перлюстрируется, Плещеев послал адресату полный текст стихотворения, навеянного событиями франко-прусской войны.

С. 145. Облака.— Впервые: ОЗ, 1868, № 9, с. 183—184; с датой «Царицыно. Июля 14»; с посвящением Г. А. Ларошу (1815—1904) — музыкальному критику, профессору теории и истории музыки Московской и Петербургской консерваторий, с которым Плещеев был дружен.

С. 146. «Жаль мне тех, чья гибнет сила...».— Впервые: ОЗ, 1868, № 10, с. 389.

Стихотворения позднейшего периода

С. 148. «Блаженны вы, кому дано...».— Впервые: Б, 1871, № 7, с. 5—6. Адресовано учителям. По воспоминаниям известного педагога В. П. Острогорского, приурочено к одной из встреч с учителями и учащимися Ларинской гимназии в Петербурге.

С. 148. Тосты.— Впервые: Модный магазин, 1873, № 1, 1 января. Создано в 1871 г., о чем свидетельствует письмо Плещеева к Марко Вовчок 15.I.1871 г. (см.: ЛА, вып. 6, с. 341), где он сообщал, что студенты тепло приняли стихотворение.

С. 149. Весенней ночью.— Впервые: Б, 1871, № 7, с. 275.

С. 150. Весна («Уж тает снег, бегут ручьи...»).— Впервые: СШ, 1872, № 3, с. 255.

С. 151. Могила труженика.— Впервые: ОЗ, 1873, № 11, с. 143—144.

С. 152. «Нет мне от лютого горя покоя...».— Впервые: Русские поэты в биографиях и образцах. 1873. С. 657.

С. 153. «Теплый день весенний».— Впервые: ОЗ, 1873, № 6, с. 414.

С. 154. Ночью.— Впервые: Сб. Складчина, 1874, с. 336—337.

С. 155. Старики.— Впервые: ОЗ, 1873, № 6, с. 412.

С. 156. Воспоминание.— Впервые: Пчела, 1875, № 20, с. 242.

«Ада» сумрачным певцом...— Речь идет о великом итальянском поэте Данте (1265—1321). «Ад» — первая часть его «Божественной комедии». Последнее четверостишие — перифраз изречения Данте: «Нет большего горя, чем воспоминание о счастливом времени среди несчастья».

С. 157. «Расстался я с обманчивыми снами...».— Впервые: Слово, 1878, № 1, с. 68—69.

С. 158. Из старых песен.— Впервые: Дело, 1881, № 10, с. 116.

С. 159. «Я тихо шел по улице безлюдной...».— Впервые: ОЗ, 1877, № 11, с. 165—166. В стихотворении речь идет о Белинском; позднее строки его были включены в «Приветственную песню В. Г. Белинскому» (музыка Касторского) для исполнения на юбилейных празднествах в Пензе 26—27 мая 1898 г., но это было запрещено (ИРЛИ, 14782, LXXXVII, б-20).

С. 161. Последняя середа.— Впервые: Ст1905, с. 583. Посвящено поэту-переводчику П. И. Вейнбергу.

С. 163. Песня изгнанника.— Впервые: Игрушечка, 1880, № 48, 7 декабря, с. 1512—1513.

С. 164. «Бурлила мутная река...».— Впервые: ОЗ, 1881, № 6, с. 449—450.

С. 165. Памяти Пушкина.— Впервые: РМ, 1880, № 6, июнь. Стихотворение прочитано Плещеевым в Москве в пушкинские дни 1880 г.

Эпиграфы взяты из стихотворений Пушкина: «Вакхическая песня» и «К Чаадаеву».

С. 166. «Ты жаждал правды, жаждал света...» — Впервые: Гусли, 1881, 13 декабря. Создано в дни двадцатилетия со дня смерти Добролюбова.

С. 166. «Без надежд и ожиданий...» — Впервые: там же, 1882, № 2, 10 января. Очевидно, отразило дни после мартовского террора, напечатать его в России не удалось. Появилось в тифлисском журнале, с большими цензурными искажениями.

С. 167. 1-е января 1884 г.— Впервые: Еженедельное обозрение, 1884, № 3, с. 78; под заглавием «На Новый год».

С. 168. 27-го сентября 1883 г. (На смерть И. С. Тургенева).— Впервые: ОЗ, 1883, № 10, с. 565. На автографе дата «26 сентября 1883 г.» Плещеев прочитал стихотворение на похоронах И. С. Тургенева 27 сентября 1883 г. на Волковом кладбище. В нем воссозданы образы Тургенева и Белинского.

Эпиграф— слова Горацио над трупом Гамлета из пятого акта трагедии В. Шекспира «Гамлет». Строфы 7 и 8 относятся к В. Г. Белинскому, одобрившему талант Тургенева.

...и с кем желал ты рядом лечь...— Тургенев просил, чтобы его похоронили рядом с Белинским.

Да, человек он был! — слова Гамлета из I акта трагедии Шекспира «Гамлет».

С. 169. Памяти Н. А. Некрасова.— Впервые: Устои, 1882, № 2, с. 138.

Эпиграфы взяты из поэмы Некрасова «Тишина».

С. 170. «Как часто образ дорогой...».— Впервые: Театральный мирок, 1885, № 1, с. 1—2. Навеяно воспоминаниями о Е. А. Рудневой-Плещеевой.

С. 171. К портрету певицы.— Впервые: там же, № 3, с. 2. Посвящено Марии Ван Зандт, выступавшей в 1885 г. в Мариинском театре в опере «Лакме». В Ст1905 г. стихотворение подписано по просьбе сына поэта его инициалами «А. А.».

С. 171. «Так тяжело, так горько мне и больно...» — Впервые: Театральная газета, 1893, № 14, 3 октября. Посвящено поэту-переводчику П. И. Вейнбергу.

С. 172. Слова для музыки («Нам звезды кроткие сияли...»).— Впервые: Театральный мирок, 1884, № 34, с. 1. Посвящено П. Н. Островскому. Островский Петр Николаевич (1839—1906) — инженер, критик-дилетант, сводный брат драматурга. Плещеев ценил критическое чутье Островского, его суждения о литературе (см. письмо Плещеева Чехову 8.II.1888 г.— Сб. Слово, 11. М., 1914, с. 238).

С. 172. На закате.— Впервые: Развлечение, 1881, юбилейный номер; без заглавия; с фиктивным подзаголовком «С немецкого». Адресовано жене приятеля С. А. Пагануцци

С. 173. В альбом Антону Рубинштейну.— Впервые: Нива, 1886, № 23. Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — замечательный композитор, пианист, дирижер.

С. 174. На похоронах Всеволода Гаршина.— Впервые: СВ 1888, № 4, с. 1. Трагическая смерть Гаршина потрясла Плещеева, и 26 марта 1888 г., в день похорон, он прочитал эти стихи.

С. 174. Антону Павловичу Чехову.— Впервые: Ст98; с датой «1888, 6 июня». Плещеев гостил у Чехова на даче «Лука» Полтавской губ. в июне 1888 г., «отлично сошелся» с его семьей, «милой Чехией», с хозяевами усадьбы Линтваревыми — «сердечной, умной, честной молодежью» (см. неопубл. письмо Плещеева к М. В. Ватсон, ИРЛИ, ф. 402, оп. 1, № 429, лл. 35—36). В свою очередь, Чехов подчеркивал, что три недели, проведенные в «незаменимом обществе» поэта,— «одна из лучших и интереснейших страничек моей биографии» (Чехов А. П. Собр. соч. М., 1956. Т. 11. С. 235).

С. 175 «Кто ты, красавица, с цветами полевыми...».— Впервые «В память С. А. Юрьева. Сб., изд. друзьями покойного». М., 1891. С. 160.

С. 176. «Как в дни ненастья солнца луч...» — Впервые: Ст98, с. 591; под заглавием «Последнее стихотворение»; с датой: «Ницца, ноябрь 1891». Стихотворение не закончено.

С. 176. Упрек.— Впервые: Ст98, с. 592. Написано в последние годы жизни.

С. 177. «Это пламенное солнце...» — Впервые: Ст94, с. 590, с датой: Ницца. Ноябрь, 1891 г.

Стихотворения для детей

Стихи, адресованные детям, Плещеев создал в основном в 70-е гг. Поэт издал совместно с Н. Александровым литературный сборник для детей «На праздник», выпустил «Детскую книжку», сборник «Подснежник». Стихотворения для детей и юношества получили широкую известность и признание (см.: ОЗ, 1878, № 5). В Ст87 Плещеев ввел специальный раздел детских стихотворений. В 1891 г. поэт издал небольшую книжку «Дедушкины песни». Стихотворения для детей А. Н. Плещеева (М.).

С. 178. Весна («Песни жаворонков снова...»).— Впервые: «Детская книжка», составл. А. Плещеевым и Ф. Бергом. М., 1861. С. 1.

С. 178. Ожидания.— Впервые: отдельный оттиск (2 страницы с рисунком М. Микешина), оттиск без заглавного листа, СПб, 1870.

С. 179. В бурю.— Впервые: Детское чтение, 1872, № 12, с. 450.

С. 181. Зимний вечер.— Впервые: там же, № 2, с. 113—114.

С. 182. На берегу (картинка).— Впервые: СШ, 1874, № 11, с. 383—386.

С. 184. Завтра. Сцена из вседневной жизни.— Впервые: там же, 1875, № 3, с. 296—297. *П. И. Ларионов* — собиратель фольклора.

С. 185. Бабушка и внучек.— Подснежник, СПб, 1878.

С. 188. Старик.— Впервые: там же, № 3, с. 342—343.

С. 190. Из жизни.— Впервые: Детский сад, 1873, т. 1, с. 41—43; под загл. «Житейское». В кн. А. Н. Плещеев «Избранные стихотворения» (М., 1893. с. 12—13) под названием «Возвращение из школы».

С. 196. На даче.— Впервые: СШ, 1875, № 5, с. 667—670.

С. 198. «Огни погасли в доме...».— Впервые: Игрушечка, 1880, № 12, с. 378.

С. 199. Елка.— Впервые: Ст87, с. 205.

Переводы

С украинского

Тарас Шевченко. С многими стихами Т. Г. Шевченко русские читатели впервые познакомились благодаря Плещееву, который перевел, по преимуществу, с рукописи восемь стихотворений и поэму «Наймичка».

С. 200. Дума.— Впервые: С, 1858, № 10, с. 470; без заглавия; с датой «1858».

С. 201. «Она на барском поле жала...» — Впервые: МВ, 1859, № 4—5, с. 46. Перевод этот переданный Плещеевым журналу Нчт, был препровожден в Главное управление цензуры как стихотворение, которое укрепляет «убеждение многих крестьян, что с изменением власти помещиков представится возможность ничего не делать и пользоваться чужой собственностью». (Опубл. нами, ЛА, вып. 6. Л.; М., 1961, с. 417).

С. 201. Песни. — Впервые: 1-я, 3-я, 4-я, 5-я — Нчт, 1860, № 1, с. 144—148, 2-я — МВ, 1859, № 4—5, с. 46.

С. 204. «В те дни, когда мы были казаками...» — Впервые: Ст61, с. 52—53.

«Te deum!» («Тебя Бога хвалим»). — Первые слова католической благодарственной молитвы.

С польского

Антоний Сова (Эдвард Желиговский, 1820—1864) — литовский поэт, писавший на польском языке. За участие в революционном движении был сослан в Оренбург, где Плещеев и познакомился с ним.

С. 204. Два слова. — Впервые: Ст58, с. 27.

Стефан Витвицкий (1800—1847) — польский поэт-романтик, друг Шопена и Мицкевича.

С. 205. Сельская песня («Если волов я не так запрягаю...»). — Впервые: Ст58, с. 31.

С. 206. Сельские песни. — Впервые: 1-я, РВ, 1858, № 12, с. 618; 2-я 5-я — Сб. литературных статей, посвященных памяти Смирдина, 1859, т. VI, с. 98—100. Во все сб. стихотворений Плещеева включались как стихи неизвестных поэтов, авторство Витвицкого установлено в 1976 г. (РЛ, 1976, № 4, с. 193—195).

Владислав Сырокомля (Людвик Кондратович, 1822—1862) — выдающийся польский поэт-демократ, популярный в России. «Народный гусляр перехожий» — так он называл себя, автор стихотворения «Ямщик», известного — в переводе Л. Н. Трефолева — как русская народная песня «Когда я на почте служил ямщиком...». Создал ряд произведений, посвященных тяжелой судьбе крепостных крестьян, — «Похороны молодого землепашца», «Освобождение крестьян».

С. 209. Птичка («Птичка божия проснулася с зарею..»). — Впервые: РВ, 1857, № 2, с. 39, с заглавием «Подражание польскому»; посвящено М. Л. Михайлову.

С. 210. Дума («Здесь дни мои текут спокойно...»). — Впервые: МВ, 1860, № 22, с. 356.

С венгерского

Шандор Петефи (1823—1849) — поэт-трибун, участник венгерской революции 1848 г., погиб в одной из последних битв при Сегеш-

варе в 1849 г. Создал стихи, полные призыва к борьбе за победу революции, свободу народа,— «Национальная песня», «На виселицу королей», «К нации».

С. 210. «Степью иду я унылою...» — Впервые: Модный магазин, 1868, № 1, с. 2.

С. 211. «За мою доброту меня хвалишь все ты...».— Впервые: там же, 1867, № 20, с. 310.

Янош Арани (Арань, 1817—1882) — венгерский поэт. Одно из его крупных произведений — эпическая поэма «Толди» (1847) — обратило на себя внимание Петефи. Дружба с ним оказала решающее влияние на творчество и личную судьбу поэта, ставшего активным участником венгерской революции 1848—1849 гг., певцом революционно-освободительной войны («Песня национального гвардейца», «Что мы делаем»). Поражение революции и гибель Петефи определили содержание многих произведений Арани — «Памяти поэта», «Уэльские барды», «Потерянная конституция».

С. 211. «Ах! Сколько, сколько пало их...» — Впервые: сб. Отклик, Литературный сборник, 1882, СПб, с. 319; с датой «1879». В Ст87 помещено в разделе: «На мотивы иностранных поэтов».

С немецкого

Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832) — немецкий писатель, мыслитель.

С. 212. Тишь на море.— Впервые: С, 1844. № 12, с. 371.

С. 212. Молитва («О, мой творец! О боже мой...»).— Впервые: С, 1845, № 41, с. 115—116; подпись — А. П-въ. М. Л. Михайлов считал перевод Плещеева «прекрасным» (Михайлов М. Л. Соч. в 3-х т. М., 1958. Т. III. С. 214).

Генрих Гейне (1797—1856). Плещеев особенно любил поэзию Гейне, начал переводить его стихи еще в 40-е гг., предпослав им в сб. Ст46 (с. 45) вступление. М. Михайлов писал, что перевод Плещеева «верен и хорош», «едва ли,— по его словам,— можно передать лучше, чем передал Плещеев, стихотворения «Возьми барабан и не бойся...», «Речная лилея», «Ветер осенний колышет...» и др.»

С. 213. «Возьми барабан и не бойся...» — Впервые: Ст46, с. 52. Стихотворение пользовалось широкой популярностью. (См.: Горький М. Письма о литературе. М., 1957. С. 169).

С. 213. «Скучно мне! И взор кидаю...» — Впервые: Ст46, с. 53.

С. 214. «О! не будь нетерпелива...» — Впервые: Ст61, с. 87.

С. 214. «Дитя! как цветок, ты прекрасна...» — Там же, с. 123, с датой «1845».

С. 215. «Они меня много терзали...» — Впервые: БДЧ, 1846, № 4, с. 107—109.

С. 215. «Мне снилася дочь короля молодая...» — Впервые: Литературная газета, Пб, 1845, № 46, 29 ноября.

С. 216. «Отчего так бледны розы...» — Впервые: там же, с. 60.

С. 216. Тамбурмажор.— Впервые: Искра, 1859, № 45, с. 466.

Дни империи — империя Наполеона.

Кернер Карл Теодор (1791—1813) — немецкий поэт.

С. 218. Странствуй! — Впервые: МВ, 1859, № 40, с датой «21 августа».

С. 219. «Красавицу юноша любит...» — Впервые: РС, 1859, № 5, май — в приложении к статье А. А. Григорьева «Генрих Гейне»; с датой «С. Петербург. 1858» и с посвящением И. В. Павлову.

С. 219. «И смех, и песни, и солнца блеск!..» — Впервые: Ст58, с. 85.

С. 220. «И у меня был край родной...» — Впервые: РП, 1846, № 2, с. 293; с датой «1845».

С. 220. «Был старый король...» — Впервые: Вчера и сегодня, СПб, 1846, кн. 2, с. 121.

С. 220. Благотворитель.— Впервые: РВ, 1858, № 23, кн. 1; декабрь, с. 490—492.

С. 222. Графиня Гудель фон Гудельфельд.— Впервые: БДЧ, 1859, № 9, с. 51—54.

С. 223. «Пора оставить эту шутку...» — Впервые: ОЗ, 1874, № 8, с. 435—436.

С. 223. Юдоль плача.— Впервые: С, 1864, № 3, с. 270.

С. 224. «Вчера меня ласкало счастье...» — Впервые: ВЕ, 1870, № 4, с. 727—728.

С. 225. Политическому поэту.— Впервые: там же, № 4.

Тиртей — древнегреческий поэт VII—VI в. до н. э.

Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876) — выдающийся поэт. Играл видную роль в революционном движении 1848 г., друг Маркса и соредактор его по «Новой рейнской газете» в Кельне, автор задушевных лирических стихов.

С. 225. «Люби, пока любить ты можешь...» — Впервые: РВ, 1858, № 18, с. 414; с датой «21 сентября 1858 г.» По словам М. Михайлова,— «лучшая из его элегических пьес».

Мориц Гартман (1821—1872) — австрийский поэт и политический деятель, участник революции 1848 г.

С. 227. Молчание.— Впервые: Время, 1861, № 2, с. 410.

С. 227. «Капля дождевая...» — Впервые: МВ, 1860, № 4, с. 61.

С. 227. На мотив болгарской песни.— Впервые: там же, с. 61.

С. 228. Маннвельтова неделя.— Впервые: С, 1860, № 9, с. 305—312.

С. 231. «Стало мне в доме скучно и тесно...» — Впервые: РС, 1864, № 11, с. 34. Перевод стихотворения «На волю».

С. 231. Цветы.— Впервые: сб. Складчина, СПб, 1874, с. 331.

С. 232. Подарки.— Впервые: РС, 1863, № 1, с. 40.

Иозеф фон Эйхендорф (1788—1857) — немецкий поэт и прозаик-новеллист. М. Михайлов считал удачными переводы Плещеева из Эйхендорфа — «даровитейшего из немецких романтических лириков».

С. 233. «Ах, не та уж эта липа...» — Впервые: МВ, 1859, № 47, с. 584.

С. 233. Ночные голоса.— Впервые: День, 1862, № 32, с. 5.

Фридрих Рюккерт (1788—1866) — немецкий поэт-романтик.

С. 234. «Тени гор высоких...» — Впервые: С, 1844, № 3, с. 352; под загл. «Песня странника».

Фридрих Геббель (1813—1863) — крупный немецкий драматург и поэт.

С. 234. Ребенок.— Впервые: ОЗ, 1873, № 2, с. 444.

Фридрих Боденштедт (1819—1892) — немецкий поэт и переводчик Пушкина, Лермонтова, Тургенева.

С. 235. «Пронзительно ветер ночной завывал...» — Впервые: Немецкие поэты в биографиях и образцах в переводе русских писателей. СПб, 1877, с. 617.

С английского

Джордж Байрон (1788—1824) — английский поэт.

С. 236. «Когда я прижимал тебя к груди своей...» — Впервые: Ст46, с. 80.

С. 236. When all around grew drear and dark.— Впервые: ОЗ, 1873, № 1, с. 39—40; заглавием служит первая строка стихотворения.

С. 238. Еврейские мелодии.— Впервые: №№ 1 и 2 — ВЕ. 1871, № 5, с. 6—8; № 3 — ОЗ, 1872, № 8, с. 477.

С. 240. Well, thou art happy.— Впервые: ВЕ, 1871, № 5; заглавием служит первая строка стихотворения.

Альфред Теннисон (1809—1892) — английский поэт-романтик.

С. 241. Леди Клара Вер-де-Вер.— Впервые: РС, 1864, № 2, с. 159—160.

Роберт Соути (Саути, 1744—1843) — английский поэт-романтик. Известность Соути принесли романтические поэмы и баллады.

С. 243. «Бленгеймский бой».— Впервые: ВЕ, 1871, № 4, с. 661; с датой «Москва, 1871».

Бленгейм — деревня в Баварии на Дунае, где в 1704 г. англо-австрийские войска победили французские и баварские.

Томас Мур (1779—1852) — ирландский поэт, певец ирландского освободительного движения. Стихи Мура высоко оценил Байрон.

С. 246. Из ирландских мелодий.— Впервые: 1 — ОЗ, 1875, № 6, с. 367; 2, 3 — там же; 4 — Пчела, 1875, № 37, с. 444; 5 — СВ, 1885, № 1, с. 95; 6 — там же, 1888, № 2, с. 50.

Вильям Мотервелль (1797—1835) — шотландский поэт. Плещеев писал: Мотервелль и Николль обладали «истинным талантом и успели приобрести значительную известность в Англии...» (См.: Стихотворения А. Н. Плещеева. М., 1887).

С. 249. В последний раз.— Впервые: С, 1861, № 7, с. 207.

Роберт Николль (1814—1837) — шотландский поэт, автор стихов, отличавшихся сатирической направленностью и демократизмом. Современники называли его «вторым Бернсом». В Ст87 — с примечанием Плещеева. «Стихотворение это посвящено памяти ирландского патриота Роберта Эмме.., личного друга автора, казненного англичанами в 1798 г. почти в юношеском возрасте.

С. 251. Все люди — братья.— Впервые: С, 1861, № 7, с 209.

С французского

Виктор Гюго (1802—1885) — французский писатель и поэт.

С. 252. Песня.— Впервые: ОЗ, 1881, № 9, с. 224.

Марк Монье (1829—1885) — французский поэт и драматург, автор пьес, повестей, направленных против режима Наполеона III, а также стихотворений, сборник которых издан во Франции в 1872 г.

С. 252. Моей дочери.— Впервые: ОЗ, 1881, № 9, с. 202.

С. 252. «В церкви я стоял и слушал...» — Впервые: ОЗ 1872, № 10, с. 505.

Луи Ратисбонн (1827—1900) — популярный во второй половине XIX в. французский детский писатель.

С. 254. Цветок.— Впервые: СШ, 1872, № 1 — вольный перевод стихотворения из сб. стихов и басен «Детская комедия». С подзаголовком «На мотив из Луи Ратисбонна».

Из датских поэтов

Ганс Андерсен (1805—1875) — автор широко известных сказок. Андерсену принадлежат также романы, изображающие конфликты поэта-мечтателя с пошлостью «света», новеллы-миниатюры, пьесы, стихотворения.

С. 255. Мать и сын.— Впервые: Дело, 1868, № 1, с. 177—178.

Неизвестные поэты

С. 256. Жалоба ирландского выходца.— Впервые: Дело, 1867, № 6, с. 253—255.

С. 257. Поиски.— Впервые: ОЗ, 1873, № 7, с. 105—106.

С. 258. Джони Фа.— Впервые: Живописное обозрение, 1881, № 40, с. 262.

С. 259. Вопрос.— Впервые: РВ, 1856, № 24, с. 647. Плещеев это стихотворение неоднократно вписывал «на память».

ПРОЗА

Плещеев дебютировал как беллетрист в 1847 г., и его повести и рассказы были замечены читателями и критиками. Они отличались интересом к простым людям, к их внутреннему миру, сочувствием к «Вопросам века». Образы отвратительных самодуров-крепостников и обездоленных дворовых, разочарованных романтиков, столкновение «маленького человека» с безнравственностью и пошлостью «сильных мира» находим мы в них. Мотив нравственного падения «лишнего человека», иронический подтекст были отмечены Н. А. Добролюбовым как достоинства прозы Плещеева 40-х гг. (Добролюбов Н. А. Благонамеренность и деятельность. //Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1963. Т. 6. С. 208).

Дружеские советы.— Впервые: ОЗ, 1849, т. 63, № 3, с. 61—126. Подпись — А. Плещеев.

Герой «Дружеских советов» — разночинец. Это — мечтатель, человек большой духовной культуры, но в Петербурге, полном социальных контрастов, он становится жертвой несправедливости. Повесть была создана в период особенно близких отношений с Ф. М. Достоевским. Еще ранее Плещеев посвятил Ф. М. Достоевскому «Енотовую шубу» (Рассказ не без морали), напечатанный в 10-м номере «Отечественных записок» за 1847 г. Достоевский ответил посвящением поэту повести «Белые ночи», появившейся в том же журнале в 1848 г. Характерно, что в период работы Достоевского над «Белыми ночами» Плещеев обдумывал «Дружеские советы». Судьба героев обоих произведений схожа — они бедны, ведут уединенный образ жизни, мечтают о любви, но никогда не любили и не были любимы. К тому же, обуреваемые «жаждой деятельности», они не имеют возможности удовлетворить ее в современной действительности. Сочувствуя своему герою, Плещеев, как и Достоевский, заставляет его осознать, что грезами жить невозможно.

С. 203. *Aurora valzer* — «Вальс утренней зари» — произведение немецкого композитора Вебера (1786—1826).

...сострадание к оборванной тощей фигуре уличного Фидиаса...— Фидиас — знаменитый итальянский скульптор V в. до н. э. Здесь, очевидно, имеется в виду скульптура на улицах Петербурга, находившаяся в запущенном состоянии.

...кого бы выбрать, Блюхера или Фанни Эльслер...— Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819) — генерал-фельдмаршал, стоял во главе

прусской армии, сражавшейся против Франции, успешно действовал в сражении при Ватерлоо; Эльслер Фанни (1810—1884) — выдающаяся австрийская балерина, гастролировала в 40-е годы в Петербурге и в Москве.

С. 266. *...два-три французских романа, как, например, «Оберманн» и «Адольф»...* — имеются в виду роман французского писателя Этьена Сенанкура (1770—1846) «Оберман», изображающий молодого человека, разочарованного в обществе, в котором он вращается, и роман французского писателя Бенжамена Констана де Ребека (1767—1830) «Адольф».

С. 270. *...любимые пьесы его были: «Серенада Шуберта»... и «Последняя мысль» Вебера.* — Шуберт Франц (1797—1828) — знаменитый австрийский композитор.

С. 277. *...билье-ду...* — любовная записка (фр.).

С. 281. *...бральион...* — черновой вариант (фр.).

С. 303. *...кипсек* (старинное) — красивый альбом гравюр, подчас с подписями под рисунками.

С. 308. *...сыграть ему что-нибудь из Мейербера или Россини...* — Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Бер (1791—1864) — немецкий композитор, автор опер «Гугеноты», «Роберт-Дьявол», «Африканка» и др.; Россини Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор автор опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль» и др.

С. 312. *В Большом театре давали «Сомнамбулу»...* — «Сомнамбула» — опера известного итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835), автора опер «Норма», «Пуритане» и др.

...голоса Рубини... — речь идет о знаменитом итальянском певце Рубини Джованни Баттисто (1795 или 1794—1854), одном из лучших исполнителей партий в операх Россини, Доницетти, Беллини.

С. 315. *...отель-гарни...* — отель, меблированные комнаты (фр.).

«Пашинцев». — Впервые: РВ, 1859, ноябрь, кн. I, т. 24, с. 106—146, 429—480.

Печатается по тексту первой публикации.

Повесть написана в ссылке в Оренбурге в «минуты глубочайшего омерзения к окружающему», по словам Плещеева. В ней воспроизведены страшные нравы в «ухабинских губерниях» России, с царившими в них чинопочитанием, властью денег, пошлостью чиновничьей знати, ее паразитизмом. Не случайно «высший свет» столицы оренбургского края узнал себя и предал автора «анафеме». Зато рядовые оренбуржцы прочли повесть с большим интересом.

Герой повести «Пашинцев», которую Плещеев считал лучшим своим прозаическим произведением, — человек, не имеющий твердых убеждений и принципов, ставший жертвой «среды», ее «законов» и требований. Плещеев развенчивает Пашинцева: как ни отвратительна «заедающая среда», печальный конец героя — результат его безволия.

Плещееву очень хотелось услышать отзыв Добролюбова о повести. Как раз в начале 1860 г. вышли два томика его прозы. «Пашинцев» туда не вошел. Но в статье «Благонамеренность и деятельность» критик выделил главное достоинство рассказов Плещеева: «Элемент общественный» проникает их постоянно и этим отличает от множества бесцветных рассказов 30 и 50-х гг.». Добролюбов положительно оценил и повесть, изображающую надуманные страдания, ничтожество практических устремлений так называемого «образованного общества». Плещеев снимает с своих персонажей ореол страдания, которым были окружены «лишние люди» в литературе, создав в «Пашинцеве» героя другого типа — учителя Мекешина, которого отличают энергия, прямота. В его уста автор вкладывает свои размышления о настоящих людях как о натурах «страстных, энергических, до истощения готовых на борьбу». (Плещеев А. Н. Повести и рассказы. СПб., 1897. Т. 2. С. 38).

С. 333. *Брантом* Пьер де Бурдейль (1540—1614) — французский писатель, автор мемуаров, книг из великосветской жизни; одна из них — «Жизнь галантных дам».

С. 337. *«Пойду искать по свету...»* — монолог Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 4-е, явление 14-е).

С. 342. *Лукреция Флориани* — главная героиня одноименного романа Ж. Санд.

С. 365. *«Что ему книга последняя скажет...»* — из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

С. 375. *...a la Марлинский...*— Марлинский-Бестужев А. А. (1797—1837) — писатель-романист.

С. 385. *...хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь.*— Реплика Городничего из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор».

С. 386. *«То был гвардейский офицер...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Прекрасная партия».

С. 388. *...вроде Устиньки г. Островского...*— героини комедии А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда».

С. 391. *Господин Пашинцев играет в ней роль Роберта, Карачеева — Бертрама, а я — Алисы.*— Герои оперы немецкого композитора Мейербера «Роберт-Дьявол» (по пьесе Э. Скриба).

С. 397. *...бенедиктовские стихи...*— Бенедиктов В. Г. (1807—1873) — русский поэт, его помпезные стихи были популярны среди читателей с невзыскательным вкусом.

С. 399. *«...о чем задумался, Алонзо?»* — из драмы Е. П. Растопчиной «Дочь Дон Жуана».

«Оставь сомненья свои...» — перефразированные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья».

С. 400. *«Такие души я любил давно...»* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сказка для детей».

«...*ты любил ее...*» — в основе слова Гамлета: «Я любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут...» — из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

«Нет! Я не споря...» — из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

С. 401—402. *...Лидин погиб через этого злодея Ножова... жаль Зинаиду...*— герои романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин».

С. 405. *«Лобзай меня, твои лобзанья...»* — из стихотворения А. С. Пушкина «В крови горит огонь желанья...».

С. 407. «Не расцвел и отцвел...» — из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря».

«Волшебный демон, лживый, но прекрасный...» — из стихотворения А. С. Пушкина «В начале жизни помню я...».

С. 410. *Легуве* Жан (1807—1903) — французский поэт и драматург.

С. 414. *...историю любви Бельтова с Круциферской...*— Герои романа А. И. Герцена «Кто виноват?»

С. 417. *«Ты любишь горестно и трудно...»* — из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения 50—60-х годов

Стихотворения позднейшего периода

МОРИЦ ГАРТМАН

ИОЗЕФ ЭЙХЕНДОРФ

ФРИДРИХ РЮККЕРТ

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ

ФРИДРИХ БОДЕНШТЕДТ

С английского

ДЖОРДЖ БАЙРОН

АЛЬФРЕД ТЕННИСОН

РОБЕРТ СОУТИ

ТОМАС МУР

ПЛЕЩЕЕВ А. Н.

П 38 Стихотворения. Проза. Сост., вступ, ст. и комм. Л. С. Пустильник — М.: Правда, 1991—480 с.

5—253—00342—8

Сборник составлен из произведений замечательного русского поэта XIX века Алексея Николаевича Плещеева (1825—1893), автора известных гражданских стихотворений, а также стихов о родной природе, ставших классическими. В них ярко проявилась музыкальная стихия русской художественной речи.

Повести Плещеева, написанные в традициях «натуральной» школы, отличаются простотой вымысла и верностью жизни, легкостью и непринужденностью рассказа.

$\frac{4702010106-2432}{080(02)-91}$ 2432—9 1

Литературно-художественное издание

ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРОЗА

Составитель
Пустильник Любовь Семеновна

Редактор Т. В. Ледяная

Оформление художника Е. В. Шворака

Художественный редактор Н. Н. Каминская

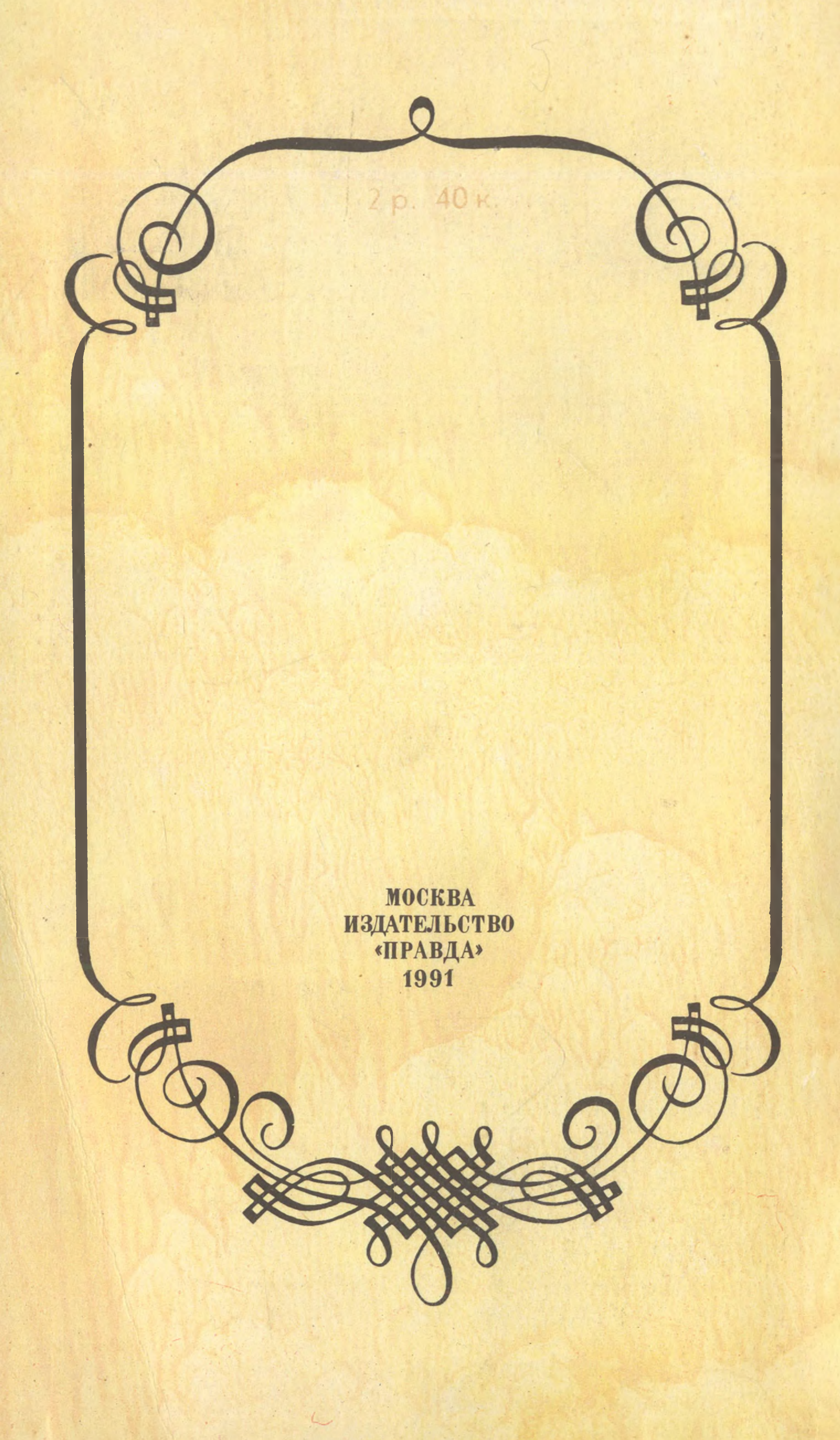
Технический редактор Л. А. Данкова

ИБ—2432

Сдано в набор 02.02.90. Подписано к печати 21.05.90.
Формат 84x108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25.20. Усл. кр-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 25,82.
Тираж 100000 экз.
Заказ № 176. Цена 2 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП, А-137, Москва, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
Карагандинского обкома, Компартии Казахстана,
470032, г. Караганда, ул. Дзержинского, 33.



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1991